ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[5] 2002

НОБЕЛЕВСКАЯ РЕЧЬ ВИДИА С. НАЙПОЛА / РОМАН ХАВЬЕРА МАРИАСА "В ЧАС БИТВЫ ЗАВТРА ВСПОМНИ ОБО МНЕ..." / ТРИ ЭССЕ МИРЧИ ЭЛИАДЕ / "Я ПОЭТ В БУНТЕ ПРОТИВ ПРАВИЛ": ИЗ ПОЭЗИИ ФРАНЦУЗСКИХ СЮРРЕАЛИСТОВ / РАССКАЗЫ ГИШ ЧЖЭНЬ И ИНГОМАРА ФОН КИЗЕРИЦКИ / "РОБЕРТ И ЭЛИЗАБЕТ БРАУНИНГ" АНДРЕ МОРУА В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНАЯ БИОГРАФИЯ"

Основан в 1891 году

До конца года в "ИЛ" будут напечатаны:

"Платформа" француза МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА – новый роман-бестселлер автора "Элементарных частиц", посвященный теме любви в силовом поле современного конфликтного мира.

"Траектория краба" – новая повесть нобелевского лауреата 1999 года ГЮНТЕРА ГРАССА, рассказывающая о трагической гибели десяти тысяч человек на борту немецкого суперлайнера "Вильгельм Густлофф" в январе 1945-го года.

"Как все было" англичанина ДЖУЛИАНА БАРНСА – роман о двух мужчинах и одной девушке, история, рассказанная ими самими.

"Голубой ангел" американской писательницы ФРАНСИН ПРОУЗ – роман, иронично повествующий о современных нравах в американской университетской среде.

"Урок непослушания" французского писателя поколения 40-летних ЖАН-ФИЛИППА АРРУ-ВИНЬО – роман о попытке одаренного неудачника осуществить свои юношеские мечты.

"Harmonia caelestis" – фрагменты развернутого повествования венгерского писателя ПЕТЕРА ЭСТЕРХАЗИ о своем древнем и знаменитом роде.

"Аллах не обязан" одного из самых ярких писателей современной Африки АХМАДУ КУРУМЫ – трагикомическая эпопея африканского Гекльберри Финна с "калашниковым" в руках.

"Первоочередная доставка" молодой датчанки ИСЕЛИН ХЕРМАН – любовный роман в письмах с весьма неожиданной развязкой.

"Биография Лондона" – город как текст, как миф, как сплетение великого, трогательного и смешного в новой книге постоянного автора "ИЛ" англичанина ПИТЕРА АКРОЙДА.

"Памфлет на самого себя" – мудрые, ироничные и парадоксальные размышления, наблюдения, записи польского прозаика и кинорежиссера ТАДЕУША КОНВИЦКОГО.

"Литературный гид", посвященный творчеству английского писателя МАЛЬКОЛЬМА БРЭДБЕРИ.

Автобиографическая проза АРТУРА КЕСТЛЕРА и КИНГСЛИ ЭМИСА.

Эссеистика ИТАЛО КАЛЬВИНО, ДЖ. М. КУТЗЕЕ, СЬЮЗЕН СОНТАГ, ОЛДОСА ХАКСЛИ.

Новые выпуски постоянных рубрик журнала: "Документальная проза", "Вглубь стихотворения", "Из классики XX века", "Литературное наследие", "Путешествие по книге", "Трибуна переводчика", "Среди книг", "Комментарий", "Курьер ИЛ"...

Специальный номер будет посвящен литературе современной Швейцарии.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи по каталогам АПР (для регионов России и стран СНГ), УФПС (для Московской области) и Моспочтамта (для Москвы)

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 70394 (на полгода)

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас, с получением номеров в редакции. Наш адрес: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро "Новокузнецкая", "Третьяковская"). Тел. 953-51-47.

[5]

2002

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Хавьер Мариас. *В час битвы завтра вспомни обо мне...* Роман. Перевод с испанского Надежды Мечтаевой

165 *"Я поэт в бунте против правил".* Стихи французских сюрреалистов. Переводы с французского. Составление и предисловие Михаила Яснова

196 Гиш Чжэнь. *Это я – ирландка?* Рассказ. Перевод с английского А. Власовой

204 Ингомар фон Кизерицки. *Деловое общение, или Школа жизни.* Рассказ. Перевод с немецкого Т. Баскаковой

Литературная биография

222 Андре Моруа. *Роберт и Элизабет Браунинг.* Перевод с французского В. Меранова

Статьи, эссе

238 Видиа С. Найпол. *Два мира.* Речь по поводу присуждения Нобелевской премии, произнесенная в Стокгольме 7 декабря 2001 года. Перевод с английского М. Дадяна. Алексей Цветков. *Стокгольмский синдром*

252 Мирча Элиаде. *Три эссе.* Перевод с румынского и вступление Анастасии Старостиной

Комментарий

266 Алексей Зверев. *Как стать интеллектуалом*

Наша почта

271 Сергей Потолицын. О *"Элементарных частицах" М. Уэльбека*

Среди книг

274 Нина Демурова. *Глазами художника и моралиста.* Анна Альчук. *На пересечении поэзии и музыки*

Курьер "ИЛ"

281

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2002

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
А. Н. Власова
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Хавьер Мариас

В час битвы завтра вспомни обо мне...

Роман

Перевод с испанского Надежды Мечтаевой

НИКОМУ и в голову не может прийти, что однажды он будет держать в объятиях мертвую женщину и что никогда больше он не увидит ее лица, а имя ее будет помнить. Никому и в голову не может прийти, что рядом с ним в самый неподходящий момент может оборваться чья-то жизнь. Такое случается сплошь и рядом, но только — мы убеждены — не с нашими знакомыми и близкими. Часто родственники умерших скрывают обстоятельства их смерти, они, как и сами умирающие (если успевают понять, что умирают), стыдятся агонии или ее причины: можно получить несварение желудка, объевшись устрицами, от не погашенной перед сном сигареты может заняться простыня или, того хуже, шерстяное одеяло; можно поскользнуться и упасть в ванной — затылок расшиблен, а дверь закрыта изнутри на защелку; молния может ударить в дерево на широком проспекте и разбить его, и, падая, дерево может убить прохожего, например иностранца; можно умереть, когда на тебе одни носки; можно умереть в парикмахерской, когда на тебе нелепая пелерина; можно умереть в борделе или в кабинете зубного врача; или во время еды: будешь есть рыбу и подавишься костью — так бывает с детьми, когда рядом не оказывается матери, которая вытащила бы эту кость и спасла ребенка; можно умереть не добрившись: одна щека еще в мыле и на ней навсегда останется щетина, если кто-нибудь не

© 1994, Javier Marías
© Н. Мечтаева. Перевод, 2002
Печатается с небольшими сокращениями. Полностью роман выйдет в издательстве "Амфора".

сжалится и из эстетических соображений не доведет потом дело до конца; смерть может застать человека в самую неподходящую минуту, когда он занят чем-то низким или постыдным, о чем люди никогда не говорят, впрочем, бывает, что взрослые, уподобляясь подросткам, с интересом смакуют непристойные подробности, хотя на самом деле ничего интересного тут нет. "Но *эта* смерть просто ужасна", — говорят иногда о чьей-то смерти. А иногда, давясь от смеха, произносят: "Но *эта* смерть просто смешна". Смеются потому, что речь идет о долгожданной смерти врага или о смерти чужого человека, ставшего уже далеким прошлым (какого-нибудь римского императора или нашего прапрадедушки), или кого-то из власть имущих, чья нелепая смерть кажется только торжеством справедливости, еще способной торжествовать, еще человечной, справедливости, которой мы в глубине души хотим для всех, в том числе и для себя. "Как я радуюсь этой смерти, как я скорблю, как торжествую!" Иногда мы смеемся над смертью только потому, что умерший — совершенно неизвестный нам человек, о кончине которого (несчастный случай, непременно смешной) мы прочитали в газете. "Бедняжка, — говорим мы тогда смеясь, — надо же — умереть такой смертью!" Любая рассказанная, услышанная или прочитанная история воспринимается нами как театральное действо, в том, о чем нам рассказывают, всегда есть ирреальность, словно ничто и никогда не происходит на самом деле, даже то, что случается с нами самими и чего мы не можем забыть. Даже то, чего мы не можем забыть.

Есть что-то ирреальное и в том, что происходило со мной, и в том, что до сих пор происходит, хотя, наверное, следовало бы употребить здесь другой вид глагола, обычный для повествования, и сказать *произошло со мной*, но то, что произошло, еще не завершилось. Может быть, сейчас, когда я буду рассказывать, все это и покажется мне смешным, однако скорее всего — нет, потому что это еще не стало далеким прошлым, а та, что умерла, не была кем-то из власть имущих и не относилась к числу моих врагов, и уж конечно я не могу сказать, что она была мне чужой, хотя к тому моменту, когда она умерла в моих объятиях, я успел узнать о ней очень мало (сейчас я знаю гораздо больше). Только по чистой случайности она была еще не раздета (или была не совсем раздета): мы только-только начали раздевать друг друга — обычное вступление к первой ночи, когда двое пытаются сделать вид, что они вовсе не собирались делать того, что делают, чтобы стыдливость не пострадала и чтобы потом они могли оправдывать себя тем, что все произошло само собой, что случившееся было неизбежно (люди — когда это в их интересах — верят в предопределение и во вмешательство провидения). "Я этого не хотел, я к этому не стремился", — говорим мы себе, когда что-то происходит не так, как нам хотелось бы, или когда мы в чем-то раскаиваемся, или когда мы чувствуем за собой вину. "Я этого не хотел, я к этому не стремился", — следовало бы повторять мне сейчас (когда я знаю, что она умерла, умерла так некстати, умерла в моих объятиях, в объятиях человека почти ей незнакомого — это несправедливо, не я должен был быть в ту минуту рядом с ней), но никто не поверит, наверное, если я так скажу, правда, это совсем не важно: я просто рассказываю свою историю, и мне все равно, слушают ее или нет. И я говорю именно так: "Я этого не хотел, я к этому не стремился", а она сказать так уже не может, она ничего не может сказать, ничего не может опровергнуть. Ее последними словами были: "О боже, ребенок!" А первое, что она сказала, было: "Мне

плохо. Не знаю, что со мной". С этого все началось. Мы были уже в спальне, мы полулежали, были полуодеты и полураздеты. Она вдруг отодвинулась, прикрыла мне рот рукой, словно не хотела резко прерывать поцелуй, мягко отстранила меня и повернулась на бок, спиной ко мне, а когда я спросил ее: "Что случилось?", — ответила: "Мне плохо. Не знаю, что со мной". Я смотрел на ее затылок (раньше я никогда его не видел). Волосы были взъерошены, немного спутались и слегка увлажнились от пота (хотя жарко не было), выбившиеся черные прядки казались полузасохшими струйками крови или грязи — словно она упала, поскользнувшись в душе, и, падая, еще сумела закрыть кран. Все произошло очень быстро, я не успел ничего сделать: не успел позвонить врачу (хотя какой врач в три часа утра — сейчас врача даже вечером не уговоришь приехать на дом), или известить кого-нибудь из соседей (хотя какие соседи — я никого не знал, это случилось в чужом доме, и в этом доме, где я сначала был гостем, а потом сразу стал чужим человеком, чье присутствие ничем нельзя объяснить, я оказался впервые, даже на улице этой никогда не был, а в том районе вообще был только один раз), или позвонить мужу (хотя как мог я позвонить мужу? К тому же он был в отъезде, да я и фамилии-то его не знал), или разбудить малыша (хотя зачем бы я стал будить малыша, когда нам стоило таких трудов уложить его?), или попытаться самому оказать ей какую-то помощь. Она почувствовала себя плохо внезапно. Сначала я подумал (мы подумали), что виной всему ужин, который столько раз пришлось прерывать, а еще я (только я) подумал, что у нее, возможно, пропало желание, или она почувствовала угрызения совести, или вдруг испугалась — и то, и другое, и третье может принять форму недомогания или даже серьезной болезни, особенно если раскаяние приходит слишком рано, когда то, в чем мы раскаиваемся, еще не свершилось.

Она вдруг почувствовала себя плохо, та, чье имя я не решался назвать и называю только теперь — Марта. Марта Тельес. Она сказала, что ей плохо, и я спросил: "Тебя тошнит или у тебя голова кружится?" — "Не знаю. Мне очень плохо. Ужасная боль во всем теле. Я сейчас умру". Телу, к которому совсем недавно впервые прикоснулись мои руки, — скользящие движения рук, прикасающихся к телу и еще не понимающих, приятно им это прикосновение или нет, часто почти машинальны, руки сжимают, ласкают, исследуют, а могут и ударить ("Прости, я не хотел, это вышло нечаянно, я не хотел"), — этому телу вдруг становится плохо (самое расплывчатое определение из всех определений недомогания). Боль была во всем теле, так она сказала, последние слова ("Я сейчас умру") нельзя было понимать буквально. Она не думала, что умирает, как не думал этого и я. Еще она сказала: "Не знаю, что со мной". Я продолжал расспрашивать — расспросы избавляют нас от необходимости действовать: когда расспрашиваешь, разговариваешь или рассказываешь, можно не целовать и не бить, можно ничего не предпринимать (да и что я мог предпринять, особенно в самом начале, когда казалось, что это только минутное недомогание?). "Так тебя тошнит?" Она не ответила, только отрицательно шевельнула головой (шевельнулся затылок с полузасохшими струйками крови или грязи), казалось, ей трудно было говорить. Я поднялся, обошел кровать и встал на колени со стороны Марты, чтобы видеть ее лицо, и положил руку ей на плечо (прикосновение успокаивает, так всегда делают врачи). Глаза ее были закрыты, и веки (какие длинные ресницы!) плотно сжаты, словно ей мешал свет лампы на ноч-

ном столике (мы еще не погасили свет — я как раз собирался сделать это, когда ей стало плохо, но не сделал: я хотел видеть, я еще не видел этого нового для меня тела, которое наверняка бы мне понравилось, и я не выключил свет, а теперь, когда ей вдруг стало плохо — или, может быть, это было отсутствие желания, страх или раскаяние, — этот свет мог нам помочь). "Может быть, позвонить врачу? — спросил я, но она снова отрицательно шевельнула головой. — Где у тебя болит?"

Она неохотно обвела рукой неопределенную зону, включавшую и грудь, и живот, можно сказать, все тело, кроме головы, рук и ног. Ее живот был уже обнажен, а грудь еще не совсем — еще не был снят (хотя застежка была уже расстегнута) лифчик без бретелек. Он был ей маловат. Я знаю, что женщины иногда специально надевают лифчики меньшего размера, чтобы подчеркнуть грудь, так что, возможно, в тот вечер она надела именно такой, потому что ждала меня, и все было продумано заранее (хотя продуманным не выглядело), все мелочи были тщательно обдуманы заранее для того, чтобы мы, в конце концов, оказались в этой супружеской постели. Я расстегнул застежку, но лифчик не упал — его держали ее плотно прижатые к бокам руки, хотя она, скорее всего, этого даже не замечала. "Тебе легче?" — "Не знаю, наверное, нет", — ответила мне она, Марта Тельес, и голос ее был не то чтобы тихий, а словно изменившийся от боли (или, может быть, от душевного смятения — я не знаю, было ли ей больно на самом деле). "Подожди немножко, сейчас я даже говорить не могу", — попросила она (болезнь делает нас ленивыми) и все-таки сказала еще кое-что (может быть, она не так уж плохо себя чувствовала, чтобы забыть о моем присутствии, а может быть, просто привыкла думать о других в любых обстоятельствах, даже на смертном ложе — я знал ее мало, но она казалась мне очень внимательной к людям, — впрочем, мы ведь не знали, что она умирает): "Бедный, на это ты никак не рассчитывал. Какая ужасная ночь!" Я вообще ни на что не рассчитывал или, вернее, рассчитывал на то же, на что рассчитывала и она. До той минуты ночь вовсе не была ужасной, разве что скучноватой, так что я не знаю, к чему относились ее слова: догадывалась ли она о том, что должно было с ней произойти, или имела в виду, что наше ожидание слишком затянулось из-за того, что ее ребенок никак не хотел идти спать. Я встал, снова обошел вокруг кровати и лег на то место, где лежал раньше, — слева, размышляя (перед моими глазами снова был ее неподвижный затылок с темными струйками волос, застывшими, словно от холода): "Может, лучше подождать и не приставать к ней пока с вопросами, дать ей время, не вынуждать ее отвечать, лучше ей стало или хуже, каждые пять секунд? Когда думаешь о болезни, она обостряется". Я окинул взглядом спальню — я ничего еще не успел в ней разглядеть: я смотрел только на женщину (вначале такую взволнованную и несмелую, а сейчас — подавленную и больную), которая вела меня за руку. Напротив кровати висело большое зеркало (такие бывают в гостиничных номерах) — людям, которые живут здесь, нравится смотреть на себя перед тем как выйти на улицу, перед тем как лечь спать. В остальном это была обычная спальня, где спят двое. На ночном столике с моей стороны (она, не задумываясь, сразу заняла то место, которое занимала каждую ночь и каждое утро) лежали вещи ее мужа: калькулятор, нож для разрезания бумаги, маска, которую надевают в самолете, чтобы защитить глаза от слепящего света, когда пролетают над океаном, несколько монет, грязная пепельница, электронный будильник, сигареты, флакон хоро-

шей туалетной воды (наверняка чей-то подарок, может быть, даже сама Марта подарила ее мужу на прошлый день рождения), два романа — тоже подарки (а может быть, и нет, но я бы их себе покупать не стал), дезодорант, пустой стакан, который он не успел убрать в суете сборов, приложение к какому-то журналу с программой телепередач — сегодня он не будет смотреть телевизор, он уехал. Телевизор стоял напротив кровати, возле зеркала (в этом доме любят комфорт). Мне захотелось включить телевизор, но пульт лежал на столике со стороны Марты, мне пришлось бы снова встать и обойти кровать или побеспокоить ее, протянув руку за пультом над ее головой. Я все-таки протянул руку и взял пульт. Она даже не заметила этого, хотя я коснулся ее волос закатанным рукавом рубашки. На стене слева висела репродукция картины (достаточно безвкусной), хорошо мне знакомой (художника звали Бартоломео Венето[1], картина находится во Франкфурте): женщина с обнаженной грудью (довольно плоской, надо сказать) держит в поднятой руке несколько цветков, на голове у нее тока с лавровым венком, из-под которой струятся жидкие локоны, а лоб украшает диадема. У стены справа — белые встроенные шкафы, словно еще одна стена. Внутри, наверное, лежит одежда, которую муж не взял с собой в поездку, почти вся его одежда — он уехал на короткое время, как сказала его жена, Марта, за ужином, уехал в Лондон. Стояли еще два стула, и на них тоже висела одежда — может быть, она предназначалась для стирки или была только что выстирана и еще не выглажена — свет от ночника на столике рядом с Мартой был слабый, и я не мог хорошо разглядеть. На одном из стульев висела мужская одежда: на спинке, словно на плечиках, — пиджак, брюки, из которых не был вынут ремень с тяжелой пряжкой (молния расстегнута, как и на всех брошенных брюках), пара светлых незастегнутых рубашек. Муж был здесь совсем недавно, еще утром он проснулся в этой комнате, поднял голову с подушки, которая сейчас была у меня за спиной, и решил надеть сегодня другие брюки, возможно потому, что Марта отказалась гладить эти. Одежда еще хранила его запах. На другом стуле висела женская одежда. Я разглядел темные чулки и две юбки Марты Тельес — наверное, она несколько раз переодевалась и никак не могла решить, что выбрать, за минуту до того, как я позвонил в дверь, — никогда не знаешь, что надеть на свидание (для меня такой проблемы не существовало: я не знал, какой характер примет наша встреча, к тому же мой гардероб не очень богат). Юбка, которую она в конце концов выбрала, сейчас была измята, ее измяла сама Марта: она лежала, свернувшись клубочком, кулаки сжаты (большие пальцы вовнутрь), ноги напряжены, словно этим напряжением она хотела утишить боль в животе и в груди, остановить ее. Задравшаяся юбка открывала бедро. Я хотел было опустить и расправить юбку (чтобы прикрыть обнажившееся бедро и чтобы юбка так сильно не мялась), но поймал себя на том, что мне нравилось смотреть на ее тело, к тому же я подумал, что, если Марте не станет лучше, я вряд ли увижу больше, да и сама Марта едва ли стала бы беспокоиться из-за этих складок — возможно, юбка была измята еще до того, как мы пришли в спальню: в первую ночь не обращают внимания на одежду, которую снимают, а смотрят только на незнакомое тело. Возможно, именно поэтому она и не стала пока гладить те вещи, что висели на стульях: зна-

1. Бартоломео Венето (1480—1530) — итальянский художник. Речь идет о его картине "Женский портрет". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ла, что ей все равно придется гладить на следующий день юбку, которую она выберет (хотя еще не знала, какую именно выберет) для того вечера, когда приду я. Все мнется, все пачкается, все бросается небрежно и вмиг становится ненужным в таких случаях.

Прежде чем включить телевизор, я убрал звук. На экране, как я и хотел, появилось немое изображение, но она даже не заметила этого, хотя в комнате стало светлее. Шел фильм с участием Фреда Макмюррея[1], старый черно-белый фильм с субтитрами, такие фильмы показывают поздно ночью. Я пробежался по каналам и снова вернулся на тот, где с экрана смотрело глуповатое лицо Макмюррея. И именно в эту минуту я вдруг подумал (хотя обычно не отдаешь себе отчета в том, когда именно мысль пришла тебе в голову): "Что я здесь делаю?" Я был в чужом доме, в спальне человека, о котором не знаю ничего, кроме его имени, несколько раз за этот вечер произнесенного, самым естественным тоном, его женой. Это и ее спальня тоже, и поэтому я был здесь, рядом с ней. Она вдруг почувствовала себя плохо после того, как я начал раздевать и ласкать ее. Я с ней знаком, хотя совсем мало, всего две недели. До этого мы встречались дважды. Муж позвонил пару часов назад (я уже был здесь), чтобы сообщить, что добрался хорошо, прекрасно поужинал в "Бомбей-Брассери"[2], вернулся в гостиницу и собирается лечь спать: завтра ему нужно работать – он в короткой деловой поездке. А его жена, Марта, не сказала ему, что я был в это время в его доме, что мы ужинали (и это дало мне почти полную уверенность в том, что меня пригласили не просто на ужин). Муж, конечно, спросил про малыша, и она ответила, что собирается его укладывать. Возможно, муж сказал: "Дай ему трубку, я пожелаю ему спокойной ночи", потому что Марта ответила: "Лучше не надо, он и так разгулялся, а если еще поговорит с тобой, его потом вообще не уложить". С моей точки зрения, это было глупо: малыш, несмотря на то что ему было, по словам матери, почти два года, говорил очень плохо, его почти нельзя было понять, Марте приходилось то и дело переспрашивать и переводить для меня то, что он говорил. Матери – первые в мире толковательницы и переводчицы, которые улавливают (чтобы потом сообщить окружающим) смысл того, что произнесено еще даже не на языке. Они понимают жесты, гримасы, различают множество оттенков плача (хотя, казалось бы, что общего между плачем и словами? Плач и слова взаимно исключают друг друга, плач мешает словам). Возможно, отец тоже понимал его и поэтому попросил позвать к телефону своего сынишку, который к тому же еще говорил не выпуская изо рта соску. Когда Марта на несколько минут вышла на кухню и мы с ним остались одни в гостиной, которая служила одновременно столовой (я сидел за столом, с салфеткой на коленях, а он – на софе, держа в руках маленького кролика, оба мы смотрели на экран), я сказал ему: "Когда у тебя во рту соска, я тебя не понимаю". Малыш послушно вынул соску изо рта и, держа ее в руке (в другой руке был кролик), повторил (ничуть не более внятно) слова, которые неразборчиво пролепетал до того. Марта Тельес отказалась позвать малыша к телефону, и это придало мне еще больше уверенности, потому что из слов ребенка, как бы плохо он ни говорил, отец все же мог понять, что в доме ужинает какой-то мужчина. Малыш произносил только последние слоги слов, да и то не полностью:

1. Фред Макмюррей (1908–1991) – популярный американский актер, снялся в 104 фильмах.
2. Индийский пивной ресторан в Лондоне.

"сы" вместо "усы", "тук" вместо "галстук", "ка" вместо "соска" и "ле" вместо "филе" (я понял это, когда на экране появился какой-то алькальд с усами — я усов не ношу — и когда Марта подала на ужин филе — "ирландское филе", как она сказала), но, даже зная это, я все равно не мог его понять, а отец, возможно, понимал, приспособился понимать примитивный язык, на котором говорит всего один человек и который скоро этим же человеком будет забыт. Мальчик знал пока всего несколько глаголов, поэтому редко мог составить фразу, он пользовался в основном существительными и несколькими прилагательными, отчего казалось, что он все время восклицает. Он решительно отказывался ложиться спать, пока мы ужинали, вернее, не ужинали, а я ждал Марту, которая то уходила на кухню, то склонялась к ребенку, чтобы чем-то помочь или что-то объяснить ему. Она поставила малышу видеокассету с мультфильмами и посадила его перед телевизором (единственным тогда для меня телевизором в этом доме) в надежде, что так он быстрее уснет. Но он и не думал спать, он упорно отказывался идти в постель. Несмотря на полное отсутствие жизненного опыта, он знал больше, чем я, и следил за матерью и гостем, которого он никогда раньше не видел в своем доме, охранял место, принадлежавшее его отцу. Несколько раз я был готов подняться и уйти, я чувствовал себя самозванцем, а не гостем, это ощущение усиливалось по мере того, как росла моя уверенность, что наш ужин был не просто ужин, и ребенок интуитивно — как кошка — это чувствовал тоже и старался помешать этому своим присутствием. Он валился с ног от усталости, но изо всех сил боролся со сном, смирно сидел на софе и смотрел мультфильм, которого не понимал, хотя узнавал некоторых героев: время от времени он показывал пальцем на экран и, несмотря на его соску, я все же понимал, что он говорил, потому что тоже смотрел на экран. "Титин", — провозглашал он, или: "Итан!" — и мать на минуту забывала обо мне, согласно кивала ему и переводила: "Да, милый, это Тинтин и капитан[1]".

Именно упрямое нежелание малыша ложиться спать окончательно убедило меня: теперь я точно знал, чем закончится для меня этот вечер (если ребенок все же уснет и если я сам захочу). Его ревность и то, как он инстинктивно следил за нами, выдавали намерения его матери, чересчур накрашенной, слишком нарядной для обычного ужина дома и слишком возбужденной. Малыш боялся, а страх выдает человека и провоцирует того, кто вызывает (или может вызывать) у него этот страх. Когда нас против чего-то предостерегают, то часто именно это с нами и происходит, подозрения служат толчком к осуществлению того, что могло бы и не осуществиться, сомнения и ожидание вынуждают заполнять образующиеся пустоты. Что-то должно произойти, если мы хотим освободиться от этого страха, и лучше всего — позволить осуществиться тому, чего мы боимся. "Малыш прав, и он поступает правильно, — думал я, — потому что, как только он уснет, я (на некоторое время, только на некоторое время) займу место, которое обычно занимает его отец. Он предчувствует это и хочет защитить место своего отца (оно — гарантия и его места тоже), но у него нет жизненного опыта, он многого не знает, а потому помогает мне. Помогает своим страхом, благодаря которому я

1. Тинтин и капитан — герои мультфильма "Тинтин на Черном острове", созданного по мотивам комиксов бельгийского художника Жоржа Реми (1907—1983), известного также под именем Эрже и нарисовавшего с 1929 по 1979 год 23 серии приключений репортера Тинтина (Тантэна, по правилам французского произношения).

понял то, чего иначе не понял бы: он почти ничего не знает, но свою мать он знает лучше, чем я, ведь она — весь его мир, который ему хорошо знаком, для него она не загадка. Благодаря малышу я понял, что могу действовать решительно (если захочу)". Сон постепенно все же одолевал его, голова клонилась все ниже, и в конце концов он лег на софу — крохотное тельце на огромной софе (таким же крохотным кажется муравей в спичечном коробке, только муравей двигается), но продолжал смотреть свой мультфильм: голова на диванной подушке, во рту соска, символ его возраста, ноги поджаты — поза спящего или собирающегося заснуть человека, — но глаза широко раскрыты, он не позволял себе закрыть их ни на секунду. Мать время от времени склонялась к нему со своего стула, чтобы посмотреть, не заснул ли он наконец — она так этого ждала, она хотела, чтобы он (хотя он был для нее всем) поскорее перестал мешать ей, бедняжка хотела остаться со мной наедине, совсем ненадолго, ничего предосудительного (однако "бедняжкой" я называю ее сейчас, а тогда я ни о чем таком не думал, хотя, наверное, должен был думать). Я не задавал вопросов и не делал никаких замечаний по этому поводу: не хотел показаться нетерпеливым или неделикатным, к тому же она каждый раз самым естественным тоном сообщала мне: "Надо же, до сих пор глаза как блюдца". Присутствие этого ребенка определяло все, хотя он был совершенно спокоен. Это вообще был спокойный ребенок, видно было, что у него хороший характер, что он почти никогда не капризничает. Но он никак не хотел оставить нас одних, никак не хотел уйти в свою комнату, не хотел выпускать из виду свою мать, которая сейчас лежала в той же позе, в какой тогда лежал на огромной софе ее сын, борясь со сном, как сейчас она боролась с болью (или со страхом, или с раскаянием). Только она не казалась крохотной в своей собственной супружеской постели и не была одна: рядом с ней был я. В руках я держал телевизионный пульт, и я не знал, что делать. "Мне уйти?" — спросил я. "Нет, погоди, это должно пройти, не оставляй меня одну", — ответила Марта и повернула ко мне голову, вернее, попыталась повернуть: она не увидела моего лица, но в поле ее зрения попал включенный телевизор, глупое лицо Макмюррея, которое начинало у меня ассоциироваться с лицом ее отсутствующего мужа, потому что я думал о нем и о том, что произошло, то есть не произошло, хотя в это время должно было происходить. Почему бы ему не позвонить сейчас, может быть, он там, в Лондоне, тоже не спит? Каким облегчением было бы услышать телефонный звонок! И она сняла бы трубку и объяснила мужу своим угасающим голосом, что чувствует себя плохо и что не может понять, что с ней такое. И тогда он сделал бы что-нибудь (можно что-то сделать даже издалека), и мне не нужно было бы ничего решать, и я перестал бы быть свидетелем (хотя на свидетеле вины никакой нет). Он мог бы позвонить врачу, или кому-то из соседей (он-то был с ними знаком, это были его соседи, а не мои), или сестре, или свояченице, и они вскочили бы среди ночи и примчались в его дом, чтобы помочь его жене. А я бы ушел, я пришел бы в другой вечер, когда уже не нужны были б никакие прелюдии. Я мог бы вернуться уже на следующий день, в то же время, поздно, когда малыш наверняка бы уже спал. И муж, разумеется, отсутствовал бы.

"Может быть, позвонишь мужу? — спросил я Марту. — Вдруг разговор с ним тебя успокоит? Должен же он знать, что тебе плохо". Нам невыносима мысль, что наши близкие могут не знать о нашей беде, думать, что мы счастливы, когда это уже не так. В жизни каждого человека есть не-

сколько близких людей, которые, как только с нами что-то случается, сразу должны узнавать об этом. Нам невыносима мысль, что они не знают об изменениях в нашей жизни: полагают, что мы женаты, когда мы уже овдовели, что у нас есть родители, а мы уже сироты, что рядом с нами есть кто-то близкий, а нас уже бросили, что мы здоровы, а мы в это время заболели. Или считают, что мы живы, а мы уже умерли.

Все-таки это была странная ночь, особенно для Марты Тельес. Наверняка самая странная в ее жизни. Марта еще чуть-чуть повернула голову, я на миг увидел ее лицо, как и она увидела мое, уже долгое время я видел только затылок (еще более потный, прядки волос совсем слиплись, словно были испачканы в грязи) и обнаженную спину. Когда она повернулась, глаза ее, казалось, ничего не видели — так слиплись и спутались длинные ресницы. Но она смотрела на меня, и взгляд у нее был странный — может быть потому, что она на время забыла обо мне и сейчас удивилась, увидев меня рядом, или потому, что я задал этот вопрос, а может быть, просто потому, что она никогда раньше не чувствовала себя так, как сейчас. Наверное, у нее уже начиналась агония, а я этого не понимал, да и она тоже — это случается только раз, ей не приходилось испытывать этого раньше.

— Ты с ума сошел, — сказала она. — Звонить ему! Да он меня убьет!

Когда она поворачивалась, лифчик, который до того придерживали прижатые к бокам руки, съехал вниз и упал на одеяло, грудь обнажилась, и я не стал прикрывать ее. Конечно, у нее уже была агония, а я этого не постигал. Потом, давая понять, что она не забыла обо мне, Марта добавила: "Ты телевизор включил, тебе скучно. Включи звук, если хочешь. Что ты смотришь?" Говоря это, она положила руку мне на бедро — предвестие ласки, которой не суждено было сбыться, — потом убрала ее и вернулась в прежнее положение: легла спиной ко мне, свернувшись клубочком, как девочка или как ее собственный сынишка, который, забыв наконец-то обо мне и о ней, уснул в своей комнате. Наверное, он спал в кроватке с высокими бортиками — я не знаю, падают ли еще по ночам с кроваток дети, которым уже почти два года, и можно ли укладывать их спать на обычные кровати или по-прежнему нужна кроватка с бортиками. "Старый фильм с Фредом Макмюрреем, — ответил я (она моложе меня, я не знаю, слышала ли она это имя), — но я его не смотрю".

Ее муж тоже, вероятно, спит сейчас в Лондоне, не зная о том, что происходит с ней, ничего не зная обо мне. Почему он не проснется в страхе, почему он ничего не чувствует, почему не звонит в Мадрид, к себе домой? Тогда он услышал бы слабый голос жены, которой сейчас хуже, чем ему, и от этого его собственный страх тут же прошел бы. Почему он не спешит спасти нас? Но была ночь, время покоя и отдыха для всех, кто еще не знал того, о чем должен был узнать сразу же: для сынишки, который был сейчас совсем рядом и еще совсем ничего не знал о жизни, для его отца, который был далеко, на острове, где так сладко спится, для свояченицы и сестер, которым сейчас снятся сны о еще неведомом для них будущем в этом беспокойном городе, где спится так плохо. Недалеко от улицы Конде-де-ла-Симера, в больнице "Ла-Лус", дежурные медсестры дремлют, положив голову на руки, — чуткий сон, готовый прерваться в любую секунду, — сидя на неудобных стульях, скрестив ноги в белесых чулках с катышками возле шва, а студент в очках, готовясь к завтрашнему экзамену, читает учебник права, физики или фармакологии, чтобы завтра, как только выйдет из аудитории, тут же забыть все прочитанное; еще

дальше, в другом районе, в конце улицы Эрманос Беккер, одинокая проститутка делает три-четыре осторожных и неуверенных шага в сторону каждой машины, что замедляет ход или останавливается на светофоре: в своем лучшем наряде, чтобы в эту холодную ночь быть замеченной и вблизи, и с большого расстояния, и, может быть, так же дожидается клиентов мужчина, совсем еще мальчишка: едва ковыляет на высоких каблуках (еще не привык к ним, или ему просто сегодня нездоровится, или он уже устал), ходит по тротуару, садится в чужие машины, которых было уже так много, что воспоминания о них перемешались в его бедной слабой голове. Где-нибудь расстаются пары, им не хочется расставаться, не хочется возвращаться каждому в свою постель, они целуются у открытой двери (уходит он или она), дожидаясь лифта, который уже час как никто не вызывал. В Лондоне сейчас на один час меньше, может быть, ее муж тоже не спит там, на далеком острове, в своей гостинице под названием "Вильбрахам", а стоит у окна, рама которого опускается вниз, как гильотина, и смотрит сквозь замерзшее стекло на здания напротив или на окна других номеров того же отеля ("Вильбрахам" имеет форму буквы "П"). Большинство окон не освещены. Может быть, он смотрит на то окно, в котором сегодня днем видел чернокожую горничную, застилавшую постели после того, как из номера выехали старые жильцы, и перед тем, как в него въедут новые? А может быть, он видит эту женщину в окне ее собственной комнаты под самой крышей (в этих комнатушках с низкими потолками живут те сотрудники отеля, у которых нет своего жилья), видит, как она переодевается после работы: снимает наколку, туфли, чулки, передник, униформу, умывается и моет над раковиной подмышки — он тоже смотрит на полуодетую и полураздетую женщину (но в отличие от меня он перед этим не прикасался к ней, не обнимал ее, он к ней не имеет никакого отношения), которая перед сном совершает нехитрый британский туалет, склонившись над крошечной раковиной, в одной из тех английских комнат, обитатели которых должны выходить в коридор, если хотят воспользоваться общей ванной, единственной на этаже? Не знаю и, скорее всего, никогда не узнаю.

И мертвая Марта никогда не узнает, что делал ее муж той ночью в Лондоне, пока она умирала здесь, рядом со мной: когда он вернется, она уже не сможет его выслушать, выслушать то, что он решит ей рассказать, — может быть, в его рассказе не будет ни слова правды. Все блекнет и тускнеет, все постепенно стирается, мало какие события оставляют следы, особенно если случаются только однажды и больше уже не повторяются (впрочем, те, что устраиваются в нашей жизни очень удобно, повторяются каждый день и наслаиваются одно на другое, тоже не оставляют следов, тоже забываются).

Но тогда я еще не знал, к какому типу событий отнести мой первый визит на улицу Конде-де-ла-Симера, где я никогда до этого не был. Я собирался провести здесь ночь, но мне не повезло, хотя, возможно, я смогу вернуться сюда завтра (если верить часам, уже сегодня), и не важно, вернусь я сюда или нет: следы этой первой (или единственной) ночи начнут стираться, как только я выйду отсюда и займется новый день. "Следы моего присутствия здесь сотрутся уже завтра, — подумал я, — когда Марта поправится, отмоет тарелки с присохшими остатками нашего сегодняшнего ужина, погладит свои юбки, проветрит простыни, на которые я так и не лег, и даже вспоминать не будет о том, что было накануне. Она подумает о своем муже, и ей захочется, чтобы он поскорее вернулся. Восста-

навливая порядок в своем мире, она на минутку подойдет к окну с полной вчерашних окурков пепельницей в руках, и, пока она будет смотреть в окно, задумчивость постепенно уйдет из ее глаз вместе с последними воспоминаниями обо мне и о моих поцелуях, воспоминаниями, уже и сейчас почти стершимися под влиянием ее теперешнего недомогания (или страха, или раскаяния). От моего присутствия здесь, такого очевидного, такого реального, завтра не останется и следа, как только она тряхнет головой и откроет кран, и для нее все будет так, как если бы я сюда никогда и не приходил, потому что проходит все — даже время, которое часто стоит на месте, в конце концов проходит и стекает в сливное отверстие. Вот и я, стоит мне только подумать о завтрашнем дне, вижу себя вне этого дома. Может быть, я уйду уже совсем скоро, ночью, пересеку улицу Королевы Виктории и пройдусь немного по улице Генерала Родриго, чтобы прийти в себя, а потом возьму такси. Наверное, нужно дождаться, пока Марта уснет, тогда у меня будет повод (и оправдание) для того, чтобы уйти". Вдруг дверь комнаты распахнулась (Марта оставила ее полуприкрытой, чтобы услышать, если малыш проснется и заплачет. "Он никогда не просыпается, хоть над ухом стреляй, — сказала она мне, — но мне так будет спокойнее"), и в дверном проеме я увидел малыша, в пижаме, с неизменным кроликом в руке и с соской во рту. Он проснулся, но не заплакал: может быть, он почувствовал, что его мир рушится. Он смотрел на свою мать и на меня (он был еще во власти своих немудреных сновидений) и не произносил ни одного из тех немногих укороченных слов, которые знал. Марта ничего не заметила — длинные ресницы, плотно сжатые веки, — а я резко поднял руку, чтобы застегнуть рубашку, которую не снял, но пуговицы на которой были расстегнуты Мартой (слишком много пуговиц, так мне показалось тогда, и так же мне казалось теперь). Марте Тельес было, должно быть, очень плохо, если она не заметила, что в спальне среди ночи появился ее сын. Она не смотрела в его сторону, она вообще никуда не смотрела, но она могла бы почувствовать его присутствие. Секунду я гадал, что сделает малыш: закричит и бросится на кровать к своей больной матери или расплачется, чтобы привлечь ее внимание (сейчас ее внимание сосредоточилось только на ней самой и на том, что ее не слушалось собственное тело). Он посмотрел на экран телевизора и увидел Макмюррея, который в этой сцене (как и в нескольких предыдущих) играл вместе с Барбарой Стенвик[1], актрисой с порочным и отталкивающим лицом. Его, наверное, удивило черно-белое изображение (а может быть, отсутствие звука или то, что на экране были лица Фреда Макмюррея и Барбары Стенвик вместо Тинтина, Хаддока и других героев мультфильмов), потому что взгляд его сделался неподвижен, как у любого ребенка, который смотрит на экран. Однако он тут же отвел глаза и снова посмотрел на Марту. Я покраснел при мысли, что это по моей вине он видит сейчас свою мать полураздетой (почти обнаженной: лифчик съехал, но она даже не подумала прикрыть грудь), хотя, возможно, мальчик видел ее такой уже не в первый раз: он был еще слишком мал, и вряд ли родители слишком его стеснялись. Некоторые родители вообще считают здоровым и правильным ходить обнаженными в присутствии своих маленьких (а потому тоже часто бегающих голышом) детей. Но мысль об этих новомодных течениях вгоняла в краску не меньше, по-

1. Барбара Стенвик (1907—1990) — американская актриса. В 30—40-х гг. была одной из наиболее популярных звезд Голливуда.

этому я дотянулся до лифчика, лежавшего все там же, на одеяле, и неловко попытался прикрыть им (хотя бы чуть-чуть) грудь его владелицы. Но я не довел дело до конца: побоялся, что мое движение и прикосновение ткани к телу разбудят Марту, если она вдруг уснула, а если она не спит — заставят ее открыть глаза. Мне казалось, что лучше ей не знать, что малыш видел нас (только бы он не заплакал, не полез на кровать, не заговорил). Наверное, он все же спал в кроватке без бортиков или с очень низкими бортиками, которые уберегают его только от того, чтобы он ночью не выпал из кроватки, но ничуть не мешают спускаться на пол, если ему этого хочется. Несколько секунд я держал в руках лифчик слишком маленького размера, словно то был пусть пустяковый, но трофей, словно я хотел напомнить о своей победе, которой на самом деле не было, скорее наоборот: именно в ту минуту я окончательно понял, что мои (и ее) ожидания были напрасны. Ребенок стоял в дверях, и глаза его были открыты, но мне казалось, что он еще не совсем проснулся. Он посмотрел на лифчик в моей руке, и я поспешил спрятать его, скомкать в кулаке, а кулак спрятать за спиной. Вряд ли он меня узнал, но мое лицо наверняка показалось ему знакомым — узнает же он лица героев из своих мультфильмов или собаку из своих снов, только в отличие от них у меня еще не было имени. А может, и было: Марта за ужином несколько раз обратилась ко мне, и он слышал мое имя, но сейчас не мог вспомнить — он тогда слишком хотел спать. Он ничего не говорил, глаза его ничего не выражали, то есть я не мог понять выражения его глаз — это не была растерянность, надежда, страх, безразличие, смущение или досада. Но я решил, что неопределенное выражение его лица объяснялось только тем, что он не до конца проснулся. Я осторожно встал, медленно подошел к нему и сказал улыбаясь, очень тихо, почти шепотом: “Иди спать, Эухенио, уже очень поздно. Давай иди в кроватку”. Я опустил руку ему на плечо (в другой руке я все еще держал лифчик, как держат использованную салфетку).

Он не противился и даже положил ладошку на мою руку. Потом послушно повернулся и быстрыми маленькими шажками двинулся по коридору к себе в комнату. Перед тем как войти, он остановился и обернулся ко мне, словно ждал, что я провожу его, — может быть, ему нужен был свидетель, кто-то, кто видел бы, как он ложится, кто-то, кто знал бы, где он был, когда спал. Очень тихо, на цыпочках — я все еще был в ботинках и полагал, что мне уже не придется их снимать, — я пошел за ним, остановился в дверях комнаты, где он спал и где сейчас было темно (малыш не зажег света, может быть, просто не умел), хотя жалюзи не были опущены и с улицы через окно (это было не окно-гильотина) проникал красновато-желтый свет. Удостоверившись, что я рядом, малыш, не выпуская из рук своего кролика, полез обратно в кроватку — деревянную, не металлическую, с низкими бортиками, как я и предполагал. Наверное, я пробыл в его комнате несколько минут, хотя и не смотрел на часы ни когда выходил из спальни Марты, ни когда вернулся туда. Я стоял около него, пока не убедился, что малыш снова крепко и глубоко спит — я понял это по его дыханию, — а потом решил подойти еще ближе, чтобы взглянуть на его лицо. Сделав шаг, я стукнулся обо что-то головой и только тогда, приглядевшись, понял, что к потолку, достаточно высоко, чтобы малыш не мог их достать, были подвешены на нитках модели самолетов. Я отступил, вернулся назад к дверям и встал, привалившись к косяку (как стоял недавно он, не решаясь переступить порог комнаты своей матери). Отсюда я мог их рассмотреть. Их было много, они были

очень старые, эти картонные или металлические самолеты с пропеллерами. Ими наверняка играл в детстве его отец, который был сейчас в Лондоне и который, вероятно, ждал рождения сына, чтобы снова достать эти самолеты и повесить их там, где им положено висеть: в комнате маленького мальчика. Мне показалось, что я разглядел "спитфайр" и "мессершмитт-109", биплан "ньюпор", "кэмел" и Миг ("миг-крыса", так прозвали у нас этот русский самолет во время гражданской войны), а еще японский "зеро", и "ланкастер", и, кажется, "мустанг" с ухмыляющейся акульей пастью во весь фюзеляж. Еще там был триплан. Это мог быть "фоккер" (наверное, красного цвета — в таком случае это был самолет барона фон Рихтхофена[1]). Под потолком висели истребители и бомбардировщики времен Первой и Второй мировых войн, несколько самолетов времен нашей гражданской и корейской войн. Когда я был маленьким, у меня тоже были такие (не так много, конечно, эта коллекция могла у любого вызвать зависть), поэтому я их и узнал в неверном желтоватом свете, проникавшем через окно, так же как в детстве узнавал их, когда видел в небе. Я остановил рукой самолет, который все еще качался после того, как я задел его. Воздух был неподвижен, ни малейшего ветерка, который качал бы самолеты, и я хотел было открыть окно, но заметил, что они тем не менее чуть покачивались: инертное (или торжественное?) колебание — так всегда колеблются легкие предметы, подвешенные на нити, — словно над спящим малышом они неспешно готовились к утомительному ночному бою, бою крошечных самолетов, фантастическому, невозможному (такие бои много раз случались в прошлом и, может быть, до сих пор происходят каждую ночь, как только малыш и его родители засыпают и видят во сне друг друга). "В час битвы завтра вспомнишь обо мне"[2], — подумал (вернее, вспомнил) я.

Но в эту ночь ни один из них не спал, а если кто и спал, то не так удобно и спокойно, как обычно: полураздетая мать от боли свернулась клубком на неразобранной постели рядом с мужчиной, которого почти не знала; ребенок, плохо укрытый сейчас (он улегся сам, я не осмелился расправить его крохотные простыни и укрыть его крохотным одеялом); отец — не знаю: он поужинал неизвестно с кем, — повесив трубку, Марта, почесывая висок ногтем указательного пальца, произнесла задумчивым голосом (и в тоне ее послышалась легкая зависть, ведь она-то, пусть и не одна, а с гостем, была все на той же улице Конде-де-ла-Симера, как и всегда): "Он сказал, что прекрасно поужинал в "Бомбей-Брассери". Ты знаешь этот ресторан?" Этот ресторан я знал. Он мне очень нравился. Я был пару раз в его огромных залах в колониальном стиле, где у входа сидит за инструментом пианистка в вечернем платье, официанты и метрдотели чрезвычайно предупредительны, а под потолком зимой и летом гоняют воздух огромные лопасти вентиляторов. Там чувствуешь себя как в театре. Для Англии это довольно дорогой ресторан, но не чересчур. Хорошее место для дружеского ужина, для того чтобы отметить сделку или отпраздновать какое-то событие. А вот для ужина с дамой

1. Вольфрам фон Рихтхофен (1895—1945) — барон, немецкий генерал-фельдмаршал. Во Вторую мировую войну с 1942 г. командовал воздушным флотом на советско-германском фронте и в Италии.
2. Эти слова, обращенные к королю Ричарду III, произносят разные герои в пьесе Уильяма Шекспира "Ричард III". Перев. с англ. М. Донского. Здесь и далее цит. по кн.: Уильям Шекспир. Трагедии. Комедии. Исторические хроники, 2000.

этот ресторан выбирают редко — только в тех случаях, когда хотят произвести впечатление на неопытную или небогатую девушку, которую можно поразить интерьером, напоить допьяна индийским пивом и которую потом не нужно везти куда-нибудь еще, а можно сразу брать такси и ехать в гостиницу или домой, и уже нет надобности говорить после обильно приправленного ароматными специями ужина, а нужно только взять ее голову в свои ладони и целовать. Хрупкая купленная голова в обрамлении чужих ладоней — словно голова монарха во время коронации или голова человека, к которой тянутся руки душителя.

Недомогание Марты наводило меня на мрачные мысли, и хотя мне было приятно стоять на пороге комнаты малыша, глядя на качающиеся в темноте самолеты и вспоминая свое детство, я решил, что пора возвращаться в спальню: посмотреть, как она там, попытаться помочь, может быть, наконец раздеть ее, только для того, чтобы уложить удобно и укрыть, не потревожив ее сна (я надеялся, что она все-таки уснула за время моего короткого отсутствия). И тогда я смогу уйти.

Но все получилось совсем не так. Когда я вошел, она подняла на меня глаза. Взгляд ее мутных глаз был неподвижен, поза не изменилась, только сейчас она охватила плечи руками, словно ей было стыдно за свою наготу или холодно. "Давай я тебя уложу? Так ты замерзнешь", — сказал я ей. "Нет, не трогай меня, пожалуйста, не трогай, — ответила она и спросила: — Где ты был?" — "Выходил в туалет. Тебе не становится лучше, надо что-то делать, думаю, стоит вызвать врача". Но она никак не соглашалась, чтобы ее двигали, беспокоили или заставляли что-то решать ("Нет, не делай пока ничего, подожди!"), и не хотела, чтобы кто-то рядом говорил или двигался, словно ей было так страшно, что она скорее предпочла бы, чтоб все вокруг застыло (или по крайней мере самой застыть в однажды принятой ею позе), чем согласилась хоть что-то изменить — ведь перемена могла разрушить такое хрупкое равновесие. Так всегда бывает с теми, кто впадает в панику: им кажется, что единственное их спасение — это спрятаться внутри той беды, которая с ними приключилась, или той опасности, которая их подстерегает. Солдат остается в окопе, сидит затаившись и почти не дышит, хотя знает, что скоро именно на этом участке начнется атака; проститутка не кричит, когда, сев в машину, слышит щелчок автоматически закрывающихся дверей и понимает, что не должна была садиться в машину к человеку с такими большими руками (или она не зовет на помощь только потому, что не считает себя вправе?); иностранец видит, как прямо ему на голову валится дерево, разбитое молнией, и не отскакивает в сторону, а смотрит, как оно медленно падает на широкий проспект; человек, сидящий в баре, видит, как к его столику приближается какой-то тип с ножом в руке, и не двигается с места, не защищается, потому что уверен: с ним ничего такого случиться не может, и этот нож не воткнется ему в живот, не может быть, чтобы этот нож распорол его кожу и искромсал его внутренности; летчик знает, что вражеский истребитель пристроился ему в хвост, и не делает последней попытки увернуться, уверенный в том, что враг, даже если удача будет на его стороне, промахнется, он не сомневается в этом только потому, что мишень сейчас — он сам. "В час битвы завтра вспомнишь обо мне и выронишь ты меч свой бесполезный. Тебе в удел — отчаянье и смерть!"[1] Мар-

1. С такими словами призрак Кларенса и призрак леди Анны являются Ричарду III во сне, накануне решающей битвы.

та, наверное, как никогда раньше ощущала течение времени, чувствовала, как проходит каждая секунда, считала эти секунды в уме, сознавала непрерывность времени, которая дает нам не только жизнь, но и ощущение жизни, которая заставляет нас думать и говорить себе: "Я думаю, говорю, читаю или смотрю фильм — следовательно, я жив; я переворачиваю газетную страницу, отпиваю еще один глоток пива из бокала, вписываю в кроссворд очередное слово, смотрю и вижу то, на что смотрю (японца, стюардессу), — и это означает, что самолет, на котором я лечу, не разбился; я курю сигарету, и это та же сигарета, что была у меня в руке несколько секунд назад, и думаю, что я докурю ее и зажгу следующую, так что все продолжается, и я ничего не могу с этим поделать, потому что не собираюсь убивать сам себя, я не хочу и не буду этого делать. Этот человек с большими руками ласкает мою шею и пока не сжимает ее, хотя его ласки грубы и он даже причиняет мне боль. Я ощущаю его неуклюжие сильные пальцы на моих скулах и на висках (моих бедных висках!). И я все еще в окопе, все еще сжимаю в руках винтовку со штыком, которым скоро мне придется воспользоваться, если я не хочу, чтобы меня проткнул штык врага, но пока — нет! Час еще не настал. И пока он не настал, окоп укрывает и хранит меня, хотя мы в открытом поле и мои уши под каской замерзли; и этот зажатый в кулаке нож все ближе ко мне и уже совсем скоро распорет мой живот, но я все еще сижу за столом и, несмотря ни на что, глотну еще, и еще, и еще из моего бокала с пивом; и это дерево все еще не упало, и не упадет, хотя ствол уже переломился и валится, оно упадет не на меня, и его ветви не отсекут мне голову: это невозможно, ведь я в этом городе проездом и на этой улице случайно, я вполне мог бы оказаться сейчас в другом месте; и я все еще смотрю на мир сверху, из моего "спитфайра", и у меня еще нет ощущения падения и перегрузки, нет головокружения, которое появится, как только висящий у меня на хвосте "мессершмитт" откроет огонь и собьет меня, но пока — нет! Час еще не настал. И пока он не настал, я могу думать, и смотреть вокруг, и строить планы на будущее. И я, бедная Марта, все еще вижу пятно света — экран телевизора, который продолжает работать, — и чувствую тепло мужчины, который вернулся и сейчас лежит рядом. И пока он рядом со мной, я не могу умереть. Пусть он остается здесь и пусть ничего не делает, пусть не говорит ни слова, никому не звонит, ничего не пытается изменить. Пусть он обнимет меня и согреет, я должна быть спокойна, и тогда я не умру. Если каждая следующая секунда будет похожа на предыдущую, у меня не будет ощущения, что я меняюсь. Пусть горит свет здесь и на улице, пусть по телевизору, пока я умираю, показывают старый фильм с Фредом Макмюрреем. Я не могу перестать существовать, пока все вещи и все люди вокруг остаются на своих местах, и все живы, а на экране продолжается чужая история. Разве может случиться так, что мои юбки, которые висят сейчас на стуле, будут продолжать жить, когда я уже не смогу надевать их, и мои книги будут дышать на полках, хотя я больше не буду открывать их? Мои серьги, бусы и кольца будут ждать в шкатулке своего часа, который никогда не наступит; моя зубная щетка, совсем недавно купленная, сегодня же отправится в мусорное ведро, потому что я ею уже пользовалась, и все мелочи, что накапливаются у человека с годами, отправятся в мусорное ведро одна за другой (впрочем, может быть, их раздадут), а их так много! Просто удивительно, сколько всего человеку нужно и сколько умещается в доме! Но никто никогда не составляет описи, разве только тот, кто пишет завещание, то есть уже задумывается о

своем неминуемом и скором уходе. Я не оставила завещания, мне нечего оставлять, да я никогда и не задумывалась о смерти, которая, оказывается, приходит, и приходит иногда внезапно, за один миг меняя все. То, что казалось ценным и было частью чьей-то истории, в этот миг теряет ценность и перестает быть частью истории: уже никто не знает, почему, как и когда была куплена эта картина или вон то платье, кто подарил мне эту брошь, откуда или от кого эта сумка или тот платок.

Кто-нибудь соберет все эти вещи в кучу, и может быть, прежде чем их завернут или просто сложат в пластиковые пакеты, мои сестры или мои подруги решат взять что-нибудь себе на память или сохранить брошь, чтобы мой сын смог подарить ее, когда вырастет, какой-нибудь женщине, которая наверняка еще даже не родилась. И будет много вещей, которые никто не захочет взять, потому что это только мои вещи: мой пинцет, мой открытый флакон туалетной воды, мое нижнее белье, мой купальный халат и моя губка, мои туфли и мои плетеные стулья, которые так не нравятся Эдуардо, мои лосьоны и лекарства, мои солнечные очки, мои тетради и мои бумаги, мои вырезки из журналов и газет и все эти книги, которые читаю только я, собранные мною раковины, старые пластинки, игрушка, которую я храню с детских лет, — мой львенок, — так что, может быть, придется заплатить кому-нибудь, чтобы все эти вещи увезли, — ведь сейчас нет жадных старьевщиков времен моего детства, которые не гнушались ничем и разъезжали, мешая движению автомобилей (которых тогда было еще не так много) по всем улицам на своих тележках, запряженных мулами (кажется невероятным, что я еще застала их, что все это было так недавно!). Гора добра на тележке росла и росла и достигала наконец высоты двухэтажного открытого автобуса, похожего на те, что ходят по Лондону (только эти автобусы были синие и ходили по правой стороне), и по мере того как росла гора вещей, она все больше раскачивалась на тележке, которую еле тянул усталый мул, и казалось, что все эти трофеи, весь этот хлам — сломанные холодильники, коробки, ящики, скатанный ковер, колченогий стул — вот-вот развалится и первой рухнет вниз цыганская девочка, неизбежно восседавшая на самом верху, удерживая всю кучу в равновесии. Эта грязная девочка (обычно светловолосая), мадонна старьевщиков, сидела спиной к мулу и разглядывала с высоты мир, остающийся сзади, смотрела на нас, девочек в школьной форме, а мы в свою очередь смотрели на нее, прижимая к груди портфели и жуя жвачку, со второго этажа автобусов, которые везли нас в школу (или из школы, если это было вечером). Мы смотрели друг на друга и завидовали друг другу: жизнь, полная приключений, и жизнь, подчиненная строгому расписанию, жизнь на воле и жизнь на всем готовом, и я всегда задавала себе один и тот же вопрос: как удается ей уклоняться от веток (ветки деревьев низко нависали над дорогой и хлестали по окнам второго этажа, словно их возмущала наша скорость и они хотели поцарапать нас), ведь она не была ничем защищена и ехала одна, едва удерживаясь на самом верху? Хотя она ведь ехала очень медленно и наверняка успевала вовремя заметить ветки и пригнуться, или придержать эти ветки, или отвести их грязными руками, торчавшими из длинных рукавов джемпера с узором из семерок, застегнутого на молнию. В один миг будет уничтожена не только история (пусть коротенькая) многих вещей, исчезнет все, что я знаю, все, чему я научилась, все мои воспоминания, все, что мне довелось увидеть: двухэтажный автобус, и тележки старьевщиков, и цыганская девочка, и еще тысяча и одна

вещь, — все, что прошло у меня перед глазами и что теперь никому не нужно, — мои воспоминания, так же как и мои вещи, нужны только мне и станут бесполезными, если я умру. Я исчезну не только та, что есть сейчас, но и та, что была раньше, не только я, бедная Марта, но и все, что хранит моя память, — тонкое кружево, непрочное полотно с узором из семерок.

Как странно, что мы вспоминаем только некоторые моменты! Почему именно этот момент, а не другой, что ему предшествовал, и не тот, что наступит после? Почему именно этот день, этот месяц, эта неделя, январский вторник или сентябрьское воскресенье? Как отвратительны месяцы и дни, которые не мы выбираем! Где принимается решение, кто приказывает живому умереть, движению — остановиться против нашей воли? Впрочем, возможно, не совсем против воли, возможно, это происходит именно потому, что наша воля вдруг устает и, покидая нас, уступает дорогу смерти, апатии, отсутствию всяких желаний, даже желания поправиться, победить недуг, даже желания избавиться от боли, в которой человек нашел себе прибежище, потому что все остальное уничтожила (или заменила собой) боль. "Пока нет! Час еще не настал!" — и можно продолжать думать, и можно продолжать прощаться: "Прощайте, радости, и прощайте, печали: больше мы с вами не встретимся. И прощайте, желания, прощайте, воспоминания!"

Я послушался и стал ждать. Я ничего не сделал, никому не позвонил. Я просто вернулся на кровать, на свое место, которое вовсе не было моим, но стало моим на эту ночь, я снова лег рядом с ней, и она сказала, не поворачиваясь и не видя меня: "Обними меня, пожалуйста! Обними меня!" Я обнял ее сзади. Моя рубашка была расстегнута, и моя кожа коснулась ее такой гладкой и горячей кожи, мои руки легли поверх ее рук, которыми она обхватила свои плечи, — сейчас ее обнимали четыре руки, это было двойное объятие (но и этого было мало), а на экране, по-прежнему без звука, в полной тишине, продолжался фильм, которому не было до нас никакого дела, и я подумал, что стоило бы когда-нибудь посмотреть этот черно-белый фильм.

Она сказала "пожалуйста" — некоторые привычки очень сильны: мы не задумываясь произносим те слова, которым нас научили в детстве, — даже когда мы в полном отчаянии, даже когда охвачены гневом, даже если стоим на пороге смерти.

Я лежал на ее кровати и обнимал ее. Я этого не планировал, но в то же время это разумелось само собой, мы оба ждали этого с той минуты, когда я переступил порог ее дома, и даже еще раньше, с того момента, как мы назначили свидание (она попросила, чтобы мы встретились дома, а не где-нибудь в городе). Но это было совсем другое объятие, не то, на которое я надеялся, когда шел сюда, и вдруг для меня стало очевидным все, чего до этой минуты я не допускал даже в мыслях (или в чем не признавался себе): я понял, что состояние Марты не временное недомогание, вызванное внезапным раскаянием, депрессией или страхом, — происходило другое, необратимое и неминуемое. Я подумал, что она сейчас умрет в моих объятиях. Я подумал об этом и вдруг испугался, что никогда не смогу выйти отсюда, что мне передалась ее неподвижность, а может быть, ее желание смерти: с одной стороны — "пока нет! Час еще не настал!", но в то же время — "я не могу больше! я больше не могу!". Наверное, она действительно больше не могла, у нее больше не было сил, потому что через несколько минут — одну, две, три или четыре — она ска-

зала еще кое-что. Она сказала: "О боже, ребенок!" — и сделала слабое и отчаянное движение, которое едва ли было б замечено, если бы кто-нибудь наблюдал за нами, но я заметил его, потому что мы лежали прижавшись друг к другу. Это был импульс в ее мозгу, импульс, которого тело почти не почувствовало, мгновенный слабый рефлекс, не в полном смысле физический, — так бывает во сне, когда человеку кажется, что он падает, летит вниз с большой высоты, проваливается в пропасть и пытается остановить падение (и сердце замирает, и кружится голова), или что он в рухнувшей вниз кабине лифта (падение, притяжение, тяжесть собственного тела), или в сбитом самолете, или что его сбрасывают с моста в реку, — словно именно в этот момент Марта ощутила необходимость подняться и пойти к своему ребенку, но смогла сделать это только мысленно, что отразилось в почти неощутимом движении. А еще через несколько минут — пять или шесть — она немного успокоилась, и я заметил, что у нее спала температура, а тело стало менее напряженным. Она прижималась ко мне спиной и словно пыталась вжаться в меня, спрятаться, убежать от того, что испытывало ее тело: от бесчеловечной метаморфозы, от необъяснимого, незнакомого прежде состояния. Ее спина упиралась в мою грудь, ягодицы — в мой живот, ее бедра упирались в мои бедра, ее затылок в потеках крови или грязи упирался в мою шею, ее левая щека прижималась к моей правой щеке, а мой висок — к ее виску (мои бедные виски! ее бедные виски!), она обхватила мои руки своими (словно моего объятия ей было мало), и даже ступни ее ног (без туфелек) упирались в подъемы моих обутых ног, так что ее чулки порвались о мои шнурки — темные чулки, которые доходили ей до середины бедер и которые я с нее еще не снял. Вся ее сила была направлена назад и против меня, мы были слиты, как сросшиеся всем телом сиамские близнецы, которые не могут видеть друг друга (разве только краешком глаза), она прижималась ко мне спиной и все толкала меня назад, сплющивала — и вдруг все прекратилось, она стала спокойной или более спокойной, она уже не давила на меня, даже не опиралась, а я почувствовал, как холодный пот выступил на моей спине, словно какая-то сверхъестественная сила обняла меня, пока я обнимал Марту, и словно невидимые руки легли на мою рубашку, оставляя на ней желтоватые водянистые следы, и ткань прилипла к моему телу. Я понял сразу: она умерла. Но все же заговорил с ней, позвал: "Марта!", потом еще раз повторил ее имя и спросил: "Ты меня слышишь?", а потом сказал уже сам себе: "Она умерла. Она умерла, а я здесь, я все видел и не мог ничего сделать, не мог помешать этому, а сейчас уже поздно звонить кому-то". Но, поняв это и сказав это себе, я не поспешил отстраниться или убрать руку, обнимавшую Марту: мне было приятно обнимать ее. Смерть ничего не изменила, меня по-прежнему волновало прикосновение к этому полураздетому телу: это все еще была она, мертвое тело еще ничем не отличалось от живого, только было более спокойное и слегка обмякшее, — тело, не объятое тревогой, тело отдыхающее, а не страдающее. Сбоку я мог видеть ее длинные ресницы и полуоткрытый рот — это были те же спутанные ресницы и те же губы, что еще так недавно говорили, ели и пили, улыбались и смеялись, курили, целовали меня. Их и теперь еще можно было целовать. "Мы оба по-прежнему здесь, в том же положении, в том же пространстве, я все еще ее чувствую, ничего не изменилось, и в то же время изменилось все, я это знаю, но я этого не понимаю. Я не знаю, почему я жив, а она умерла, я не знаю, чем одно отличается от другого.

Сейчас я не понимаю, что значит "жизнь" и что значит "смерть". Только через несколько секунд (а может быть, прошли минуты — одна, две или три) я начал отодвигаться, очень осторожно, словно боялся разбудить ее, словно это могло причинить ей боль, и если бы в эту минуту мне пришлось говорить с кем-нибудь — еще с одним свидетелем, — я говорил бы очень тихо или заговорщическим шепотом — такое уважение всегда внушает эта тайна (конечно, если нет боли и слез, потому что, когда они есть, нет тишины или тишина наступает потом). "В час битвы завтра вспомнишь обо мне и выронишь ты меч свой бесполезный. Тебе в удел — отчаянье и смерть!"

Я по-прежнему не решался прибавить громкость: во-первых, из-за этой тишины, а во-вторых, из-за того, что мне в голову пришла абсурдная мысль: нельзя прикасаться к пульту и вообще ни к чему нельзя прикасаться, чтобы не оставить отпечатков пальцев (хотя я уже столько их везде оставил, да и кто их будет искать?). Когда рядом кто-то умирает, а ты остаешься жить, какое-то время чувствуешь себя преступником. Но дело не только в этом, а и в том, что после смерти Марты мое присутствие в этом доме ничем (или почти ничем) нельзя было оправдать, тем более сейчас. Мы были почти незнакомы, и то, что я находился ночью в ее спальне, которая, возможно, была уже не ее спальней (поскольку она перестала существовать), а только спальней ее мужа, в дом которого меня пригласили в его отсутствие (но кто теперь подтвердит, что меня именно пригласили?), трудно было бы объяснить. Свидетеля у меня уже нет. Я вскочил с постели. Я вдруг заторопился, и мысли заметались у меня в голове. Мне многое нужно было обдумать и решить, необходимо было привести в движение все то, что в течение этой долгой ночи сдерживалось вином, ожиданием, поцелуями, смущением, желанием, изумлением и тревогой (не знаю, в том ли порядке?), а теперь еще и горем. "Никто не знает, что я здесь. Что я *был* здесь", — тут же поправился я, потому что в мыслях я был уже далеко от этой комнаты, от этой квартиры, от этого дома и даже от этой улицы.

"Никто не знает, что я был здесь, и никому этого не нужно знать, — сказал я сам себе, — поэтому не я должен оповещать о случившемся, не я должен мчаться в больницу "Ла-Лус" и тормошить мирно спящую медсестру. Не я разбужу ее, не я заставлю грустного студента в очках вмиг забыть все, что он выучил за эту ночь, не я прерву прощание пресытившихся любовников, что задержались у дверей того из них, кто остается, хотя им хочется только одного: расстаться поскорее, — потому что никто не должен знать и никто еще не знает, что Марта Тельес умерла. Я не позвоню анонимно в полицию, не нажму на кнопку звонка у дверей соседней квартиры, не побегу в дежурную аптеку за свидетельством о смерти. Для всех, кто ее знает, она останется живой на эту ночь, пока они спят или мучаются бессонницей здесь, или в Лондоне, или где бы то ни было еще, никто не узнает о произошедшей с ней бесчеловечной метаморфозе. Я не буду ничего делать, я не буду ни с кем говорить, не я должен сообщить эту новость. Если бы она осталась жива, никто не узнал бы — ни сегодня, ни завтра, может быть никогда, — что я был здесь. Она бы это скрыла. Пусть так и будет, пусть никто не узнает об этом и после ее смерти. А ребенок? ("О боже, ребенок!") Но об этом я решил подумать потом, через некоторое время, потому что мне пришла в голову другая мысль или несколько мыслей сразу: "Возможно, завтра она рассказала бы об этом кому-нибудь — подруге? или сестре? — рассказала бы,

смущаясь или смеясь. А может быть, она уже кому-нибудь рассказала, кого-то предупредила о моем визите — ведь это так легко сделать по телефону! Призналась, что не знает, чего хочет, или что не сомневается в исходе встречи. Возможно, она говорила обо мне прямо перед моим приходом и повесила трубку, только когда услышала звонок в дверь, — никогда не знаешь, что происходило в доме за секунду до того, как ты нажал на кнопку звонка". Я застегнул пуговицы на рубашке (застывшие сейчас пальцы Марты расстегнули их, когда еще были подвижными и полными жизни), расстегнул брюки и заправил в них рубашку. Мой пиджак остался в столовой-гостиной на спинке стула, как на вешалке, а вот где мое пальто, где шарф и перчатки? Она взяла их у меня, когда я пришел, и я не заметил, куда она их убрала. Но с этим тоже можно было подождать. Я не хотел идти в столовую, потому что звук моих шагов мог разбудить малыша, который снова заснул совсем недавно, не хотел проходить мимо его комнаты, чтобы от моих шагов не закачались самолеты. Для него жизнь изменилась, весь мир изменился, но он еще этого не знал. Больше того, его прежний мир исчез, потому что через какое-то время малыш его даже не сможет вспомнить, словно он и не существовал никогда, этот хрупкий мир, стершийся из памяти: никто не помнит, что с ним было в два года, по крайней мере я этого не помню. Я снова посмотрел на Марту, теперь уже с высоты своего роста, как стоящий человек смотрит на лежащего. Она лежала свернувшись, юбка задралась, а маленькие трусики не могли скрыть круглые твердые ягодицы, грудь была по-прежнему прикрыта руками — но это уже не человек, это только тело, никому не нужная оболочка, которую можно выбросить, сжечь, закопать, так же как и множество вдруг ставших ненужными предметов, которые раньше принадлежали ей, и как то, что отправляется в мусорное ведро, потому что с ним тоже начинают происходить метаморфозы, начинается гниение, и этот процесс нельзя остановить: загнившая кожица груши или протухшая рыба, верхние листья артишока или подгоревшая кожа цыпленка, жир от ирландского филе с наших тарелок, который она сама выбросила в мусорное ведро (совсем недавно, перед тем как мы направились в спальню). Неподвижная женщина, даже не прикрытая, даже не укрытая простыней. Это были уже отходы, но для меня она оставалась тем же, чем была раньше, для меня она не изменилась. Я должен был одеть ее, чтобы ее не нашли в таком виде, но я понимал, что это невозможно, — слишком трудно и опасно: я мог сломать ей руку, продевая ее в рукав того, что решил бы на нее надеть, да и где ее блузка? Наверное, проще разобрать постель и уложить ее — сейчас с ней можно было делать все что угодно, бедная Марта! — ее можно было как угодно двигать, по крайней мере ее можно было укрыть.

Несколько минут я стоял в оцепенении и ничего не мог делать — мой мозг напряженно работал. В такие моменты в голову приходят взаимоисключающие мысли: я подумал, что ее, возможно, огорчило бы то, что ее близкие не знают о том, что с ней случилось, и полагают, что она жива, когда это уже не так, что они не узнали обо всем тут же, что ее скоропостижная смерть не изменила все в один миг, что не зазвонили бестактные телефоны, разнося весть о ее смерти, и все, кто знал ее, не вскрикнули и не стали думать о ней; и что для всех, кому она была близка, потом тоже будет невыносимой мысль, что они в ту ночь не знали о своем несчастье: ее мужу будет невыносимо думать, что в ту ночь он спокойно спал на острове, а потом проснулся, позавтракал, отправился по

делам на Слоун-сквер или на Лонг-эйке, а потом, может быть, гулял, в то время как его жена умирала и уже была мертва, и никого не было рядом с ней (хотя какие-то подозрения у него, наверное, возникнут: вряд ли мне удастся уничтожить все следы моего многочасового пребывания здесь, даже если я захочу). Где-то он должен был оставить свой лондонский номер и адрес, где-нибудь рядом с телефоном. Возле телефона со встроенным автоответчиком, стоявшего на ночном столике Марты, никакой бумажки не было. Надо посмотреть в столовой, именно оттуда она разговаривала со своим мужем, уже в моем присутствии. Лучше мне взять этот номер и этот адрес, на тот случай, если несколько дней здесь никто не появится. Но такого не случится, это невозможно, несколько дней — это слишком долго. Внезапно меня прошиб холодный пот: кто-то должен прийти. И скоро. Марта работала, она должна была с кем-то оставлять ребенка, не могла же она возить его с собой на факультет, наверняка у нее была няня, или приходила ее подруга, или сестра, или мать, если только (в ужасе думал я) она не оставляла его в детском саду — в этом случае она сама должна была бы его туда отводить до работы. И тогда что? Завтра его никто туда не отведет? А может быть, у Марты вообще завтра нет занятий или занятия во второй половине дня? Тогда до этого времени здесь никто не появится, она ничего не говорила о том, что завтра ей рано вставать, а вот что она говорила, так это то, что иногда у нее занятия утром, а иногда — после обеда, и не каждый день. Или это у нее консультации то по утрам, то по вечерам? Я уже не помнил. Когда человек умирает и уже ничего не может повторить, мы жалеем, что не прислушивались к каждому его слову. Чужие расписания — кто их запоминает! Я решил пойти в гостиную, снял ботинки и пошел на цыпочках. Проходя мимо комнаты малыша, я хотел закрыть дверь, но потом подумал, что скрип двери может разбудить его, и пошел дальше, ступая с чрезвычайной осторожностью, держа на указательном пальце связанные за шнурки ботинки, — как гуляка из анекдота или из немого кино, но паркет все-таки предательски скрипнул несколько раз. Войдя в гостиную, я закрыл за собой дверь и снова обулся, только шнурки завязывать не стал, зная, что мне придется возвращаться назад. В гостиной остались бутылка вина и два бокала — единственное, что Марта (женщина очень аккуратная) не убрала. Вино осталось не потому, что Марта забыла о нем, а потому, что мы после ужина пили его, сидя на софе (которую сначала занимал, а потом освободил малыш) после того, как съели ванильное мороженое, и до того, как начали целоваться и перешли в спальню. Это было так недавно, а сейчас все уже кончилось: нам всегда всего бывает мало, и, когда что-то кончается, всегда оказывается, что нам опять не хватило времени. Рядом с телефоном в гостиной я заметил несколько желтых бумажек, приклеенных к столу липкой полоской (три-четыре листочка с записями) и квадратный блокнотик, откуда эти листочки были оторваны. На одном из них было то, что я искал: "Эдуардо", и ниже: "Отель Вильбрахам", еще ниже — "Вильбрам-плейс", и еще ниже: "4471/7308296". Я оторвал еще один листок, вынул из кармана только что надетого (я уже собирался уходить) пиджака (он висел там же, где я его и оставил, — на спинке стула, как на вешалке) ручку и хотел переписать адрес и телефон. Но не переписал. Когда у тебя есть номер телефона, хочется воспользоваться им сразу же. У меня был лондонский телефон этого Эдуардо. Я даже фамилии его не знал, но что может быть проще, чем узнать фамилию человека, когда находишься в его доме? Я

поглядел вокруг и на журнальном столике увидел несколько писем, на которые раньше не обратил внимания, потому что мне незачем было обращать на них внимание. Наверное, эти письма пришли вчера, уже после его отъезда, и должны были копиться на этом столике и ждать его возвращения. Только теперь здесь немного накопится, потому что ему придется вернуться очень скоро. "Эдуардо Деан" — было написано на двух из трех конвертов, а на третьем — это письмо было из банка — стояли обе фамилии[1]. Позвонить ему? Но что я ему скажу? Я могу не называть своего имени, просто рассказать, что случилось, и возложить на него ответственность за то, что будет происходить дальше, раз он не пришел нам на помощь до этого. И тогда я смогу вздохнуть свободно, смогу уйти и начать забывать. Воспоминание будет тускнеть, блекнуть и постепенно перестанет отдаваться острой болью — останется в памяти лишь как случай, о котором (не сейчас, конечно, а через какое-то время, когда степень ирреальности этой истории возрастет, а степень драматизма уменьшится) можно рассказать близким друзьям. Этот путешественник слишком надолго забыл о своей семье, а о самых близких людях надо помнить постоянно. Впрочем, я не прав: он звонил после ужина в индийском ресторане. Пусть так, но Марта Тельес была не моей женой, а его, и малыш (его, следовательно, зовут Эухенио Деан) был не моим сыном. Мужу и отцу Деану все равно придется разбираться с этим, почему бы ему не начать уже сейчас, из Лондона? Я (впервые за долгое время) посмотрел на часы. Было почти три, но на острове — на час меньше, значит, почти два, не так и поздно для мадридца, даже если на следующее утро его ждут дела. К тому же в Англии вообще ложатся поздно, и, набирая номер, я думал (пальцы гораздо быстрее, чем воля, чем решимость, иногда мы начинаем действовать раньше, чем примем решение): "Все равно, который теперь час. Когда речь идет о таком серьезном деле, стоит ли беспокоиться о том, что мне придется разбудить Деана? Сон слетит с него, как только он услышит страшную новость. Сначала он решит, что это чья-то ужасная шутка, злая выдумка какого-нибудь врага, и тут же позвонит сюда, но никто ему не ответит. Тогда он позвонит кому-нибудь еще — свояченице, сестре, подруге — и попросит приехать сюда и узнать, что происходит, но когда они приедут, меня здесь уже не будет".

В Англии ответили не сразу — пять гудков, наверняка портье задремал этой длинной мартовской ночью, и ему казалось, что звонки ему только снятся.

— "Отель Вильбрахам", доброе утро, — сказал по-английски очень хриплый (со сна, что вполне понятно в такое время суток) голос.

— Мне нужен сеньор Дин[2], — сказал я. — Сеньор Дин. Вернее, мистер Дин.

— Из какого номера? — спросил голос уже без хрипоты, нейтральный, профессиональный голос.

— Я не знаю, в каком он номере. Эдуардо Дин.

— Минуточку.

Я подождал несколько секунд. Я слышал, как на другом конце провода портье тихонько насвистывал — довольно странно для англичанина,

1. В Испании у каждого человека две фамилии. Первой пишется фамилия отца, второй — матери.
2. Так произносилась бы эта испанская фамилия по правилам английской фонетики.

которого разбудили в такое время: у них там сейчас глубокая ночь. После того как этот свист закончится, в трубке должен послышаться хриплый встревоженный голос мужа Марты. Я приготовился, но услышал все тот же голос:

— Вы слушаете? У нас нет никакого сеньора Дина, сеньор. Как эта фамилия пишется?

Мне-таки пришлось диктовать по буквам.

— Вы уверены, что под такой фамилией у вас никто не зарегистрирован?

— Совершенно уверен. Когда он должен был приехать в Лондон?

— Сегодня. Он должен был приехать сегодня.

— Вы хотели сказать вчера, во вторник? Минуточку, не вешайте трубку, — повторил портье. Для него были уже в прошлом тот день и та ночь, которые для меня все никак не кончались. Снова послышался свист — портье был человек веселый и жизнерадостный, наверное, он еще очень молод (или, может быть, он выспался перед ночной сменой и сейчас был бодрым и свежим). Он насвистывал "Strangers in the Night"[1], и эта мелодия в сложившихся обстоятельствах звучала как сарказм, хотя и очень подходила к этим обстоятельствам. Но в таком случае он не так молод, молодежь не насвистывает песен Синатры. Еще через несколько секунд он сказал: — На вчерашний день не было никакого заказа на это имя, сеньор. Я думал, что он, возможно, зарезервировал номер, а потом снял заказ, — но нет, на это имя никакого заказа не было.

Я хотел было попросить его посмотреть еще раз, возможно, заказ был сделан на сегодня, на среду, но не стал этого делать. Я поблагодарил портье, он ответил мне: "Адьос, сеньор!"[2] Я повесил трубку, и только в эту минуту нашел простое объяснение: в Англии, так же как и в Португалии, и в Америке, если у человека несколько имен или фамилий, то главной считается последняя. Артур Конан Дойл, например, значится в словарях как Дойл. Возможно, посмотрев в паспорт Деана, они зарегистрировали его под его второй фамилией — Бальестерос, которая для нас, испанцев, является второстепенной. Я мог бы позвонить еще раз и спросить мистера Бальестероса, но вдруг понял, что делать этого не следует. Мне вообще не следовало звонить и спрашивать мистера Дина, я и так чуть было не попался: если бы я сообщил Дину страшную новость, он мог позвонить не только свояченице, сестре или подруге, он мог тут же позвонить соседке или, того хуже, консьержу, и они тут же явились бы сюда и нашли меня, когда я спускался бы на лифте или по лестнице, или даже застали бы меня прямо здесь (к их приходу я, скорее всего, еще не успел бы выйти из квартиры). Нужно было уходить как можно быстрее, нельзя было задерживаться, хотя пока еще никто ничего не знал; никто не должен был прийти сюда так поздно. Но мне нужно было сделать еще кое-что. Я снова снял ботинки и вернулся в спальню. Когда я проходил мимо комнаты малыша, меня обожгла мысль, которая не покидала меня уже давно (но пока была отодвинута на задний план), с той минуты, как я услышал последние слова Марты: "О, боже, ребенок!" Я пошел дальше. Сейчас, после того как я вступил в контакт с внешним миром (не важно, что это был всего лишь портье из гостини-

1. "Незнакомцы в ночи" (*англ.*) — название популярной песни из репертуара Фрэнка Синатры.
2. До свидания, сеньор! (*исп.*)

цы в далекой стране, о котором я ничего не знаю и никогда не узнаю), я видел все совсем в ином свете. Когда я вошел в спальню, мне в первый раз стало стыдно за полуобнаженное тело Марты, ведь это было дело моих рук. Я подошел к кровати, отогнул одеяло с той стороны, где не лежало тело (в эту ночь это было мое место, а в другие ночи здесь было место ее мужа), потом обошел кровать и попытался осторожно передвинуть тело Марты с ее места на наше с Деаном. Сделать это оказалось не так легко — простыни сбились и образовался бугор, к тому же сейчас мертвое тело отталкивало меня (одна моя рука лежала на ее плече, другая — на бедре), сейчас прикосновение к ней не было мне приятно, думаю, что, передвигая ее, я старался отводить взгляд. В конце концов мне пришлось перекатить ее, другого способа преодолеть бугор не было, и, когда она оказалась на той половине кровати, где никогда не спала (она перевернулась два раза и теперь лежала в прежней позе, на правом боку), я накрыл ее одеялом, которое до этого отогнул, я укрыл ее, укутал, натянул одеяло ей до подбородка и до затылка (он теперь не был влажным, словно она только что вышла из душа) и подумал, не следует ли закрыть ей и лицо, как делают в подобных случаях (я сотни раз видел это в фильмах и в выпусках новостей). Но тогда все поняли бы, что, когда она умирала, рядом с ней кто-то был, а явных доказательств этого оставлять было нельзя. Пусть будут только подозрения — их избежать все равно не удастся. Я посмотрел на ее лицо, так похожее на ее прежнее лицо, — она легко узнала бы себя, если б могла посмотреть в зеркало, как она делала это по утрам каждый день (теперь можно даже сказать, сколько дней было в ее жизни — их можно подсчитать только тогда, когда жизнь кончается), такое узнаваемое и для меня самого: я увидел и узнал его на фотографии, что стояла на комоде, — фотографии, сделанной в день ее свадьбы. Эта фотография останется здесь навсегда. Снимок был сделан пять лет тому назад, по ее словам. Она здесь немного моложе, волосы собраны, как носили в девятнадцатом веке, затылок открыт, на лице — ликование и страх. Она смеется, но это тревожный смех. На ней короткое белое (а может быть, кремовое — фотография не цветная) платье. Она, как и положено, держит под руку мужа. Его лицо серьезно и невыразительно, как у всех мужей на свадебных фотографиях. На снимке только они вдвоем, хотя вокруг них тогда были люди. У Марты в руках цветы, и смотрит она не в объектив, а на тех, кто стоит слева от нее, — на сестер, невесток и подруг, веселых, взволнованных подруг, которые знают ее с давних лет, с тех пор как были совсем девочками. Им не верится, что она выходит замуж, для них это игра, в которую они играют все вместе. Это ее самые лучшие, самые близкие подруги, они ей как сестры, а сестры — как подруги, и те и другие сейчас солидарны, и те и другие ей завидуют. А ее муж, Деан, если присмотреться, не просто серьезен, он чувствует себя неловко, словно случайно попал на вечеринку к соседям своих знакомых или присутствует на празднике, который к нему не имеет никакого отношения, потому что это женский праздник (свадьба — это праздник для женщин, не для невесты, а для всех присутствующих женщин), чувствует себя чужаком, необходимой, но, по сути, декоративной фигурой, без которой легко можно обойтись во время всего празднества (он необходим только в ту минуту, когда нужно идти к алтарю), которое иногда длится всю ночь, приводя его в отчаяние, заставляя страдать от ревности, одиночества и угрызений совести. Он знает, что снова станет необходимым — обязательной фигурой, —

когда все уйдут. Или уйдет только он — и его невеста, которая будет уходить с неохотой и все время будет оглядываться назад, и в глазах ее будет отражаться темная ночь. Эдуардо Деан носит усы, он смотрит в объектив и покусывает губу, он кажется очень высоким и худым, и, хотя его лицо показалось мне запоминающимся, я не мог его вспомнить, как только покинул этот дом и улицу Конде-де-ла-Симера.

Но в тот момент я еще не покинул этот дом, я все не решался уйти, словно мое присутствие могло поправить непоправимое, словно мне было стыдно оставить Марту, бросить ее одну в ту ночь, которая должна была стать нашей первой ночью, — я этого не хотел, я к этому не стремился! — словно, пока я оставался здесь, во всем еще был какой-то смысл, не оборвалась связующая нить, шелковая нить. Марта умерла, но продолжалось действо, задуманное ею, когда она была еще жива. Я все еще был в ее спальне, и от этого ее смерть казалась не такой окончательной и бесповоротной, потому что я был здесь и тогда, когда она была жива, я знаю, как все было, и сейчас я стал связующей нитью: ее туфли, которые уже никто никогда не наденет, ее юбки, которые так и останутся невыглаженными, еще имеют смысл и историю, потому что я свидетель того, что она их носила, что они были на ней — ее туфли на каблуках, слишком высоких, чтобы ходить так дома, даже если в доме гость (я видел, как она сбросила туфли, войдя в спальню, и сразу стала меньше ростом, стала более мягкой, домашней). Я могу рассказать обо всем и потому могу объяснить, как совершился переход от жизни к смерти, а это один из способов продлить ее жизнь и принять ее смерть: если есть свидетель, если кто-то присутствовал при обоих этих событиях (или их следует назвать состояниями?), если кто-то умирает не в одиночестве — тот, кто присутствовал при его смерти, может подтвердить, что умерший не всегда был мертвым, а был когда-то живым. Фред Макмюррей и Барбара Стенвик все еще что-то говорили, и их слова можно было прочитать в субтитрах, будто ничего не случилось, и вдруг зазвонил телефон, и меня охватил страх (правда, не сразу: сначала я подумал, что телефон звонит в фильме, но в те времена телефонные звонки звучали по-другому, к тому же в этой сцене не было никакого телефона, да и герои на экране не обернулись на звонок и не сняли трубку), и я тут же повернулся к ночному столику Марты: в комнате Марты в три часа ночи звонил телефон. “Этого не может быть, — думал я, — я не говорил с ее мужем, я звонил, но я не смог с ним поговорить, и никто не знает о том, что случилось, портье я ничего не рассказал, я же ничего ему не рассказал!” И еще я подумал (мысли мешались в голове, как всегда бывает в подобных случаях): “Может быть, ему приснился страшный сон там, в далеком Лондоне, может быть, он почувствовал что-то и проснулся, охваченный отчаянием и ревностью (или угрызениями совести?), остро почувствовал свое одиночество и решил позвонить, чтобы просушить выступивший холодный пот, чтобы успокоиться, даже если для этого пришлось бы разбудить ее и, может быть, даже ребенка”. Я не догадался быстро закрыть дверь, чтобы малыш и в самом деле не проснулся, и после третьего звонка снял трубку — от страха, а еще для того, чтобы прекратились эти резкие звонки, но я не сказал: “Слушаю”, потому что увидел, как замигал красный огонек, и сообразил, что включен автоответчик и что он уже начал говорить вместо меня. В трубке я услышал мужской голос и снова сжался от страха. Голос звал: “Марта!” — и снова: “Марта!” Я повесил трубку и стоял затаив дыхание, как будто кто-то мог меня увидеть. Я сделал несколь-

ко шагов к двери, осторожно ее закрыл и стал ждать новых звонков, которые должны были раздаться вскоре и которые вскоре раздались — один, два, три и четыре, — и снова включился автоответчик. Я не слышал голоса, записанного на пленку, я даже не знаю, чей это был голос — ее (записанный, когда она была еще жива) или Деана, ее мужа, который был сейчас далеко. Потом прозвучал сигнал, и я услышал тот же мужской голос, который снова позвал: "Марта! Марта, ты там?" В тоне его звучало нетерпение, даже раздражение: "Нас что, разъединили? Ты слышишь меня?" Последовала пауза, и мужчина в нетерпении прищелкнул языком. "Ты меня слышишь? Что за игры? Или тебя дома нет? Но я же только что звонил, и ты брала трубку! Эй, сними трубку, черт возьми!" Секунду он ждал ответа. Я подумал, что этот Деан порядочный грубиян. "Ну не знаю, что у тебя там, звук включен слишком тихо или ты ушла куда-нибудь, — не понимаю. Может быть, ты сестру попросила посидеть с ребенком? Я только что пришел и услышал твое сообщение. Надо же! Как ты могла забыть, что Эдуардо уезжает сегодня! Наверное, не слишком хочешь со мной встретиться. А ведь мы могли бы сегодня провести вместе ночь, и в спокойной обстановке, не в отеле и не в машине. Черт, ты могла бы прийти ко мне или я к тебе — куда лучше, чем провести такую ночку, какая у меня сегодня выдалась. Марта! Марта! Дура, ты почему не отвечаешь?" Снова последовала пауза, слышно было только, как он скрипит зубами от злости. "Это не Деан, — подумал я, — но это очень деспотичный и грубый тип". Мужчина заговорил снова, быстро и раздраженно, но очень твердо, звук его голоса напоминал гудение электрической бритвы, ровное, торопливое и монотонное: "Ну уж не знаю, наверное, ты куда-нибудь ушла. А ребенок? Ну не знаю. Если ты ушла и скоро вернешься, скажем до трех или до без четверти четыре, позвони мне, если хочешь. Я не собираюсь спать и — если хочешь — еще успею к тебе заехать. У меня сегодня ужасная ночь, я потом тебе расскажу, во что я вляпался. Так что мне все равно, во сколько я лягу, — завтра все равно буду разбитым. Марта! Ты слышишь?" Последовала еще одна пауза, совсем коротенькая, во время которой он снова раздраженно прищелкнул языком. "Ну не знаю, спишь ты там, что ли? Завтра поговорим. Но завтра Инес не в ночную смену, так что насчет увидеться — вряд ли. Вот черт! Как ты могла забыть! Как была разгильдяйкой, так и осталась!"

Он даже не попрощался. Командный голос, фамильярный и пренебрежительный тон. Очень самоуверенный тип, или просто привык, что все его слушаются. Он говорил с мертвой женщиной, но он этого не знал. Он грубо разговаривал с мертвой женщиной, он говорил требовательно, он упрекал ее. Этот голос привык требовать и унижать. Но Марта об этом не узнает. Да и он никогда уже не сможет рассказать ей, что с ним такое приключилось этой ночью. Он не единственный, с кем произошло что-то ужасное, — со мною тоже, не говоря уж о Марте. А насчет увидеться — это уж точно вряд ли, он даже не подозревает, до какой степени он тут прав, они уже никогда не будут встречаться, ни в спокойной обстановке, ни второпях, ни в отеле, ни в машине, ни где бы то ни было еще, и это меня на миг странным образом обрадовало, я почувствовал уколы ревности (запоздалой или воображаемой), такие же короткие и прерывистые, как мерцание красного огонька на автоответчике, который снова замигал, когда тот человек повесил трубку. "Так я, значит, был запасным вариантом", — подумал я. Я даже испытал разочарование: "Так значит, она просто забыла, что ее муж уезжает (а я-то думал, что она на-

рочно пригласила меня в его отсутствие!), и значит, возможно, что она этого не хотела, она к этому не стремилась. Может быть, ничего не было заранее предусмотрено, просто так сложилось". Мы собирались вместе поужинать сегодня в ресторане, но днем она позвонила мне и спросила, не лучше ли будет поужинать у нее. Она сказала, что в последнее время она так закрутилась с работой и со всеми своими делами, что совсем забыла о том, что ее муж уезжает сегодня в Лондон. Она рассчитывала, что он присмотрит за ребенком, а потому не позаботилась о том, чтобы найти няню, так что оставалось либо отменить нашу встречу, либо поужинать у нее дома, там, где мы на самом деле и ужинали (в гостиной все еще стояли наши бокалы). Приглашение застало меня врасплох, я предложил перенести встречу, я не хотел осложнять ей жизнь, но она настаивала: это не проблема, у нее в морозилке лежит недавно купленное отличное ирландское филе, сказала она, и спросила, люблю ли я мясо. Я по своей самонадеянности принял ее настойчивость за признак того, что это будет не просто ужин. А сейчас я узнал, что она позвонила мне только потому, что не смогла разыскать того типа с электрическим голосом, который только в три часа ночи прослушал ее сообщение, оставленное, вероятно, после того как Инес, кем бы она там ни была (скорее всего, она жена этого типа), ушла на свое дежурство (что это за дежурство?). Завтра у нее дежурства нет, а сегодня есть. Она ушла, наверное, не очень рано, должно быть, она медсестра или фармацевт или служит в полиции или в суде. "Если бы Марта дозвонилась до него, она, конечно же, перезвонила бы мне и отменила нашу встречу и мой визит на улицу Конде-де-ла-Симера, она принимала бы здесь не меня, а этого типа, и сейчас с ней был бы он — у него больше оснований для этого. Он-то не потерял бы столько времени даром. Возможно, мое место на кровати уже было когда-нибудь его местом — не каждую ночь, как для Деана, а в какую-нибудь из ночей". Я смотрел на Марту и мысленно обращался к ней: "Кому еще ты звонила сегодня (уже надо говорить "вчера"), когда вспомнила, что твой муж уезжает и ты свободна? Скольких мужчин ты вспомнила, скольким позвонила, чтобы пригласить к себе, чтобы разделить с ними эту одинокую ночь? Но всем ты позвонила слишком поздно. Может быть, остался только один, кого ты почти не знала, кого подцепила несколько дней назад, не особо задумываясь, не предполагая, что именно с ним проведешь ту ночь, когда будешь свободна (хотя ты едва не забыла, что будешь свободна в эту ночь). Возможно, ты вспомнила обо мне только после того, как перелистала всю записную книжку и по нескольку раз набрала все знакомые номера (ты сидела у этого самого телефона, который стоит на твоем ночном столике и звонит сейчас, потому что кто-то разыскивает тебя — кто-то, кто не знает, что ты умерла, и умерла в моих объятиях. Он звонит и будет звонить до тех пор, пока ему не скажут, что он может вычеркнуть твой номер из своей телефонной книжки, что Марте Тельес бесполезно звонить, потому что она уже не ответит, — бесполезный номер, который забудут те, кто когда-то приложил столько усилий, чтобы заполучить его или запомнить — я тоже был среди них, — те, для кого этот номер давно стал привычным и чьи пальцы сами набирали его (как тот мужчина, чей бритвенный голос записался на пленку, так что его сможет прослушать любой, кто войдет в эту комнату. Его не услышит только та, кому его сообщение предназначалось). А может быть, я несправедлив? Может быть, я был всего лишь вторым в ее списке? Бедная Марта! Я мог бы за-

менить того типа с командным голосом, если бы эта ночь все-таки стала нашей первой ночью, первой в череде многих таких же ночей, что привели бы нас однажды к бесконечному прощанию (с долгими поцелуями пресыщенных любовников) у моей двери, первой из тех ночей, которые уже не ждут нас в будущем, которые остались только в моем воображении, в моей памяти, которая хранит то, что случилось, и то, чего не случилось, то, что сделано, и то, чего сделать не удалось, необратимое и несбывшееся, то, что мы сами выбрали, и то, от чего мы отказались, то, что повторяется, и то, что теряется навсегда, — так, словно между теми и другими нет разницы: для нашей памяти они равны. Сколько раз тебе пришлось так звонить за всю твою жизнь, про которую я ничего не знаю (я знаю только, как эта жизнь закончилась) и уже никогда не узнаю. Но я буду помнить тебя, буду пытаться проникнуть за черную изнанку времени".

Я отогнал неприятные мысли. До этой минуты я старался не смотреть на себя в зеркало, но сейчас увидел себя в полный рост. У меня были сонные пустые глаза (глаза пощипывало, и я потер их руками), в которых застыли непонимание и растерянность. Я был все тот же, внешне я не изменился (в отличие от Марты), на мне даже был пиджак, и во мне легко было узнать того человека, который пришел в этот дом на ужин несколько часов назад — так недавно и так давно. Нужно было уходить как можно скорее, но я вдруг почувствовал, что не могу пошевелиться, словно тело мое опутала паутина. Я стоял в оцепенении: я должен был сделать что-то еще, но мой воспаленный мозг никак не мог вспомнить что. Я был без ботинок, а в таком виде нельзя действовать, нельзя принимать никаких решений. Я надел ботинки и, ставя ноги попеременно на край кровати, завязал шнурки. Я посмотрел вокруг, ни на чем не останавливая взгляда, и, прежде чем выйти, вынул из автоответчика крошечную кассету и положил ее в карман пиджака. Наверное, я руководствовался двумя соображениями (впрочем, возможно, я объяснил себе это потом, а тогда взял кассету машинально): Деан ни в чем не должен быть уверен, потому что нет ничего страшнее абсолютной уверенности (и к ней никого нельзя принуждать), всегда должно быть место для сомнения, и если уж Деан будет кого-то подозревать, то лучше пусть он полагает, что мужчина, ужинавший сегодня с Мартой, был тот человек с командным голосом, а не я (если же он найдет и прослушает пленку, тот человек будет вне подозрений). Первое из этих соображений было проявлением гуманности (хотя и не совсем искренним), а второе — проявлением осторожности (хотя, подумал я, обо мне едва ли кто знает). А потом (и это я тоже сделал машинально, без какой бы то ни было торжественности, мой поступок был непреднамеренным и лишенным всякого смысла) я поцеловал Марту в лоб — очень быстро, едва коснувшись губами. Я вышел из спальни, не выключив телевизор, оставив Фреда Макмюррея и Барбару Стенвик еще на какое-то время (пока не кончится фильм) единственными свидетелями (немыми, но с говорившими за них титрами) обоих состояний Марты Тельес — ее жизни и ее смерти — и перехода из одного состояния в другое. Свет я тоже не выключил: я уже не мог думать о том, что будет лучше для меня, для нее, для Деана или для малыша, у меня больше не было сил, я оставил все как было. На этот раз я шел по коридору в ботинках, нимало не беспокоясь: ребенка сейчас вряд ли что могло разбудить. Я вошел в гостиную, взял бутылку и бокалы, отнес их на кухню, увидел там фартук, который Марта надевала, когда жарила мясо, вымыл бокалы, поставил

их на решетку донышками кверху, чтобы стекла вода и они высохли, вылил в раковину остатки вина из бутылки (там почти ничего уже не было — мы пили, чтобы хотеть и стремиться) — "Château Malartic" (я в винах не разбираюсь) — и выбросил бутылку в мусорное ведро, туда, где уже лежала упаковка от мороженого, картофельные очистки, разорванные листы бумаги, кусочек ваты со следами крови, жир от ирландского мяса, которое мы ели и которое мне понравилось, — мусор, брошенный сюда совсем недавно, брошенный тогда еще живой, а теперь мертвой рукой. Сейчас этот жир и эта рука были одинаково не нужны и одинаково мертвы. "Мое пальто, шарф и перчатки, — подумал я. — Куда Марта их положила, когда я вошел?" Рядом со входной дверью был встроенный шкаф. Я открыл его, и в нем загорелась лампочка (тот же принцип, что в холодильнике). Там они и были: голубой шарф, аккуратно сложенный, висел на левом плече темно-синего пальто с поднятым (как я всегда ношу) воротником, черные перчатки высовываются из левого кармана (совсем чуть-чуть — так, чтобы их сразу можно было увидеть и чтобы они не выпали). Она была аккуратная женщина и знала, как хранить чужие вещи. Я оделся: сначала шарф, потом пальто. Кожаные перчатки я пока надевать не стал. Секунду я смотрел на висевшую в шкафу одежду трех размеров. У Деана был хороший плащ стального цвета. Странно, что он не взял его с собой в Лондон. Судя по одежде, Деан очень высокого роста. У Марты было несколько пальто. Одно, меховое, висело в пластиковом мешке, застегнутом на молнию (не знаю, какой там был мех и был ли это натуральный мех или искусственный); маленькая курточка и маленькое темно-синее пальто с золотыми пуговицами висели очень далеко от дна шкафа, и так будет еще долго: постепенно они будут удлиняться и приближаться к нему. На верхней полке лежали шляпы, сейчас таких уже не носят. Я увидел там настоящий тропический шлем. Я не удержался и взял его. Он казался очень старым, кожаный ремешок, который застегивают под подбородком, и подкладка давно истерлись, на подкладке сохранилась этикетка, на которой можно было разобрать: "Teobaldo Disegni", и чуть ниже: "4 Avenue de France", и еще ниже: "Tunis". Как он сюда попал? Должно быть, он принадлежал когда-то отцу Деана или отцу Марты и они унаследовали его, как малыш унаследовал самолеты на нитках, принадлежавшие в детстве его отцу. Я надел шлем, и мне захотелось посмотреть на себя в зеркало. Я прошел в ванную и не смог сдержать улыбку, когда увидел себя: колонист зимой, в пальто и в шарфе. Но улыбка моя тут же исчезла: "Малыш!" Я не хотел думать о нем (сосредоточиться на нем) все это время, но я знал, я с самого начала понимал, что мне предстоит принять решение, знал даже, какой из трех возможных вариантов я выберу. Я снял шлем, положил его на место и закрыл дверцу шкафа (лампочка погасла). Я мог бы остаться с ребенком, пока кто-нибудь не придет, но в этом не было смысла — это было все равно что дозвониться Деану (или спуститься к консьержу, или разбудить кого-нибудь из соседей) и выдать себя и Марту. Я мог забрать его с собой и вернуть, когда тело его матери будет обнаружено. Это можно сделать анонимно: просто оставить его в нескольких метрах от подъезда на следующий день (или через день) и уйти (или оставить его около окошка консьержа и убежать). Но тогда придется провести с ним двадцать четыре или сорок восемь часов, а я не знаю, чего от него можно ожидать. Очень даже вероятно, что он не захочет идти со мной, не захочет уходить из дома. Мне придется его разбудить среди ночи, придется одевать его и не пускать в комнату матери.

Он, наверное, будет плакать и брыкаться, бросится на пол, когда я буду тащить его по коридору к двери, я буду чувствовать себя похитителем, — нет, это невозможно. А еще можно оставить его здесь. Я должен был оставить его здесь, другого выхода не было. Пусть он спит, пока не проснется, а когда проснется, он позовет мать или, может быть, выберется из кроватки и сам отправится к ней. Он взберется на ее кровать и начнет тормошить укрытое неподвижное тело, почти такое же, каким оно всегда было по утрам, будет требовать ее внимания, поднимет рев, раскапризничается, ничего не будет понимать — дети в этом возрасте не знают, что такое смерть, поэтому он не подумает: "Она мертвая. Мама умерла". Он даже не понял бы смысла этого слова, как не понял бы смысла слова "жизнь": для него (счастливчик!) нет ни той, ни другой. Потом он устанет и сядет смотреть телевизор (может быть, нужно включить и тот, что стоит в гостиной, чтобы малышу, если он захочет посмотреть телевизор, не пришлось оставаться в спальне, рядом с трупом?), а может быть, займется своими делами — игрушки, еда (он ведь проголодается) — или зальется громким нескончаемым плачем (просто невероятно, какие у детей легкие и как долго они могут плакать), и тогда его услышит кто-нибудь из соседей и позвонит в дверь, хотя какое до этого дело соседям, разве что им будет мешать его плач. Кто-нибудь все равно придет утром — няня, домработница, сестра. Или Деан позвонит в перерыве между встречами, и ему никто не ответит, даже автоответчик (кассета лежит у меня в кармане пиджака), и тогда он встревожится и начнет выяснять, что случилось, начнет действовать. Одна мысль задержалась в моей голове: малыш будет голоден. Я открыл холодильник, собираясь приготовить ему что-нибудь (так оставляют еду домашним животным, уезжая на день-другой). В холодильнике я обнаружил ветчину, шоколад, фрукты. Я очистил два мандарина, чтобы ему легче было их съесть, снял шкурку с салями, чтобы он ею не подавился (ведь рядом не будет матери, чтобы засунуть ему в рот палец и спасти его), срезал с сыра корочку, порезал сыр, вымыл нож. В одном из шкафов я нашел галеты и пакет с солеными орешками, открыл пакет, выложил все на тарелку (если бы я открыл йогурт, он бы испортился). Блюдо получилось несуразное — мешанина какая-то, но это было не важно: ему будет чем утолить голод, если тот, кто должен утром прийти, вдруг задержится. Да, он же еще и пить захочет! Я достал из холодильника пакет сока, наполнил стакан и поставил рядом с тарелкой на кухонный стол, к которому придвинул скамеечку — малыш легко взберется на нее, в два года дети хорошо умеют лазать. Я понимал, что выдаю себя, что эта тарелка будет подтверждением того, что я (то есть не я, а кто-то) был здесь, но это уже не имело значения.

Больше мне здесь делать было нечего, больше я ничего сделать не мог. Я посмотрел в сторону спальни. Сейчас у меня не возникало ни малейшего желания вернуться туда. К счастью, мне незачем было это делать, мое присутствие там не требовалось. Я вошел в гостиную, включил для малыша телевизор (звук я сделал негромкий, но все-таки ему будет что-то слышно). Я нашел канал, который до сих пор работал. Там тоже шел фильм, и я сразу его вспомнил — "Полуночные колокола"[1], старый черно-белый фильм, их всегда показывают на рассвете, когда весь мир и

1. "Полуночные колокола" ("Фальстаф", 1966) — фильм по мотивам пьес Шекспира "Генрих IV", "Генрих V" и "Виндзорские проказницы", в центре которого трагикомический образ Фальстафа. Исполнитель главной роли и режиссер фильма Орсон Уэллс.

так черно-белый. Мне казалось, что в доме, который я покидаю, ужасный беспорядок: зажженный свет, работающие телевизоры, еда вынута из холодильника и сложена на одну тарелку, автоответчик без кассеты, неглаженая одежда, грязные пепельницы, полуобнаженное укрытое тело. Только в комнате Эухенио все по-прежнему было в порядке, словно разрушительный вихрь обошел ее стороной. Я снова заглянул туда: постоял несколько секунд на пороге, прислушиваясь к ровному дыханию малыша, и подумал: "Этот ребенок не узнает меня, если мы когда-нибудь встретимся, он никогда не узнает того, что случилось сегодня: почему вдруг разрушился его мир, при каких обстоятельствах умерла его мать. Его отец, тетя, его дедушки и бабушки (если они у него есть) будут от него это скрывать — взрослые всегда скрывают от детей все, что считают недостойным. Они будут скрывать это не только от него, но и от всех — смерть ужасная или постыдная, смешная смерть, смерть, которая нас оскорбляет. Но на самом деле и они многого не будут знать: ведь их здесь не было, а я (единственный свидетель) ничего им не расскажу, так что никто никогда не узнает, что произошло этой ночью, и малыш, который был здесь и видел меня, видел, как все начиналось, будет знать о случившемся меньше всех. Он забудет это так же, как забудет то, что было вчера и позавчера, то, что будет послезавтра. Пройдет совсем немного времени, и он забудет свой прежний мир и мать — все, что он потерял сегодня (а может быть, еще раньше?), не вспомнит ничего из того, что с ним было с тех пор, как он родился (это было бесполезное для него время, ведь его память ничего не удерживала для будущего, и только его родители запоминали все, чтобы потом, в будущем, рассказать ему, каким он был, когда был маленьким, очень-очень маленьким: как говорил, и что говорил, и что с ним приключалось (теперь это сможет рассказать только отец, мать уже не сможет)".

Я очнулся от этих мыслей и снова заторопился. Подойдя к двери, я еще раз настороженно огляделся. Потом надел свои черные перчатки и очень осторожно (как всегда открывают дверь в такой ранний час, даже если знают, что будить некого) открыл дверь, сделал два шага, вышел на лестничную площадку и так же осторожно закрыл дверь за собой. Я вошел в лифт, нажал на кнопку, очень быстро спустился и внизу, прежде чем открыть дверь и выйти, замер на минуту, прислушиваясь: мне не хотелось столкнуться с кем-нибудь из жильцов или с консьержем, которого мучит бессонница. Но все было тихо. Я открыл дверь и вышел. В вестибюле было темно. Я сделал несколько шагов к дверям, ведущим на улицу, к дверям, которые выведут наконец меня отсюда, и вдруг заметил на улице возле входа мужчину и женщину. Они еще не вошли, они прощались или спорили о чем-то. Ему на вид было лет тридцать пять, ей двадцать пять, — наверное, любовники. Услышав мои шаги — один, два и три (или четыре?), они замолчали и обернулись. Они увидели меня. Мне ничего не оставалось, как включить свет и поискать глазами кнопку, которую нужно было нажать, чтобы дверь открылась. Не найдя кнопки, я вопросительно поднял плечи и развел руками. Женщина (она явно жила в этом доме) подняла руку в бежевой перчатке и указала пальцем, где искать (кнопка была слева, у самой двери). Она явно не спешила расставаться со своим спутником, она хотела продолжать прощаться или спорить с ним, а потому не стала доставать свой ключ, чтобы помочь мне выйти, — для этого ей пришлось бы перестать целоваться или говорить резкие слова. Интересно, как давно они стоят здесь? Я нажал на кнопку,

они посторонились, чтобы дать мне пройти. "Добрый вечер", — сказал я, и они ответили тем же, вернее, ответила, улыбнувшись, она, он ничего не сказал, и лицо у него стало испуганным. Красивая пара, должно быть, у них случилось что-то серьезное, раз они стоят на холоде и не могут расстаться. Холод я почувствовал сразу. Он обжег мне лицо и вернул меня в мой прежний мир, в котором не было ни Марты, ни этого дома. Я должен был продолжать жить (я словно только что понял это), должен заниматься другими делами. Я посмотрел наверх, по светившимся окнам нашел этаж, с которого только что спустился (пятый) и зашагал в направлении улицы Королевы Виктории. Парочка у подъезда вернулась к прерванному разговору, и до моего слуха донеслись две фразы. "Послушай, я так больше не могу", — сказал он, и она резко ответила: "Ну и пошел к черту!" Но он не пошел: я не услышал его шагов за моей спиной. Я быстро шел по Конде-де-ла-Симера. Мне нужно было поймать такси. Стоял туман, машин почти не было, даже на улице Королевы Виктории, широкой улице, где был бульвар, а на бульваре — киоск и ужасная скульптура (совершенно ничего общего с оригиналом) великого поэта, бедного Алейксандре[1], который жил когда-то здесь неподалеку. И вдруг я вспомнил, что не проверил, все ли окна закрыты в доме Марты и не осталась ли открытой дверь, ведущая на балкон. "А если малыш завтра упадет?" — подумал я ("Тебе на сердце камнем завтра лягу..."[2]). Но я уже ничего не мог сделать, я уже не мог вернуться в дом, дверь которого несколько часов назад мне открыла женщина, которая никогда больше эту дверь не откроет, в дом, за который я нес ответственность, где я чувствовал себя хозяином какое-то время, очень недолго (когда что-то кончается, нам всегда кажется, что это длилось недолго). Я даже позвонить туда не мог — мне никто бы не ответил, даже автоответчик (кассета была у меня, лежала в кармане моего пиджака). Я стоял на бульваре. Светало. Прошли две машины. Я раздумывал, ждать здесь или пойти на другую улицу — Генерала Родриго. Изо рта у меня шел пар. Я засунул руки в карманы брюк и достал из одного кармана то, что там лежало (как только мои пальцы прикоснулись к этому предмету, я сразу понял, что он чужой: свое пальцы узнают сразу), — лифчик, меньшего размера, чем он должен был быть. Я сунул его в карман машинально, когда пошел за малышом из спальни, куда он так неожиданно явился, спрятал этот лифчик, чтобы малыш не увидел. Я поднес его к лицу, здесь же, посреди улицы (белое кружево, скомканное в моей грубой черной перчатке), и ощутил его запах — запах хорошей туалетной воды с примесью чего-то кисловатого. После умерших остается запах. Остается, когда от них самих уже ничего не осталось. Остается, пока остаются их тела, и даже после, когда тела уже похоронены. Остается в домах, пока их не проветрят, и в одежде, которую уже не будут стирать (ведь она больше не испачкается) и которая превратится поэтому в хранилище этого запаха; остается в купальном халате, в складках шали, в простынях, в платьях, которые еще много дней (а может быть, даже месяцев, недель или лет) будут висеть в шкафу, напрасно ожидая, что их достанут и наденут, что они снова прикоснутся к коже единственного человека, которого они знали и которому всегда были верны. Три вещи остались мне после моего печально закончившегося визита: запах, лифчик и голоса, записан-

1. Висенте Алейксандре (1898—1984) — испанский поэт, лауреат Нобелевской премии 1977 г.
2. Слова призрака Кларенса и призрака Риверса, обращенные к Ричарду III.

ные на пленку. Я огляделся: зимняя ночь, фонари, пытавшиеся рассеять мрак и туман, неосвещенный киоск, затылок поэта за моей спиной. Машин не было, прохожих тоже. Холод бодрил.

С Эдуардо Деаном я познакомился через месяц, хотя и до этого я его видел, и уже не на фотографии, которая стоит у него дома и на которой он молодой и усатый, — я видел его на кладбище. Он был без усов и уже не такой молодой. У него запоминающееся лицо. Наша встреча была не совсем случайной, она совсем не была случайной: я пришел на похороны, о которых узнал из газет. Я два дня караулил выход утренних газет: дожидался, когда после полуночи доставят пакеты с утренними выпусками, смотрел, как разрезают пластиковую ленту, которой эти пакеты обычно перевязаны, первым брал газету из пачки, расплачивался, а потом шел в ближайшее кафе и, заказав кока-колу, торопливо перелистывал страницу за страницей, отыскивая ту колонку, где сообщается о новорожденных и о погоде, где печатаются некрологи и поздравления с днем рождения, имена победителей викторин и конкурсов, сообщения о присвоении почетных званий (забавно, как радуются люди шапочке с кисточкой!), где можно узнать результаты розыгрыша очередной лотереи, найти кроссворд или головоломку, а главное — там есть рубрика "В Мадриде скончались", и в ней в алфавитном порядке значатся имена и фамилии, а рядом с ними стоят цифры — возраст, в котором эти люди умерли, возраст, в котором они останутся теперь уже навсегда. Для большинства из этих людей это первое и последнее печатное упоминание о них, словно все, чем они были, это цифры и имя. Список всегда довольно длинный — человек шестьдесят. Раньше я никогда этой рубрики не читал. Немного утешает лишь то, что это большей частью очень пожилые люди: 74, 90, 71, 60, 62, 80,65, 81,80, 84, 66, 91, 92, 90. Цифры 90 и больше стоят чаще всего рядом с женскими именами. Количество женских имен в этом списке всегда меньше, чем мужских.

В первый день было только трое скончавшихся в возрасте до сорока пяти лет, все они были мужчины, один даже иностранец — Рейнольд Мюллер, 40 (что с ним такое могло случиться?). Марты в том списке не было — либо никто еще ничего не знал, либо сообщение запоздало. К тому моменту прошло уже не меньше двадцати часов с тех пор, как я покинул дом Марты. Если кто-нибудь появился там утром, то у него было достаточно времени, чтобы вызвать врача, который выписал бы свидетельство о смерти, и известить Деана в Лондоне. Времени прошло достаточно даже для того, чтобы Деан мог вернуться. Когда происходит такое несчастье, все устраивается как-то само собой: если человек умоляет продать ему билет и говорит: "У меня умерла жена, мой сын один", ни одна авиакомпания не откажет ему и найдет для него место на ближайший рейс хотя бы уже потому, что не захочет быть обвиненной в бездушии. Но, похоже, ничего такого не случилось, раз имя Марты Тельес (второй ее фамилии я не знал, как не знал и возраста, в котором она умерла, — 33? 35? 32? 34?) не значилось в списке. А может быть, все были так угнетены и подавлены, что даже не вспомнили о необходимости соблюсти некоторые формальности. Но врачу звонят в любом случае, чтобы его мягкая теплая рука, рука врача, всегда безошибочно узнающая смерть, подтвердила и засвидетельствовала то, что и так всем понятно, то, что сразу понял я, когда лежал рядом с Мартой, обнимая ее сзади. А если я ошибся и она не умерла? Я ведь не врач. Что, если это был просто

обморок, а утром она пришла в себя и жизнь пошла своим ходом: малыш отправился в детский сад, она занялась своими делами — все убрала, сменила постельное белье (хотя мне и не пришлось спать в ее постели), а мой ночной визит забыла, как забывают ошибки и дурные сны.

Удивительно, как радостно хватаемся мы за каждую соломинку, как легко верим во что угодно, лишь бы найти отдых и успокоение, с какой готовностью закрываем глаза на реальные факты, чтобы заставить время повернуть вспять хоть на миг. Мы словно видим сны наяву.

Было около часа, в кафе еще толпился народ. А в Англии было на час меньше. Я встал и направился к телефону. С этого аппарата можно было звонить только по карточке, у меня, к счастью, была с собой карточка. Я достал из бумажника листок с номером отеля "Вильбрахам" и, услышав голос портье (тот же самый голос, значит, он всегда работает по ночам), спросил сеньора Бальестероса. На этот раз он сразу понял, о ком идет речь. "Минуточку", — сказал он. Он не спросил, знаю ли я, в каком номере остановился сеньор Бальестерос, он сам произнес (словно говорил сам с собой или думал вслух): "Бальестерос. Пятьдесят второй. Посмотрим" ("Бальестерос" он произносил как "Балестерос"), — и я тут же услышал в трубке гудки, которые застали меня врасплох: я не был готов ни к ним, ни к тому, чтобы услышать вслед за ними другой мужской голос, который произнес по-английски: "Слушаю". По одному слову я не смог определить, кто мне ответил, испанец или англичанин (или испанец с хорошим произношением), потому что, услышав это слово, я тут же повесил трубку. "Боже мой! — думал я. — Он все еще в Англии, он, наверное, ничего не знает! Всякий, кто пришел бы к нему в дом, сделал бы то же самое, что и я: стал бы искать и нашел адрес и телефон Деана в Лондоне, так что его бы уже известили. Скорее всего, он ничего не знает (если, конечно, исключить вероятность того, что он отнесся к случившемуся очень спокойно). Если ребенок в хороших руках, то Деан, возможно, решил отложить вылет до завтра. Нет, он ничего еще не знает или получил известие только что и сегодня уже ничего не может предпринять. Может быть, он сейчас плачет в гостиничном номере, в чужой стране, и сегодня ночью уже не сможет заснуть".

— Вы еще будете звонить?

Я оглянулся и увидел человека с длинными зубами (ему, наверное, никогда не удается плотно сжать зубы), довольно хорошо одетого (на нем было хорошее кожаное пальто). Как у всех людей этого типа, выговор у него был плебейский. Я вынул карточку, вернулся к своему столику, расплатился, вышел, взял такси и вернулся на улицу Конде-де-ла-Симера. Я пробыл там недолго, но все-таки дольше, чем предполагал. Я попросил водителя подождать и вышел из такси, как я думал, на секунду. Я встал возле машины и посмотрел наверх. Но я не увидел ничего, что позволило бы мне вздохнуть с облегчением. Свет в окнах горел, но были ли это те самые окна, которые я оставил освещенными, когда уходил, сказать было трудно — в ту ночь я только на минуту взглянул на них с улицы, я тогда не очень хорошо их запомнил: я был в смятении, я был испуган, я валился с ног от усталости. Но если свет горел в тех же самых окнах, то вполне вероятно, что за целый день туда никто не приходил и полуобнаженное тело по-прежнему лежало под простыней, лежало в том же положении, в каком я его оставил, разве что малыш стащил с него простыни, когда тормошил мать — в отчаянии, нетерпеливо, не понимая, что случилось. "Нужно было закрыть ей лицо, — подумал я, — но это

не помогло бы". И малыш все еще был там. Наверное, он уже съел все, что я ему оставил, и сейчас голоден, хотя вряд ли: я оставил ему достаточно еды, пусть даже это была мешанина, к которой непривычен детский желудок. Я не знал, что делать. В пальто и в перчатках я стоял около притихшего такси (ожидание затянулось, и таксист выключил мотор). Сейчас в доме были освещены многие окна, но я смотрел только на окна пятого этажа. На душе у меня было тяжелее, чем прошлой ночью, тяжелее, чем когда я уходил отсюда на рассвете. Я знал, что произошло, и в то же время не верил в то, что она умерла: событие нельзя считать совершившимся, пока о нем не стало известно, пока о нем не узнали, пока о нем не рассказали. Без этого оно превратится в мысль, в воспоминание. Медленный переход в ирреальность начинается с того момента, когда событие произошло, но пока о несчастье не рассказано, еще остается надежда.

— Может, сказать им по домофону, что мы уже здесь?

Таксист решил, что я заехал за кем-то, и уже нервничал, ведь я сказал ему, что ждать придется недолго.

— Нет, уже слишком поздно, там спят, — ответил я. — Если через пять минут не спустится, значит уже не спустится. Подождем еще чуть-чуть.

Я знал, что он никогда не спустится, этот гипотетический человек из нашего с таксистом разговора. Таксист, безусловно, полагал, что это женщина, которая к тому же собой не распоряжается (может быть, она несовершеннолетняя, а может быть — замужем), а потому никогда не знаешь, сможет она выйти или нет. Марта не выйдет. И малыш тоже не выйдет. Таксист вдруг завел мотор. Я посмотрел на него: должно быть, он раньше меня заметил, что кто-то вышел из подъезда. Это была та самая девушка, с которой я столкнулся тогда ночью и которая не захотела достать свой ключ и открыть мне дверь. На этот раз я мог рассмотреть ее лучше. У нее были каштановые волосы и карие глаза, нитка жемчуга на шее, туфли на высоких каблуках, темные чулки. Шла она легко и грациозно, хотя заметно было, что ей не очень удобно идти в короткой и узкой юбке, которую можно было разглядеть под расстегнутым кожаным пальто. При ходьбе она ставила носки врозь. Девушка посмотрела в сторону такси, увидела меня, узнала и кивнула (со стороны могло показаться, что она соглашается с чем-то), перешла улицу, вынула из сумочки (не снимая бежевой перчатки, не гармонировавшей с пальто) ключи, открыла дверцу машины, села в нее, бросила сумку на заднее сиденье. Женщина за рулем. Сейчас они почти все водят машину. Секунду можно было видеть ее ноги, а потом она захлопнула дверцу и опустила боковое стекло. Таксист снова выключил мотор и тоже опустил стекло, чтобы лучше разглядеть девушку. Она включила зажигание, и краешком глаза я мог видеть, как, высунувшись в окно, чтобы не задеть стоящую рядом машину, она осторожно выезжает со стоянки. Ей было плохо видно, и я махнул ей рукой пару раз ("Давайте, можно!"). Машина выехала, и, проезжая мимо, женщина улыбнулась мне и тоже помахала рукой (что-то похожее одновременно на "спасибо" и на "пока"). Она была красивая, но совсем не задавалась. Может быть, ключи от входной двери были вовсе не у нее, а у того мужчины, которого она тогда при мне послала к черту? Может быть, в ту ночь, после ссоры, они вместе поднялись к нему, и вышла она только через двадцать часов, именно в тот момент, когда здесь был я, стоял на том же месте, будто и не уходил никуда все те долгие часы, пока они спорили и целовались, а потом, поднявшись в квартиру,

спали, утомленные? Впрочем, сейчас я находился уже не в доме, а на улице (я просто ждал рядом со своим такси), и была ли она одета так же, как накануне вечером, тоже неизвестно: тогда я видел только ее перчатку.

Я снова посмотрел вверх: на окно спальни, на балконную дверь и снова на окно, потому что заметил за занавесками этого окна женскую фигуру. Женщина снимала свитер или блузку, она что-то снимала через голову: я видел, как она, скрестив руки, подхватила блузку с боков, потянула наверх и сняла одним движением (я успел заметить ее подмышки), так что рукава вывернулись и блузка повисла, держась только на кистях рук. Ее силуэт оставался неподвижным несколько секунд, словно ей надо было отдохнуть после резкого движения или после тяжелого дня, а может быть, она просто задумалась (человек, погруженный в свои мысли, раздевается медленно и, сняв одну вещь, надолго останавливается, забыв о том, что делает). А может быть, сняв свитер (который она почему-то решила снять у окна), она взглянула в окно и увидела там что-то или кого-то — возможно, меня и такси за моей спиной. Потом она развела руки в стороны и высвободила их из рукавов, повернулась и отошла от окна, так что я больше не мог ее видеть, хотя мне казалось, что я все же различаю за занавесками неясный силуэт и вижу, как она складывает вещь, которую сняла (возможно, только для того, чтобы надеть другую, чистую). Потом свет в окне погас (если это было окно спальни, то значит, она выключила лампу на ночном столике, которую я не стал тогда выключать и которая так и осталась гореть после моего ухода). У меня отлегло от сердца: там кто-то был, может быть, это была Марта — живая Марта. Конечно, это не могла быть Марта, но на миг я позволил себе поверить в это. А если это не она, то кто был в ее спальне, кто ходил там, кто раздевался, словно собирался ложиться спать? И где в таком случае была Марта, ее тело, — может быть, его перенесли в другую комнату или вообще уже увезли из дома, а в ее комнате сейчас была подруга (или невестка, или сестра), которая пришла, чтобы малыш не остался один еще на одну ночь, пока не приедет Деан (как он мог до сих пор не приехать, если он все знает!)? Хотя лучше бы им отвезти малыша в другое место. Что они ему сказали? Тетушки успокоили его и обманули ("Мама уехала, улетела на самолете")? И малыш теперь уже совсем по-другому будет смотреть на свои игрушечные самолеты — всегда, пока обо всем не забудет.

Свет горел именно в этой квартире, в столовой-гостиной, где мы ужинали, а малыш смотрел свои мультфильмы про Тинтина и Хаддока всего сутки тому назад, если верить часам. Ждать дальше не было смысла.

— Ну что, поехали?

Не знаю, зачем я пустился в объяснения:

— Да, едем. Уже не спустится. Уже все спать легли.

— Плохо дело, — понимающе сказал таксист. Откуда ему знать, что для меня сейчас было плохо и что хорошо?

Я вернулся домой с завтрашним выпуском газеты. Спать не хотелось. Накануне я заснул мгновенно — мне нужно было заснуть, чтобы все забыть, это желание было сильнее, чем пережитая боль и тревога за ребенка. Я ушел оттуда, я больше ничего не мог для них сделать (или решил ничего не делать, а просто ушел). Я спал восемь часов подряд, я даже не помню, снилось ли мне что-нибудь, и первое, что я подумал, когда проснулся, было: "Малыш!" О живых всегда думают больше, чем о мертвых, даже если эти живые нам почти незнакомы, а мертвые до совсем

недавнего времени (может быть, даже до вчерашней ночи) были частью нашей жизни (хотя Марта Тельес была частью жизни Деана, а не моей). Сейчас, когда я чуть успокоился, увидев эту женскую фигуру и убедившись, что в доме кто-то есть, я почувствовал облегчение, но все равно не мог думать ни о чем другом, не мог читать, смотреть телевизор или видео, не мог вернуться к своей работе, которую совсем забросил, не мог слушать музыку. Я ничего не мог делать и не знал, когда это кончится и от чего зависит возвращение к прежней жизни: я хотел узнать, и узнать как можно скорее, нашли ли тело, в безопасности ли малыш. Больше ничего — ничто другое меня в тот момент не интересовало. Но я знал также, что, даже когда я найду ответы на свои вопросы, моя жизнь все равно не вернется в прежнее русло, словно теперь мы с Мартой Тельес связаны навсегда. А если и вернется, то очень не скоро. И в то же время я не понимал, каким образом мы с ней могли быть связаны — ведь она мертва, а какие отношения могут быть с мертвыми?

В английском языке есть глагол to haunt, во французском — hanter. Они очень похожи и не поддаются переводу. Обозначают эти глаголы то, что могут проделывать привидения с некоторыми местами или людьми: то есть "обитать", "преследовать", "посещать". Глагол to haunt в определенном контексте может также иметь значение "околдовывать". Этимология этих глаголов неясна, но похоже, оба ведут происхождение от других англосаксонских и старофранцузских глаголов, которые означали "жить", "проживать", "обитать". Может быть, наша с Мартой связь заключалась именно в этом? Может быть, это были чары, haunting, колдовство, суть которого — в наказании памятью: события и люди не покидают нас, остаются в нашей памяти навсегда, напоминая о себе и днем и ночью. Они поселяются в нашем сознании потому, что не находят себе другого пристанища, они цепляются за нашу память, потому что для них мы — нить, связывающая их с миром, единственная возможность продолжить существование, хотя от бесконечного повторения воспоминания тускнеют и блекнут. Вот и я стал связующей нитью.

Я включил автоответчик и прослушал два малоинтересных сообщения: от той, что до недавнего времени была моей женой, и от одного противного типа, актера, для которого я иногда делаю кое-какую работу. Я сценарист, но пишу почти исключительно сценарии для телесериалов (многие из них потом даже не снимаются, но за них все равно платят). И вдруг я вспомнил о кассете Марты. Я не вспомнил о ней раньше только потому, что взял ее не из любопытства и не для того, чтобы ее слушать, а только для того, чтобы мужчина с командным голосом, чье сообщение я уже слышал, тоже попал в число подозреваемых. Подозреваемых, собственно, в чем? Винить тут некого и не в чем. Даже в том, что кто-то переспал с ней в ту ночь, когда она умерла. Я этого не делал, и никто этого не делал, насколько мне известно.

Я вынул из своего автоответчика кассету, вставил кассету Марты, перемотал пленку на начало и включил аппарат. Первое, что я услышал, был голос все того же мужчины ("Сними трубку, черт!"), неприятный, напоминающий жужжание бритвы ("Ну бери же ты трубку!"), голос человека, уверенного в том, что он имеет право так разговаривать с Мартой ("Да что с тобой говорить! Как была разгильдяйкой, так и осталась!"), и то же прищелкивание языком. После гудка пошли другие сообщения, оставленные уже давно. Марта, конечно же, их слышала. Первое сохранилось не полностью, его начало было стерто последую-

щими записями: "...ладно, — говорил женский голос. — Обязательно позвони мне завтра и все расскажи в деталях. Судя по всему, он ничего, но — кто знает. Честно говоря, не понимаю, как ты решилась на такое. Пока, удачи тебе". Потом я услышал другой мужской голос, голос человека пожилого и ироничного, подтрунивавшего над самим собой. "Марта, — сказал этот голос, — скажи Эдуардо, что говорить "оставьте информацию" неправильно, надо говорить "оставьте сообщение". Впрочем, что с него взять, он не очень-то образован, нам это давно известно. Позвони мне, у меня для тебя есть хорошая новость. Ничего из ряда вон выходящего, но, когда жизнь так пуста и бесцветна, как моя сейчас (povero me![1]), всякий пустяк кажется событием". Он не попрощался, не назвал себя — наверное, этого не требовалось. Это мог быть отец Деана или Марты, человек, которому нужен предлог, чтобы позвонить даже самым близким, пожилой человек, ничем не занятый, молодость которого прошла в Италии (или он просто любит оперу?) и который боится показаться навязчивым. Потом я услышал следующее: "Марта, это Ферран. Я знаю, что Эдуардо сегодня улетел в Англию, но я только что обнаружил, что он не оставил мне ни телефона, ни адреса в Лондоне. Не понимаю, как это могло случиться, я просил, чтобы он обязательно оставил мне свои координаты. Тут сейчас такие дела, он мне может понадобиться в любую минуту. Может быть, у тебя есть его телефон? Если он позвонит, скажи, чтобы позвонил мне сразу же, на работу или домой. Это срочно. Спасибо". Этот голос был спокойный, с едва уловимым каталонским акцентом. Сослуживец, с которым связывают такие давние и доверительные отношения, что их легко можно принять за дружеские. Я не помнил, чтобы Марта передавала Деану эту просьбу, когда он позвонил, прервав наш ужин. Впрочем, я не прислушивался к их разговору. Следующее сообщение тоже было записано не полностью — можно было услышать только конец. Это означало, что сообщение было давнее, звонили не в тот день, а если в тот, то не в то время, когда Марте звонили подруга (или сестра?), отец (или свекор?) и сослуживец ее мужа. "...Пусть будет, как ты скажешь, как ты хочешь. Решай ты", — говорил женский голос, и это был конец сообщения. Мне показалось, что это был тот же самый голос, что удивлялся дерзости Марты, но точно сказать я не мог. Еще труднее было понять, кому адресованы ее слова — Деану или Марте: "Решай ты". Потом было еще одно неполное сообщение (оно, следовательно, было еще более старое). Говорил мужчина. Голос был деланно нейтральный, он звучал серьезно, вежливо и почти безразлично, словно мужчина пытался делать вид, что это деловой звонок, хотя звонок был, без всякого сомнения, личный, и даже очень личный. Голос произнес: "...если не возражаешь, можем встретиться в понедельник или во вторник. Если не можешь, придется перенести все на следующую неделю — со среды я буду завален работой. В конце концов, куда торопиться? Так что скажи, как тебе лучше. Я серьезно. Пока". Это был мой голос, это я звонил ей несколько дней назад, когда мы с Мартой Тельес еще не договорились окончательно о нашей третьей встрече (в первый раз мы поболтали немного во время коктейля, когда нас познакомили, потом, через несколько дней, мы долго пили кофе вместе, встретившись под каким-то пошлым предлогом — ухаживание всегда кажется пошлым, если смотришь на него со стороны или вспоминаешь о нем, —

1. Бедный я! (*итал.*)

простая формальность, соблюдение приличий, всего-навсего попытка прикрыть инстинкт.

Тот, кто говорил это, возможно, сам не знал в ту минуту, чего он хотел и к чему стремился, но я, слушая его сейчас, чувствовал, как он нервничает и как старается это скрыть: он знает, что пленку может прослушать муж, и, кроме того, считает неприличным демонстрировать свои истинные намерения — хотя сейчас мне было очевидно, что на самом деле он хотел именно этого и стремился именно к этому, — лицемер, притворщик, в каждом слове ложь. Он-то точно торопился. И неправда, что начиная со среды он был "завален работой" — как я мог произнести это, я никогда так не говорю! И "пока" я никогда не говорю, я всегда говорю "до свидания". Почему в тот раз я сказал "пока"? Иногда мы взвешиваем каждое слово, чтобы добиться цели, которую неясно себе представляем. И это "скажи, как тебе лучше" — такое фальшивое! Фраза, произносимая человеком, который хочет соблазнить не только лестью, но и почтительным отношением. Я ужаснулся не столько потому, что узнал свой голос, — меня ужаснули мои слова. Я вспомнил день, когда оставил на автоответчике это сообщение, на которое она потом ответила. На самом деле все было предрешено с самого начала, все, за исключением финала — хотя финалом назвать это нельзя, ведь история на этом не закончилась. Все остальное было предрешено, хотя мы оба не хотели признаться себе в этом. У меня мелькнула мысль, что, вероятно, в начале сообщения я назвал свое имя и фамилию, — я всегда так делаю (хотя сейчас трудно сказать наверня́ка — эта часть сообщения стерлась). И потом — "в понедельник или во вторник"! Вполне возможно, что Деан знал о нашей встрече, и именно поэтому Марта ничего ему об этом не сказала, когда он звонил, — он и так это знал, тут нечего было скрывать. В таком случае моя неумелая конспирация была абсолютно бесполезной. Вполне возможно, что Деан в ближайшие дни будет разыскивать меня, и найдет, и спросит открыто, что случилось, как могло произойти, что я оказался рядом с его женой, когда она умирала (может быть, единственное, что Марта скрыла от него, было то, что наша встреча должна была произойти — и произошла — у нее дома). Я прокрутил пленку назад и прослушал запись еще раз. Я был себе отвратителен: сегодня была та самая среда, и я вовсе не был завален работой, а сидел дома, листая словари и слушая пленку. Просто смешно. Но у меня не было времени на самоуничижение, потому что зазвучало следующее сообщение и я сразу узнал бритвенный электрический голос, который на этот раз обращался к Деану, а не к Марте: "Эдуардо, это я. Не ждите меня, садитесь ужинать без меня: я задержусь немного — тут такое дело! Я потом вам расскажу. В любом случае я постараюсь успеть до одиннадцати. И передайте это Инес, пожалуйста: я не могу связаться с ней, она пойдет прямо в ресторан. Пусть не волнуется. Оставьте мне ветчины. Пока". Этому человеку всегда было что рассказать, или, что то же самое, он всегда обещал что-то рассказать. Интересно, что он хотел рассказать в тот вечер, несколько дней назад ("тут такое дело!" — наверняка глупость какая-нибудь!), когда две пары, а может, и еще кто-то договорились поужинать вместе в ресторане, попробовать какую-то хорошую ветчину? Он по-прежнему говорил, словно приказывал, хотя сейчас не позволял себе ни резкого тона, ни грубости. Но он все равно раздражал. Он сказал: "Это я", — словно его ни с кем нельзя было спутать, словно не было нужды уточнять, кто этот "я". Наверное, так и было в том доме, куда он зво-

нил, — в доме его друга и его любовницы. Он обращался к Деану, но одновременно обращался к ним обоим ("я потом вам расскажу", "скажите Инес", "оставьте мне ветчины"). Но как может человек считать, что для других он является таким же единственным и неповторимым, как для себя самого?

Я снова услышал сигнал, и прежде чем пленка начала крутиться без звука (больше сообщений не было: они записываются в начале пленки, новые сообщения стирают старые), я услышал еще один голос. Слов почти не было, слышался только плач. Голос был детский (или, может быть, женский голос, звучавший по-детски, — но любой голос звучит по-детски, когда человек плачет взахлеб, так, что не может произнести ни слова, потому что ему не хватает воздуха, плачет непритворно, горько и безутешно, тем плачем, который не дает ни говорить, ни думать), и этот плачущий голос, оставивший свое сообщение — наверняка самое старое из всех, — в отчаянии повторял одно и то же между приступами плача: "...Пожалуйста!.. Пожалуйста!.. Пожалуйста!.." Голос не то чтобы умолял, он скорее звучал как заклинание, как ритуальные слова, в которых нет смысла, но которые спасают и отводят угрозу. Мне снова стало страшно, я хотел уже остановить пленку, опасаясь, что этот плач разбудит моих соседей и они сбегутся, чтобы узнать, какие зверства я тут творю (когда умирала Марта, такого не случилось: никто не прибежал, потому что она не кричала, не жаловалась и не умоляла, да я ничего с ней и не делал). Но мне не пришлось останавливать аппарат: минута, которая отводится на каждое сообщение, закончилась, снова послышался сигнал, и пленка продолжала крутиться уже беззвучно. Женщина, которая плакала так по-детски, не успела ничего сказать и больше не позвонила — возможно, она знала, что тот, к кому она обращалась и кто был причиной ее страданий, был в этот момент дома, рядом с телефоном, что он слышал, как она плачет, и не снимал трубку и что единственное, чего она могла добиться, это записать свое горе на пленку, которую потом будет слушать совершенно чужой ей человек.

На следующий вечер я снова пришел в одно из тех заведений, куда газеты приносят вскоре после полуночи. Я дождался почты и поспешил купить свежий номер, на котором стояла дата только начинавшегося дня (в Англии он вот-вот начнется, там всегда на час меньше). Я не решился открыть его сразу — вокруг было слишком много людей — и опять пошел в соседнее кафе. На этот раз я заказал виски и только потом раскрыл газету и отыскал рубрику "В Мадриде скончались". Хотя фамилии в списке расположены в алфавитном порядке, я сдержал себя и начал читать его не сразу с буквы "Т", а с самого начала, чтобы еще на несколько секунд сохранить состояние тревоги и неуверенности — надежду на то, что я увижу имя Марты, и на то, что я его не увижу. Я хотел и того и другого: если я увижу ее имя, я буду знать, что ее нашли, и это принесет мне одновременно облегчение и боль, а если не увижу — моя тревога еще возрастет, и я опять буду мять в руках листок с номером Деана в Лондоне и бродить вокруг ее дома, но зато снова на несколько мгновений смогу поверить в невероятную возможность того, что произошло ужасное недоразумение, что я напрасно беспокоился, что зря поспешил — что она просто потеряла сознание или даже впала в кому, но что она жива. Я пробегал глазами фамилии и цифры: Альмендрос, 66; Арагон, 88; Армас, 48; Арресе, 64; Бланко, 77; Болафф, 41; Касальдига, 93, — но не смог продолжать дальше по списку и перескочил сразу на "Л": Луэн-

го, 59; Магайанес, 93; Марсело, 48; Мартин, 43; Медина, 28; Монте, 46; Морель, 61 — вчера умерло много довольно молодых людей, — Франсиско Перес Мартинес, 59. Но она умерла позавчера, на самом деле ее имя должно стоять не в этом списке, а в списке тех, что умерли на один день раньше. Тельес, 33 — вот она: Марта Тельес Ангуло. Значит, ей было тридцать три. Примерно на столько она и выглядела. Предпоследняя в списке, после нее стоял только Альберто Виана Торрес, 55. В страхе я вернулся к букве "Д" — вдруг там значится Деан, 1 — Эухенио Деан Тельес, которому, по словам его матери, еще не было двух лет? Койя, 50; Дельгадо, 81. Нет, его там не было, не могло быть: когда я уходил, он был жив, он спал, и я оставил ему еду на тарелке.

Я снова отправился туда, где продают газеты, и купил еще одну, самую траурную из всех мадридских газет. Потом вернулся за свой столик и начал перелистывать страницы в поисках длинного списка. Имя Марты было и там, и теперь казалось, что не было ничего странного в ее странной смерти. Сухая строчка: имя, место и дата смерти, точная дата — ее всегда может определить рука врача, нажимающая и исследующая, — потом — "D.E.P"[1], а потом — имена тех, кого ошеломила эта смерть и кто скорбит и молится сейчас (мое имя тоже появлялось в таких списках): "ее муж, Эдуардо Деан Бальестерос, сын, Эухенио Деан Тельес, отец, Его Превосходительство дон Хуан Тельес Орати, ее сестра и брат — Луиса и Гильермо, ее невестка, Мария Фернандес Вера, и другие родственники". Теперь я знал имена невестки и сестры (и не знал имен ни одной из подруг), знал имя ее отца (Хуан Тельес Орати — мать его, следовательно, была итальянкой). Это его голос я слышал, это он жил пустой и бесцветной жизнью, и это у него была для Марты хорошая новость. Почему он был "Его Превосходительство"? Должно быть, он очень тщеславный человек, если не преминул указать это в сообщении о смерти своей дочери — смерти неожиданной, непонятной, ужасной и, наверное, даже смешной. Вероятнее всего, он сам составил это сообщение — ее отец, который знает, как делать такие вещи, и у которого много свободного времени. Он человек старомодный, он говорит "муж", а не пошловатое "супруг ", хотя указывать полностью имя ребенка, которому нет и двух лет (и для которого, как и для многих усопших, это первое упоминание его имени в газете, словно он не малыш Эухенио, а респектабельный сеньор), — это уж слишком. Но по крайней мере здесь не говорилось о том, что Марта получила последнее причастие, как всегда пишут в таких случаях. Я мог бы подтвердить, что она его не получала. "Похороны состоятся сегодня, 19-го числа, в одиннадцать утра на кладбище Альмуденской Божьей Матери". А через несколько дней состоится служба в церкви, название которой мне ничего не говорило — я плохо знаю церкви в нашем городе. Я вырвал страницу, сложил ее, чтобы потом вырезать это извещение и положить его вместе с той желтой бумажкой, на которой записан телефон лондонского отеля и которая теперь, по всей видимости, уже больше не понадобится.

Было холодное солнечное утро. Я приехал на кладбище чуть раньше положенного, чтобы не пропустить процессию. Несколько служащих указали место. Я отправился туда и несколько минут прождал, читая надписи и эпитафии на могильных плитах, готовясь напустить на себя безразличный вид, как только появятся семейство Деан и семейство Тель-

1. "Descansa en paz" — "Покойся с миром" (*исп.*).

ес, в черных одеждах, с гробом и цветами. Я надел темные очки, как сейчас часто делают, когда идут на кладбище, — не столько для того, чтобы не видно было слез, сколько для того, чтобы скрыть их отсутствие. Могильная плита была уже отодвинута, словно яма (или дыра, или пропасть) была готова принять нового обитателя (мертвых беспокоят только тогда, когда нужно положить к ним еще кого-то, кого они наверняка любили когда-то, и мы не знаем, радуются ли они, встречая тех, кого знали молодыми, или печалятся о том, что еще одного постигла та же участь и что теперь на земле стало еще меньше людей, которые помнят их). Я прочитал надпись и понял, что здесь были похоронены мать Марты, Лаура Ангуло Эрнандес, и ее бабушка-итальянка, Бруна Орати Паренсан, — возможно, венецианка. Я обнаружил также, что у Марты была еще одна сестра, которая умерла раньше, чем ее мать и бабушка, умерла очень давно, в возрасте пяти лет. Глория Тельес Ангуло, родилась на два года раньше, чем Марта. Значит, в детстве они были знакомы, хотя Марта, скорее всего, почти не помнила свою сестру, как не будет помнить ее саму малыш Эухенио. Я вдруг понял, что извещение в газете и надписи на могильных плитах рассказали мне о Марте и ее семье гораздо больше, чем сама Марта рассказала за те три встречи, что стали прелюдией к скромному ужину (ирландское филе и вино, всего один гость) и к ее прощанию с этим миром, которое произошло на моих глазах. В этой женской могиле, первой в которую легла девочка тридцать один год назад, Марта должна была стать четвертой, занять место своего отца, который, вероятно, купил эту землю, когда умерла его дочь, и думал, что сейчас пришла его очередь, что он будет лежать рядом со своей матерью, женой и дочерью. Обычно это четырехместные могилы, хотя иногда в них пять мест, и тогда для него останется место, и он точно знает, кто будет лежать рядом с ним. Имя Марты еще не было высечено на камне, это сделают потом.

Я отошел в сторону и начал читать что-то вроде загадки на соседней могильной плите 1914 года: "Те, кто говорит обо мне, не знают меня, — говорилось в первой из десяти коротких (но это была проза) строк, — и, говоря обо мне, они клевещут на меня; те, кто меня знает, — молчат и молчанием меня не защищают, так что все клянут меня, пока не встретятся со мной, а когда встретятся — отдыхают, и только я не отдыхаю никогда". Я перечитал эти строки несколько раз, пока не понял, что они написаны не от лица умершего (Леон Суарес Алдай, 1890—1914, гласила надпись, — очень молодой), а от лица самой смерти, странной смерти, которая жаловалась на то, что о ней идет дурная слава и что эти живые, проклинающие ее, так плохо ее знают; смерть, которая жаловалась на живых и хотела подтвердить свое право на существование, — усталая, дружески настроенная и в общем-то вполне незлобивая. Я перечитывал эту загадку, пытаясь заучить ее наизусть, как заучивают номер телефона или стихи, когда заметил вдали высаживающихся из машин людей, человек около тридцати, которые затем медленно направились за могильщиками. Могильщики несли тяжелый гроб и потому шли немного быстрее. У одного из них в зубах была погасшая сигарета, и, посмотрев на него, я тоже закурил. Люди встали вокруг открытой могилы, и, пока произносилась короткая речь и гроб медленно, задевая за выложенную камнем стенку, опускался, скрежеща, ударяясь и останавливаясь (дерево ударялось о камень, и звуки были такие, какие можно услышать в каменоломне, и даже еще более резкие — как будто ударяются друг о друга кирпи-

чи), и звучал голос, отдававший приказы, все боялись, что будет повреждено тело, которого мы уже не увидим. Я смог разглядеть тех, кто стоял в первом ряду, у края могилы. Мне были видны шесть-семь человек с того места у могилы 1914 года, где я стоял, скрестив руки (в одной руке была сигарета, и я время от времени подносил ее к губам), словно Леон Суарес Алдай был моим предком и я приходил к месту его упокоения, чтобы размышлять, и вспоминать, и даже шептать самые сокровенные слова, которые мы только можем произнести, которые приносят нам такое успокоение и с которыми мы обычно обращаемся к тем, кто уже не может нас услышать. Прежде всего я стремился отыскать глазами малыша — хотя почти не надеялся на это, и на самом деле я его не нашел: детей такого возраста не берут на кладбище. Первый человек, на которого я обратил внимание, был не тот мужчина, который громко молился, — немолодой и крепкий (на него я обратил внимание потом), а женщина, очень похожая на Марту Тельес, наверняка ее сестра Луиса. На ней не было ни черных очков, ни вуали (хотя вуаль сейчас никто не надевает), она плакала непритворно, горько и безутешно, хотя и пыталась скрыть это: опустила голову и закрыла лицо обеими руками, как закрывают лицо, испугавшись или устыдившись чего-то, когда не хотят видеть чего-то, или хотят укрыться от чужих взглядов, или когда одолевает печаль, или покидают силы, или когда испытывают недомогание, страх или раскаяние. Чаще всего так закрывают лицо дома, без свидетелей, тяжело опустившись на стул или бросившись на кровать в спальне (или даже утыкаются лицом в подушку, которая тогда заменяет руки, укрывающие и защищающие), а эта женщина, тщательно одетая, с такими ухоженными руками, стояла на виду у всех, на кладбище. Ее пальто было расстегнуто, и можно было видеть круглые колени, обтянутые черными чулками, туфли на высоких каблуках, на удивление чистые. Губы, которые она накрасила, не отдавая себе в этом отчета, — привычный утренний жест, обязательный перед выходом из дома, — были сейчас, должно быть, сладко-солеными: сладкими от губной помады и солеными от слез. Время от времени она поднимала голову и покусывала губы (эти губы!), напрасно пытаясь утишить боль, даже не боль, а внешние ее проявления, слишком откровенные. Я мог хорошо ее рассмотреть и, хотя лицо ее было искажено болью, не смог не заметить, как она похожа на Марту (впрочем, лицо Марты мне тоже довелось видеть искаженным болью — та боль была другого рода, но внешние проявления были те же). Она была года на два — на три моложе Марты, более привлекательная (или просто прилагавшая больше усилий, чтобы возместить то, чего ей не дала природа). Из текста газетного сообщения следовало, что она не замужем (или вдова). Может быть, она рыдала так оттого, что испытывала чувство зависти или одиночества, какое испытывают дети, разлучаемые с братьями и сестрами: когда один остается с бабушкой и дедушкой, а другие отправляются путешествовать с родителями, или когда младшего отправляют не в ту школу, куда ходят старшие, или когда один из детей лежит в постели больной, обложившись переводными картинками и книжками со сказками (и самолетами, которые покачиваются над ними), а остальные, собираясь на пляж (или на реку, или в парк, или в кино), садятся на велосипеды, и тот, кто остается, услышав первые раскаты смеха и велосипедные звонки, так жестоко напоминающие ему о лете за окном, начинает чувствовать себя узником или ссыльным (большей частью потому, что дети не представляют себе то, что будет когда-ни-

будь, для них существует только настоящее, сегодняшний день, а не вчерашний, уже прожитый, уже забытый, не связанный с настоящим, и не скучное безоблачное будущее — в этом дети схожи с женщинами и с животными), и этому мальчику (или девочке) начинает казаться, что он будет вечно лежать в этой постели и слушать, как скрипит гравий под шинами удаляющихся велосипедов, как весело звонят в звонки его братья и сестры, которым дела нет до времени, даже настоящего. Может быть, Луиса Тельес тоже чувствовала, что Глория и Марта (сестра, с которой она никогда не играла вместе, и сестра, вместе с которой она выросла) сейчас встретились в земле с матерью и бабушкой, в женском мире, спокойном и улыбчивом, в котором время уже не имеет значения, — в зачарованном, заколдованном мире, в который ей было еще рано, она еще не могла уйти туда сейчас. Она осталась рядом с отцом и братом, а когда-нибудь, возможно, и с мужем (гипотетическим мужем — его пока еще у нее нет) — в мире мужчин с их переводными картинками и книжками (и с покачивающимися над головой самолетами).

Отец Марты, Хуан Тельес, тоже был там. Он едва слышно произнес несколько слов — наверное, это была молитва, в которую он и сам не верил, но в его годы не изменяют привычкам и не нарушают обычаи, которые установили наши предки и видимость соблюдения которых мы сохраняем иногда в течение всей жизни — или почти всей жизни — из уважения к предкам, из суеверия или из лицемерия. Он подошел к могиле пошатываясь, дочь и невестка поддерживали его с обеих сторон, словно он был приговорен к повешению и у него не было сил подняться на эшафот или словно шел по снегу, проваливаясь на каждом шагу. Но потом он взял себя в руки, выпрямился, вынул из нагрудного кармана голубоватый платок и вытер им пот со лба (а не слезы, которых не было, хотя он и потер немного сухую щеку и висок, словно они чесались). Свою речь он произносил ровным отрешенным голосом, как бы даже с неохотой, словно понимал всю торжественность момента, но, несмотря на это, хотел все же поскорее вернуться домой и лечь. Как знать, не примешивался ли к его боли еще и стыд (но *эта* смерть — ужасна, *эта* смерть — смешна), хотя, вероятнее всего, ему не рассказали об обстоятельствах этой смерти, о том, что его дочь была полураздета и лежала в неестественной позе, когда ее нашли; о явных признаках того, что, когда она умирала, в доме находился мужчина, и этот мужчина был не Деан, а неизвестно кто (это был я, но для них — неизвестно кто). Ему наверняка сказали только: "Марта умерла, когда Эдуардо был в отъезде". И он закрыл лицо руками в пигментных пятнах, спрятался ото всех. "Но она все равно бы умерла, даже если б не была одна", — вероятно, добавили они, чтобы не настраивать его еще больше против зятя, а может быть, они просто надеялись, что сознание неизбежности несчастья может несколько примирить его с этим несчастьем. (Она не была одна, я это знал, и они наверняка тоже это знали.) Возможно, они даже не рассказали ему, что было причиной смерти (если они ее знали) — эмболия мозговой артерии, инфаркт миокарда, аневризма аорты, передозировка лекарства, — не знаю, от чего еще может умереть человек так быстро и внезапно. Мне не важно, от чего именно умерла Марта, и ее отцу это тоже не важно. Возможно, он даже не хотел выяснять причину, да никому и в голову не пришло делать вскрытие. Он только закрыл лицо руками и приготовился похоронить еще одну дочь, приготовился еще к одному прощанию — прощай, радость, и прощайте, печали, жизнь одна, и она

такая хрупкая. Комья земли стучали по крышке гроба — четвертого женского гроба в этом вечном приюте, а он, наверное, вспоминал тех, что уже лежали там, что покинули его давно: мать, итальянку Бруну, которая так и не научилась хорошо говорить на грубом языке новой родины и научила своего сына Хуана нежному языку родной Италии; жену Лауру, которую он любил или не любил, которую обожал или чем-то обидел (а может быть, и то и другое: любил, а потом разлюбил, или любил и не любил одновременно — так часто бывает); дочь Глорию, самую старшую из дочерей, причиной смерти которой был, возможно, несчастный случай — она утонула в реке, или упала и разбила затылок однажды летом, или ее поразила одна из тех жестоких болезней, что уносят детские жизни так легко (ведь дети не оказывают никакого сопротивления), не давая им времени накопить воспоминания, познать желания, понять странную природу времени: недуги словно берут реванш за ту борьбу, которую они ведут со взрослыми и в которой взрослые так отчаянно сопротивляются. Хотя с Мартой все было не так, Марта не сопротивлялась, она умерла послушно, как маленькая девочка. И скоро эта вторая дочь, которую он совсем недавно видел живой (и которой оставил сообщение на автоответчике), будет являться ему только во сне, только как воспоминание, полузабытый вчерашний день, не связанный с настоящим. Наверное, он думал и о своей жизни, которая стала еще более пустой. У него были седые волосы, большие голубые глаза и густые брови домиком, как у гнома, и очень гладкая для его лет (сколько бы ему ни было) кожа. Он был высокий и крепкий, он был "Его Превосходительство". Женщины, стоявшие сейчас с ним рядом, казались меньше ростом. У него были тонкие ноги, и он слегка покачивался, даже когда стоял. На рукаве его пальто была черная повязка, черные ботинки сияли такой же чистотой, что и туфли стоявшей возле него дочери. У него были слишком маленькие для его роста ступни (ступни бывшего танцора), крупные, рельефные черты лица, сухие глаза потрясенно глядели вниз — в дыру, в яму, в пропасть. Он смотрел неподвижным взглядом, как падает земля, погруженный в воспоминания о своих девочках — о той, что была только девочкой, и о той, что была младше первой, но потом повзрослела, а сейчас тоже ляжет в могилу рядом с сестрой, которой не довелось повзрослеть (и не доведется постареть) и измениться, которая не успела испытать огорчений и сама никого не успела огорчить. Сейчас они были вместе — тихие, послушные и молчаливые. Я видел, что у Хуана Тельеса развязался шнурок на ботинке, но сам он этого не замечал.

Женщина справа от него была наверняка его невестка, Мария Фернандес Вера. Она была в темных очках, на лице — приличествующее случаю выражение, за которым скрывалось скорее раздражение, чем боль и жалость, скорее досада на то, что пришлось бросить свои дела, что в ее семье стало на одного человека меньше, а муж потрясен и подавлен и неизвестно, сколько времени это продлится. Мужчина, который держал ее под руку и выглядел так, словно просил о помощи или за что-то извинялся, и был, должно быть, ее муж Гильермо — единственный брат Луисы, Марты и Глории (хотя Глорию он не знал и, наверное, даже никогда не расспрашивал о ней). На нем тоже были темные очки. Лицо у него было костистое и бледное, плечи опущены. Он казался напуганным, но, может быть, это поспешное утверждение — нельзя торопиться с выводами, когда встречаешь человека впервые (и встречаешь в тот момент, когда хоронят его сестру) и не видишь его глаз за темными очками. И тем не менее

он явно был растерян. Он, несомненно, испытывал в ту минуту страх — страх смерти, — возможно, он впервые в жизни задумался об этом. Потому-то он и уцепился за свою жену — она сильнее его (так дети хватаются за руку матери, когда нужно переходить улицу), но, пока падала земля на тело той, что была с ним одной крови, жена не сжимала его руку, помогая справиться с горем, а держала его на расстоянии, отставив острый локоть (может, он был ей просто противен?). Ботинки молодожена были в грязи — вляпался, наверное, в какую-нибудь лужу на кладбище.

Там был и Деан, чье запоминающееся лицо я узнал сразу, хотя сейчас у него не было усов, как в день свадьбы, и за годы, прошедшие с того дня, он изменился — посуровел и возмужал. Руки он держал в карманах плаща стального цвета, того самого плаща, который он не взял с собой, отправляясь в Лондон, и который я видел в шкафу у него дома, — хороший плащ, но в нем, наверное, холодно. Он не надел темных очков, он не плакал и не выглядел потрясенным. Он был очень высокий и очень худой (или мне это только показалось?), и лицо у него было вытянутое, с мощной нижней челюстью, как у героев комиксов или у некоторых актеров (Кэри Гранта[1], Роберта Митчема[2] и самого Макмюррея, хотя его лицо никак нельзя было назвать глуповатым и у него не было ничего общего с королем шутки и с королем злодеев). У него были тонкие бесцветные губы, того же цвета, что и его кожа с наметившимися бороздками (словно легкие надрезы на деревянной поверхности), которые со временем станут (или уже становятся) морщинами (когда-нибудь его лицо будет походить на исцарапанную школьную парту). Его каштановые волосы, либо очень гладкие от природы, либо смоченные водой, были тщательно расчесаны на косой пробор — так причесывали детей раньше, когда он сам был ребенком (примерно в те же годы, что и я), — привычка сохраняется навсегда, над ней не властны годы. В те минуты (хотя я уверен, что и в любую другую минуту тоже) его лицо было мрачным, задумчивым и спокойным — одно из тех лиц, что может измениться и исказиться как угодно, будто оно в любой миг готово принять новое выражение, но так и не может решить, какое именно: вот-вот, кажется, появится на этом лице выражение жестокости — но нет, это уже не жестокость, это жалость (или меланхолия? или гнев?), но ни одно из этих выражений на лице так и не появляется. Такие лица в обычных обстоятельствах суть только возможность и загадка, может быть, просто потому, что черты не гармонируют друг с другом: поднятые брови — признак иронического склада ума; открытый честный взгляд, большой прямой нос, словно весь состоящий из одной кости, — но крылья носа широкие, что указывает на вспыльчивость или жестокость; узкий напряженный рот человека деятельного и энергичного — но форма губ может говорить как о медлительности и о способности удивляться, так и об умении прощать; упрямый подбородок, сгорбленная спина, чуть заостренные уши, словно он всегда к чему-то тревожно прислушивался. Но он ничего не услышал. Из далекого Лондона до него не донеслись ни шелест простыней, на которые я так толком и не лег, ни звяканье тарелок во время нашего домашнего ужина, ни звон бокалов с Château Malartic, ни пронзительный звук агонии, ни громыхание тревоги, ни скрежет недомога-

1. Кэри Грант (1904—1986) — американский киноактер. Снимался в комедийных и детективных фильмах 30—40-х гг.
2. Роберт Митчем (1917—1997) — популярный американский киноактер.

ния и депрессии, ни дребезжанье страха и раскаяния, ни напев усталой оклеветанной смерти, сделавшей свое дело. Может быть, его слух был заполнен другими звуками там, в Лондоне: шелестом других простыней, звяканьем других тарелок, звоном других бокалов, пронзительными гудками машин, мчавшихся по левой стороне улицы, громыханием высоких автобусов, скрежетом ночного города, дребезжаньем голосов, наполнявших многоязычным гомоном зал индийского ресторана, отзвуками иных, не погребальных, напевов. "Я этого не хотел, я к этому не стремился", — произнес я про себя, стоя возле могилы 1914 года, и в этот момент Деан вдруг поднял глаза и посмотрел в мою сторону. Он смотрел на меня, но взгляд его честных глаз (я смог рассмотреть, что они были цвета пива) оставался рассеянным, этот взгляд словно обогнул меня или скользнул поверх моей головы и снова обратился к могиле, к яме, к пропасти. В глазах Деана появилось беспокойство, словно он чувствовал себя неловко, — из-за того, что у него такое странное длинное лицо, или потому, что он оказался на празднике, который к нему не имел никакого отношения: это был женский праздник, а он на нем был чужаком, необходимой, но в общем-то декоративной фигурой, — просто муж вновь прибывшей, в честь которой — или в память которой (и тогда он уже не муж, а вдовец) — собрались здесь все эти люди, человек тридцать (на самом деле круг наших знакомых гораздо уже). Деану не суждено быть похороненным в этой могиле, где лежат женщины одной крови. Он, возможно, женится во второй раз, и о пяти годах первого брака и жизни с Мартой ему будет напоминать только ребенок — Эухенио, даже когда он перестанет быть ребенком, а образ Марты Тельес будет постепенно стираться из его памяти и скоро растворится совсем (как мало остается после нас, как мало следов оставляет на земле человек, и из этого малого столько умалчивается!). Деан был точно такой, как на фотографии, которую я видел. Он даже начал покусывать нижнюю губу, как тогда, когда смотрел в объектив во время своей черно-белой свадьбы. Сейчас он смотрел, как сыпалась земля на его жену Марту Тельес. И вдруг, когда он вынул руки из карманов плаща, чтобы сжать ими виски (свои бедные виски!), у него подкосились ноги, и он едва не упал: поскользнулся, качнулся на миг в сторону могилы и упал бы, если б его не схватили одновременно несколько рук. Раздались тревожные возгласы, кто-то сзади поддержал его затылок, кто-то схватился за полы его замечательного плаща, а женщина, которая стояла рядом с ним, вцепилась в его руку, когда он, чтобы удержать равновесие, упал на одно колено. Колено вонзилось в землю, как наваха в дерево, ладони сжали виски, так что если бы он все-таки потерял равновесие, то не смог бы опереться на руки. "Тебе на сердце камнем завтра лягу; и выронишь ты меч свой бесполезный; тебе в удел — отчаянье и смерть". Он поднялся сам, разгладил полы плаща, потер колено, пригладил волосы рукой, снова сунул руки в карманы, и лицо его вновь стало отстраненным, только теперь на нем было выражение боли и стыда. Увидев, что случилось, один из могильщиков, уже поднявший лопату с землей, остановился и на несколько секунд, на которые вдовец нарушил тишину церемонии, застыл как статуя — памятник рабочему или шахтеру: руки, крепко держащие лопату, широкие штаны, ботинки на низком каблуке, косынка на шее, старомодная шапка на голове. Его можно было бы принять за кочегара, но сейчас кочегаров уже нет. Когда Деан поднялся с колен, могильщик бросил землю в яму. Но из-за остановки он потерял время и сбился с ритма, так что

немного земли с лопаты попало на плащ Деана, который стоял сейчас ближе всех к пропасти. Хуан Тельес бросил в их сторону сердитый взгляд (непонятно, на кого — на Деана или на могильщика).

В тот момент я заметил (или узнал? или просто посмотрел на нее?) женщину, которая поддержала Деана рукой в бежевой перчатке, — соседку, с которой уже дважды встречался: когда я на рассвете выходил из дома на улице Конде-де-ла-Симера, а она спорила или целовалась с кем-то, и когда я стоял рядом с такси, а она уезжала на своей машине (на ней были жемчужные бусы, она бросила свою сумку на заднее сиденье). Я отвернулся, испугавшись, хотя это было бесполезно, потому что наверняка она меня увидела и узнала — за три дня мы встретились три раза. Через пару секунд я снова повернулся (как-никак на мне были темные очки и сейчас была не ночь), и, хотя мне показалось, что она смотрела на меня внимательно, даже слишком внимательно, словно хотела убедиться, что я тот, кто я есть, — то есть никто, — я не заметил в ее карих глазах ни подозрения, ни сомнения, ни даже удивления: она, наверное, предположила, что я тоже сосед, или друг семьи, но не из самых близких, или друг только умершей и поэтому пришел на похороны, но стоял в стороне. Наверное, она именно так и подумала, потому что, когда могильная плита была положена, могила закрыта и люди оживились немного — начали подходить друг к другу и переговариваться, словно не хотели покидать то место, где оставалась любимая ими (кем-то — более, кем-то — менее) Марта, — эта девушка, проходя мимо меня, грустно улыбнулась и сказала: "Привет!" — "Привет!" — улыбнулся я (моя улыбка, наверное, тоже была грустной), глядя, как она легкой походкой (я снова обратил внимание на ее икры) идет к машине в сопровождении сестры (или подруги?) и еще какой-то женщины. Эта встреча придала мне мужества: я отошел от могилы Леона Суареса Алдая и направился к выходу, словно мне тоже нужно было уходить. Отец Марты все еще не двигался с места. Стоял, поставив ногу на соседнюю могильную плиту: он заметил развязавшийся шнурок и молча показывал на него пальцем, словно обвиняя его в чем-то. Этот большой человек слишком нетвердо держался на ногах и был слишком грузным, чтобы нагибаться, так что его дочь Луиса, встав на одно колено (она уже не плакала, у нее было другое занятие), завязывала ему шнурок, словно он был ребенком, а она — его матерью. Несколько человек ждали их. И вдруг я услышал за спиной знакомый электрический голос: "Ты хочешь сказать, что ты без машины? Черт, что же теперь делать? Меня привез Антонио, но я отпустил его, я думал, ты на машине". Я не обернулся, но сбавил шаг, чтобы меня догнали эти двое — мужчина, который говорил бритвенным голосом, и женщина, которая отвечала ему: "Да что такого? Поедем с кем-нибудь. Или такси возьмем". — "Какое к черту такси, — негодовал он, обгоняя меня, так что краем глаза я уже мог видеть его профиль (он был курносый или казался курносым из-за слишком больших темных очков), — какие такси на кладбище! Это тебе не отель "Палас"! Явилась без машины, додумалась!" — "Я думала, ты будешь на машине", — эти слова она произнесла, когда они были уже впереди. "Я тебе говорил, чтобы ты взяла свою? Говорил? Вот то-то!" — сказал он тоном превосходства и тем положил конец спору. Он был среднего роста, коренастый, крепкий (наверняка частый посетитель спортзала или бассейна), деспотичный и грубый. С нормами приличия он тоже был плохо знаком (или они для него ничего не значили) и потому был в светлом пальто (Деан, впрочем, тоже был в плаще, цвет

которого трудно назвать траурным). У него были длинные зубы, как у того типа, который за два дня до этого стоял рядом с телефоном-автоматом и ждал, пока я повешу трубку, но это был не он, просто они были люди одного сорта: достаточно обеспеченные, достаточно дорого одетые и с плебейским выговором. В Мадриде таких тысячи: поток преуспевающих провинциалов, которые выбиваются здесь в люди. Просто бедствие. Ему было лет сорок. Толстогубый, с развитой нижней челюстью и задубелой кожей, которая выдавала его происхождение, среду, из которой он вышел не так давно, но которая уже была им забыта, вернее, вычеркнута из памяти. Его сбрызнутые лаком волосы были зачесаны назад, как у мелких чиновников (хотя вряд ли он был из чиновников — они говорят не так).

"Слышно что-нибудь про того типа?" — сказал он тихо, сквозь зубы (сейчас звук его голоса напоминал жужжанье фена), но я услышал — я отставал от них всего на пару шагов. И его жена Инес (судья, или фармацевт, или медсестра) так же тихо ответила: "Ничего. Они только начали его искать, и Эдуардо настроен решительно. Но, Висенте, они не хотят, чтобы об этом знали, так что будь добр, воздержись от разговоров на эту тему". ("Он еще и болтун вдобавок! — подумал я. — Потому-то у него всегда в запасе какая-нибудь история! Какую услугу я оказал тебе, Висенте, тем, что унес кассету, какое счастье для тебя, что с Мартой был я".) "Но Бог все знает, — ответил Висенте безразличным тоном, — только он никого не выдает. А тактичных людей сейчас найди попробуй! Это нынче даже добродетелью не считается. Бедная Марта! Хорошо, если им удастся скрыть от ее отца. Хотя скоро все об этой истории забудут. Все проходит, и это единственная форма тактичности, которая еще осталась. Давай искать, с кем уехать. Пойди спроси, у кого в машине еще есть место". И он повел плечами, чтобы пальто удобнее село, и вытянул шею (таким жестом поправляют мешок, который несут на плече). Все подошли к машинам, я тоже. Инес оставила Висенте и отправилась выяснять, кто может подбросить их в центр. Ее я почти не разглядел, потому что, когда мы шли рядом, ее закрывал от меня Висенте. Она шла не спеша, ноги у нее были мускулистые, как у спортсменки или у американки. Когда я смотрю на такие икры, мне всегда кажется, что они вот-вот лопнут. Есть мужчины, которым такие ноги очень нравятся. Мне — нет. На ней были туфли на высоком каблуке (не стоило бы ей такие носить). Я подумал, что она скорее судья, а не фармацевт и не медсестра. Может быть, это ее голос рыдал на пленке ("Пожалуйста!.. Пожалуйста!.."), может быть, тогда она умоляла Марту оставить ее мужа? Если так, то сейчас в душе ее боролись противоречивые чувства ("Как я радуюсь этой смерти, как я скорблю, как торжествую!"). Ее муж ждал, насвистывая (он не замечал, что насвистывает, и забыл, что находится на кладбище) и приветствуя кивком головы то одного, то другого из своих знакомых, что рассаживались по машинам. Он не казался ни очень печальным, ни обеспокоенным. Наверняка он уже знал об исчезновении пленки, на которой называл дурой ту, кого только что назвал "бедной" ("Бедная Марта!"). "А ты у меня в руках! — думал я. — Ты у меня в руках, и я смог бы тебя прижать, даже если бы для этого мне пришлось выдать себя, перестать быть никем". Я увидел, как Инес, стоя возле одной из машин, махала ему рукой, подзывая, — она уже нашла, с кем уехать. Я отыскал взглядом Тельеса, Деана и Луису: отец и сестра еще не подошли, они шли рядом, поддерживая друг друга, шнурок на его ботинке был завязан. Мария Фернандес

и Гильермо шли следом за ними, сосредоточенно глядя перед собой, готовые прийти на помощь, если крепкий старик вдруг споткнется и упадет (или просто внимательно смотрели на дорогу, чтобы не ступить больше в лужу). Деан был уже возле машины, он открыл дверцу и ждал родственников жены — смотрел, как они идут от могилы. Но, возможно, он смотрел не на них, а на могилу, потому что, когда наконец подошли его шурин с женой и свояченица с тестем и сели в другую машину, которую вел Гильермо, Деан еще несколько секунд стоял, опершись рукой на дверцу, хотя ждать уже было некого, отрешенно глядя в ту же сторону. Потом сел в машину, закрыл дверцу и включил зажигание. Он возвращался один, в его машине было много места, пассажиров не было — Инес и Висенте вполне поместились бы. "Он мог бы подвезти меня", — подумал я потом, когда все уже уехали и мне тоже нужно было уходить. Здесь точно был не отель "Палас". Но тут же мне пришла в голову другая мысль: "Если бы он подвез меня, я перестал бы быть никем".

Через некоторое время я перестал быть для них никем.

С братом и сестрой Марты я познакомился через их отца, а с самим Тельесом попытался познакомиться (и познакомился) через одного своего приятеля, которого не раз выручал, выступая — по его просьбе — в его роли. На этот раз я сделал это по своей воле, я сам хотел этого, я к этому стремился. Зовут моего приятеля (по крайней мере, так он представляется) Руиберрис де Торрес. Личность это довольно своеобразная. Он человек тонко чувствующий, усердный писака и не без способностей. Ему, скорее всего, просто не везет, потому что очень часто людей гораздо менее усердных, толстокожих и без всяких способностей превозносят, восхваляют и осыпают премиями и почестями. Когда-то в молодости он опубликовал три-четыре романа. Один из них даже имел успех, но этот успех Руиберрис де Торрес не сумел развить, так что новому поколению его имя уже ничего не говорит. Я знаю, что у него есть какие-то не совсем мне понятные дела, знаю, что он полуночник, что часто живет за счет женщин. Он может быть очень милым, умеет спрятать свое жало тогда, когда его нужно спрятать, умеет польстить кому надо, знает всех и вся, и большинство его знакомых даже не подозревают, что он писатель (или что был писателем). Он этого не афиширует и не цепляется за прошлую славу. Но у него есть одна особенность: его вид обычно не внушает людям доверия, настораживает, и в некоторых местах ему лучше не появляться. Он свой в компании киношников, телевизионщиков и людей театра, хотя выглядит для этого круга несколько старомодным. Среди грубых и невежественных газетчиков старых школ — как франкистской, так и антифранкистской (первые более грубые, вторые более невежественные) — он тоже может сойти за своего, хотя и выделяется тем, что умеет одеваться и подать себя. Но среди своих истинных коллег — писателей — он кажется чужаком, и они относятся к нему именно как к чужаку. Он слишком много шутит и смеется, много говорит и не идет на компромиссы. А на какой-нибудь официальной церемонии или в каком-нибудь министерстве его появление вызывает просто панику, и у него не раз уже бывали из-за этого неприятности (и это при том, что заказы от правительственных чиновников и министерств являются одним из источников его дохода). Когда он пишет, его речь так же высокопарна, как остроумна и развязна, когда он говорит. Это, несомненно, один из тех случаев благоговейного отношения к литературе, когда че-

ловек (будь он даже отпетый негодяй), склонившись над белым листом, бывает не в силах, из почтения к этому листу, перенести на него ни одной черты своего скверного характера, написать грубое слово, разрешить себе шутку, ошибку, неуместное замечание или дерзость. Он никогда не позволит себе показать свое истинное лицо, возможно потому, что считает его недостойным этого высокого искусства. Руиберрис де Торрес, для которого, кажется, нет ничего святого, относится к литературной работе с трепетом (может быть потому он в ней и не преуспел). Добавьте к этому хорошее гуманитарное образование, и вы поймете, почему его стиль как нельзя лучше подходит для речей, которые никто не слушает, когда их произносят, и никто не читает, когда на следующий день они появляются в газетах, — то есть для публичных выступлений министров, генеральных директоров, банкиров, прелатов, президентов фондов и ассоциаций, всем и каждому известных или давно забытых академиков и других выдающихся деятелей, которые изо всех сил стараются создать себе имидж интеллектуалов (совершенно, впрочем, напрасно: в их интеллектуальные способности давно уже никто не верит). Так что у Руиберриса всегда много заказов, и он хотя и не публикуется, но пишет постоянно, или, лучше сказать, писал, потому что в последнее время, благодаря одной удачной сделке и постоянной связи с одной очень богатой дамой, которая его обожает и очень балует, он может позволить себе побездельничать, а потому отказался от большинства заказов, точнее, перепоручил их выполнение мне: я должен делать за него работу, а он платит мне семьдесят пять процентов от суммы гонорара (наше сотрудничество держится, разумеется, в тайне, хотя и слишком уж большого секрета он из этого не делает).

Итак, он из тех, кого на нашем жаргоне зовут "неграми" (на других языках их называют "писателями-призраками"), а я работаю негром у негра (или призраком у призрака), — я дважды призрак и дважды негр, дважды никто. В моей практике это не единственный случай: большинство сценариев, которые я пишу (особенно сценарии для телесериалов), выходят тоже не под моим именем. Продюсер, режиссер, кто-то из актеров или актрис платит мне круглую сумму в обмен на то, что вместо моего имени в титрах будет стоять другое (так они чувствуют бóльшую причастность к своему целлулоидному шедевру), и я становлюсь негром, или призраком. Это моя основная работа и источник неплохого дохода. Впрочем, иногда мое имя все же появляется на экране среди еще четырех-пяти имен сценаристов, которые не вписали в сценарий ни одной строчки или которых я в жизни своей не видел: обычно это родственники продюсера, или режиссера, или кого-нибудь из актеров и актрис (им таким образом помогают справиться с временными финансовыми затруднениями). Только пару раз я, возгордившись своим творением, не поддался на уговоры и настоял на том, чтобы мое имя стояло в титрах отдельной строкой, — моя роль в создании шедевров была обозначена многозначительно и непонятно: "Дополнительные диалоги".

Так что мне хорошо известно, что в мире кино и телевидения никто ничего не пишет сам (так же как почти никто не пишет сам речей и докладов). Однако очень часто случается (и в этом, если подумать, нет ничего странного), что узурпаторы (после того как зачитают свою речь на публике и услышат вежливые или скупые аплодисменты или когда посмотрят по телевидению сцены и диалоги, авторами которых они считаются, хотя придумали их не они) начинают верить, что куп-

ленные ими слова и впрямь вышли из-под их пера или родились в их головах. Они присваивают эти слова (особенно если они удостоились чьей-то похвалы, даже если их похвалил швейцар или церковный служка) и готовы отчаянно защищать их, что тоже не может не льстить негру. В этом самообольщении министры, генеральные директора, банкиры, прелаты и другие ораторы заходят так далеко, что становятся единственными читателями чужих речей, — читателями чрезвычайно въедливыми и придирчивыми. Они громят чужие творения так, как только известные писатели громят произведения своих собратьев по перу. Иногда, сами того не подозревая, они поносят тексты, написанные теми, кто пишет для них самих, и позволяют себе критиковать не только содержание и идеи (это было бы понятно), но и стиль. Они принимают свою ораторскую деятельность слишком близко к сердцу и начинают требовать, чтобы их призраки работали только на них, сулят им за это более высокие гонорары и соблазняют подарками. Иногда они даже пытаются переманить чужих негров — если, например, министру вдруг показалось, что речь вице-президента Банка Испании была лучше, чем его собственная, или председатель акционерного общества чуть не умер от зависти, увидев в выпуске новостей, как слушатели криками "ура" отвечали на пламенные призывы какого-нибудь генерала. Эксклюзивность, заметим кстати, вряд ли достижима там, где все основано на секретности и анонимности: все негры принимают ее как условие сотрудничества, но потом (в условиях уже двойной секретности) с удовольствием работают и на врага. Некоторые прибегают к услугам маститых писателей (почти все продаются, а некоторые готовы работать даже бесплатно, чтобы установить полезные контакты или чтобы иметь возможность влиять на публику и распространять свои идеи), полагая, что их претенциозный и цветистый стиль сделает речи более яркими, а лозунги — более привлекательными, не понимая, что знаменитые и многоопытные писатели менее всего подходят для такой работы — ведь личность пишущего никак не должна проявляться в том, что он пишет, наоборот, он должен перевоплотиться в того человека, от лица которого пишет, раствориться в нем, а от известных писателей этого ждать бесполезно: они, вместо того чтобы думать, что сказал бы в этом случае министр, думают о том, что сказали бы в этом случае они сами, если б были министрами (они легко представляют себя в этой роли). Многие выдающиеся люди уже поняли свою ошибку и теперь чаще всего выбирают таких, как Руиберрис или я, — образованных, мало кому известных, с хорошим стилем, большим лексическим запасом и способностью к перевоплощению (или способностью поступиться своими взглядами, если нужно). Не очень амбициозных и не очень удачливых (хотя — судьба капризна).

Бывает, что высокопоставленный заказчик (обычно они выступают через посредников) хочет лично познакомиться со своим негром, чтобы дать ему прямые указания, или для того, чтобы, встретившись с великим человеком, негр проникся его идеями или что-то от него перенял, а иногда и просто из любопытства. Вот тогда-то у Руиберриса и возникают проблемы. Он знает, что его вид не внушает доверия, знает, что дело здесь не в одежде, не в выговоре, не в манерах, а в его внутренней сути, а значит, бороться с этим бесполезно. Не то чтобы он был неряшливо одет или плохо причесан (например, чтобы спрятать лысину, делал пробор слишком низко), или не мылся и от него плохо пахло, или навеши-

вал цепочек на шею — нет. Просто его лицо и жесты, его походка, его фигура и его безудержное красноречие выдают прохвоста. Человека хоть сколько-нибудь проницательного он никогда не сможет провести. Не потому, что он не хочет или не может этого сделать, а потому, что его намерения будут разгаданы сразу (его будут подозревать, даже если у него нет никаких дурных намерений). На его счастье, в мире еще полно раззяв и олухов, так что за свою жизнь он многих одурачил и еще многих одурачит. Зная, что человек хоть чуть-чуть подозрительный и осторожный на его удочку не попадется, он окружает себя милейшими людьми — самодовольными мужчинами и наивными женщинами (они лучше всего годятся на роль жертв).

У него длинные загнутые ресницы, прямой костистый нос, верхняя губа, когда он улыбается или смеется (а смеется и улыбается он много), заворачивается кверху, открывая влажную внутреннюю поверхность губы и придавая его лицу похотливое выражение (неудивительно, что он покорил столь многих женщин). Он всегда держится очень прямо, чтобы подчеркнуть, что у него плоский (слишком плоский) живот и очень выпуклые грудные мышцы; если он стоит, то стоит, скрестив руки на груди, ладонь правой руки — на бицепсе левой, и наоборот, словно он ласкает их или проверяет их крепость. Он один из тех, кого, как бы они ни были одеты, люди сразу представляют себе в рубашке поло и спортивных ботинках — и этим, думаю, все сказано. Поэтому понятно, что, когда его видят важные люди, они приходят в ужас и хватаются за голову. "Ah mais non!"[1] — воскликнул один из наших бывших послов во Франции, для которого Руиберрис должен был написать текст важного выступления. — Кого вы мне привели! Это марселец! Это Pepe le Moco![2] Это maquereau![3]" — в волнении он не сразу вспомнил подходящее слово из родного языка. Посол не захотел слушать никаких доводов, не стал читать никаких его текстов. Он отказался работать с Руиберрисом и наказал посредника. Этот случай кое-чему его научил, и с тех пор он старается избегать встреч со своими заказчиками, а когда другого выхода нет, посылает меня вместо себя. Посредники закрывают на это глаза, понимая, что сенатору или нунцию лучше не видеть подтянутого субъекта, который кажется одетым в купальный халат или в рубашку поло (я выгляжу скромнее и не вызываю никакого беспокойства). Поэтому мне случалось иногда быть не только его голосом, но и его лицом (без особого желания, впрочем: общаясь с вышестоящими, часто чувствуешь себя униженным).

Вот почему именно Руиберриса, который так хорошо осведомлен обо всем и знаком с немыслимым количеством людей, я спросил о Его Превосходительстве Хуане Тельесе Орати. К сожалению, Руиберрис не был знаком с ним лично, но кое-что о нем знал:

— Академик, член Академии изящных искусств и Академии истории, кажется, тоже. Отсюда и титул. Впрочем, он мог получить его и по другой линии — он в хороших отношениях с королевским двором. Сейчас он отошел от дел, но по-прежнему оказывает им некоторые услуги. Хороший придворный, таких нынче редко встретишь. Ничего особенного

1. Только не это! (*франц.*)
2. Пепе ле Моко — реально существовавший человек, преступник, но при этом чрезвычайно обаятельная личность. Прототип главного героя одноименного романа Анри Ла Барта и фильма Жюльена Дювивье "Пепе ле Моко" (1937), где его роль сыграл Жан Габен.
3. Сводник, сутенер (*франц.*).

он не написал (то есть никаких книг), но имеет (или имел) определенное влияние и еще публикует какие-то статьи в какой-то газете. Полагаю, что не пропускает ни одного заседания в своих академиях, так как других обязанностей у него нет — он уже вышел в тираж, он уже вчерашний день, хотя отказывается признавать это, как всегда бывает в таких случаях. Он держится на плаву благодаря своим связям при дворе, где к нему, как я слышал, благоволят. Это все, что я знаю. А почему ты о нем спрашиваешь?

Вот что рассказал мне Руиберрис, когда мы сидели с ним в баре на следующий день после похорон Марты Тельес (об этой смерти он не упомянул — он о ней не знал). После услышанного от Руиберриса мне показалось странным, что на похоронах присутствовало не больше тридцати человек и что я не видел там ни одного лица из тех, что часто мелькают на телеэкране. Возможно, родственники не хотели присутствия чужих на этой церемонии, так как смерть Марты произошла при странных обстоятельствах, но извещение-то они опубликовали? Хотя — объявление появилось утром того самого дня, когда состоялись похороны, а рано утром никто газет не читает, так что это дало им возможность и приличия соблюсти, и избежать присутствия лишних людей, которые задавали бы ненужные вопросы.

— Да пока и сказать нечего, — ответил я. Прошло еще слишком мало времени, чтобы я мог спокойно рассказывать об этой моей смерти (смерти Марты, моя она только потому, что я при этом присутствовал — не так и мало для того, чтобы считать ее своей), и хотя я знаю, что Руиберрис человек надежный, я все равно не могу доверять ему полностью. Его лицо мне приятно, и с каждым годом он становится мне все более симпатичным, но дело в другом: во что бы Руиберрис ни был одет, я, как и все остальные, вижу его в рубашке поло. Таким же я видел его и в тот день, несмотря на то что оба мы были одеты по-зимнему, оба сидели на неудобных высоких табуретах у стойки, — это его любимое место в кафе и в барах, он всегда сидит только у стойки: наверное, так он чувствует себя более молодым, к тому же отсюда видно все, что происходит вокруг, и легче сбежать в случае необходимости. Я легко могу представить себе, как он выбегает из притона или из игорного дома на рассвете, с цветком в петлице. Даже с цветком в зубах.

— А имя Деан тебе что-нибудь говорит? Эдуардо Деан? — Руиберрис задумался. Казалось, он не впервые слышал это имя. — Эдуардо Деан Бальестерос, — уточнил я.

Руиберрис быстро провел языком по верхней губе, загибавшейся кверху, — думал. Потом отрицательно покачал головой: “Нет”.

— Ты уверен?

— Ничего не говорит. Сначала мне показалось, что да, что это имя мне знакомо, но если я и слышал его, то не помню, в какой связи. А кто это?

Руиберрис не мог не задать этого вопроса. Он спрашивал не потому, что был таким уж нескромным, и не из хронического любопытства: он знал, что может задать мне любой вопрос, а если я не захочу ему отвечать, то и не буду.

— Не знаю. Кроме имени, я о нем почти ничего не знаю. — Это была правда: я знал, что он был женат и что сейчас овдовел, но не знал даже, кто он по профессии. Марта несколько раз самым естественным тоном

упомянула в разговоре его имя, но речь всегда шла о делах домашних. Во время наших предыдущих встреч она тоже ничего о муже не рассказывала — не то чтобы хотела скрыть, что она замужем (она этого не скрывала), а просто не хотела это подчеркивать.

— А кого-нибудь из Тельесов ты знаешь? Луису Тельес? Или Гильермо Тельеса?

— Это что, дети Тельеса Орати?

— Да, — я едва не добавил "те, что еще живы", но сдержался: это вызвало бы новые вопросы. — Можно как-нибудь познакомиться с Тельесом-старшим?

Руиберрис рассмеялся. Губа завернулась кверху, и засверкали зубы. Пытаясь сдержать смех, он ухватился руками за концы шарфа, который не снял, хотя в баре было жарко. Шарф гармонировал с брюками такого же кремового цвета — цвета благородного, но больше подходившего для весны. На табурете рядом лежало его длинное черное кожаное пальто. Когда он надевает это пальто, то кажется сошедшим с экрана эсэсовцем из старого фильма — он любит такие эффекты.

— Зачем тебе эта мумия? Надеюсь, ты не собираешься вести с ним никаких серьезных дел?

— Нет, конечно, — ответил я. — Я даже не уверен, что хочу с ним познакомиться, и не совсем понимаю, зачем мне это нужно, но он единственный из них, о ком мы хоть что-нибудь знаем. Возможно, то, чего я хочу, — это познакомиться с его детьми. Или с дочерью. А это легче сделать через отца.

— А Деан, он кто такой? — спросил Руиберрис.

— Так что насчет Тельеса? — спросил я, чтобы вернуться к тому, что меня интересовало, и чтобы не отвечать на его вопрос.

Руиберрису нравится оказывать услуги (по крайней мере, он всегда с готовностью их оказывает). Кто этого не любит — поколебаться, посомневаться, поразмышлять, а потом произнести: "Посмотрим, что можно сделать", или "Я подумаю", или "Я все улажу", или "Я этим займусь". Он поколебался (всего несколько секунд — он человек действия, он думает быстро или почти не думает), потом заказал еще пива (Руиберрис — один из немногих мужчин, что в наши дни позволяют себе в барах и ресторанах, подзывая официанта, хлопать в ладоши или щелкать пальцами, причем я никогда не видел, чтобы хоть один из официантов рассердился или обиделся, словно он имел право продолжать вести себя так, как вели себя в пятидесятые, и словно он сам принадлежал к этой эпохе). Сейчас он два раза щелкнул пальцами (большим и средним), потом встал (так он был выше меня) и придвинулся ко мне со своим пивом.

— Ты всегда можешь выдать себя за журналиста, — сказал он. — Я уверен, что Тельес будет счастлив дать тебе интервью. Чем люди старше и чем меньше о них помнят, тем больше они радуются вниманию к себе. Они хотят высказаться — их время уходит.

— Я не хотел бы его обманывать: это интервью не будет напечатано, а он будет ждать. Другие способы есть?

Руиберрис де Торрес скрестил руки на груди, положив ладони на бицепсы. Он что-то придумал. Какой-нибудь трюк, какой-нибудь ловкий ход.

— Может быть, и есть, — сказал он. — Но для этого тебе придется выполнить одну работенку.

— Что за работенка?

— Не волнуйся, ничего такого, чего ты не смог бы сделать.

Он провел языком по губам, и глаза его хитро заблестели. Он огляделся — не то искал жертву, не то прикидывал, как убежать.

— Подожди немного, может быть, мне удастся все устроить.

Он казался слегка возбужденным, слова "может быть, мне удастся все устроить" прозвучали, как "Я такое придумал!", или "Есть у меня одна идея", или "Можешь на меня положиться".

— Так ты скажешь, зачем тебе это?

Я хотел все рассказать ему, хотел сказать: "На самом деле я и сам не знаю, мне пришла в голову вещь ужасная и смешная, и я думаю об этом постоянно, словно меня заколдовали; я не хочу ничего выведать, потому что мне нечего выведывать, не хочу никого спасти, потому что она уже умерла, не хочу ничего добиться, — чего тут можно добиться, кроме разве что упреков или чьей-то несправедливой ненависти — ненависти Деана, например, или ненависти Тельеса, или его оставшихся в живых детей, или даже этого деспотичного грубияна Висенте, который спал с ней, когда хотел, и не ломал себе голову (я даже одного раза не сумел сделать этого, даже в первый раз). Я не хочу занять чье-то место, не хочу никому зла, не хочу ничего отнять, не хочу ни отомстить кому-то, ни искупить вину, ни успокоить совесть, ни избавиться от страха. Зачем? Я никому ничего не сделал, и мне никто ничего не сделал, в том, что произошло, никто не виноват. Мною движет не то, что движет людьми в таких случаях, — выпытать, спасти, добиться, занять место, навредить, отнять, отомстить, избавиться, успокоить совесть, переспать. Но если мною движет не это, тогда что? Ведь что-то же нас толкает, что-то заставляет действовать? Бездействовать мы не можем уже потому, что мы живем — от чего-то страдаем, чего-то желаем, чем-то мучаемся (хотя все это бесполезные страдания, желания и мучения). Сейчас я ничего не хочу выпытать — сейчас я сам должен скрывать, это *я* знаю, что произошло, это они должны выпытывать у меня, они должны вырвать у меня правду и заставить меня рассказать. Рассказать о том, как я ничего не сделал, и о том, как я поступил. "Но они только начали его искать, и Эдуардо настроен решительно" — эти слова я слышал, и слово "его" относилось ко мне, а не к кому-то другому, даже не к этому Висенте, который будет в моих руках, если я решу все рассказать, и к которому эти слова были обращены. Я ничего не хочу, просто мной завладела ужасная и смешная идея: мне кажется, что я заколдован, что за мной следят, мысли мои путаются, тело не подчиняется мне, оно во власти странных чар, оно haunted тою, с которой я сблизился в минуту смерти, с которой меня связывают лишь несколько поцелуев". Я хотел бы сказать все это Руиберрису, но первые же несколько слов заинтриговали бы его куда больше, чем тот ответ (самый обычный, самый простой и самый понятный), который я ему дал:

— Не сейчас.

Приближалось время обеда, и нам пора было расставаться. На улице лил дождь, мы видели его сквозь огромное окно. Насквозь промокшие люди торопились войти, на ходу закрывая зонты.

Шел проливной дождь, обычный для Мадрида, дождь монотонный и вялый, без ветра, который подстегнул бы его, дождь, который знает, что ему предстоит идти еще много дней, а потому не злится и не спешит. Наверное, там, далеко отсюда, далеко от центра и от жилых кварталов —

над могилой Марты Тельес — дождь шел еще медленнее. Капли будут падать на камень и мыть его, и так будет до конца света (или до конца камня), хотя дождь в этом месте идет нечасто и она укрыта от него, так что ей не надо бежать и прятаться, как прохожим на Гран-Виа, быстро перебегавшим через дорогу и искавшим укрытия под навесами, в магазинах и на станциях метро — так же, как когда-то их предки, носившие шляпы и более длинные юбки, бежали, чтобы укрыться от бомбежек во время долгой осады. Мужчины придерживали свои шляпы, юбки женщин развевались — такими я видел их в документальных фильмах и на фотографиях времен нашей гражданской войны. Еще живы некоторые из тех, что убегали тогда, спасаясь от смерти, а некоторые из тех, кто родился позднее, уже умерли — как странно! Тельес жив, а его дочь Марта — нет. Под навесом нашего бара, который существовал и в тридцатые годы и, значит, видел, как падали бомбы и как падали прохожие, не успевшие укрыться от них в разоренном Мадриде более полувека назад, столпились люди — нам придется протискиваться сквозь эту толпу, когда мы соберемся уходить.

Руиберрис захватил горсть орешков и бросил их в рот. Он с сомнением посмотрел на свое нацистское пальто ("Вот черт, промокнет!"), потом извинился и вышел в туалет. Он пробыл там довольно долго, а когда вернулся, мне показалось, что он принял там неплохую дозу, чтобы легче смотреть на дождь, на тот ущерб, который будет нанесен его кожаному пальто, и на ожидавший его обед, во время которого он, вне всякого сомнения, собирался обсудить важное дело (для него важны все дела, за которые он берется). Мне известно, что он иногда нюхает кокаин — для поднятия духа, для того чтобы продолжать нравиться и продолжать возмущать спокойствие. Из-за этого у него тоже возникали проблемы с заказчиками, особенно с теми, для кого он писал. Он секунду постоял около своего табурета, задумчиво или меланхолически, словно сожалея, что ему придется на время выбыть из новой игры (которая, впрочем, без его участия и начаться-то не могла).

— Ладно, не хочешь — не рассказывай, — сказал он. — Но и меня пока ни о чем не спрашивай. В принципе все возможно, но знаешь, это особый мир... Подожди немного, когда я что-нибудь придумаю, я тебе позвоню.

Как он меня и просил, некоторое время я его не беспокоил. Я не звонил ему и вообще ничего о нем не слышал почти месяц, так что только через месяц я познакомился с Тельесом, Деаном и Луисой — сначала с отцом, а потом с дочерью и зятем (с двумя последними я познакомился почти одновременно). Итак, я ни о чем не спрашивал Руиберриса, но через четыре недели он позвонил мне и сказал:

— Надеюсь, Тельес Орати тебя все еще интересует?

— Да, — ответил я.

— Я таки на него вышел. Я вас познакомлю. Вернее, ты сам с ним познакомишься, меня рядом не будет. Но имей в виду: ты познакомишься не только с ним.

— Интересно. И что же ты придумал?

— Не думай, что мне это ничего не стоило. И все без обмана, как ты и просил. Две тысячи звонков, долгое ожидание, множество посредников и пара встреч. Теперь слушай: будешь писать речь для Единственного.

— Для кого?!

— Так его называют люди из ближайшего окружения: Единственный, Неповторимый, Solus[1], Отшельник, Одинокий Ковбой[2]. Еще они зовут его Only the Lonely и Only You[3]. Говоря о великом человеке, приближенные (а Тельес из их числа, я тебе уже говорил) почти никогда не называют его имени или титула. Дело делалось не скоро, как тому и положено, но сейчас осталось совсем чуть-чуть. Я слышал кое от кого из министерства, что Единственный остался не слишком доволен своими последними речами. Правду сказать, он никогда ими не был доволен. Он и его люди перепробовали уже всех: чиновников, академиков, университетских профессоров, юристов, журналистов, которые пишут для бульварных газет, и журналистов, которые пишут для толстых журналов, поэтов-романтиков и поэтов-мистиков, романистов с каллиграфическим почерком и романистов с хорошим стилем, драматургов-мизантропов и драматургов-пошляков (все, заметь, были страшные патриоты!) — и ни разу не остались довольны: ни один их этих негров не осмелился перевоплотиться в такую персону, так что Единственному самому становится скучно всякий раз, когда он репетирует свою речь перед зеркалом или произносит ее публично. Ему уже надоело, что после стольких речей и стольких лет правления он по-прежнему остается безликим. Он хочет иметь свой собственный стиль, как всякий человек, он чувствует, что его никто никогда не слушает. Кажется, он даже хотел начать писать сам, но ему не позволили (к тому же у него ничего не вышло: мысли интересные, но сформулировать их он не может). Через одного типа из министерства я подсунул Тельесу некоторые наши вещицы (точнее, некоторые из твоих последних), и они не прочь нас попробовать. Они и сами уже обратили внимание на доклад президента Торговой палаты и на приветствие севильцев папе римскому (шпилек в этом приветствии никто не заметил). Тельес к нам благоволит, он считает, что это он нас открыл, и он просто счастлив быть двору еще чем-то полезным. Он хороший придворный. Но Единственный хочет тебя видеть лично. То есть видеть он хочет Руиберриса де Торреса, но ты же понимаешь, что я во дворце не появлюсь, даже думать нечего. Тельес тоже это понимает. Он знает наш метод, знает, что все пишешь ты, что Руиберрис — это два человека.

— Так ты с ним виделся? — спросил я.

— Виделся. Он мне назначил встречу в Академии изящных искусств. Когда я вошел, он готов был приказать швейцарам вытолкать меня взашей — за карманника принял. Или еще за кого, уж не знаю. Вечная история. Общаться с ним не очень легко: сам понимаешь — возраст. Лицо его мне знакомо, но не по фотографиям: я его встречал на ипподроме (раньше он туда ходил), а на фотографиях он появляется редко. Потом он успокоился, кажется, я ему даже понравился. Мумия, конечно, но дело иметь с ним можно. Так что готовься: послезавтра в девять за тобой заедет сам Тельес. Поговоришь с ним и с Единственным (а может, и еще с кем, я не знаю) полчаса или около того и, если все пройдет хорошо, будешь писать для них речь. Не думаю, что это тебя в будущем к чему-нибудь обяжет. Они все равно останутся недовольны, они ничем не бывают

1. Один, одинокий (*лат.*).
2. Так в переводе на испанский звучит прозвище героя популярного американского сериала "Одинокий объездчик" ("The Lone Ranger").
3. "Только тот, кто одинок" (*англ.*) и "Только ты" (*англ.*) — названия популярных американских песен.

довольны. Платят они, правда, мало, выгодной сделкой это не назовешь. Королевские дворы всегда скупы: привыкли, что все просто счастливы оказать им услугу и никто не требует оплаты. Если негр тщеславен или любит позлословить, ему посылают монету специального выпуска, или герб, или фотографию с дарственной надписью в тяжелой раме — что-нибудь в таком роде. Я ему сказал, что мы согласны на минимальный тариф. Тебе ведь это не важно? Тебе ведь важно с Тельесом познакомиться?

— Ну тогда и твоя часть будет минимальной, не возражаешь? — спросил я.

— Само собой.

— Что нужно писать?

— Этого я еще не знаю. Тельес или кто-нибудь из министерства тебе потом объяснят. Если они нас возьмут, конечно. Что-то там с заграницей — не то Страсбург, не то Ахен, а может быть, Лондон или Берн. Не знаю, мне не сказали. Но это дело десятое. Главное — встретиться с Тельесом, так ведь? — не успокаивался Руиберрис. Он ждал, что в благодарность я расскажу ему, почему я так хочу познакомиться с мумией. Просьбу он выполнил, хотя, как и всегда, выбрал для этого самый трудный путь из всех возможных, он всегда делает больше того, о чем его просят, всегда расширяет круг своих полномочий. Он мог бы и меня позвать на ту предварительную встречу в Академии изящных искусств, и тогда я мог бы сам решить, хочу я встречаться с Тельесом еще раз или нет, и не нужно было бы вмешивать в это дело Единственного. Но что сделано, то сделано.

— Да-да, это главное.

Больше я ничего не собирался ему говорить, но, заметив по его молчанию, что этого недостаточно (впрочем, мне и самому так казалось), добавил:

— Спасибо, я тебе очень обязан.

— Ты мне обязан рассказать все. Потом.

По его тону я понял, что он улыбается своей белозубой улыбкой на том конце провода: он не требовал, не настаивал.

— Конечно. Потом, — сказал я и подумал, что, возможно, я должен был сделать это уже давно. Я давно должен был рассказать эту историю многим людям: исполнить свой долг, пусть условный, пусть даже несуществующий, — ведь никто ничего от меня не требует, никто меня даже не знает. Я должен был рассказать эту историю Руиберрису, и мужу Деану, который только начал искать меня и был настроен решительно, возможно, я должен был рассказать ее ведущему пустую и бесцветную жизнь Тельесу и двум его живым детям. Ни одному из них эта история не понравится, понравиться она может только Марии Фернандес Вера, которая не является прямой родственницей. А еще ее очень хотел бы узнать вспыльчивый Висенте, хотя он предпочел бы рассказывать эту историю сам. А вот Инес пришла бы в ужас, если б узнала все. Может быть, мне следовало рассказать эту историю еще и той девушке, что стояла с кем-то в ту ночь у подъезда дома на улице Конде-де-ла-Симера? Я тогда прервал их спор, или прощание, или поцелуй. Хотя ей вряд ли интересна и эта история, и я сам. И ночному портье из отеля "Вильбрахам" в Лондоне — я побеспокоил его в слишком поздний (или слишком ранний?) час из-за этого дела. Я должен был рассказать ее малышу Эухенио, который, должно быть, уже вернулся к себе домой, если его оттуда забрали после той ночи, вернулся в свою комнату, и сейчас ему и его ма-

ленькому кролику снова угрожают тихо покачивающиеся на своих нитках самолеты, а он спит, и ему снится Марта, которой уже нет и образ которой уже начал тускнеть и блекнуть. Она пассажирка на одном из этих самолетов. Малыш тоже заколдован. Только это колдовство скоро кончится.

Мы с Тельесом приехали (на его машине, судя по всему служебной) раньше назначенного времени, но Единственный заставил нас подождать, как и положено такому высокопоставленному и такому занятому человеку. Наверное, он очень часто не укладывается в срок, отведенный в его расписании на то или иное мероприятие, и, когда отставание от графика становится слишком большим, он просто отменяет очередную встречу в последний момент, чтобы следующая началась точно в назначенный час. Я бы в таком ритме жить не смог.

Я прекрасно сознавал, что, хотя мы приехали в самом начале рабочего дня, мы вполне могли оказаться теми, встречу с кем он мог бы отменить — придворного и негра всегда можно отложить на потом (перед нами вежливо извинятся, и мы уйдем ни с чем). Пока мы ждали в довольно прохладном небольшом зале, Тельес еще раз повторил наставления, которые давал мне по пути: не прерывать, но и не допускать, чтобы в разговоре возникла пауза; вступать в разговор только тогда, когда непосредственно ко мне обратятся с вопросом или когда меня попросят изложить свои соображения; воздержаться от грубых жестов, не говорить громко, потому что это выводит Единственного из себя и сбивает его с мысли (он так и сказал: "выводит из себя", так что это прозвучало как серьезное предупреждение), обращаться только так, как положено обращаться к особе королевской крови. Он объяснил мне, как нужно поздороваться и как попрощаться, напомнил, что нельзя садиться, пока не сядет Он и не пригласит нас сделать то же, и чтобы я ни в коем случае не вставал, пока Он этого не сделает. Так что всю дорогу я чувствовал себя школьником или мальчиком накануне первого причастия, и не столько из-за того, что мне приходилось выслушивать наставления, сколько из-за того, каким тоном Тельес мне эти наставления давал: это была смесь снисхождения, осуждения, высокомерия и неуверенности (он был недоволен своим подопечным и сомневался в успехе дела). Пока я шел от дверей своего подъезда к его машине, он придирчиво меня рассматривал, как будто от моей внешности зависело, пригласит он меня сесть в машину или нет (дверца открыта, и ее держит сухая, в пигментных пятнах рука; густые брови — домиком, как у гнома, — скептически подняты). Я чувствовал себя так, как, наверное, чувствует себя проститутка, которую осматривает и оценивает клиент перед тем, как сделает унизительный жест, означающий: "Давай садись в машину". Видимо, мой вид его удовлетворил (Руиберрис, надо полагать, убедил его, что я им подойду), потому что он, поторапливая меня, помахал мне тростью со скромным набалдашником. Сейчас, когда мы ждали, он коротал время, играя этой тростью: то клал ее на колени и перекатывал, то ставил между ног и крутил в ладонях. Мы были не одни: в зале, куда нас привели, находился неподвижный слуга, или фактотум, в старинной (хотя эпоху я определить не смог) ливрее темно-зеленого цвета, черных кюлотах, белых чулках и лаковых башмаках (не хватало только парика). Это был дряхлый старик, рядом с которым Тельес казался юнцом. Тельес поздоровался с ним: "Здравствуй, Сегарра!", и тот радостно ответил:

"Добрый день, сеньор Тельес!" Они явно были знакомы с очень давних и не очень добрых времен. Волосы у старика были совсем седые и зачесаны вперед, как у римских императоров. Он стоял у давно не разжигавшегося камина, над которым висело большое потускневшее зеркало, стоял очень прямо и почти неподвижно, только иногда переносил центр тяжести с одной ноги на другую или снимал затянутой в перчатку рукой пылинку или катышек с перчатки на другой руке (при этом катышек переходил, разумеется, с одной перчатки на другую). Перчатки были белоснежные, чулки (они напомнили мне чулки, в каких ходят медсестры) тоже. Я подумал, что долго он в таком положении не выдержит, но потом понял: он уже столько лет стоит вот так, неподвижно, что давно привык к этому, можно сказать, это его естественное состояние, и он уже не устает (кроме того, рядом стояла банкетка, и он, наверное, присаживался на нее, когда в зале никого не было).

Тельес, вынув из кармана пиджака трубку, начал набивать ее. Несколько табачных крошек просыпалось на пол. "Трубку собирается закурить, — подумал я. — Значит, это надолго. Хотя, возможно, у них действительно дружеские отношения и он сможет продолжать курить, даже когда появится Solus". Но сам я закурить не решился. Старичок, наряженный в старинную ливрею, снял с полки над давно потухшим камином тяжелую старинную пепельницу и медленно зашаркал к нам:

— Пожалуйста, сеньор, — сказал он медленно и медленно, изо всех сил стараясь не уронить, начал опускать пепельницу на маленький столик рядом с нами.

— Ну что, Сегарра, как тут дела? — не упустил возможности поинтересоваться Тельес.

— Не знаю, сеньор Тельо. Когда вы пришли, он еще флетчеризировал свои злаки.

— Что делал? — испуганно спросил (просыпав еще больше табаку) Тельес, хотя тон Сегарры был совершенно спокойным. Зал этот предназначался, наверное, для встреч с хорошо знакомыми или не очень важными людьми (в конце концов, все мы были лишь обслуживающим персоналом). Наверное, здесь всех заставляли ждать, как рок-звезды заставляют ждать журналистов.

Дворецкий (или сенешаль? — я в этом не слишком разбираюсь) Сегарра, казалось, был доволен тем, какое впечатление произвели его слова, и тем, что смог сообщить что-то интересное и даже экстравагантное. У него были живые и веселые глаза человека, который повидал немало странного и сохранил способность удивляться и удивлять.

— Флетчеризировал, сеньор, — сказал он, поднимая вверх указательный палец затянутой в перчатку руки (слово "флетчеризировать" он произнес так, как если бы брал его в кавычки). — Это очень старый способ пережевывания, когда твердое превращается в жидкое. Очень полезно для здоровья. Способ придумал некто Флетчер, поэтому он так и называется. Нынче многие этим увлекаются. Десны, правда, немного болят, да и медленно очень. Он это делает только за завтраком, когда подают злаки и вареное яйцо.

— Вы хотите сказать, что челюсти размельчают твердые продукты до такой степени, что они постепенно превращаются в жидкость? — спросил Тельес, обращаясь к Сегарре и приминая большим пальцем табак в трубке, чтобы он больше не высыпáлся. На мой вкус, табак был чересчур ароматизирован — изысканный голландский продукт.

— Именно так, сеньор. И по всему видно, это куда полезнее, чем механическая переработка. Это называется анатомическим сжижением. Я слышал, как употребляли такой термин (он извинялся за то, что невольно приобрел некоторые знания).

— Понятно, — сказал Тельес. — А не могли бы вы справиться, как продвигается процесс флетчеризации? Не то чтобы мы торопились, просто хотелось бы знать.

— Конечно, сеньор Тельо. С удовольствием. Сейчас попробую что-нибудь выяснить.

Крохотными шажками (хотя и не так медленно, как тогда, когда он нес нам тяжелую пепельницу) лакей Сегарра направился к одной из трех дверей, которые вели из прохладного зала (чем дольше я ждал, тем более прохладным он мне казался), не к той, разумеется, через которую мы вошли, а к той, что была к нему ближе всего — рядом с давно остывшим камином. Не хочу показаться дерзким, не берусь ничего утверждать и ни на что не намекаю, но в течение всех этих долгих секунд, которые понадобились медлительному Сегарре, чтобы открыть дверь и закрыть ее за собой, я явственно различал доносившиеся из соседней комнаты звуки, производимые при игре в настольный футбол. Тельес, казалось, ничего не слышал: может, был туговат на ухо, а может, просто никогда не слышал этого звука, ведь настольный футбол — игра мальчишек из бедных кварталов. Раскуривая трубку, он искоса поглядывал на меня, словно хотел удостовериться, что я не снял галстук и не запачкал брюки за время ожидания, — так мне казалось (он даже нагнулся и критически осмотрел мои ботинки). Но я тщательно готовился к этой встрече и наверняка выглядел безупречно: я чувствовал себя начищенным, наглаженным и завернутым в упаковочную бумагу.

Тельес уже несколько минут наслаждался своей душистой (слишком душистой) трубкой, когда снова появился Сегарра. Его римская прическа была слегка растрепана, словно по ней прошлась шаловливая рука. Когда он снова медленно открывал и закрывал дверь, я отчетливо услышал стук мяча. Сегарра, вместо того чтобы передать сообщение прямо от дверей и не томить нас ожиданием, начал очень медленно двигаться в нашу сторону (заставив нас ждать и волноваться, дойдет ли он до нас вообще когда-нибудь) и заговорил только тогда, когда приблизился к нам вплотную:

— Процесс, о котором я вам говорил, некоторое время назад был благополучно завершен, сеньор Тельо, не волнуйтесь, — сказал он. — Ему пришлось еще встретиться с представителями профсоюзов, но они уже уходят, так что он скоро будет здесь.

И в самом деле — не успел Сегарра закончить фразу, как распахнулась третья дверь и в зал почти вбежал Solus. За ним едва поспевала девушка в очень короткой и узкой юбке. Юбка сдерживала ее шаг, и девушка семенила за Отшельником, царапая высокими каблуками ценный паркет. Я тут же встал. Гораздо быстрее, чем грузный Тельес, у которого (я только в этот момент заметил) снова развязался шнурок (его дочери не было рядом, чтобы ему помочь). У меня тут же вылетело из головы все, о чем мы договаривались: я представился первым — промямлил чужое имя (еще и добавил неуклюже: “к вашим услугам”) — и, конечно же, забыл про поклон, о котором столько раз напоминал мне Тельес. Сам Тельес, с трудом поднявшись, склонился в таком глубоком поклоне, на какой только было способно его грузное тело, почти-

тельно взял обеими руками руку Only the Lonely и при этом чуть не обжег его трубкой (впрочем, у Единственного — это было первое, на что я обратил внимание, — на обоих указательных пальцах были полоски пластыря, так что волдырь от ожога только нарушил бы симметрию). Волной всеобщего воодушевления чуть не смело Сегарру, который мелкими шагами осторожно продвигался назад, на свое место, чтобы снова замереть в привычном параличе. Единственный сел справа от меня, в свободное кресло. Сеньорита в узкой юбке тоже поместилась по правую руку от меня — она села на мой диван, оказавшись между мной и Единственным. В руках у нее был блокнот, карандаш и карманный калькулятор, а из кармана жакета торчал сотовый телефон. Тельес, качнувшись, тяжело плюхнулся в свое кресло и снова оказался лицом ко мне. Solus непринужденно закинул ногу на ногу (ноги у него были длинные и худые), и его примеру тут же последовала девушка. Я заметил на ее чулке спустившуюся петлю, от которой уже поползла маленькая дорожка (наверное, она зацепилась за что-то во время схватки с профсоюзными лидерами), — это придавало ей пикантный вид. На нем были длинные прозрачные шелковые носки (на мой вкус, слишком прозрачные: сквозь них просвечивали волоски на щиколотках), а в остальном он был одет как все нормальные люди, и брюки у него были слегка помяты.

— Хуанито, — сказал он Тельесу, — у тебя шнурок развязался. — И пальцем с полоской пластыря указал на ботинок.

Тельес посмотрел вниз — шея у него вытянулась, и голова стала похожа на горгулью — сначала с удивлением, потом растерянно, словно перед ним вдруг встала неразрешимая проблема. Потом прикусил мундштук.

— Завяжу, когда буду вставать. Сидя я на него все равно не наступлю.

Отшельник склонился к нему (при этом так навалившись на подлокотник кресла, что тот, казалось, вот-вот отломится) и что-то прошептал, но то ли шепот был слишком громким, то ли расстояние между нами слишком маленьким, но я услышал его слова:

— Кто это? — спросил он и чуть заметно повел бровью в мою сторону и вопросительно пошевелил в воздухе двумя пальцами. — Я забыл, о чем мы с тобой сегодня собирались говорить.

— Это Руиберрис де Торрес. Новая речь, — процедил мой крестный отец, еще больше прикусив мундштук (так что слова эти он в прямом смысле произнес сквозь зубы).

— Ах да! Руиберрис де Торрес, конечно, — спокойно и громко сказал Одинокий Ковбой и повернулся ко мне. — Посмотрим, что ты мне напишешь. Если что — берегись!

В его тоне не было угрозы, тон был скорее шутливым. Привилегия Only the Lonely — обращаться на "ты" к любому (даже незнакомому) человеку, независимо от его возраста, положения, звания и пола. На самом деле это производит очень плохое впечатление, на его месте я отказался бы от этой привилегии. Я решил, что, обращаясь к нему, буду говорить "сеньор" и "вы", — обращение достаточно почтительное и в данной ситуации вполне уместное, а Тельес пусть потом ругает меня, если хочет.

— Я буду очень стараться, сеньор, — ответил я. — Буду неукоснительно следовать инструкциям, которые вы сочтете нужным дать. — Мне показалось, что я ответил достаточно спокойно и в полном соответствии с этикетом, хотя, наверное, никакой особой церемонности не требова-

лось: сам он вел себя просто и естественно. Я подумал, что последней фразы мог бы и не говорить, — мне вдруг резануло ухо это "вы" и показалось, что было не совсем тактично сразу переходить к делу.

Only You выпрямился в кресле (пошептавшись со своим приближенным, он так и остался сидеть, склонившись к нему), словно до него наконец дошло, зачем мы здесь. Он обхватил длинными руками колени и задумчиво (но вполне доброжелательно) сказал:

— Послушай, Руиберрис, дело вот в чем: за эти двадцать лет люди так и не узнали меня, и мне это очень не нравится. Я не льщу себя надеждой, что мои речи читают, что на них вообще обращают внимание, но с чего-то надо начинать. Есть не так много способов (допустимых для человека моего положения) добиться того, чтобы люди узнали, какой я. Пока могу сказать одно: никто не в силах переварить то, что выходит под моим именем уже чертову уйму времени. За это людей нельзя упрекать, я сам от этих речей зеваю. (Он так и сказал: "чертову уйму времени" — не слишком высокий стиль. А вот "переварить" я переварил.) У людей из правительства намерения всегда самые лучшие, о составителях речей и говорить нечего. Только из самых лучших побуждений они, когда им приходится писать что-то для меня, пишут "по-королевски" (или так, как, по их разумению, должны говорить короли) и раздуваются как индюки. Одни копируют других — еще ни один не начал писать, не прочитав сначала работы своих предшественников, и получается... как это называется, Хуанито?

— Порочный круг? — спросил Тельес.

— Нет-нет. Есть другое выражение, — ответил Единственный. — Другое. То, что вращается вокруг своей оси.

— Вечный круг? Магнитная стрелка? — неуверенно предположил Тельес.

— Компас? — воспользовалась его идеей девушка в короткой юбке. Ее так никто и не представил. У нее были красивые ноги (одну из них украшала все удлинявшаяся дорожка) и полные бедра — неудивительно, что чулки не выдерживали.

— Да нет, что вы говорите! Совсем не то. Полный оборот — и снова там, где были раньше. Ну да ладно. Не в том суть. Я хотел сказать, что люди меня не знают. Если так пойдет и дальше, я войду в историю совершенно безликим. Я уже давно думаю об этом и не знаю, что делать: трудно изменить что-нибудь после стольких лет. Я не хотел бы чем-то запятнать свое доброе имя, но согласитесь: помнят обычно тех, кто бросался из одной крайности в другую, тех, кто совершал предательства или преступления, тех, кто отличался особой жестокостью, кто совершал глупости, кто вел разгульную жизнь; помнят страдальцев и тиранов, помнят тех, кто злоупотреблял данной им властью, помнят скандалистов, ненормальных, даже малодушных; помнят развратников и убийц — одним словом, самых что ни на есть сукиных детей. (Именно так он и сказал, но в этом контексте его слова были к месту и прозвучали очень убедительно, так что с точки зрения риторики они были вполне оправданы.) Во всех странах происходит одно и то же — достаточно вспомнить немного историю: лучше всего помнят тех, кого больше всего ругают. Я не хочу, чтобы меня оплакивали как безгрешного праведника, — не хочу сыграть злую шутку с теми, кто придет после меня.

Он помолчал, словно вглядывался в будущее и видел собственные похороны и тех, кто придет после него. Он сидел, обхватив руками пра-

вое колено, и лицо его стало скорбным — возможно, он преждевременно оплакивал себя самого. Я не хотел прерывать молчание, но нельзя было допускать паузы в разговоре (так наставлял меня Тельес). Я подождал немного. Потом еще немного. Я уже открыл рот, чтобы произнести приготовленную фразу, но Тельес меня опередил:

— Надеюсь, Ваше Величество не станет совершать низостей или навлекать на себя несчастья? — спросил он с тревогой. — Я хотел сказать, дурных поступков, — тут же поправился он. ("Боже, он обращается к нему "Ваше Величество!" — подумал я. — Он и впрямь серьезно к этому относится".)

— Не волнуйся, Хуанито, я не собираюсь делать ничего такого, — ответил Ковбой, хлопнув старика по руке — той, в которой была трубка. Удар был слишком сильным, и дымящаяся трубка вылетела из немощной руки старика. Сегарра, зажав рот рукой в белой перчатке, с ужасом следил за ней — он боялся, что она упадет на голову или на костюм Only the Lonely (будь он помоложе — бросился бы ловить ее в полете). К счастью, трубка шлепнулась прямо в пепельницу (хорошо, что пепельница была такая большая!), подпрыгнула пару раз, но, удивительное дело, не разбилась, и Тельес поймал ее, как ловят мячик при игре в пинг-понг. Он тут же вынул спичку и снова зажег ее. И все мы: сам Тельес и Only the Lonely, девушка и я, Сегарра в своем углу — рассмеялись. Громче всех хохотала девушка. Она так истерично всхлипывала и так тряслась от смеха, что телефон едва не выпал у нее из кармана (я даже забеспокоился, не выведет ли она Единственного из себя, если будет так дергаться). Потом Единственный продолжил свою мысль (он из тех, кто никогда не теряет нить разговора, — такие люди обычно внушают страх): — Но я хочу, чтобы в тех редких случаях, когда мне приходится обращаться к людям с речью, они могли понять, что я за человек и что у меня за душой. Конечно все знают, что эти речи пишу не я. Газеты и телевидение спокойно заявляют, что я сказал то-то и то-то или не упомянул того-то и того-то, и делают вид, что придают этим словам большое значение, что читают между строк и улавливают скрытые намеки, — а ведь им лучше других известно, что все мои речи написаны вовсе не мной. Я подписал и сделал моими — nihil obstat[1] — слова, которые сказаны не от моего имени, а от имени многих, точнее, от имени того, что называется установленным порядком, — то есть в конечном счете это ничьи слова. Мы все притворяемся — и я сам, и политики, и пресса, и даже те немногочисленные читатели и телезрители — настолько наивные или настолько доброжелательные, что следят за тем, что я (а на самом деле совсем не я) говорю и думаю.

Неповторимый снова замолчал, задумчиво потирая висок. Полоска пластыря на указательном пальце правой руки при этом чуть-чуть отклеилась, и мне стало интересно: что же там, под пластырем? Порез, ожог, нарыв, фурункул или мозоль от рукояток настольного футбола? Я устыдился своих мыслей: чтобы заработать мозоли от таких игр, нужно играть с утра до вечера. Мне тоже нравится играть в них, но если даже у меня нет на это времени, откуда оно возьмется у Единственного при его занятости (если вообще можно предположить, что ему нравятся подобные забавы)? Я отогнал непочтительную мысль. Он мог повредить руку каким угодно способом — катаясь на лыжах, например, или подавая всем

1. Здесь: беспрепятственно (*лат.*).

руку. Я забеспокоился, не слишком ли затянулась пауза. Но я снова опоздал: на этот раз меня опередила девушка (дорожка на ее чулке ползла дальше и дальше — сейчас это уже не выглядело пикантно, сейчас у нее был вид уличной девицы):

— Я как раз из числа тех наивных людей, Ваше Величество: я читаю все ваши речи и ловлю каждое ваше слово, когда вас показывают в новостях. Даже если их пишете не вы, в ваших устах они обретают особый смысл и производят впечатление даже на меня, хотя я вижу вас ежедневно и знаю, что вы делаете и что думаете о многих вещах. Я не могу не воспринимать их серьезно, хотя и не всегда понимаю, о чем идет речь.

Она тоже обращалась к нему "Ваше Величество"! Интересно: всегда или только сейчас, под влиянием Тельеса?

— Ты очень добрая, Анита, и очень преданная, — сказал Отшельник. — Но вернемся к делу: я ничего не имею против этого фарса — смысл в нем, несомненно, есть. Так было, есть и будет: к нам, известным людям, приковано внимание всех: на нас нацелены тысячи камер и микрофонов, за нами постоянно ведется наблюдение — и явное, и скрытое. И в этом-то и заключается противоречие: при таком пристальном внимании к моей персоне люди по-настоящему меня не знают. Но раз уж это фарс, то почему бы нам не использовать его в своих целях, так, как это выгодно нам, и не создать образ, более определенный для нынешнего поколения и более запоминающийся для потомков?

"Интересно, — подумал я, — когда он говорит "мы", он имеет в виду только себя как монарха или любезно включает нас в число тех, кому придется воплощать его идеи?" Ответ на этот вопрос я получил незамедлительно:

— Я сейчас не имею ни малейшего представления о том, как меня воспринимают, не знаю, какую черту считают основной в моем характере, каким видится мой образ, а это, вы же понимаете, означает, что никакого образа нет, — нет, если можно так сказать, художественного образа, а он-то, и вы это тоже прекрасно понимаете, и важен в конечном счете. Не только после смерти, при жизни тоже. Так что первым или вторым шагом должны стать речи, с которыми я выступаю. Не думаю, что те банальности и общие места, которые я (таков уж статус) должен говорить, нельзя формулировать по-другому, более лично, что ли, не так сухо и официально. Нужно как-то оживить их, надо заставить людей прислушаться и удивиться, почувствовать, что за всем этим скрыто очень много, что человек, который к ним обращается, — это живой человек, мучимый сомнениями, переживший свою драму, о которой никому не известно. В моем теперешнем имидже эта драма, будем откровенны, не просматривается, а я хочу, чтобы она чувствовалась. Нужно добавить немного загадочности. Мне кажется, нужно именно это, понимаешь, Руиберрис? Я сейчас абсолютно откровенен.

На этот раз я не сомневался, что пришел мой черед говорить: он обратился ко мне по имени (хотя это было и не мое имя).

— Кажется, понимаю, сеньор, — ответил я. — И какой именно имидж вам хотелось бы иметь? Какие черты отразить в нем? Что вы считаете первостепенным?

Я заметил, как Тельес слегка нахмурил брови — не сомневаюсь, что причиной тому было мое обращение на "вы", которое после звучавшего ранее "Ваше Величество" резануло ухо даже мне самому (мы так легко поддаемся влиянию, нас так просто в чем угодно убедить).

Трубка его все дымила и дымила, словно запас табака в ней пополнялся сам собой.

— Я еще не решил, — ответил Only the Lonely, потирая другой висок. — А ты что думаешь, Хуанито? Выбор у нас богатый, но хорошо бы, чтобы в нашем фарсе была некоторая достоверность, то есть чтобы мой имидж был правдивым, отражал мой истинный характер и поступки. Например, почти никто не знает, что я всегда сомневаюсь. А я сомневаюсь всегда и во всем. Тебе это хорошо известно, Анита, правда? Я радуюсь, что большинство решений принимается без моего участия — в противном случае моя жизнь превратилась бы в ад, в сплошные колебания и сомнения. Я сомневаюсь даже в справедливости того института, представителем которого являюсь. Этого наверняка не знает никто.

— Как это, сеньор? — выпалил я: я добросовестно выполнял наказ не допускать даже секундной паузы в разговоре и к тому же хотел опередить Тельеса, которому мой вопрос вряд ли мог понравиться. И действительно, он выпрямился в своем кресле и еще сильнее прикусил многострадальную трубку.

— Да, я не уверен в его необходимости. Впрочем, возможно, я не совсем верно употребил слово "справедливость". Это не такой простой вопрос: справедливость — понятие субъективное, то, что справедливо для одних, может оказаться несправедливым для других. Абсолютной справедливости нет и никогда не будет — на этом свете, по крайней мере. Для того чтобы восторжествовала абсолютная справедливость, осужденный должен полностью согласиться с приговором, но это бывает чрезвычайно редко, только в тех исключительных случаях, когда преступник чистосердечно раскаивается в содеянном, а такое (так мне, по крайней мере, представляется) происходит лишь тогда, когда приговоренного заставили (не важно, угрозами или убеждением) отречься от его собственного представления о справедливости и принять чужую точку зрения, точку зрения его обвинителей, тех, кому его поражение выгодно, то есть, в общем и целом, точку зрения современного ему общества. А точка зрения общества, согласитесь, не является ничьей конкретно точкой зрения, это только точка зрения времени, если можно так сказать. Это общая точка зрения или точка зрения большинства, она является чьей-то личной точкой зрения только в той степени, в какой каждый человек ощущает себя частью общества. Назовем это уступкой со стороны субъективизма. Или сделкой. Ни один осужденный не воскликнет с удовлетворением и облегчением: "Справедливость восторжествовала!" В его устах эта фраза означала бы: "Это именно то наказание, которое я должен был получить". В лучшем случае от приговоренного можно услышать: "Я уважаю решение суда" или "Я подчиняюсь приговору". Но уважать решение суда и подчиниться приговору не значит быть полностью согласным с ним, больше того, если бы объективная справедливость существовала на самом деле, то суды были бы не нужны: провинившиеся сами требовали бы себе наказания, и вообще, люди перестали бы совершать преступления. Исчезло бы само понятие преступления, потому что люди не делают того, что считают несправедливым (по крайней мере, в момент совершения поступка они в его справедливости уверены полностью). Наше представление о справедливости меняется в зависимости от обстоятельств, в которых мы оказываемся, и всегда получается, что справедливо то, что нам в данный момент необходимо. Вот что я об этом думаю.

Я подумал, что Руиберрис был прав, когда говорил, что у Единственного есть интересные мысли, но он не умеет их формулировать: смысла последних фраз я уже не уловил.

— Хм, сеньор, — воспользовался паузой Тельес — наверное, он хотел привлечь к себе внимание, но Неповторимый снова заговорил и больше уже не останавливался, словно предыдущие рассуждения послужили ему только разбегом. Он не терял нити разговора в отличие от нас:

— Вот что я хочу сказать: я не уверен, что профессия мужчины или женщины должна быть предопределена с момента его или ее рождения или еще до их появления на свет. Не должна быть предопределена их судьба — я ничего не имею против этого слова. — Было ясно, что сейчас он обращался ко всем нам. — Я не думаю, что это справедливо для людей моего положения, и уж конечно несправедливо для наших подданных, согласия которых никто, как правило, и не спрашивает. Хотя это меня волнует меньше всего: добрые граждане тоже, случается, рубят нам (и с какой радостью!) головы, если им этого хочется. Конечно нас никто не спрашивает, в какой стране мы хотели бы родиться и на каком языке говорить, не спрашивает, хотим мы ходить в школу или нет, мы не выбираем ни братьев, ни сестер, ни родителей. Нам всем с самого начала что-то навязывают и все за нас решают, пока мы не подрастем. Особенно стараются матери: они на свой лад истолковывают желания малышей и долгие годы решают все за них, основываясь на своем толковании. ("Кто теперь будет объяснять, чего хочет малыш Эухенио, кто теперь будет решать за него?" — пронеслось у меня в голове.) — Все это хорошо, все нормально, такова жизнь, тут ничего не поделаешь. Когда мы рождаемся на свет, у нас еще нет собственного мнения, хотя желания (примитивные, конечно) у нас уже есть. Но можно ли предрешать человеческую жизнь в целом? Тем более если речь идет об особых случаях, таких, как наш? Здесь есть над чем задуматься. Начнем с того, что представители нашего института почти лишены личной свободы и у них почти нет времени, чтобы думать о том, о чем они думать не обязаны (а ведь возможность думать о том, о чем хочется, жизненно важна для любого человека, кем бы он ни был, для меня, по крайней мере, думать о своем, думать о чем заблагорассудится — жизненно важно). К тому же наше положение делает нас желанной мишенью для террористских банд и убийц-одиночек. Подумайте: человека хотят убить только за то, что он тот, кто он есть, а не за то, что он сделал или не сделал. И речь даже не о риске, которому мы подвергаемся, — к нему мы привыкаем, — я говорю о другом, о том, что воспринимаю как личную трагедию: не важно, что ты делаешь и чего не делаешь, не важно, что ты изо всех сил стараешься, — все равно найдется кто-то, кто захочет тебя убить. Кто-нибудь, страдающий манией величия, какой-нибудь сумасшедший, какой-нибудь наемный убийца — люди, которые, возможно, ничего против тебя лично не имеют. Умереть вот так, безвинно, без всякой причины, просто потому, что ты это ты. Это смешная смерть. — Лицо Неповторимого омрачилось, но сидел он все в той же позе — обхватив руками правое колено, только иногда разнимал руки и потирал виски, свои бедные виски. ("Неуважение мертвого к собственной смерти", — промелькнуло у меня в голове.) На лбу его четче обозначились морщины. — Добавьте к этому то, что мы постоянно окружены потенциальными убийцами другого рода — теми, кто (чаще за плату, чем из преданности) старается защитить наши жизни, а не покушаться на них и не остановится перед тем, чтобы

убить других (ведь это их работа, и хорошо оплачиваемая), но иногда они слишком спешат, те, кто нас охраняет: у них такой приказ, и они знают, что будут оправданы. Добавьте к этому невозможность самому решать, с кем общаться, а с кем нет, необходимость пожимать руки людям, которые тебе отвратительны, и подписывать договоры с этими людьми, делая вид, будто не знаешь, что они творят со своими подданными или с равными себе. Учтите еще необходимость прощать то, чего прощать нельзя. И притворяться (все время притворяться!), и пожимать руки, испачканные в крови, а значит, пачкать и свои руки, если они не были испачканы с самого начала — с минуты нашего появления на свет или еще до него. Я не знаю, можно ли стоять у власти и не запятнать рук? Иногда мне кажется, что это невозможно: на протяжении всей истории не знаю ни одного правителя, ни одного монарха, на чьей совести не было бы ни одной смерти, кто не был бы виновен (прямо или косвенно) ни в одном убийстве. Так всегда и везде. Иногда их вина заключалась только в том, что они не воспрепятствовали кровопролитию, а иногда в том, что не захотели его предугадать. Но и этого уже достаточно.

Отшельник умолк. Анита морщила лоб, неосознанно подражая патрону, сжимала челюсти и морщила губы.

Сегарра смотрел на нас широко открытыми сияющими глазами ничего не понимающего человека. Держался он уже не так прямо — опирался рукой в белой перчатке на спинку стоявшего рядом кресла. Тельес (наконец-то) начал выбивать трубку. Он постукивал ею по пепельнице и бормотал:

— Ну это уж слишком, это уж чересчур! Нельзя быть таким щепетильным, нельзя так терзать себя такими выдумками. К тому же человек не может нести ответственность за то, о чем он не знает или о чем узнал слишком поздно, а Вашему Величеству рассказывают далеко не всё.

— И не нужно все рассказывать, — решительно поддержала его Анита. — Ему и без того забот хватает.

— Не всё рассказывают? — быстро спросил Only the Lonely (быстро, но не настолько, чтобы не дать сеньорите Аните возможность проявить материнскую заботу). — Ты в этом уверен, Хуанито? Представь себе охотника, который пошел на охоту и выстрелил во что-то, шевельнувшееся в кустах. Он, сам того не ведая, убивает мальчика, который спал в кустах и даже вскрикнуть не успел, когда в него попала пуля, умер во сне. Охотник этого не знал. Он, возможно, никогда об этом не узнает, но то, что случилось — случилось: мальчик убит. Водитель ночью сбивает пешехода: ударяет бампером — он спешит, или чем-то напуган, или пьян, — но он все-таки тормозит. Потом видит в зеркало заднего вида, что жертва, пошатываясь, поднимается. Водитель вздыхает с облегчением и едет дальше. Через несколько дней сбитый им прохожий умирает от кровоизлияния. Водитель об этом ничего не знает, он, возможно, никогда об этом не узнает, но дело сделано: прохожий убит. Или еще бóльшая случайность: врач звонит пациентке. Той нет дома, ему отвечает автоответчик. Врач записывает на пленку свое сообщение и забывает нажать на своем аппарате ту кнопку, которая отключает эти новомодные телефоны (Only You показал пальцем на трубку, торчавшую из кармана Аниты. Анита тут же вынула аппарат, чтобы продемонстрировать, если потребуется, что и как нажимать), потом, продолжая думать о пациентке, начинает говорить о ней со своей медсестрой. Врач говорит с большим сочувствием и называет роковой диагноз (о котором пациентке он

сообщать — по крайней мере пока — не собирался, а, напротив, всячески хотел ее обнадежить). Разговор врача и медсестры тоже записывается на пленку, и пациентка, придя домой и прослушав ее, решает не дожидаться страшных болей и медленного разрушения. В тот же вечер она кончает с собой. Врач, возможно, никогда об этом не узнает, особенно в том случае, если женщина жила одна, а значит, никому не придет в голову прослушать записи на автоответчике. Но дело сделано: больная умерла не от своей болезни, не своей смертью.

"Или если пленку кто-нибудь унес, — подумал я. — Если кто-нибудь ее украл: тот врач или его медсестра. Может быть, они обо всем догадались, но было уже слишком поздно. А может быть, их сочувствие было притворным, а кнопка не была нажата умышленно: может быть, они оба были знакомы с пациенткой и хотели ей зла? Может быть, она им в чем-то мешала?"

— Но такое со всяким может случиться, — не соглашался Тельес, — не только с людьми, стоящими у власти. Ваши примеры — доказательство тому. В таких случаях остается только одно: ничего не делать и ничего не говорить. Хотя иногда молчание и бездействие имеют те же последствия, приводят к тем же, если не к худшим результатам.

— Это слабое утешение, Хуанито, знать, что мир так устроен и ничего нельзя изменить, — ответил Единственный. Сейчас его лицо было очень печальным. — Это все равно, как если бы у меня умер друг, а ты сказал бы мне: "Что же делать? Такова жизнь. Все там будем". Это не утешает и не примиряет со смертью друзей — их смерть непереносима. Ты сам недавно потерял дочь. Прости, что я тебе об этом напоминаю, но мысль о том, что мир так устроен, тебе не очень помогла и не принесла тебе облегчения. В моем случае то, что я делаю (или чего не делаю), имеет слишком большой резонанс, от моей ошибки может пострадать много людей, а не один спящий мальчик, или прохожий, или безнадежно больная женщина. Каждый мой поступок может стать началом бурной цепной реакции, поэтому я так медлю каждый раз, принимая решение. От последствий ваших поступков страдают отдельные люди, а я с отдельными людьми почти никогда не имею дела. Но я убежден, что каждая жизнь уникальна и бесценна. — Он повернулся в мою сторону, некоторое время смотрел на меня невидящим взглядом, а потом прибавил: — Невыносимо больно, когда люди, которых мы знаем и любим, становятся прошлым.

Тельес вынул из кармана свой пахучий табак и молча начал набивать трубку — боялся, что если он начнет говорить, то у него задрожит голос (а может быть, не хотел, чтобы мы видели его глаза). Потом заговорил — медленно, словно ему было лень:

— Вам не за что просить у меня прощения, сеньор. Вы ничего мне не напомнили: я сам всегда помню об этом. Самое страшное — когда прошлым становятся те, кто должен был стать будущим. Но единственное решение проблемы, о которой вы говорите, это чтобы все закончилось и ничего уже не было.

— Иногда это кажется мне неплохим решением, — ответил ему Неповторимый, и его ответ, должно быть, показался Тельесу слишком нигилистическим. Он решил, что не пристало посторонним слушать такие слова из уст столь высокопоставленной особы, а потому попытался сменить тему:

— Но вернемся к нашему делу, если не возражаете. Какие еще черты вашей личности вы хотели бы раскрыть? Кроме ваших колебаний и сомнений — на это, кстати, я не знаю, как посмотрят. Нужно дать указания Руиберрису.

В этот момент открылась та дверь, через которую некоторое время назад вошли Solus и Анита, и появилась довольно пожилая хмурая уборщица. В руках у нее были метелка из перьев и веник. Под каждой ее подошвой была тряпка (чтобы не портить ценный паркет), поэтому передвигалась она очень медленно и была похожа на лыжницу, которая идет по плотному снегу и у которой одна палка слишком длинная, а другая слишком короткая. Мы все в изумлении уставились на эту женщину с седыми волосами, которые так старят, и разговор на некоторое время прервался: слышно было только, как она напевала, шаркая по полу и не замечая никого, пока наконец не дошла до того места, где стоял Сегарра, и тогда он рукой в белой перчатке осторожно, но крепко взял ее за локоть и что-то тихо сказал ей, указывая на нас. Женщина вздрогнула, взглянула на нас, быстро прикрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть, и как могла заспешила к ближайшей двери — той, в которую вошли мы с Тельесом. "На колдунью похожа, — подумал я, — или на banshee". — Есть в Ирландии такая нечисть женского рода, ее появление предвещает чью-то скорую смерть. Говорят, иногда, расчесывая волосы, она поет погребальные песни, но чаще всего кричит или стонет под окнами дома одну-две ночи подряд, пока не умрет тот, по кому она плачет. Уборщица пела что-то непонятное, она не успела ни закричать, ни застонать, и на дворе была не ночь. "Нет, — подумал я. — Этому дому ничто не угрожает. Это у нас с Тельесом умер близкий человек месяц назад: для него — член семьи, для меня — моя возможная любовь. Это плач по давно умершему". Она закрыла за собой дверь. Последнее, что мы видели, была метелка, на секунду зацепившаяся за ручку двери.

— Недавно, наверное месяц тому назад, у меня случилась бессонница, — заговорил Отшельник, не обращая никакого внимания на banshee. — Я никак не мог уснуть, а потому встал, вышел в соседнюю комнату, чтобы никому не мешать, и включил телевизор. Шел какой-то старый фильм. Я не знаю, как он называется, — когда я включил телевизор, фильм уже шел. Потом я хотел посмотреть его название в программе, но газету уже выбросили — тут все выбрасывают слишком быстро. Черно-белый фильм со старым и толстым Орсоном Уэллсом — вы его знаете, он похоронен в Испании. Речь шла о королях Генрихе Четвертом и Генрихе Пятом, о тех временах, когда последний был еще принцем Уэльским (в фильме его иногда называли Хэл). Он был кутила и повеса, ни стыда ни совести: отец при смерти, а он пьянствует весь день, шатается по притонам и кабакам с дружками и проститутками. Толстяк Уэллс, старый развратник, и еще один такой же старый и отвратительный тип с циничным лицом (его звали Пойнс) давно уже втерлись к нему в доверие и вертели им как хотели. Потом принц меняется: когда отец умирает и он сам становится королем, он отрекается от прежней жизни (от той жизни, которой жил еще вчера, заметьте!) и прогоняет своих бывших собутыльников. Бедного Уэллса он отправляет в изгнание, несмотря на то что старик, встав перед ним на колени во время коронации, называет его "мой милый мальчик". "Я уже не тот, что прежде", — говорит ему новый король, с которым еще несколько дней назад они вместе пили и куролесили. Все изумлены. Старый король Генрих чувствует нетер-

пение своего изменившегося сына: "Я слишком долго рядом с тобой, ты от меня уже устал, — говорит он перед тем, как испустить последний вздох. — Только Бог знает, какими кривыми путями пришел я к власти, на что мне пришлось пойти, чтобы заполучить корону. Да простит меня Бог за это". На его руках кровь, и он это помнит. Может быть, он был когда-то беден и уж наверняка был заговорщиком и убийцей, хотя годы изменили его, наложили даже печать благородства и, казалось, он забыл все, что было раньше (так же, как забыл старую жизнь и изменился принц, став королем), — словно наши поступки и наш характер во многом определяются тем, в какой роли мы выступаем, словно мы начинаем чувствовать себя другими, не такими, как раньше, когда вдруг случай или бешеный бег времени возносят нас или низвергают. Но, может быть, нас меняют кривые пути, которыми мы идем к нашей цели, а мы наивно полагаем, что именно такая судьба была нам уготована, что мы и должны были стать тем, чем в конце концов стали, а прошлое было лишь прелюдией к этому. И чем дальше наше прошлое, тем лучше мы его понимаем, а полное понимание придет лишь в самом конце. Уэллс в фильме не меняется, он остается верен себе. Милостей и радостей при жизни ему уже не дождаться, его предали, "милый мальчик" разбил его сердце, — и он умирает. ("Прощайте, радости, и прощайте, печали, больше мы с вами не встретимся. И прощайте, желания, прощайте, воспоминания".) Это очень яркий образ, и образы английских королей тоже очень яркие. Так что если мне придется когда-нибудь вспоминать о Генрихе Четвертом и Генрихе Пятом, я буду представлять себе те лица, что видел в этом фильме, и вспоминать те слова, которые они в этом фильме произносили. Я не такой. Мое лицо и мои слова ничего не говорят людям. Пришло время это изменить.

Одинокий Ковбой умолк, словно погрузившись в свои мысли, потом поднял голову и прибавил совсем другим тоном:

— Нужно будет как-нибудь посмотреть фильм цéликом.

— Это "Полуночные колокола", сеньор.

— Что-что?

— Название этого фильма — "Полуночные колокола".

Only the Lonely посмотрел на меня с удивлением и даже с подозрением.

— А ты откуда знаешь? Ты в тот вечер тоже этот фильм смотрел?

— Я смотрел другой канал. Но когда переключал каналы, видел, что по одному из них показывали этот фильм. Я его сразу узнал: смотрел когда-то.

— Очень хорошо. Надо распорядиться, чтобы мне его достали. Хотя бы на видео. Анита, пометь себе. А ты какой фильм тогда смотрел? Тебе тоже не спалось? Это было с месяц назад, я уже говорил.

Я посмотрел на Тельеса, но он никак не реагировал. Он в ту ночь, без сомнения, спал, телевизор не смотрел и не мог понять, что мы говорили о той самой ночи. Он уже взял себя в руки, раскурил вторую трубку и, казалось, чувствовал себя очень комфортно и был вполне доволен тем, что сидит сейчас в этом зале (в котором, однако, становилось все холоднее). Я вдруг вспомнил, как в школьные годы мы, мальчишки, собирались на перемене во дворе и счастливчик, посмотревший недавно новый фильм, пересказывал его остальным, вызывая их зависть. В этом была и своеобразная щедрость: те, кто не мог посмотреть фильм, могли хотя бы услышать пересказ. Only You был сейчас таким счастливчиком.

— Как назывался тот фильм, который я смотрел, я тоже не знаю: начало тоже пропустил, и газеты под рукой не было. Я был не дома. — Не знаю, зачем я добавил последнюю фразу, мог бы этого и не говорить, — наверное, тоже хотел проявить щедрость. Но я не сказал, что смотрел фильм без звука.

— Поздновато для того, чтобы быть не дома, — сказал Единственный с улыбкой. — Как тебе нравится этот полуночник, Анита?

Анита инстинктивно прикоснулась к дорожке на чулке, словно хотела прикрыть обнажившееся тело, но зацепила чулок длинным ногтем, и тут же под ее рукой расползлась огромная дыра. Мы все сделали вид, что ничего не замечаем. Анита сказала:

— О боже! — и непонятно было, к чему это относилось — к порванному чулку или к намеку на мои похождения.

— Вернемся к делу, — сказал Неповторимый. — Полагаю, вы поняли, чего я от вас хочу. Так, Руиберрис? В любом случае в ближайшее время ты будешь работать в тесном контакте с Хуанито, лучше у него дома (если вы оба ничего не имеете против), чтобы он держал все под контролем и инструктировал тебя, — он меня уже тысячу лет знает. И если получится хорошо — можешь не сомневаться: у тебя будет много работы, — добавил он, как будто предлагал мне выгодную сделку (наверняка он не знал, какие низкие расценки установили его люди). Он встал, и все остальные тут же поднялись (мы с Анитой вскочили, Тельес поднялся с достоинством — или с трудом, Сегарра выпрямил спину). Но прежде чем уйти, Solus указал пальцем на ботинок Хуанито:

— Хуанито, не забудь про шнурок, а то наступишь на него.

Тельес посмотрел вниз. Он не знал, что делать. Было ясно, что сам он завязать шнурок не сможет. Я мгновенно оценил ситуацию: ждать, пока Сегарра доползет до того места, где стоим мы, бесполезно, надеяться на то, что сам Тельес сможет нагнуться, бессмысленно, молодая и ловкая сеньорита Анита подошла бы лучше всего, но если она нагнется или встанет на колено, у нее могут лопнуть пуговицы на жакете, а уж что будет с чулками — просто страшно представить. Оставались мы с Одиноким Ковбоем. Я бросил на него быстрый взгляд — он не двигался (впрочем, ничего другого я и не ожидал). Надо было действовать.

— Я завяжу, не беспокойтесь, — сказал я, и хотя со стороны казалось, что я обращаюсь к Тельесу, я сказал это Only the Lonely, как будто ему могла прийти в голову мысль сделать это самому.

— Не нужно, не нужно, — запротестовал Тельес, но в голосе его звучало облегчение и благодарность. Я встал на колено и завязал шнурок (его концы были разной длины) двойным узлом, как если бы он был ребенком, а я был Луисой, его дочерью, которую я видел на кладбище и с которой я сейчас словно сроднился. Пока я проделывал эту операцию, все смотрели на меня, как хирурги, которые наблюдают за работой знаменитого коллеги, извлекающего пулю. Я стоял на коленях перед старым отцом Марты Тельес, как старый Уэллс или Фальстаф стоял на коленях перед новым королем, который, став королем, перестал быть тем, кем был раньше, — его милым мальчиком.

— Готово, — сказал я, поднимаясь, и машинально потер руки.

Тельес некоторое время внимательно разглядывал крепко завязанный шнурок.

— Чуть туговато, — сказал он, — но ничего.

Only You тоже потер руки. Я снова обратил внимание на полоски пластыря и не смог удержаться от вопроса, хотя рисковал в последнюю минуту вывести Единственного из себя:

— Отчего у вас пластырь, сеньор? — спросил я.

Он поднял указательный палец, словно собирался дать знак к началу концерта. В глазах его загорелись веселые огоньки, уголки губ поднялись в улыбке:

— Так я тебе и сказал!

И мы все снова рассмеялись.

Нет нужды говорить, что в мою компетенцию не входило угадывать желания Неповторимого, не совсем ясные ему самому. Для него это был очередной каприз, прихоть, навеянная фильмом, который он посмотрел однажды бессонной ночью. Он посмотрел этот фильм и внезапно почувствовал банальную зависть. Он не сообразил, что со времен Ланкастеров прошли века и уже поэтому они давно стали вымышленными персонажами: мы не знаем, какими они были, для нас они такие, какими мы их себе представили, они уже не могут быть объектом изучения или наблюдения. Поэтому они такие цельные и узнаваемые. Люди никогда не бывают такими, это привилегия литературных и исторических персонажей. Он же был человеком (хотя в отличие от прочих смертных мог быть почти уверен, что в будущем перешагнет ту границу, которую мало кому дано перешагнуть), а люди изменчивы и непостоянны, бесхарактерны и малодушны, они всегда готовы свернуть с ими же выбранного пути, отказаться от своих принципов, так что однажды написанный портрет очень часто идет насмарку, и если уж писать портрет, то писать приукрашивая или так, словно тот, чей портрет мы пишем, уже никогда не изменится, словно он умер и уже не сможет ни от чего отречься, как и Марта Тельес (сейчас я с каждым днем все больше привыкаю думать о ней как о мертвой, словно она всегда была мертвой: я знаю ее мертвой гораздо больше времени, чем знал живой, — живой я знал ее три дня и за эти три дня был с ней всего несколько часов). В любом случае мертвым человек бывает гораздо дольше, чем живым. Я говорю не о ней, не о том, что ее смерть пришла слишком рано. Я говорю обо всех людях, живших и живущих на земле, которые, становясь прошлым, живут в памяти других людей (пока эта память сохраняется) гораздо дольше, чем длилась их земная жизнь. И когда она сказала мне: "Обними меня", — она, наверное, верила, что родилась, чтобы выйти замуж, стать матерью и умереть молодой. Наверное, ей казалось в ту минуту, что вся ее предыдущая жизнь была лишь прелюдией к этой ночи, которую она собиралась провести со мной и которая должна была стать ночью измены, но не стала ею. А я воспринимал ее как человека, который появился в моей жизни только для того, чтобы умереть рядом со мной и чтобы заставить меня пережить то, что я переживаю сейчас. Какая странная миссия — появиться и тут же исчезнуть, появиться с одной целью: заставить меня делать то, чего в ином случае я делать не стал бы ("она не прервалась, моя нить, шелковая нить, ведущая неизвестно куда"): беспокоиться за малыша, искать в газете извещение, стоять во время похорон у могилы 1914 года, снова и снова слушать пленку ("...наверное, не слишком хочешь со мной встретиться, если хочешь — я еще успею к тебе заехать"; "...судя по всему, он ничего, но — кто знает"; "...он не очень образованный, povero me"; "...тут такие дела, он мне в любую минуту может пона-

добиться"; "...пусть будет, как ты хочешь"; "...если не возражаешь, можем встретиться в понедельник или во вторник"; "...привет, это я, оставьте мне ветчины"; "...пожалуйста, пожалуйста" и плач), вмешиваться без всякой цели в жизнь людей, которых я даже не знаю (как шпион, который не знает, что именно он должен выведать — и должен ли что-то выведывать, — а сам рискует, что его тайну узнают именно те люди, которые не должны ее знать, хотя эти люди понятия не имеют, что у него есть тайна, имеющая отношение и к ним). Так что пока я храню свою тайну и собираюсь писать речь, с которой Solus обратится ко всему миру, хотя я сам к этому миру не принадлежу — я в нем никто. А может быть, это и правильно? Может быть, слова, которые он будет произносить, и должны исходить от самого темного анонима в его королевстве (лучше сказать, от темного псевдонима, потому что для него я — Руиберрис де Торрес), именно тогда они станут его словами. Странная миссия была у Марты Тельес: появиться и исчезнуть для того, чтобы я начал искать знакомства с ее старым отцом и сделал его жизнь чуть менее пустой, дал ему возможность на неделю почувствовать себя полезным и даже необходимым государству человеком. Чтобы скрасил жизнь старика, стоящего на пороге смерти и пережившего своих детей. Если бы Марта была жива, я не входил бы несколько дней подряд в огромный подъезд старинного дома в богатом районе Саламанка, не поднимался бы в претенциозном древнем лифте с деревянными дверями и скамьей, не нажимал бы кнопку звонка, не проводил бы по нескольку часов в большом, со множеством книг и картин, кабинете, в котором царил беспорядок и еще теплилась жизнь, не сидел бы за столом, на котором стояла моя, принесенная мною в первый день, портативная пишущая машинка, которой я уже почти не пользуюсь, а в соседней комнате не потирал бы взволнованно руки пожилой человек, который был очень мил и был просто счастлив, что в доме появился еще кто-то, кроме служанки, которая носит не наколку, как принято теперь, а фартук и которая наверняка завязывает ему шнурки по утрам. И этот пожилой человек не наблюдал бы, как я работаю, не заходил бы каждые несколько минут в кабинет якобы для того, чтобы взять какую-нибудь книгу или письмо, не расхаживал бы по кабинету, насвистывая и заглядывая мне через плечо, и не задавал бы мне одних и тех же вопросов: "Ну, как идет дело? Продвигаетесь? Вам что-нибудь нужно?" — в надежде, что я захочу с ним посоветоваться или попрошу его прочитать последний написанный мною абзац и высказать (на правах признанного знатока души Отшельника) свое мнение — одобрить или внести поправки, не уходил бы время от времени на кухню, чтобы смолоть кофе. И я не познакомился бы ни с Луисой — Луисой Тельес, дочерью и сестрой, которая зашла к отцу в конце второго дня насвистывания и работы, — ни с Эдуардо Деаном, зятем, мужем, вдовцом, который пришел вслед за Луисой (или познакомился бы с ними при других обстоятельствах). И я не вошел бы с ними в этот ресторан. "Хотите пойти с нами?" — предложил Тельес, и я ответил: "С удовольствием", — не заставляя долго себя упрашивать, хотя, возможно, никто меня упрашивать и не собирался. Первым в дверь вошел отец: он итальянец, а итальянцы никогда не позволят женщине первой войти в какое-нибудь заведение, потому что сначала надо посмотреть, какова обстановка, ведь там могут летать бутылки и сверкать ножи — мужчины умудряются иногда устроить драку в самом неподходящем месте, — потом Луиса Тельес, потом я. Деан пропустил меня вперед — не столько из

вежливости, сколько потому, что чувствовал некоторое социальное превосходство. А может быть, это была та нарочитая предупредительность, которую проявляют по отношению к наемным работникам. "Идиот, ты не знаешь, что твоя жена умерла в моих объятиях, когда ты был в Лондоне, идиот, ты до сих пор ничего не знаешь", — подумал я и тут же устыдился: иногда в мыслях я высказываюсь слишком резко, слишком по-мужски. К тому, кого мысленно оскорбляешь, всегда обращаешься на "ты".

Деан был довольно привлекательный мужчина, годы пошли ему только на пользу. Сейчас я видел его вблизи, и на его лице уже не было того выражения растерянности, какое я видел за месяц до того, на кладбище, и он уже не прижимал ладони к вискам. Когда Тельес знакомил нас, мне показалось, что ни Деан, ни Луиса меня не узнали, а значит, тогда на кладбище они не обратили на меня внимания. Правда, во время обеда, точнее, перед обедом, когда мы ждали заказ, я на миг засомневался в этом. Тельес с дочерью заговорили о каких-то семейных делах, которые нас с Деаном совершенно не интересовали, и мы несколько минут слушали не вмешиваясь. Время от времени Деан бросал на меня взгляд. Это был испытующий взгляд, словно Деан что-то знал обо мне или видел меня насквозь. Под таким недоверчивым и ожидающим взглядом начинаешь говорить и говорить и никак не можешь остановиться, хотя вопросов тебе не задают, рассказываешь больше, чем тебя просят, приводишь новые доказательства того, что в доказательствах не нуждается и в чем никто не высказал сомнения, но ты чувствуешь себя не в своей тарелке, потому что тот, кто тебя слушает, ничего не говорит — он все еще чего-то ждет, словно зритель в театре, который не уйдет, пока не кончится спектакль. Человек тоже может быть спектаклем. Сейчас спектаклем был я, хотя за те несколько минут я не произнес ни слова — на меня можно было только смотреть, как на экран телевизора, на котором есть изображение, но нет звука. "Не понимаю, как Марта умудрялась иметь любовника, — подумал я. — Этот крикун Висенте сдержанностью, по словам его собственной жены, не отличается — трепач, готовый разболтать все, даже во вред себе. Не понимаю, как ей это удавалось при таком муже! Как могла она долго что-то от него скрывать?" Впрочем, может быть, связь с Висенте началась недавно, несмотря на тот тон, которым он говорит на пленке, несмотря на то, что он оскорбляет ее открыто, а не только в мыслях: физическая близость порождает душевную близость, но она же часто дает повод для бесцеремонности и грубости — что-то рушится в отношениях, они словно портятся, теряют чистоту. Нужно еще раз послушать пленку: нет ли в голосе мужчины нетерпения, которое всегда бывает вначале, когда новое кажется таким желанным, когда только о нем и думаешь. Деан — человек проницательный и, должно быть, мстительный, Инес говорила, что он собирается разыскать меня — он не похож на человека, который смиряется с судьбой и сидит сложа руки, он скорее человек действия, умеющий добиваться от людей чего угодно, умеющий убеждать; человек предусмотрительный и дальновидный, он всегда начеку, он учитывает то, чего не учитывают другие: он предвидит то, что произойдет в будущем, а потому всегда уверен в правильности своих решений. (А может быть, все совсем не так? Все наоборот? Может быть, он всегда умеет повернуть дело так, как выгодно ему, и действует не размышляя, зная, что потом всегда найдет оправдание тому, что сделал импульсивно, подчинившись минутному желанию

или инстинкту.) Голос у него был необыкновенно низкий, хрипловатый и гулкий, словно раздавался из-под шлема или словно каждое свое слово он обдумывал и хранил уже несколько веков. Говорил он очень медленно. Именно так он и заговорил, когда (подали уже второе блюдо) впервые упомянул о Марте, своей жене, которая умерла за месяц до этого, умерла в его отсутствие:

— Вы помните, что через неделю будет день рождения Марты? — спросил он. — Ей исполнилось бы тридцать три.

Он произнес это, глядя раскосыми глазами цвета пива на Луису, чьи последние слова послужили поводом для его вопроса. По крайней мере, после ее слов его вопрос не показался неуместным, не имевшим отношения к общему разговору, который до этой минуты был довольно бессвязным: говорившие перескакивали с одной темы на другую, и время от времени даже повисала пауза, причиной которой могло быть мое присутствие или то, что Луиса и ее отец, едва мы сели за стол, сразу же стали обсуждать семейные дела. Однако это могла быть лишь попытка избежать (или хотя бы отложить) разговора о том, о чем все они постоянно думали, особенно когда встречались все вместе, и о чем Деан больше не мог молчать. Он подождал, пока мы сделали заказ, пока закончили с первым блюдом, пока принесли второе (он заказал камбалу и вино). До этого момента они почти не обращали на меня внимания, то есть обращались со мной не так, как обычно обращаются с новым человеком, стараясь, как того требуют приличия, проявлять к нему хотя бы минимальный интерес, — они обращались со мной не как с равным, а как с наемным работником, которого его работодатели пригласили на обед, потому что иначе он останется голодным (хотя моими работодателями были не они, даже не Тельес, и я вполне мог пообедать без них). Впрочем, может быть, это объяснялось тем, что они были слишком погружены в себя и слишком привыкли, собравшись вместе, обсуждать свои проблемы (обычное дело в каждой семье), чтобы ради чего бы то ни было изменять программу, тон и темы своих встреч, которые сейчас, наверное, стали гораздо более частыми, чем раньше, — смерть близкого человека объединяет. Луиса спросила отца, какую сумму он намерен потратить на подарок, который она в этот день должна была купить от его имени для снохи и невестки — Марии Фернандес Вера (дело было накануне дня ее рождения), — вот о чем шла речь.

Тогда-то Деан и задал свой вопрос, перепутав (легко понять почему) времена глагола: он начал говорить так, словно Марта была жива ("Будет день рождения Марты"), а потом поправился ("исполнилось бы") — мертвые навсегда остаются в том возрасте, в каком умерли, а мы, те, кто продолжает жить, постепенно становимся старше, чем они (хотя в случае с Мартой этого пока еще нельзя сказать — прошел только месяц). Должно быть, Луиса думала о том же самом, потому что первой ответила на вопрос, ответила сразу, не дав затянуться паузе, которая повисла после слов Деана и лишний раз показала, что бессмысленно молчать о том, о чем думали все трое (на самом деле четверо, и этот четвертый был haunted, хотя остальные этого не знали, а может быть, сами были во власти тех же чар с той минуты, когда увидели, как падают на гроб первые комья земли). Тельес положил свои приборы крест-накрест на тарелке (он ел мерланга, приготовленного на гриле, ел до этого момента с аппетитом), Луиса поднесла к губам салфетку и держала ее так несколько секунд, словно это помогало ей сдержать слезы — а не слова или

рвоту, — прежде чем снова положить ее на колени (на салфетке остались следы помады и соуса от филе — явно не ирландского). Сам Деан поставил локти на стол и закрыл лицо руками. Казалось, он забыл правила поведения (перед этим он положил на тарелку вилку с наколотым на нее кусочком жареного картофеля). Когда Луиса опустила наконец салфетку на колени (я успел рассмотреть ее колени, пока они не были прикрыты, и успел заметить, что юбка у нее длиннее, чем у сестры), она сказала то, о чем думал и я:

— Мне даже в голову не могло прийти, что когда-нибудь я стану старше, чем Марта. С детства знаешь: такое невозможно, хотя порой и очень хочется, особенно когда старшая сестра отнимет у тебя игрушку или вы подеретесь, а ты заранее знаешь, что верх будет за ней — просто потому, что ты младше. А оказывается, это возможно. Через два года я стану старше ее. Если доживу. Невероятно.

В правой руке она все еще держала нож с острым концом, зубчатым лезвием и деревянной ручкой, какие иногда дают в ресторанах, когда нужно резать мясо. Вилка, которую она положила, чтобы взять салфетку, так и осталась лежать на тарелке. С этим острым ножом в руке она казалась робкой женщиной, собиравшейся защищаться.

— Не говори глупостей и постучи по дереву, дочка, — испуганно воскликнул Тельес. — "Если доживу, если доживу!" Какую еще беду хочешь накликать? — и, повернувшись ко мне, объяснил (он, конечно, человек суеверный, но он был единственным, кто помнил о моем присутствии), тоже путаясь во временах: — Марта — это моя старшая дочь, жена Эдуардо. Она умерла чуть больше месяца назад, совсем неожиданно. — Несмотря ни на что он верил в судьбу и в то, что с другой дочерью не должно было случиться ничего плохого — ничто не случается дважды.

— Я, кажется, что-то об этом слышал, когда мы были во Дворце, — сказал я. Я был единственным, кто продолжал держать в руках приборы, хотя есть я тоже перестал. — Примите мои соболезнования. Вы не представляете, как я вам сочувствую. — Последняя фраза была слишком точной и слишком верной ("как я радуюсь этой смерти, как я скорблю, как торжествую!"). Я замолчал. Не спросил даже, от чего она умерла (это и раньше-то не имело никакого значения). Я хотел, чтобы они продолжали разговаривать, как раньше, так, словно меня не было рядом, словно я был никем (хотя я был представлен им по всем правилам и назван моим настоящим именем, которое никогда нигде не фигурирует).

Деан допил свое белое вино и, не убирая локоть со стола, снова наполнил бокал. Молчание опять прервала Луиса. Она сказала, не забыв постучать по дереву (я видел, как она машинально сунула руку под скатерть, отождествляя слово с действием, — привычный для нее жест: она тоже суеверна, возможно, унаследовала это от своих предков-итальянцев, хотя в Италии стучат, кажется, не по дереву, а по железу):

— Помню, в детстве она не любила, когда на вечеринках мне нравились те же мальчики, что и ей. "Подожди, пока я выберу, ладно? — говорила она, когда мы входили в дом, где была вечеринка. — Подождешь, да? Обещай. Если не пообещаешь, я не пойду", — говорила она. И только когда я соглашалась: "Ладно, договорились, но выбирай быстро", — мы нажимали кнопку звонка. Как старшая сестра она имела право выбирать первой, и я признавала за ней это право. Выбирала она довольно долго, танцевала с несколькими мальчиками и только потом объявляла мне свое решение. Все это время я, замирая, ждала. Кончалось это почти

всегда одинаково: она выбирала именно того, кто мне нравился больше всех. Я уверена, что чаще всего она делала это нарочно: старалась угадать, кто мне нравится, а потом выбирала именно его, а когда я протестовала, она начинала говорить, что я во всем ей подражаю, что мне всегда нравятся только те мальчики, которые нравятся ей. И ни разу за вечер не позволяла мне потанцевать с ним. Как бы я ни притворялась, как бы ни старалась скрыть, кто именно мне нравится, мне это никогда не удавалось: она слишком хорошо меня знала и всегда угадывала. Так продолжалось, пока мы не выросли и не начали ходить на разные вечеринки. Хотя, — сказала Луиса, и глаза ее затуманились, как у человека, который погрузился в воспоминания, — в любом случае преимущество было на ее стороне: у нее грудь тогда была больше, чем у меня, а потому она имела больший успех.

Я не смог удержаться от взгляда на грудь Луисы Тельес и мысленно прикинул ее размер. Может быть, лифчик ее сестры Марты не был маловат, может быть, у Марты просто была большая грудь? "Что я делаю, — подумал я, — как мне не стыдно пялиться на грудь и на колени Луисы Тельес!" Я знаю, что для меня (и для любого мужчины в любых обстоятельствах, даже самых печальных и трагических) это нормально. Нам нужно сделать над собой большое усилие, чтобы, глядя на женщину, не оценивать ее, но в ту минуту я чувствовал себя ничтожеством: свинья! она же тогда была еще подростком! — и все-таки я бросил оценивающий взгляд на ее бюст (молниеносный взгляд) и тут же опустил глаза в тарелку, даже положил в рот кусок (никто из нас не прикасался к еде после того, как Деан напомнил про день рождения той, у кого больше не будет дней рождения). Я не мог ей понравиться раньше, Луиса никогда раньше меня не видела, а ее голос не был похож на тот, что еще сотни лет будет звучать на моей пленке (если я не сотру ту запись): "...ладно, обязательно позвони мне завтра и все расскажи в деталях. Судя по всему, он ничего, но — кто знает. Честно говоря, не понимаю, как ты решилась на такое! Пока. И удачи тебе!" Я не хотел думать об этом, но, возможно, "тем типом" был именно я. Это было предпоследнее сообщение (точнее, последнее: предпоследнее было наверняка стерто — на него наложился электрический голос, который я потом слышал наяву, а Марта не услышит уже никогда), записанное перед тем, как я позвонил в дверь и она меня впустила. Может быть, решившись наконец встретиться со мной, Марта успела позвонить подруге или сестре и рассказать ей об этом ("Придет один тип... Я его почти не знаю, но сегодня он ужинает у меня. Эдуардо в Лондоне. Не знаю, что из этого выйдет, но, может быть, что-нибудь выйдет") с тем же воодушевлением, с каким в юности говорят о предстоящей вечеринке ("Подожди, пока я выберу, ладно?" — и только потом нажать на кнопку звонка). Может быть, Марта оставила свое сообщение на автоответчике подруги или сестры, а та перезвонила ей именно в то время, когда Марта вышла (оставив малыша одного на несколько минут, как я потом оставил его одного на полночи) в ближайший "Vips"[1], чтобы купить мороженое "Haagen-Dazs" на десерт, или еще куда-нибудь. А может быть, она сказала не "один тип", а назвала мое имя и фамилию? Но тогда они знали бы мое имя, а Луиса никак не отреагировала на него́, когда ее отец нас знакомил (разве что к этому времени она его забыла?). Может быть, Марта все-таки говорила с подругой или

1. Сеть небольших "супермаркетов", открытых круглосуточно.

с сестрой, а не просто оставила сообщение на автоответчике? Может быть, они обсуждали меня ("Мы познакомились на коктейле, на другой день он пригласил меня выпить кофе, он знает всех и вся, разведен, пишет сценарии и еще что-то" — я всегда рассказываю только это, я не рассказываю, что я негр или призрак, хотя, если нужно, я этого не скрываю: знаю, что слушателям это всегда интересно). В тот вечер Марта тоже сомневалась (или воспользовалась своим правом выбора): сначала она позвонила Висенте, а может быть, и еще кому-нибудь я был, скорее всего, запасным вариантом, и именно поэтому она умерла на моих глазах и в моих объятиях. Я уже сказал, что причина ее смерти меня не интересовала, что я не хотел восстанавливать в памяти тот день или историю нашего с ней знакомства, не хотел узнать о ее жизни, о ее разваливавшемся браке, не хотел познакомиться с историей ее семьи. Я не хотел прожить за нее ту часть жизни, что не смогла прожить она. Я человек пассивный, я ничего не хочу и ни к чему не стремлюсь или просто не знаю, чего я хочу и к чему стремлюсь. Проблемы находят меня сами: можно сидеть тихо и ничего не делать, все усложнится само собой, ссоры и тяжбы возникнут сами по себе. И если сейчас я предпринимал какие-то шаги, то вовсе не потому, что хотел достичь определенной цели: я даже не хотел разгадать все тайны той пленки из автоответчика, которую я прослушал столько раз. Да это было и невозможно: ведь я на самом деле даже не знал, кому было адресовано одно из сообщений — Марте или Деану. А "тот тип" вполне мог оказаться человеком, с которым у Деана были дела, связанные с большим риском, и значит, обо мне Марта ни с кем не говорила и никто не знал, что это я был тем мужчиной, которого она выбрала на ту ночь — не для того, чтобы я переспал с ней, а для того, чтобы был рядом, когда она будет умирать. Может быть, думал я, пережевывая мясо и лицемерно отводя взгляд от бюста Луисы, ее желание могло показаться абсурдным, но с другой стороны, оно было совершенно понятным: она хотела превратить мое незаконное присутствие той ночью в ее доме (уже после всего, что произошло) во что-то более достойное (самый лучший способ изменить прошлое — это посмотреть на него с точки зрения нашего настоящего, тогда оно покажется нам только прелюдией к тому, что случилось с нами в последнее время; чем дальше прошлое, тем лучше мы его понимаем, а полное понимание придет лишь в конце), словно она сочла несправедливым и неправильным то, что в последнюю минуту рядом с ней был почти незнакомый человек, который просто не упустил случай с ней переспать, и считала, что было бы справедливо, если бы этот человек стал близок с теми, кто был близок ей, и чтобы после ее смерти этот человек стал главным (или хотя бы важным или просто полезным) человеком для кого-нибудь из дорогих ей людей и, может быть, уберег их от чего-то. Я подумал, что такая возможность была предоставлена мне тогда же: я мог остаться на улице Конде-де-ла-Симера с малышом Эухенио, вместо того чтобы оставлять его наедине с трупом. Но я этого не сделал. Я мог бы также еще раз позвонить в Лондон, еще раз побеспокоить ночного портье из отеля "Вильбрахам" и предупредить мистера Бальестероса, известить его о том, о чем она хотела бы известить его с той самой минуты, когда поняла, что умирает (в жизни каждого есть четыре-пять человек, которые, как только с нами что-то случается, сразу должны узнать об этом. Нам невыносима мысль, что близкие могут не знать о нашей беде, думать, что мы счастливы, когда это уже не так, полагать, что мы женаты, когда

мы уже овдовели, что у нас есть родители, а мы уже сироты, что мы здоровы, а мы в это время заболели. Или считают, что мы живы, а мы уже умерли). Но я не сделал этого: я боялся его гнева, я боялся за Марту, ведь она мне сказала в самом начале: "Ты с ума сошел! Позвонить ему! Да он меня убьет!" Но бессмысленно бояться, что убьют ту, которая и так уже мертва, а репутацию ее все равно уже не спасти: они знали, что я был с ней в тот вечер, то есть они знали, что с ней был мужчина. Так что я этого не сделал. Единственное, что я смог сделать, — это в течение нескольких дней немного развлечь ее отца.

— Ну и глупости вы иногда говорите! — возмутился Тельес и тоже быстро отрезал кусочек от своего мерланга (аппетит у него пропал не совсем), потом снова положил приборы крест-накрест на тарелке, словно не решался есть. Он употребил местоимение второго лица множественного числа, как будто Луиса представляла за этим столом обеих его дочерей, как будто то, что сказала Луиса, могла бы сказать (или подписаться под этим) ее сестра, — всегда трудно привыкнуть к мысли, что кто-то уже никогда ничего не скажет. — Какое у вас грубое представление о вещах! Кофе, пожалуйста, — сказал он, подняв палец и обращаясь к официанту, который прошел мимо нас с подносом и не обратил на него никакого внимания. — Будете десерт? Я, пожалуй, нет". — На этот раз форма множественного числа имела другое содержание: она включала и нас, обоих мужчин.

В этом ресторане его хорошо знали (ресторан находился рядом с его домом) и обслуживали обычно без промедления. Он с неудовольствием посмотрел на официанта, достал свою трубку и постучал ею по ладони. Метрдотель, заметив это, тут же приблизился к нашему столику и услужливо спросил (обращаясь к нему "Дон Хуан"):

— Вам не понравился мерланг, Дон Хуан?

— Понравился, просто аппетита нет. Да и у остальных, кажется, тоже. Так что можно все это убрать. Я хочу кофе. А вы? — "Вы" снова относилось и ко мне.

В этот момент метрдотель повернулся к окну (как раз перед тем как прогремел гром, словно он его предчувствовал), и хлынул дождь, такой же, какой лил месяц или чуть меньше тому назад, или не совсем такой: сейчас дождь хлестал с озлоблением, он, казалось, торопился выплеснуть все за отведенные ему минуты. Это было похоже на воздушный налет. Не прошло и минуты, как у дверей ресторана собралась толпа: мужчины, женщины и дети сбежались под навес, чтобы укрыться от того, что обрушивалось на их головы с неба. Так же, наверное, в тридцатые годы по улицам этого города — тогда он был осажден — бежали мужчины, женщины и дети в поисках укрытия от того, что обрушивалось на них с неба и с холмов, окружавших город, — с Серро-де-лос-Анхелес и с Серро-де-Гарабитас. Бомбы и ядра падали на здание телефонной компании или, когда прицел был выбран неправильно, на прилегающую к ней площадь (которую за это в шутку — они еще и шутили! — прозвали "площадь с ямочками") и на огромное кафе "Негреско". Во время одного из налетов это кафе было разрушено до основания, и под его развалинами было погребено множество людей. Но на следующий день несгибаемые (и в то же время склонившиеся перед неизбежным) люди пришли выпить свою кружку пива в соседнее кафе — "Ла-Гранха-дель-Энар" на улице Алькала, как раз напротив того места, где она пересекается с улицей Гран-Виа, — хотя знали, что с этим кафе может случиться то же самое.

Небо и окружавшие город холмы таили в себе страшную угрозу для пешеходов, и они старались передвигаться по той стороне улицы, которая казалась им менее опасной при обстреле, они пытались укрыться от снарядов, так же как сейчас люди искали укрытия от дождя. Но дождь был с ветром, а снаряды могли упасть и на ту и на другую сторону улицы — это зависело только от того, откуда стреляли осаждавшие. Два с половиной года люди делились на осаждавших и осажденных, два с половиной года, придерживая руками шляпы, кепки и береты (ветер задувал юбки, и чулки были рваные, а может быть, чулок не было вообще), они бежали по улицам этого города, с тех пор так и не разучившегося жить по-особому — словно он остров.

Метрдотель лично принял заказ. На нем было что-то вроде фартука, какие носят французские официанты: большой кусок белого полотна, завязанный на поясе и свисающий почти до пола, — белое полотно поверх черной униформы. Некоторое время мы все молча смотрели, как льет дождь за окном.

— Скоро кончится, но думаю, стоит все же заказать десерт, — сказал Деан. — Хотя вообще-то мне уже нужно бежать.

— Не торопись, — сказала Луиса, — нам еще надо поговорить о ребенке.

— Думаю, лучше отложить разговор до другого раза, — ответил он с обычной своей медлительностью и (случайно или намеренно) бросил на меня быстрый злой взгляд, потом многозначительно посмотрел на Тельеса. Тот понял, опустил глаза и занялся своей трубкой. Вероятно, они собирались вместе пообедать именно затем, чтобы поговорить о ребенке, — они хотели что-то решить, не важно что: это их семейное дело, — и то, что Тельес пригласил меня, а я приглашение принял, лишило их этой возможности. Тельес отвел глаза как человек, сознающий свою вину и не желающий заострять на этом внимание, я делал вид, что меня все это не касается.

— Незачем откладывать, Эдуардо, — возразила Луиса, — просто скажи, что ты наконец решил. Скажи сейчас, в присутствии папы, чтобы он тоже мог высказать свое мнение. Лучше обсудить этот вопрос всем вместе, открыто. Я не могу жить на два дома — я ничего не успеваю ни тут, ни там. Если хочешь, чтобы он пока пожил у меня, — скажи. Хочешь, чтобы он оставался у тебя, — скажи, и мы поможем тебе все организовать, хотя с твоей работой и с твоими вечными командировками это будет нелегко. Но я больше так не могу, я уже больше месяца мотаюсь туда-сюда, как курьер.

— Или как многие современные девушки, — вмешался Тельес, который понял, что избежал наказания за свою оплошность, допущенную из вежливости. — Я думаю, в наши дни люди вступают в брак исключительно потому, что им надоедает просыпаться в чужом доме, а потом ехать через весь город к себе домой и там начинать день заново, словно они только что проснулись. Я уже не раз слышал, что женятся сейчас лишь из-за того, что кто-то из двоих постоянно забывает зубную щетку или ленится купить вторую. Раньше люди ночевали только у себя дома, это было гораздо лучше. — И он погрозил пальцем всем троим, словно знал, что и за нами водится такой грех. — Луиса права, Эдуардо. Оставь мальчика ей, она сумеет все организовать в соответствии со своим расписанием. По крайней мере на некоторое время, пока ты не придешь в себя, не уладишь свои дела или не заведешь новую семью — ты еще молодой,

может быть, в один прекрасный день кому-нибудь надоест просыпаться в твоем доме и не иметь под рукой собственной зубной щетки. — И снова Тельес вспомнил о моем присутствии (а может быть, он и не забывал о нем?) и разъяснил мне: — У моей дочери, Марты, есть ребенок, мой внук Эухенио. Он еще совсем маленький, ему только два года. Эдуардо — человек очень занятой, и Луиса готова взять заботу о ребенке на себя. К тому же Эдуардо часто уезжает в командировки, и иногда очень не вовремя.

Посторонний человек не должен был понять этот злой намек, но я его понял, и всем, наверное, показалось странным, почему я не задал никакого вопроса. А может быть, и не показалось: я старался вести себя так, чтобы мое присутствие казалось как можно менее заметным. Я давно уже привык растворяться, становиться никем — это отличный способ угодить: когда становится на одного человека меньше, оставшиеся только выигрывают — они чувствуют себя свободнее. "Так Тельес, оказывается, может быть злым, — подумал я. — По крайней мере, по отношению к Деану. Значит, не всегда он такой спокойный, рассеянный и немного наивный, каким я привык его видеть? Может быть, он только притворяется наивным, чтобы иметь возможность говорить то, что ему вздумается, не опасаясь, что на него за это обидятся? Так делают все старики: они прикидываются умирающими, чтобы на них смотрели как на безобидных людей, которые давно уже ничего не хотят от жизни и ничего от нее не ждут. А на самом деле человеку интересно все, пока он жив, пока он в здравом уме, пока он все помнит. Больше того, именно воспоминания делают человека опасным: они порождают желания и поддерживают надежду — невозможно примириться с тем, что некоторые вещи уже никогда не повторятся, что нельзя вернуть то, что прошло. Если бы человек знал наверняка, что у него никогда больше не будет близости с женщиной, он покончил бы с собой (по крайней мере, если б узнал об этом сразу после того, как был с женщиной в тот раз, что стал последним). Кто был тем мужчиной, с кем Марта Тельес разделила ложе в свой последний раз? Суровый Деан? Вспыльчивый Висенте? Одно знаю точно: это был не я. И она не знала, что тот раз был последним. Ей и в голову это прийти не могло. С кем бы она тогда ни была, она не придала этому особого значения. Не было торжественности, может быть, не было даже особой страсти или особой нежности. Если она была с Висенте в гостинице или в машине, то, оставшись одна и падая с ног от усталости, она приняла душ, чтобы смыть с себя чужой запах (я тоже еще долго чувствовал исходивший от моего тела и от моей рубашки запах самой Марты, хотя в то утро принял ванну, — запах Марты был еще и запахом страшной метаморфозы), а если была с Деаном, то только воспользовалась биде, а потом легла в постель, жалея о том, что потеряла полчаса ночного отдыха, и уснула в знакомой мне спальне с большим зеркалом и включенным телевизором, с тюбиком дезодоранта и маской, которую надевают в самолете, с брошенными на стулья брюками и юбками, которые так и не будут выглажены, ни в ту ночь, ни когда бы то ни было. В обоих случаях она, наверное, сразу же заснула, не думая ни о чем. Марта Тельес не сомневалась, что еще будет с мужчиной в тот вечер, когда пригласила меня. По крайней мере, она была уверена в этом в ту минуту, когда мы направлялись вместе в ее спальню (моя рука в ее руке, Château Malartic, оба нетвердо стоим на ногах) и когда я начал ее раздевать и ласкать, когда мы начали целоваться (лучше бы мы этого не делали, тогда

сейчас мне не пришлось бы вспоминать эти поцелуи). Она почти не сомневалась, что это случится, и это случилось бы, если б малыш заснул вовремя, а я не колебался и не ждал бы столько времени, чтоб сделать первый шаг, которого мы оба ждали. Ожидание первого шага — как сгущение облаков перед грозой: никогда не знаешь, разразится буря через несколько мгновений или еще придется ждать. В наших объятиях тоже не было ни торжественности, ни особой страсти, было желание и зарождавшаяся нежность, которая (как знать!) могла бы перерасти в нечто большее со временем, но этого времени у нас не было, и того, что должно было случиться, не случилось, а произошло совсем другое. А если бы малыш так и не заснул или если бы я так и не решился сделать первый шаг (ведь человек может и не сделать первого шага, даже если оба только его и ждут)? Тогда, поболтав с Мартой еще немного и еще немного выпив, я ушел бы с улицы Конде-де-ла-Симера, а она осталась бы одна, чтобы принять душ и смыть с себя запах ожидания. Но сначала она вымыла бы посуду, уложила малыша, успокоившегося с моим уходом, сняла через голову элегантную блузку от Армани (рукава вывернулись бы и держались только на запястьях), постояла так несколько секунд, словно ее утомило это усилие, или она просто устала за день, или задумалась — человек, погруженный в свои мысли, раздевается медленно и, сняв одну вещь, надолго останавливается, забыв о том, что делает, — или потому, что не оправдались ее ожидания, запах которых еще хранила блузка (эту блузку бежевого цвета я помогал ей снимать). Телевизор был включен, и она смотрела бы без всякого интереса на глуповатое лицо Фреда Макмюррея, а может быть, переключила бы на другой канал, где шел фильм, который смотрел в ту ночь Одинокий Ковбой, мучимый бессонницей, — "Полуночные колокола", где весь мир был окрашен в предрассветные черно-белые тона. Потом она встала бы под душ и, возможно, подумала бы, что стоит еще раз позвонить Висенте и оставить ему еще одно сообщение. И, конечно, она не рассказала бы ему, что пригласила одного типа (чтобы заменить его, Висенте, потому что не могла ему дозвониться). Но, как знать, может быть, она так и не позвонила бы ему, выйдя из душа, в халате и с полотенцем на голове, как знать, может быть, она вообще не вышла бы из ванной — поскользнулась бы (потому что была подавлена своей неудачей, или задумалась, или просто потому что устала), упала затылком на кафельный пол (падая, она еще успела бы закрыть кран) и осталась лежать на холодном полу, обнаженная, мокрая, с разбитым затылком, откуда через некоторое время полилась бы и засохла струйка крови, похожая на желобок, или тонкую прядку прилипших черных волос, или грязь. Но этого никто б не увидел, потому что меня там уже не было бы (но *эта* смерть ужасна), и ей некого было попросить о помощи: малыш уже спал бы крепким сном, а телефон был далеко ("Почему я не купила себе мобильный телефон!"); но *эта* смерть смешна — что может быть смешнее смерти в собственном доме, ночью, когда муж в отъезде, а гость, который мог бы спасти меня, уже ушел (вот невезенье!), и я голая (вот несчастье!) — все можно воспринимать и как смешное, и как трагическое: это зависит от того, кто об этом рассказывает и как рассказывает, а кто расскажет о моей смерти? О ней будут рассказывать друг другу все, кто меня знает, и каждый будет рассказывать по-своему. Все эти мысли промелькнут у нее в голове за короткие секунды падения. Марта Тельес все равно бы умерла, и умерла бы сразу, без мучений, страха, депрессии или раскаяния. Но она умерла не так. Смерть

ее была другой, не менее ужасной или менее смешной: рядом с ней был незнакомый человек, мы только что собрались трахнуться. Какой ужас, какой стыд! Как у меня язык поворачивается произносить такие слова — то, что само по себе не является ни грубым, ни возвышенным, ни трогательным, ни прелестным, может стать и прелестным, и трогательным, и возвышенным, и грубым — все зависит от рассказчика, а у меня есть свидетель моей смерти, и я не знаю, как он будет рассказывать о ней. Но, может быть, он промолчит? Может быть, не расскажет о ней никому? Да в конце концов не важно, как он поступит, правда заключается в том, что он не спас меня, хотя и не ушел, хотя остался со мной, все равно он не спас меня, никто меня не спас.

Но все было не так, а думаю я о том, чего на самом деле не было, потому, что я haunted. Я не должен гнать от себя эти голоса и эти мысли, я должен привыкнуть к ним, раз они держат меня в плену и не отпускают. Деан снова бросил на меня быстрый злой взгляд и ответил Тельесу своим заржавленным (как кинжал, доспехи или копье) голосом:

— По-моему, сейчас не самое подходящее время обсуждать эти дела. Давайте отложим. — Он снова посмотрел на меня, и на этот раз взгляд его стал другим: наверное, он подумал, что, может быть, сейчас как раз самое подходящее время — в присутствии постороннего его собеседники будут сдержаннее.

— Но, Эдуардо, ты должен принять решение. Я должна знать, что мне делать дальше, — сказала Луиса еще более раздраженно. — Большая разница — жить одной или жить с ребенком, тут надо серьезно все обдумать.

— Дай мне еще немного времени. Несколько дней ничего не решат. Может быть, я смогу устроить так, что буду ездить меньше или вообще не стану больше ездить. Мне нужно еще раз поговорить с Ферраном. Решение пока не принято. И я еще не знаю, смогу ли жить с ребенком один: это был наш общий ребенок, ты же понимаешь.

Тельес поднял указательный палец, словно пророчествовал:

— Поездки, поездки! До добра они не доводят! — в голосе Тельеса звучала явная неприязнь к зятю.

— Послушайте, Хуан, — ответил ему Деан, — то, что случилось, случилось не потому, что я тогда отсутствовал, вы это прекрасно знаете. Сделать нельзя было ничего.

Услышав эти слова, я испытал облегчение. То обстоятельство, что ничего нельзя было сделать, чрезвычайно обрадовало меня — ведь я ничего не сделал тогда.

Перед Тельесом уже поставили кофе. Он наконец раскурил свою трубку и смотрел на Деана через пламя спички, которое то разгоралось, то слабело.

— Я не в этом упрекаю тебя, Эдуардо. Я еще не выжил из ума, я обвиняю тебя не в том, что ты ее не спас, — спасти ее было невозможно, — а в том, что в минуту ее смерти рядом с ней никого не было. Вот ты говоришь, что не знаешь, сможешь ли жить один с ребенком, а она умерла одна, когда ребенок спал. И ребенок остался совсем один: мать умерла, а отец в отъезде! Хорошо еще, что он пока слишком мал. — Язык пламени лизнул его ноготь и наконец погас. Тельесу ничего не рассказали. Так я и предполагал.

Деан что-то пробормотал, возможно, считал до десяти, чтобы успокоиться, справиться с гневом. Я никогда не делаю этого — некоторые

эмоции, если не дать им выхода сразу, только усиливаются. А может быть, он раздумывал, сказать или не сказать разгневанному тестю: "В ту минуту, когда твоя дочь умирала, она не была одна, глупый ты старик, и твой внук не был один. Марта не преминула воспользоваться моим отсутствием, кто знает, не проделывала ли она то же самое каждый раз, когда я уезжал? Хотя в чем-то ты прав, старый дурак: поездки, поездки! До добра они не доводят!" Луиса сидела опустив глаза. Она больше не настаивала, запал у нее прошел, она наверняка ругала себя за то, что по ее вине разговор принял такой оборот. Она-то, конечно, знала, при каких обстоятельствах умерла ее сестра, знала, что с ней кто-то был. Этот кто-то был я. Я почувствовал, как к щекам приливает кровь. Наверное, я покраснел. Я скрестил пальцы, но, к счастью, в этот момент на меня никто не смотрел, а кроме того, краску на моих щеках можно было объяснить тем, что я присутствовал при разговоре, не предназначенном для чужих ушей.

Деан не поддался соблазну: сейчас он тоже что-то от кого-то скрывал — во вред себе, из жалости к старому дураку. Он сказал то, что должен был сказать, если бы Марта и в самом деле была одна, когда умирала, как думал ее отец:

— Мы не могли это предвидеть. Кто знал, что так получится? Когда я уезжал, с ней все было в порядке, я звонил ей вечером из Лондона и разговаривал с ней — и все было в порядке, она ничего мне не сказала. Она собиралась укладывать ребенка. Я все это уже рассказывал. Чего вы хотите? Чтобы я никогда никуда не уезжал из боязни, что в мое отсутствие что-нибудь может случиться? Вы ничего не имели против той поездки, я всегда много ездил, и вы никогда не возражали. А вы сами разве никогда не оставляли семью хоть на несколько дней? Не говорите глупостей. Попробуйте быть объективным.

— Я ничего не имел против, потому что не знал, что ты уезжаешь.

— Я думаю, вам было неизвестно многое из того, что я делал за эти годы. Вам ни к чему было это знать.

— Мне, может быть, и ни к чему. Но она должна была знать. Она не могла попросить тебя о помощи, не могла позвонить тебе. Ведь так? Ты оставил ей свой телефон в Лондоне, но мы его так и не нашли, хотя обыскали весь дом! Мы не могли связаться с тобой целые сутки, легко сказать! Ты и своему другу Феррану телефон не оставил, почему мы должны тебе верить, когда ты говоришь, что оставил его Марте? Ты даже не подумал это сделать! — Тельес снова употребил форму множественного числа: он сказал "мы", имея в виду Луису и, конечно, Гильермо с Марией Фернандес Вера — всю семью, всех Тельесов, которые в отличие от него наверняка жалели Деана. Они-то никогда не стали бы упрекать его, ведь они знали больше. Деан тоже использовал множественное число, чтобы не остаться одному, чтобы быть вместе со всеми.

— Мы не могли это предвидеть, — сказал он.

Тельес выждал паузу и добавил, с силой прикусив трубку (сказал твердо и сквозь зубы):

— Меня в дрожь бросает, когда подумаю, как ты провел тот день. Когда твоя жена лежала здесь мертвая, а ты об этом ничего не знал. Думаю, что сейчас ты совсем другими глазами смотришь на все, что делал все те долгие часы беспечности и неведения. Не хотел бы я быть на твоем месте: тебе, наверное, все это снится в кошмарных снах. — Он помолчал,

выбил трубку и сказал прямо и с презрением: — Если ты вообще был тогда в Лондоне.

Обо мне они забыли. По крайней мере, Тельес точно забыл: он уже не обращался ко мне и не давал пояснений — старики не могут долго держать в голове все детали, особенно в напряженной ситуации, они помнят только о главном, а главным для него сейчас были Деан и Луиса, я же был только элементом декорации, я в ту минуту значил не больше, чем метрдотель, или официанты, или посетители, сидящие за другими столиками, или люди, прятавшиеся от дождя под навесом нашего ресторана, не больше, чем сам этот дождь (за окном можно было видеть, как люди прикрывались от дождя газетой). И в эту самую минуту, когда обо мне все забыли, я почувствовал себя значительным человеком — я вспомнил, что унес из дома на улице Конде-де-ла-Симера не три, а четыре вещи: запах, лифчик, пленку и желтую бумажку, телефонный номер на которой был наверняка написан рукой Деана, а не Марты и которая все еще лежала у меня в бумажнике (а тот, в свою очередь, в моем кармане). "Этого Деан уже не вынесет, — подумал я, — он не сможет удержаться, он расскажет, он не позволит подвергнуть сомнению даже то, что его не было в Мадриде. Он скажет: 'Кто-то забрал листок с названием моего отеля и номером телефона. Кто-то был у нее той ночью, кто-то видел, как она умирала, и никого не известил, кто-то унес с собой этот листок, потому вы его и не смогли отыскать. Он воспользовался этим номером спустя сутки, позвонил в мою гостиницу и попросил соединить со мной, но, когда я снял трубку, он испугался и ничего мне сказал. Да и что он мог сказать? Было уже слишком поздно, уже ничего нельзя было изменить. Так же как не могли ничего изменить звонки Феррана и Луисы (они позвонили мне через некоторое время, и от них я узнал наконец, что Марта была мертва весь тот день и всю предшествовавшую ночь. Или не всю ночь, потому что поздно вечером она еще была жива и была не одна). Луиса знает это, она может подтвердить. Это знают все, кроме вас. Смерть Марты была не только ужасной, она была смешной. Ее нашли полураздетую под одеялом. Косметика на ее лице размазалась не только от слез, но и от поцелуев. Мужчина, которого она целовала, наверное, растерялся, пришел в ужас, не знал, что делать. Когда я думаю о том, какие ужасные минуты пережил этот человек, я испытываю радость мести'". — "Сейчас он все это скажет, — думал я, — и мне не останется ничего другого, как вскочить с места и, прижав к губам салфетку, броситься по направлению к туалету, потому что я этого не выдержу".

Но Деан и на этот раз сдержался. Он ничего не сказал, только некоторое время бормотал что-то себе под нос, словно считал (на этот раз до двадцати), и только потом с обычным спокойствием (мы должны быть снисходительны и добры к тем, кто был дорог нашим умершим) произнес своим заржавленным голосом:

— Послушайте, Хуан, вы вбили себе в голову, что я виноват в случившемся. Хорошо, согласен, моя вина во всем этом тоже есть. В любом случае переубедить вас я не смогу. Я мог бы предъявить вам мой билет, счета за гостиницу и рестораны, чеки на покупки, которые я делал в Лондоне, но если вы предпочитаете думать, что я там не был, и по каким-то причинам вам так легче, — пожалуйста, продолжайте думать так, все равно это ничего не изменит, разве что вы будете уважать меня еще меньше, — но это не так страшно: вполне возможно, скоро мы совсем перестанем встречаться — нас уже почти ничто не связывает. Вы можете

думать обо мне что угодно. Я не знаю, куда дела Марта записку с моим лондонским адресом. Может быть, сунула ее в карман, а потом выронила на улице. А может быть, ее унесло ветром в открытое окно и подметальщик улиц смел ее своей метлой. Я не знаю. Я знаю, что я оставил ей адрес, но доказать это не могу, и вы не обязаны мне верить. А Феррану я действительно забыл его оставить. Но в одном вы правы: мне никогда не забыть тот день, о котором вы говорите. Есть вещи, о которых человек должен узнавать сразу, нельзя, чтобы он хоть минуту пребывал в неведении, не зная, что мир уже не тот. Нельзя, чтобы человек думал, что все остается как прежде, когда все изменилось, встало с ног на голову. От этого можно прийти в отчаяние. — Деан глубоко вздохнул: ему нужно было перевести дух, успокоиться после этой речи, в которой на смену обычному его хладнокровию пришло возбуждение. — Так что вы совершенно правы: этот день я никогда не забуду.

Тельес молча курил свою трубку, пристально глядя на своего зятя, а тот не выдержал этого взгляда и, как только закончил говорить, начал искать глазами метрдотеля, чтобы попросить счет (именно такой знак он ему подал), словно хотел этим положить конец разговору или по крайней мере сменить тему. "Ему, наверное, очень трудно сдерживаться, — подумал я. — Вероятнее всего, он потом захочет встретиться с Луисой и выговориться — ведь она все знает". Луиса, казалось, раскаивалась, что завела этот разговор. Она ни разу не прервала Деана, она больше не торопила его с принятием решения — несколько дней ничего не изменят. На Тельеса слова Деана тоже, казалось, произвели впечатление — он задумался и только попыхивал трубкой. Но до конца переубедить его не удалось: он просто ждал, пока улягутся сомнения и с новой силой нахлынет прежняя обида, снова станет понятно, кого следует винить. Когда Деан, не выдержав, отвел взгляд, он опять нахмурился и сказал:

— В любом случае тебя здесь не было. И она не смогла тебе позвонить. Или, может быть, просто решила не звонить тебе, зная твое легкомыслие и равнодушие. Может быть, боялась, что ты назовешь ее паникершей и пальцем для нее не шевельнешь, даже не предупредишь нас, даже не позвонишь врачу. Она ведь хорошо тебя знала. И мы все тоже знаем, что на тебя нельзя рассчитывать, — он снова употребил форму множественного числа, но сейчас это "мы" не включало в себя его зятя, — и сейчас нас действительно почти ничто не связывает. Когда что-нибудь произойдет со мной, можешь быть в Лондоне, в Тампико, на Пелопоннесе или еще где-то, — я знаю, что тебя в любом случае не окажется рядом. И не вздумай платить по счету: меня здесь знают.

Деан спрятал бумажник, который достал после того, как позвал метрдотеля. Надо полагать, он был сыт всем этим по горло. Иногда единственный способ сохранить самообладание — встать и уйти. Складки на его лбу прорезались глубже — когда он состарится, лицо у него всегда будет таким. Его энергичный подбородок подрагивал, глаза цвета пива сверкали — впрочем, это могли быть отблески бушевавшей за окном грозы. Он встал, взял свой плащ, надел его и сунул руки в карманы:

— Если платить буду не я, то ждать мне незачем. Я спешу. До свидания, Хуан. Луиса, мы после поговорим. Всего хорошего.

Он не выпил кофе. Его последние слова были обращены ко мне, и я, чтобы не показаться невежливым, ответил ему: "До свидания". Он поцеловал Луису (она сказала ему: "Увидимся дома", — как будто у них был те-

перь общий дом). Тельес ничего не сказал. По пути к выходу Деан попрощался с метрдотелем, и тот проводил его и открыл ему дверь: родственник дона Хуана заслуживал особого внимания. Он поднял воротник плаща перед тем, как нырнуть под дождь, с трудом протиснулся сквозь толпу у входа. Тельес выпил свой кофе (наверняка уже холодный), выпил одним глотком, как водку. Потом снова вспомнил обо мне и сказал, словно извиняясь:

— Моя дочь не смогла позвать на помощь, — объяснил он, как будто я сам не догадался. — Врачи говорят, что ее нельзя было спасти. Но у меня сердце разрывается, как подумаю, что никого не было с ней рядом, когда она умирала, как страдала она от того, что ребенок останется один и о нем некому будет позаботиться. — Деан ушел, и он больше не казался суровым и гневным. — Я не могу это вынести.

— Странно то, папа (я вам это уже не раз говорила), — сказала Луиса (и это "вам" впервые относилось ко мне: она хотела сказать, что говорила ему, а мне объясняла это в скобках — не станет же дочь обращаться к отцу на "вы"), — что нам она тоже не позвонила. Предположим, Эдуардо в Лондон она позвонить не могла, но нам-то могла! Однако не позвонила. — Мне казалось, что она хотела оправдать Деана и не выдать при этом свою покойную сестру. Она явно сочувствовала Деану. Немного подумав, Луиса прибавила: — Возможно, она не знала, что умирает, думала, что это скоро пройдет, и не хотела никого беспокоить ночью. Если она не предполагала, что умрет, ей не было так страшно. Страшно бывает, когда это предполагаешь. И знаешь.

Мне захотелось сказать Тельесу: "Она была не одна, поверьте мне, я точно это знаю. Ей не было так страшно, потому что она не сразу поняла, что умирает, а когда поняла, сказала мне: "Обними меня, пожалуйста, обними меня!", и я ее обнял, и она сказала: "Пока ничего не делай, подожди", — она не хотела, чтобы я сдвинул ее с места хоть на миллиметр, не хотела, чтобы я звонил кому-нибудь. Я обнял ее, и она умерла в моих объятиях, чувствуя мое прикосновение, мою защиту. Не мучайтесь так".

Но я не мог это сказать.

— Я не должен был идти с вами, — сказал я вместо этого. — Мне жаль, что так вышло.

— Вы ни в чем не виноваты, — ответил Тельес. — Мы сами вас пригласили. На самом деле я не собирался затрагивать эту тему. — И, положив дымящуюся трубку на пепельницу, сжал ладонями виски. — Бедная моя девочка! — воскликнул он, как Фальстаф. Трубка дымила.

Дождь кончился внезапно. Выход был свободен.

Какая это мука — помнить твое имя и знать, что завтра я тебя уже не увижу!

Какая это мука — помнить твое имя и знать, что завтра я тебя уже не узнаю! Лица тех, кто ушел навсегда (потому что мы не смогли удержать их или потому что их унесла смерть), начинают стираться из памяти, хотя иногда нам кажется, что мы все еще видим то, чего уже нет на свете. Но это самообман: у памяти зрения нет, память (внутреннее зрение) являет нам лишь расплывчатые, неясные образы тех, кого мы любили и ненавидели, и тех, кто любил и ненавидел нас.

Я мог бы считать, что никогда не был с тобой знаком, если бы не твое имя, которого мне не забыть, которое сияет немеркнущим светом

и будет сиять всегда, даже когда ты покинешь меня, даже когда ты умрешь.

Имя — это то, что остается навсегда, и нет разницы между именами живых и именами мертвых; наше имя — это то, что отличает нас от других людей, это единственное, что помогает нам помнить, кто мы и какие мы, и если случается, что кто-то лишает нас нашего имени и говорит: "Это не ты, хотя я тебя вижу, это не ты, хотя и очень похож", — мы с ужасом думаем: "Почему он не узнает меня? Почему не зовет меня по имени?" Правда, порой мы думаем об этом с облегчением: "Как хорошо, что он больше не зовет меня по имени, не верит, что это я делаю и говорю то, чего не должен. И этим он спасает меня".

Что-то похожее случилось со мной однажды. Это было давно, задолго до того, как я узнал имя Марты Тельес, имя ее отца, имена Луисы, Деана и Эухенио. В ту ночь мы не только отказались узнавать друг друга (если мы действительно друг друга узнали) и назвать друг друга по имени, мы даже отреклись от собственных имен.

Я возвращался домой на машине, было очень поздно. На улице Эрманос Беккер, короткой кривой улице, которая очень резко поднимается вверх и выходит на улицу Кастельяна, я увидел женщину. Это дорогая улица, и на ней нередко можно увидеть проституток и трансвеститов. На углу, мимо которого я часто проезжаю, всегда стоит женщина, каждый раз это новая женщина (или выглядит всякий раз по-новому). Может быть, они каждую ночь бросают жребий, кому стоять на этом месте: оно не слишком на виду, но в то же время на перекрестке всегда немало машин, к тому же здесь безопасно — рядом находится хорошо охраняемое американское посольство. Так что это очень выгодное для них место. В тот вечер я, как обычно, остановился на перекрестке перед светофором и из машины посмотрел на женщину. Я смотрел на нее так, как мы, мужчины, всегда смотрим на проститутку, если не собираемся пойти с ней: с любопытством (мы пытаемся представить, как это было бы, если б мы с ней все-таки пошли, хотя и понимаем, что не будем это делать) и жалостью. Или просто с мужским высокомерием. Но когда загорелся зеленый свет, я не тронулся с места. Я продолжал смотреть на нее через стекло, потому что мне показалось, что я знаю, как ее зовут. На ней был короткий плащ, открывавший ноги в черных чулках. Она стояла, обхватив руками плечи, словно ей было холодно. Заметив автомобиль, который не тронулся с места, когда загорелся зеленый свет, она стала поглядывать в его сторону и опустила руки, чтобы я (то есть тот, кто сидел в автомобиле, — меня она еще не могла видеть) разглядел юбку, еще более короткую, чем плащ, и что-то вроде боди, подчеркивавшее грудь. Она сунула руки в карманы плаща и распахнула его, чтобы я мог увидеть больше. Я не включал зажигание. Справа от меня дорога была свободна, другие машины могли проехать, но сам я не двигался с места. Я не подъехал к ней ближе: это было бы расценено как проявление интереса, и мне пришлось бы заговорить с ней, перекинуться несколькими словами, а я (несмотря на то что меня просто жгло любопытство) совсем не был уверен, что хочу заговорить с ней или рассмотреть ее получше, потому что боялся услышать имя и узнать ее. Я боялся услышать имя "Селия". Селия Руис. Селия Руис Комендадор (она всегда называла обе свои фамилии) — на женщине с таким именем я женился за несколько лет до того, но вскоре расстался с нею, а еще чуть позднее — развелся.

Мой брак был не так уж плох по нашим временам. Продлился он три года — достаточно долго для такой молодой невесты (она была моложе меня на одиннадцать лет, когда надела подвенечный наряд, а на сколько моложе сейчас, не знаю: некоторые события в нашей жизни нас старят, а некоторые молодят). Когда мы поженились, ей было двадцать два, а мне тридцать три. На женитьбе настояла она, я уступил — проявил слабость или поддался чувству: я был влюблен. Я был влюблен весь первый год нашей совместной жизни (я уже плохо помню то время). Потом мне просто было с ней хорошо, потом я ее только терпел, а потом мы стали раздражать друг друга. Ссоры случались все чаще, а примирения нужно было ждать все дольше. Уже три года. Она намного моложе меня, а потому ее раздражение проходило гораздо раньше, чем мое, она быстро забывала обиды, она не копила их, каждая новая не казалась ей более горькой и глубокой, чем предыдущая, она не была злой и обижала меня не потому, что хотела обидеть. Она даже не замечала, что обижает меня, так что я все время должен был указывать ей на это, каждый раз делать ей выговор. А я обиды копил, я ничего не прощал. Она этого не понимала, это выводило ее из себя, и мы расстались. Во время одного из перемирий мы решили, что нам лучше пожить отдельно (хотя бы некоторое время), подождать, подумать, попробовать измениться. Я ушел из нашего общего дома и поселился там, где живу по сей день. Я ежемесячно посылал ей чек (передавал с посыльным, мы друг с другом не встречались). Не только потому, что я оставил ее и мои доходы всегда были выше, а и потому, что старшие всегда берут на себя заботу о младших и, даже находясь далеко, не перестают беспокоиться о них. Сейчас я по-прежнему посылаю ей чеки и иногда даю деньги лично — помогаю, пока это ей необходимо, скоро в этом, возможно, не будет нужды. Я не люблю говорить о Селии. Мне постепенно становилось известно все то, что становится известно в городе, где все всех знают, где телефоны звонят двадцать четыре часа в сутки (звонки глубокой ночью здесь обычное дело) и где изрядное количество жителей не спят сами и не дают спать другим. Мне говорили, что Селию видели там-то и там-то, что она была с тем-то или с тем-то. Ее слишком часто видели с разными мужчинами. Видимо, она пошла по тому пути, какой обычно выбирают покинутые возлюбленные: проводила ночи в барах, пила, притворялась веселой и счастливой, танцевала, скучала, не хотела идти домой спать и иногда под утро начинала рыдать. Она делала все, чтобы до меня доходили слухи о том, как она живет, и спрашивала обо мне, как спрашивают о дальних знакомых, но при этом у нее подрагивали губы, выдавая ее, и дрожал голос. Иногда мой телефон звонил в неурочное время, и, когда я снимал трубку, на том конце провода молчали: она просто хотела знать, дома ли я, а может быть, звонила совсем с другой целью — хотела услышать мой голос, даже если этот голос только повторял одно и то же слово. Как-то ночью я, сидя на кровати и раздеваясь перед тем как лечь спать, тоже набрал свой старый номер. Когда она ответила, я ничего не сказал ей: мне вдруг пришло в голову, что она могла быть не одна. Однажды Селия оставила на моем автоответчике три сообщения подряд, наговорила всяких глупостей, издевалась, угрожала, но перед тем как закончилось время, отведенное на пленке для третьего сообщения, она вдруг начала умолять меня, повторяя: “Пожалуйста!.. Пожалуйста!.. Пожалуйста!..” (Так что такое я уже слышал. На пленке собственного автоответчика.) Я не решился позвонить ей, лучше было не звонить. Потом мне рассказа-

ли то, чему я не придал значения, хотя эту новость мне рассказал не кто иной, как Руиберрис де Торрес. Сначала он говорил полунамеками, словно зондировал почву, потом заговорил открыто и с некоторым даже злорадством рассказал, что кто-то видел Селию в ночном баре, где обычно собираются проститутки.

Я ему не поверил. Я не поговорил с Селией — я не хотел звонить ей и восстанавливать отношения, которые с таким трудом разорвал и которые пока не собирался налаживать. Но я поговорил с одной из ее подруг и рассказал ей то, что узнал от Руиберриса.

Я хотел, чтобы она в свою очередь поговорила с Селией и выяснила, откуда пошли эти слухи, но она, даже не дав мне закончить, возмущенно обрушилась на меня: "Какая глупость! Какая гадость! Людям только бы придумать что-нибудь! Бедная Селия!" Я попросил ее не говорить Селии о моем звонке, но, думаю, зря просил: женская солидарность всегда перевешивает, между подругами не может быть секретов, хотя, возможно, на сей раз подруга Селии все-таки ничего ей не рассказала — не потому, что об этом просил я, а потому, что не хотела причинять ей боль. Во всяком случае, я успокоился и забыл об этом.

И сейчас, сидя в машине перед светофором (снова горел красный свет), глядя на кривые (наверное, их согнули бури) деревья вдоль улицы Кастельяна (надо же — давно осень, а листья и не думают опадать!) и на проститутку, стоявшую на посту возле розово-зеленого здания страховой компании, я вдруг подумал, что женщину, которую я разглядываю, могут звать Селия Руис Комендадор и что, возможно, Руиберрис был прав, что он своими глазами видел Селию за ее новым занятием и даже (он на это способен!) переспал с ней — так, из любопытства. Так что если она это она, если у нее то же имя (потому что лицо — это еще не все: лицо стареет, оно меняется, его преображает макияж) и если Руиберрис заплатил ей и провел с ней ночь (провел ночь с Селией), то мы — я и он — теперь породнились. Для обозначения этого родства в нашем языке специального слова нет, а в некоторых мертвых языках — есть. Когда я слышу о супружеских изменах или о том, что кто-то увел чью-то жену или женился во второй раз (а еще — когда, проходя или проезжая по улице, вижу шлюх), я всегда вспоминаю те времена, когда изучал в университете английскую филологию и узнал о том, что когда-то существовал англосаксонский глагол (его упомянул на одном из занятий наш преподаватель, и я навсегда запомнил его значение, но вот звучание забыл), обозначавший родственные отношения, в которые вступали мужчины, переспав с одной и той же женщиной, даже если спали они с ней в разные периоды ее жизни, даже если это были женщины с разными лицами (лицо меняется со временем) и их объединяло только общее для них всех имя. Скорее всего, у этого глагола была приставка ge-, которая когда-то означала "вместе" и указывала на дружеские отношения и совместное выполнение каких-то действий — так же как в некоторых существительных, которые я пока еще не забыл: ge-fera — "попутчик" или ge-sweostor — "сестры". Скорее всего, это аналог приставки "со-". Возможно, тот глагол, который я не помню, был ge-licgan (от глагола licgan, который означал "лежать", "спать с кем-то"), а образованное от него существительное обозначало, следовательно, человека, который спит с тем же, с кем спит еще и кто-то другой. Впрочем, это же значение могли иметь также существительные ge-bryd-guma или ge-for-liger. Боюсь, я уже никогда не узнаю этого, потому что, когда, желая вспомнить слово, я по-

звонил своему преподавателю, он сказал мне, что тоже не помнит его. Я попытался найти что-нибудь в своей старой грамматике, но ничего не нашел ни в ней, ни в приложенном к ней словаре, так что, может быть, этот глагол я просто придумал. Но он приходит мне на память каждый раз, когда я сталкиваюсь с ситуацией, где его можно было бы применить. Этот глагол или не глагол (не важно, существовал он на самом деле или нет) был, несомненно, очень интересным, полезным и, я бы сказал, захватывающим дух. Вот и у меня захватило дух, когда я увидел ту шлюху и подумал, что это может быть Селия Руис Комендадор и что тогда я в англосаксонском смысле породнился со многими мужчинами (включая, вероятно, Руиберриса де Торреса). Мы (и мужчины, и женщины) часто даже не подозреваем об этом родстве. Его осязаемым и зримым проявлением может быть разве что болезнь, которая передается каждому новому "родственнику" (не потому ли в прежние времена так ценились девственницы?). Это родство, в которое мы вступаем не по своей воле, может быть для нас неприятным, оскорбительным и даже непереносимым. Узнав о нем, человек может возненавидеть себя и даже покончить с собой. Как ни странно, такое случается довольно часто. А может быть, тот глагол как раз и означал связь, основанную на ненависти? Может быть, именно поэтому он и не сохранился ни в одном языке: ведь он обозначал соперничество и тревогу, ревность и кровь, навязанное родство с непредсказуемым количеством людей, — а мы не хотим давать этому название, мы не хотим сохранять это в языке (хотя идея эта сидит в нашем сознании занозой). Иногда таким образом можно породниться с кем-то очень важным или знаменитым. Такое родство поднимает нас в глазах окружающих: тот, кто приходит *позднее*, получает не только болезнь — на него ложится отсвет славы человека, с которым он породнился. В наши дни это распространено как никогда раньше. Если это действительно Селия, то у меня нет оснований для того, чтобы вырасти в собственных глазах, но если даже это и Селия, то я был *раньше*.

Женщина, заметив, что я не тронулся с места, когда во второй раз загорелся зеленый свет, сделала несколько нерешительных шагов в мою сторону (она не знала, что у меня захватило дух) — наверняка подумала, что ей стоит подойти поближе, чтобы я смог получше ее рассмотреть и наконец решиться.

Я увидел, как приближались ее сильные, обтянутые блестящим шелком ноги, и опустил стекло справа. Она наклонилась, положив при этом локоть на опущенное стекло (возможно, они делали так, чтобы не дать водителю возможности закрыть окно, если он вдруг передумает и решит уехать), — она хотела посмотреть на меня и заговорить со мной. Она смотрела спокойно, словно никогда раньше меня не видела, но мне показалось, что она задержала дыхание — если это была Селия, то она, наверное, хотела выиграть время, чтобы обдумать первую фразу или чтобы изменить голос. Ее лицо было лицом Селии, которое я так хорошо знаю, и одновременно не было им: всклокоченные (по последней моде) волосы (Селия никогда себе этого не позволила бы) с выбеленными прядями, кроваво-красная губная помада (Селия такой никогда не пользовалась) накладные (вне всякого сомнения) ресницы, жирно подведенные стрелки — они удлиняли глаза и придавали им вызывающее выражение. Одежду такую Селия не носила: слишком короткая юбка, слишком обтягивающая. Только плащ мог быть плащом Селии (когда она подошла ближе, я смог рассмотреть его лучше, и он напомнил мне те дождевики, ко-

торые она носила раньше), да туфли на очень высоких каблуках были похожи на те туфли, которые она надевала, когда мы вместе шли куда-нибудь вечером.

— Садись, — сказал я и открыл дверцу, так что ей пришлось убрать локоть со стекла. Я не знал, как к ней обращаться, и поэтому сказал ей то, что сказал бы Селии, если б вдруг встретил ее одну на улице в такой поздний час.

— Э, минутку, минутку! Куда поедем и сколько у тебя есть? — спросила она, делая шаг назад и уперев одну руку в бок. Я услышал, как звякнули браслеты, — Селия тоже носила браслеты, но они не звенели так громко, может быть, их было не так много.

— Прокатимся немного для начала. Деньги есть, не волнуйся. Вот, возьми. Может быть, будешь полюбезней, — и я вынул из кармана брюк и протянул ей несколько купюр разного достоинства (у меня при себе было достаточно денег наличными). Я хотел показать ей, что с этим проблем не будет. Она поняла. Протягивая ей купюры (как колоду карт), я подумал, что если это не Селия, то я совершаю ошибку: я словно предлагал ей меня ограбить — люди всегда хотят получить все, что видят, все, что могут заполучить. Но она слишком походила на Селию, так что я не мог не доверять ей. Это была она, даже если это была не она.

— Ладно, пока я возьму это и это. За то, что с тобой прокачусь. Так нормально? — и она очень осторожно взяла две купюры, как две карты, и положила их в карман. — Если захочешь чего-то еще, договоримся потом.

— Садись, — сказал я и хлопнул ладонью по пустому сиденью справа от меня. Взлетело облачко пыли.

Она села и закрыла дверцу. На ней была короткая юбка, такая короткая, что мне показалось, будто юбки не было вообще: виднелась полоска кожи выше кружева на черных — без резинок — чулках. Кожа была белая, слишком белая для осени. Я поехал по улице Кастельяна.

— Э, ты куда едешь? — спросила она. — Лучше давай свернем куда-нибудь.

— Не волнуйся, мы потом вернемся. Я оставлю тебя на том же углу или где ты скажешь. Такси ловить тебе не придется. Они, наверное, не очень-то вас берут? — Замечание было неуместным, даже оскорбительным, если эта женщина не была Селией. — Мне хочется немного прокатиться сначала, пока нет машин.

— Как хочешь, — ответила она. — Скажешь, когда тебе надоест. Только не очень долго катайся, а то я буду чувствовать себя подружкой таксиста, которая катается с ним весь день.

Ее последние слова меня рассмешили. Так же смешила меня Селия, когда у меня уже прошла влюбленность и мне было просто приятно быть с ней. Действительно, некоторые молодые таксисты по вечерам в пятницу и субботу возят с собой своих девушек — у них нет другой возможности видеться, ведь таксистам нужно работать. Эти девушки необычайно терпеливы. Или необычайно влюблены. Таксист и его подружка даже поговорить как следует не могут: сзади всегда сидит пассажир, который смотрит в затылок (смотрит ей в затылок, если это мужчина, особенно одинокий мужчина) и, наверное, слушает.

Я молчал и лишь поглядывал искоса на сидевшую рядом со мной проститутку, пытаясь сравнить свои теперешние ощущения с теми, которые я столько раз испытывал, когда мы возвращались откуда-нибудь очень

поздно и рядом со мной в машине сидела усталая Селия. Мне хотелось взглянуть ей в лицо, всмотреться в ее черты, но на это еще будет время, к тому же лицо может обмануть, поэтому иногда надежнее довериться собственным чувствам и ощущениям, обратить внимание на характерные жесты, ритм дыхания, манеру покашливать, особые словечки, запах (запах умерших остается, даже когда от них не остается уже больше ничего), на походку, на то, как человек закидывает ногу на ногу, барабанит пальцами по столу, потирает подбородок большим пальцем, улыбается — улыбка всегда выдает человека, который отказывается от своего имени, она у каждого своя. Может быть, рискнуть и заставить сидящую в моей машине проститутку рассмеяться? Тогда у меня не останется сомнений.

Я никак не мог понять, что заставило Селию (если это Селия) пойти на панель. Недостатка в деньгах у нее не было. Тогда что? Избыток легкомыслия? Жажда острых ощущений? А может быть, ее толкнула на это месть? Может быть, она хотела наказать меня? Она знала: мне будет больно узнать, что друзья Руиберриса встречали ее в подозрительных барах и что сам Руиберрис снял ее однажды на ночь, встретив в одном из таких заведений. А сейчас она могла отомстить мне сполна, если я был я, а она была она (она тоже могла сомневаться, я ли это: сам человек не замечает, как он меняется, я не замечаю, как меняюсь, и вполне вероятно, что я уже не тот, каким она меня помнит). И эта месть заключалась в том, чтобы роднить меня с кем попало, с незнакомыми мне мужчинами, о которых я никогда не узнаю, кто они и сколько их было — этого не знает даже она сама (если только не ведет им счет, не записывает их в свой дневник и не спрашивает, как их зовут — хотя вряд ли они скажут ей правду).

— Как тебя зовут? — спросил я проститутку, когда мы доехали до конца улицы Кастельяна и уже поворачивали назад.

— Виктория, — солгала она, если это была Селия, а возможно, она солгала, даже если она была не Селия. Но если это была Селия, то в ее лжи сквозила ирония, злой умысел, может быть даже насмешка, потому что имя, которое она назвала, это женский вариант моего имени. Она достала из сумочки жевательную резинку. В машине запахло мятой.

— А тебя?

— Хавьер, — солгал я в свою очередь и подумал, что так я поступил бы в обоих случаях: если бы она оказалась Селией и если бы не оказалась ею.

— Еще один Хавьер, — сказала она. — Или в этом городе живут одни Хавьеры, или вы все хотите, чтобы вас звали именно так. С чего бы это?

— Кто это "все"? — спросил я. — Твои клиенты?

— Все мужики, все, понятно? Ты что, думаешь, что я кроме клиентов никого и не знаю?

В ней была какая-то жесткость, чего не было и нет в Селии, так что если это была Селия, то она очень искусно притворялась. А может быть, она стала такой за то время, что мы не виделись? Уже месяц или два (возможно, даже четыре или пять), как я не видел ее и не говорил с нею, — за это время можно набраться всякого. Или, подумал я, она просто разозлилась на меня за то, что я с такой легкостью ее снял, да еще и заплатил вперед, — наверное, сейчас она мучается загадкой: случайно я ее пригласил, или потому, что узнал, или потому, что часто пользуюсь услугами проституток, и она просто не знала этого, когда мы были женаты?

— Я так не думаю, что́ ты, извини. У тебя и семья, наверное, есть?

— Есть где-то, я с ними не общаюсь. О них меня не спрашивай! — И добавила сердито: — У меня много знакомых, знаешь!

— Все, все, прости! — сказал я.

Разговор не клеился. Я решил молчать. Иногда мне казалось, что это точно Селия и что лучше нам перестать притворяться и поговорить открыто, но тут же я ясно видел, что это не она, что эта женщина просто необыкновенно похожа на Селию, словно это Селия, но прожившая совершенно другую жизнь, словно ее когда-то — еще в колыбели — подменили, как в сказках или в трагедиях из жизни королей: лицо то же, но воспоминания другие, другое имя и другое прошлое, в котором не было меня (может быть, прошлое той маленькой цыганки, которая сидела на куче рухляди на тележке, запряженной мулом, мадонны старьевщиков, которая уворачивалась от веток старых кривых деревьев и на которую из окон второго этажа двухэтажного автобуса смотрели, жуя резинку, девочки из обеспеченных семей? Но вряд ли: она для этого слишком молода.).

— Долго еще будешь рулить? — на этот раз заговорила Виктория. — Готовишься к "Формуле-1" или уже начал думать, куда меня повезешь? Достать твою карту? А то ты, может быть, заблудился? — и она открыла бардачок.

— Не торопись так, за это время я тебе уже заплатил, — ответил я раздраженно и резко захлопнул крышку бардачка. — И не жалуйся: тут сидеть лучше, чем мерзнуть на углу. Сколько времени ты там простояла?

— Это не твое дело, я о своей работе ни с кем не говорю. Мне хватает того, что я ею занимаюсь. — Она с остервенением жевала свою жвачку, и я открыл окно, чтобы выветрился запах мяты, смешанный с запахом ее духов (запах был приятный, но не из тех, что нравились Селии).

— Значит, ни о чем не хочешь говорить: ни о работе, ни о семье. Вот что значит получить деньги вперед.

— Не в этом дело, парень, — ответила она. — Если хочешь, я верну тебе эти деньги: расплатишься потом. Просто я здесь не для того, чтобы тебя просвещать. Всему свое место, понял?

— Ты здесь для того, чтобы делать, что тебе скажут, — я сам удивился, как мог я сказать такое (не важно кому — Виктории или Селии). Мы, мужчины, легко внушаем женщинам страх: стоит нашему голосу чуть зазвенеть металлом, стоит нам произнести одну фразу холодным резким тоном. У нас более сильные руки, мы веками заставляли подчиняться себе. Потому-то мы так высокомерны.

— Ладно, ладно, не злись! Зачем нам ругаться! — сказала она примирительно, и это "нам" успокоило меня, потому что объединило нас.

— Если кто и злится, так это ты. С того самого момента, как села в машину. Тебе лучше знать, что у тебя там было с предыдущим клиентом. — Наш разговор начинал походить на глупую супружескую ссору или на ссору подростков. И я добавил: — Извини, я понимаю: ты не хочешь говорить о своей работе. Сеньора хранит профессиональную тайну.

— Можно подумать, тебе о твоей работе нравится говорить, — ответила проститутка Виктория. — А ну, чем ты занимаешься?

— Да пожалуйста, расскажу. Я продюсер, работаю на телевидении, — снова соврал я, но соврал осторожно: я знаю нескольких продюсеров и вполне мог бы, если понадобится, сыграть роль продюсера перед этой шлюхой. Я подождал, не спросит ли она, какие программы я делаю, не

потребует ли доказательств, но она мне не поверила и потому ничего не спросила (может быть, она не поверила мне потому, что это была Селия, которая знала правду).

— Продюсер так продюсер, — сказала она. — Наше дело вас ублажать, как ты сам сказал.

Я наконец решил поискать какую-нибудь тихую дипломатическую улицу, как она предлагала мне с самого начала, и припарковаться. Я нашел подходящее место на Фортуни, недалеко от посольства Германии, которое в этот час казалось совершенно опустевшим: даже в будке охранника свет не горел — может быть, потому, что охранник так лучше видел ночью, или потому, что его самого так было не видно. По дороге, на углу улицы Эдуардо Дато, мы увидели двух явных трансвеститов, сидевших на еще мокрой от дождя деревянной скамейке под деревьями. Вокруг них лежали кучки палых листьев, словно они спугнули подметальщика улиц, не успевшего закончить свою работу.

Я выключил мотор и, указывая назад, в сторону скамейки, спросил Викторию:

— Как вы ладите с этими? — сейчас я (так же как до этого она) использовал форму множественного числа, объединяющую людей, лишая их индивидуальности.

— Опять он за свое! — возмутилась она. Но все-таки ответила — надо было разрядить атмосферу: — Мы хоть и работаем в одном районе, но они сами по себе, а мы сами по себе. Это их угол, но если в какой-то вечер ни один из них не приходит, то там встаем мы. А когда они появляются, мы уходим. С ними проблем нет. Проблемы бывают только с клиентами.

— И какие с нами проблемы?

— С некоторыми из вас страшно. А некоторые — просто звери.

— Со мной тебе страшно? — задал я глупый вопрос. Глупый потому, что знал заранее: ни один из двух ее возможных ответов мне не понравится. Если это Селия (хотя она вела себя не как Селия), то ей со мной никак не может быть страшно. Если она вела себя не как Селия, то я вел себя как я (если не обращать внимания на то, что я солгал, да даже если и обращать на это внимание).

— Пока нет, посмотрим, что мы дальше делать будем, — ответила она не совсем уверенно, словно угадала мои мысли (она снова включила меня в это "мы"). — Как ты хочешь? По-французски? — она вынула изо рта жвачку и держала ее в пальцах, не зная, выбрасывать ее или нет. На этом маленьком шарике остались следы ее зубов — это помогает опознать труп, если удается установить, кто был зубной врач убитого.

— Тебе не страшно садиться в машины к незнакомым мужчинам? — снова спросил я, но теперь мой вопрос был вызван беспокойством за Селию (и за Викторию, но за Викторию меньше). — Ведь никогда не знаешь, на кого нарвешься?

— Страшно, конечно, но что делать? Да я об этом не думаю. И почему мне должно быть страшно? — В ее голосе мне послышались тревожные нотки, и я заметил, что она смотрит на мои руки (я не снимал их с руля).

— Нет, конечно же, тебе нечего бояться, — рассмеялся я, но не был уверен, что мои слова прозвучали убедительно: я уже заронил страх в ее душу.

— Зачем ты спрашиваешь, не страшно ли мне садиться в машину к незнакомому человеку, если я только что села к тебе? — Ее саму испугал ее страх, она спешила избавиться от него, не дать ему овладеть ею. Она снова сунула жвачку в рот. — Хочешь меня напугать? Тебя ведь я тоже не знаю.

В ее глазах была темная ночь, а еще — страх перед моими руками, перед моим желанием и перед неизбежностью того, что сейчас я начну приказывать. Моя рука, которой она боялась, легла ей на бедро, на полоску кожи между чулком и юбкой. Я погладил эту полоску.

— Не знаешь? — спросил я и, взяв ее другой рукой за подбородок, повернул ее лицо к себе так, чтобы она смотрела мне в глаза. Она инстинктивно опустила взгляд, и я сказал: — Посмотри на меня, ты меня не знаешь? Не знаешь?

Она высвободилась, дернув подбородком, и сказала:

— Слушай, ты что? Я тебя в жизни не видела. И не надо меня пугать. Знаешь, всех не упомнишь, но с тобой я точно никогда не была и не уверена, что буду, если так дальше пойдет. Что тебе в голову взбрело?

Мы помолчали. Она воспользовалась паузой, чтобы снять плащ — еще один жест примирения. Она не бросила его небрежно на заднее сиденье, а аккуратно сложила, как складывают верхнюю одежду в кинотеатре. На ней не было лифчика. Селия лифчик всегда носила.

— Знаешь, — сказала она, — мы по этим улицам боимся ходить. Тут около месяца назад пришили одного парнишку. Его сняли на Эрманос Беккер, как раз там, где я к тебе села. Поэтому трансвеститы там больше не стоят — боятся. Совсем молодой был парнишка, нежный такой, робкий, как девочка, не то что эти мужланы, — и она показала большим пальцем назад. — Он здесь пробыл совсем недолго, приехал с юга, из Малаги, из какой-то деревни. Сел в "гольф", такой же, как твой, только белый, свернули они на одну из этих улочек, а наутро его нашли на тротуаре с размозженной головой. Он и на каблуках-то еще не научился ходить, бедняжка! Лет восемнадцать ему было, не больше. Так что хватит меня пугать и допытываться, знаю я тебя или нет, понял?

"Это не Селия" — подумал я. Руиберрис и его друзья видели эту шлюху Викторию, которая очень похожа на Селию. Им просто хочется думать, что это Селия, нравится говорить, что они переспали с Селией, хотя спали они с Викторией. Она не могла так измениться, это не она, разве что она необыкновенно искусно притворяется и придумывает всякие истории, чтобы меня напугать, чтобы я все больше беспокоился за нее, чтобы захотел вытащить ее из этой грязи и уберечь от этих опасностей, чтобы вернулся к ней и ей не пришлось больше стоять на этом углу. Я не помнил, чтобы в газетах писали про парнишку-трансвестита с размозженной головой, — обычно я обращаю внимание на такие вещи, это мне нужно для работы. Селия, конечно, выдумщица и приврать любит, но не до такой же степени: таких страшных историй она никогда не сочиняла — она по натуре оптимистка. Почему я до сих пор не могу понять, с кем имею дело, — с собственной женой или с проституткой (с собственной женой, которая стала проституткой, или с проституткой, которая похожа на мою бывшую жену)? Ведь я прожил с ней три года, и до этого мы были вместе год! Я вдруг пожалел, что у нее не было никакого шрама, никакой оспинки или родинки! Если б они были, я мог бы сейчас отвезти ее к себе домой и там раздеть, замирая от страха, — а вдруг это действительно моя жена? А может быть, я просто не помню,

есть ли у нее на теле эти приметы, которые помогли бы мне разрешить сомнения, — мы всё забываем и ни на что не обращаем особого внимания — зачем, если ничто не постоянно, если все изменяется и ничего не сохраняется, ничто не длится долго и не повторяется? Так что единственный выход — ждать, когда все кончится и ничего уже не будет.

— Да нет, я понимаю. Извини, — сказал я. — Ты этого мальчика хорошо знала?

— Нет, видела здесь раза два или три. Перебросились парой слов. Он так смешно ходил — не привык еще к высоким каблукам или ноги были больные. Хрупкий был и рассеянный. Очень хорошенький. И застенчивый такой, воспитанный, всегда говорил "спасибо", если о чем-то спрашивал и ему отвечали. — Виктория на минуту задумалась, поглаживая указательным пальцем кончик брови — так же, как делала это Селия Руис Комендадор, когда посреди рассказа или в разгар ссоры вдруг замолкала, чтобы обдумать следующую фразу или подобрать точное слово. Совпадение это, однако, не показалось мне таким уж важным. — Он назвался Франни — наверное, его настоящее имя было Франсиско. Надо же, какая смерть!

"Ужасная смерть, смешная смерть, — подумал я. — Неуважение мертвого к собственной смерти. Проклятие! Теперь я буду помнить и это имя, имя человека, лица которого я не видел, — Франни". Я молчал, облокотившись одной рукой на руль и потирая большим пальцем подбородок. Молчала и Виктория. Но молчание длилось недолго. Возможно, на нас смотрели издалека, из темной будки охранников немецкого посольства.

— Давай перейдем на заднее сиденье, — сказал я Виктории, чтобы вывести ее из задумчивости и чтобы она прекратила поглаживать пальцем кончик брови. Я положил ей руку на плечо, а потом провел ладонью по затылку. — Тебе еще нужно отработать твои деньги.

Она посмотрела на меня и вынула изо рта жвачку. На этот раз она открыла окно и выбросила комочек на тротуар.

Трудно двигаться в темноте, трудно следить за кем-то, опасаясь, что в любую минуту слежка может быть обнаружена, трудно хранить секрет и носить в душе тайну, тяжело постоянно скрываться и сознавать, что наши близкие знают про нас не всё: от одного из наших друзей мы скрываем одно, от другого — другое (то, о чем первый знает), для одной женщины сочиняются иногда целые истории, которые (для того чтобы потом случайно не выдать себя) надо постараться запомнить навсегда и во всех подробностях, так, словно все это с нами действительно произошло, а другой женщине, новой, мы рассказываем все как есть, кроме тех незначительных мелочей, за которые нам самим неловко: что мы способны часами смотреть по телевизору футбол или тупые викторины, что до сих пор любим читать комиксы, что с удовольствием поиграли бы на полу в любимую детскую игру, если бы было с кем, что не упустим возможности перекинуться в карты, что нам нравится одна актриса, хотя мы понимаем, что и человек она никчемный и актриса никудышная, что у нас бывает собачье настроение, что, проснувшись, мы сразу тянемся за сигаретой, что у нас бывают очень странные сексуальные фантазии. Мы не рассказываем обо всем этом не только потому, что в наших интересах этого не рассказывать, или потому, что мы чего-то боимся, или потому, что нам стыдно за свои недостатки: очень часто мы не рассказываем та-

ких вещей только потому, что не хотим огорчить других, испортить им настроение, обидеть кого-нибудь. А иногда — потому, что этого требуют правила приличия: воспитанный человек не будет рассказывать все подряд и уж тем более демонстрировать свои пороки и странности. Иногда мы скрываем, кто были наши предки — почти все предпочли бы иметь другие корни. Люди скрывают, кто были их родители, дедушки и бабушки, кто их братья и сестры, мужья и жены, иногда скрывают даже, кто их дети (если они уродились похожими на наших недостойных супругов). Мы замалчиваем некоторые периоды нашей собственной жизни. Нам ненавистно порой наше детство, или юность, или зрелые годы — в каждой биографии найдется темный, позорный или скандальный эпизод. Мы предпочли бы, чтоб для других этого эпизода не существовало, и сами делаем вид, что этого никогда не было. Нам стыдно за слишком многое в нашем прошлом: за наш внешний вид и за наши прежние идеалы, за нашу наивность и наше невежество, за нашу покорность и за нашу строптивость, за нашу уступчивость и нашу несговорчивость, за то, что убеждали других в том, в чем сами не были уверены, за то, что влюблялись в тех, в кого мы влюблялись, и дружили с теми, с кем дружили: часто жизнь — это сплошное предательство и отрицание того, что было раньше, ведь со временем меняются наши представления обо всем и наше отношение ко всему. Неизменно только одно: мы по-прежнему храним секреты и носим в душе тайны, хотя большинство из них гроша ломаного не стоят. Трудно двигаться в темноте, но еще труднее — в изменчивой полутьме: в каждом человеке что-то на виду, а что-то глубоко скрыто. Что именно мы открываем или скрываем, зависит от того, насколько давно и хорошо мы знаем собеседника, и от того, какие цели преследуем. И мы повторяем: "Я уже не тот, что прежде, я совсем другой", искренне полагая, что мы уже не те, кем считали себя раньше, потому что случай и бешеный бег времени изменили нас самих и весь мир, как сказал Неповторимый в то утро, когда излагал нам свои мысли, которые мне предстояло сформулировать. Но верно и то, что по мере того, как идет время и мы стареем, мы скрываем все меньше и начинаем рассказывать о том, о чем раньше молчали. Это потому, что мы слишком устаем, потому, что слабеет наша память, ведь для того чтобы хранить тайны, память нужна отменная: приходится запоминать, кто что знает и кто чего не знает, что и от кого нужно скрывать, кто осведомлен о каждом нашем шаге, о каждой ошибке, о каждом просчете, а кто — нет. Иногда мы читаем, что кто-то признался в преступлении, совершенном сорок лет назад: те, чья репутация всегда слыла безупречной, вдруг отдают себя в руки правосудия или открывают свою страшную тайну, разрушая этим свою жизнь. Наивные люди, правдолюбцы и моралисты полагают, что на это толкает раскаяние, или желание искупить вину, или муки совести, а на самом деле причиной тому только усталость и стремление обрести цельность, нежелание лгать и дальше, нежелание молчать и помнить не только то, что действительно сделано, но и то, что придумано, — не только ту жизнь, которую они прожили на самом деле, но и жизнь, которую они выдумали, чтобы забыть то, что произошло в действительности. Иногда мы просто устаем прятаться, и эта усталость заставляет нас раскрыть тайну — тот, кто прятался, выходит на свет, преследователь становится преследуемым, и все это только для того, чтобы кончилась поскорее игра, чтобы рассеялись наконец-то чары.

Вот и я сначала следил за Луисой, а потом позволил ей увидеть меня. Я начал следить за ней после того, как мы ушли из ресторана, вернее, после того, как мы вместе проводили Тельеса до дома. Мы шли пешком — его дом был совсем рядом: Тельес в середине, мы с Луисой по бокам. Он чуть покачивался, как бакен, на своих маленьких ступнях отставного танцора, но, к счастью, пошатывался гораздо меньше, чем в день похорон — тогда он терял равновесие не только потому, что был стар и грузен. Возле его дома все попрощались. Мы смотрели, как Тельес открывает дверцу старинного лифта, усаживается на скамеечку, чтобы немного отдохнуть за время недолгого вертикального путешествия, и медленно поднимается наверх в своем деревянном ящике, как возносящееся божество. Потом Луиса сказала мне: "Ну, до свидания", и я ответил: "До встречи" или что-то в этом роде — мы знали, что нам еще предстояло встретиться: до конца той недели я каждый день должен был приходить в этот дом, чтобы работать вместе с Тельесом.

Луиса повернулась и зашагала по улице, а я направился в противоположную сторону, но, сделав несколько шагов, остановился, повернулся и, увидев, как она удаляется, — ее ноги были так похожи на ноги Марты (или походка у нее такая же, как у сестры?) — решил последить за ней некоторое время, пока мне не надоест или пока я не устану. Она прошла пару кварталов быстрым шагом, как человек, который хорошо знает, куда идет, и, только свернув на улицу Веласкес, сбавила шаг и начала задерживаться у витрин (всего на несколько секунд, словно прикидывала, стоит ли потом, когда будет больше времени, прийти сюда еще раз). Затем остановки стали более длительными, а потом она вошла в один из магазинов. Тогда я вспомнил, что ей было поручено купить от имени Тельеса подарок ко дню рождения Марии Фернандес Вера. Я, соблюдая крайнюю осторожность, тоже остановился у витрины этого магазина и даже рискнул заглянуть внутрь через стекло. Луиса стояла ко мне спиной и разговаривала с продавщицей. Потом вместе с продавщицей она направилась к кронштейну с юбками и долго перебирала и разглядывала их. Продавщица — одна из тех молодых особ, что не дают покупателю выбирать самому, — предлагала ей то одно, то другое, но Луиса только отрицательно мотала головой. Наконец она выбрала юбку и скрылась с ней в примерочной. Она или легкомысленна, или очень доверчива: оставила сумку в зале, на стеклянном прилавке, больше походившем на стол. Через пару минут она вышла из примерочной, заправляя блузку под юбку. Юбка ей не шла: она была слишком длинная и какого-то невыразительного цвета. В той юбке, в которой она пришла, ей было гораздо лучше. Луиса повертелась перед зеркалом (на юбке болталась этикетка), посмотрела на себя сбоку и сзади. Было видно, что она недовольна, и я покинул свой наблюдательный пост и отошел к киоску напротив. Когда Луиса выходила, я покупал иностранную газету, которая была мне совершенно не нужна. Выйдя из магазина, она посмотрела на часы — наверное, у нее в запасе еще оставалось время. Я подумал, что юбка не совсем подходит для подарка от имени Тельеса: его сноха сразу поняла бы, что этот подарок купил не он. Хотя это не так и важно. Луиса пошла дальше по Веласкес и, дойдя до перекрестка с улицей Листа, вошла в "Vips". Я решил последовать за ней — магазин достаточно большой, в нем много разных отделов, и я смогу наблюдать за Луисой, не опасаясь, что она меня заметит. Она прошлась по книжному отделу: брала книги, пробегала глазами аннотацию на обложке и снова ставила на полку. Она

не пролистывала их (в этих магазинах продают только новинки, и многие книги запечатаны в прозрачную пленку). Одна книга ее все же заинтересовала, я не мог разглядеть, какая именно. Она взяла ее и отправилась в отдел дисков. Я держался на расстоянии, делая вид, что разглядываю видеокассеты, и оборачиваясь время от времени, чтобы не упустить ее из виду. Когда она вдруг посмотрела в мою сторону, я, чтобы не вызвать подозрений, схватил первую попавшуюся кассету, словно хотел ее купить, — глупо: пока она меня не заметила (да даже если бы и заметила), я мог делать что угодно. Луиса не спешила. Может быть, она решила выбрать подарок именно здесь. Но через несколько минут она (с книгой, но без дисков) направилась в продуктовый отдел, а я с моей кассетой переместился в отдел, где продают журналы, и, делая вид, что рассматриваю обложки, наблюдал краешком глаза за Луисой, стараясь не нарушать главного правила слежки — держаться позади. Она открыла прозрачную стеклянную дверцу холодильника (на несколько секунд — именно столько ей понадобилось, чтобы сделать выбор, — ее обволокло облачко холодного пара, и она даже раскраснелась), взяла две большие упаковки мороженого "Haagen Dazs", и я подумал, что теперь ей придется поспешить домой — к себе или к Деану, — потому что, если она задержится еще где-нибудь, мороженое — то же самое, которым угощала меня Марта, когда мы ужинали у нее дома (возможно, оно нравилось Эухенио, и поэтому сестры покупали именно его), за неимением другого десерта (ведь она не знала, что у нее вечером будет гость), — растает. "Но вряд ли таким малышам покупают зимой мороженое", — подумал я, хотя не слишком хорошо себе представляю, что именно едят дети в этом возрасте (как, впрочем, и в любом другом). Луиса, должно быть, знала, раз она вызвалась заботиться о ребенке. А с кем был малыш все это время? В его возрасте — это я знаю — детей нельзя оставлять одних ни на минуту, разве только когда они спят (я оставил его тогда на улице Конде-де-ла-Симера, ушел и оставил его одного, и ничего не случилось). Наверное, он сейчас у своих родственников — брат Марты, Гильермо, и его жена, Мария Фернандес Вера, взяли его к себе, чтобы Луиса и Деан могли пойти с Тельесом в ресторан и за обедом решить, что им делать дальше. Я нарушил их планы. Луиса взяла еще банку хороших сосисок и несколько бутылок мексиканского пива "Коронита" — наверное, ждала кого-то к ужину (не меня). Она направилась к кассе, а я — в отдел, в котором она только что была. Я тоже достал из холодильника упаковку мороженого (меня тоже окутало облачко холодного пара) и поспешил в кассу, чтобы не оказаться в очереди слишком далеко от Луисы. Хорошо, что за ней стоял только один человек. Человек этот был невысокого роста, он не закрывал ее от меня. Я стоял очень близко от Луисы и прекрасно видел ее затылок (к счастью, она ни разу не обернулась). Я смог прочитать и название книги, которую она выбрала: "Лолита". Прекрасный выбор, но для подарка свояченице, на мой взгляд, не слишком подойдет. А когда я торопливо расплачивался за свое мороженое и за свою кассету, я прочитал и название того фильма, который выбрал не выбирая: "Сто один далматинец", мультфильм. Мне он был совсем не нужен, но времени поменять кассету у меня уже не осталось. Выйдя из магазина, Луиса Тельес направилась по улице Листа в сторону улицы Кастельяна, не доходя до Серрано, свернула в переулок и зашла еще в один магазин одежды. У этого магазина была огромная стеклянная витрина, так что здесь шпионить за Луисой было бы опасно. Можно было, конечно, подождать ее в баре

по соседству, но мне очень хотелось понаблюдать, и я решил пройтись пару раз мимо магазина и смотреть сквозь стекло на ходу. Тогда это будет как в кино, когда человек проходит в кадре через весь экран. Это она и увидит, если вдруг посмотрит в окно. Она увидит меня первый раз и подумает, что я случайно оказался в одно время с ней на этой улице в центре города — дело обычное, и не такие совпадения бывают.

В асфальте была вмятина, и после дождя там образовалась лужа, так что я каждый раз должен был обходить ее, и каждый раз я использовал остановку, чтобы заглянуть внутрь магазина. Луиса разговаривала со скучающими продавщицами и внимательно разглядывала все, что ей предлагали, — никак не могла выбрать. Она взяла еще одну юбку и что-то вроде элегантной блузки (то, что она элегантная, я увидел позднее) и зашла в примерочную, снова оставив в зале свою сумку и пакеты с покупками. Продавщицы стояли, скрестив руки, и, зевая, ждали, пока она выйдет. Других покупателей не было. На продавщицах была одежда из того же магазина — одежда от знаменитого Армани. Мне надоело ходить туда-сюда, и я остановился, но тут наконец вышла Луиса, в юбке и блузке. Короткая юбка гранатового цвета сидела на ней великолепно, даже лучше, чем та, в которой она пришла. Я быстро прошел вперед, чтобы не попасться ей на глаза, и подождал около минуты, прежде чем пройти мимо витрины еще раз, а когда проходил, то увидел, что Луиса, насмотревшись на себя в зеркало, повернулась, чтобы снова зайти в примерочную, снимая на ходу элегантную блузку цвета льна. Я успел заметить лифчик, поднятые руки (блузка вывернулась наизнанку, рукава держатся на запястьях), чисто выбритые подмышки. Я засмотрелся на нее и ступил в лужу правой ногой, зачерпнув полный ботинок воды. Ужасно неприятно. Когда я поднял глаза, Луиса уже исчезла в примерочной, но теперь я знал: та женщина, что раздевалась у окна в спальне Марты, была она, сестра Марты Тельес, Луиса, и, может быть, она тоже видела меня из окна, когда я стоял возле такси, делая вид, что жду кого-то, и на секунду поверил, что та женщина в окне — живая Марта. На секунду я поверил в это, хотя и знал, что это невозможно. У одной мороженое лежало дома в холодильнике, а другая только что его купила, на одной была блузка от Армани, которую я помогал ей снимать, а вторая на моих глазах примеряла сейчас такую же. Чары еще не рассеялись, подумал я, наоборот: они с каждым днем все сильнее. Но, может быть, эта новая блузка — тот самый подарок невестке, который Луиса должна была купить от имени Тельеса, состоятельного свекра, разбогатевшего во времена Франко? Я увидел, как Луиса достала кредитную карточку, чтобы расплатиться (каждая покупка уже лежала в отдельном пакете), отошел от витрины и стал ждать, пока она выйдет. Она вышла, снова вернулась на улицу Листа и дошла по ней до улицы Кастельяна. Эта улица похожа на реку с набережными в деревьях, только она чересчур прямая, без всяких излучин, и вместо воды — асфальт, который находится на одном уровне с "набережными". Одно из деревьев было повалено грозой (оно переломилось у основания, усыпав землю щепками), той самой грозой, которая бушевала, пока мы сидели в ресторане, так что, наверное, это была настоящая буря (хотя не исключено, что дерево упало уже несколько дней назад и его просто еще не успели убрать, — в Мадриде не спешат наводить порядок, даже ветки все еще не были обрезаны). Как бы то ни было, оно упало не на проезжую часть (реку), где всегда большое движение, а на тротуар и могло убить пешехода. Мы были недалеко от улицы Эрманос Беккер, от

того самого угла с улицей Кастельяна, где два года назад я посадил в машину Викторию и куда потом снова привез ее. Она сама попросила, чтобы я отвез ее на то же место. Когда мы снова вернулись на передние сиденья моей машины, припаркованной на улице Фортуни, я, перед тем как включить зажигание, некоторое время раздумывал, не предложить ли ей несколько банкнот, чтобы она поехала ко мне домой до утра. Если это Селия, то она откажется — для нее это было бы слишком горько и больно, а если это Виктория, то примет приглашение с удовольствием (еще бы: всю ночь со включенным счетчиком! Такой случай не часто выпадает!). Но я не предложил: может быть, потому, что боялся узнать правду, а может быть, потому, что не хотел потом вспоминать ее в моей спальне — от призраков гораздо труднее избавиться после того, как они побывают в нашем доме.

— Что-нибудь еще? — спросила она, пока я раздумывал. Такой вопрос задают обычно в магазине.

— А ты хочешь еще чего-нибудь? — спросил я, испытывая судьбу.

— Я? — слегка удивилась она. — Ты не забыл, что я здесь затем, чтобы ублажать тебя? — Свой плащ с заднего сиденья она уже забрала, но не надела его, а положила на колени, как человек, который собирается уходить. Я ничего не сказал. Она вынула из сумки еще одну пластинку жвачки и, разворачивая ее, добавила насмешливо: — Не забудь, что ты меня даже убить мог. — Сейчас она могла позволить себе сказать такое, она уже успокоилась и больше ничего не боялась. Она ведь сама сказала: "Вас, мужиков, с первого взгляда видно", а меня она уже видела.

— Вот ты, значит, как! — ответил я и включил зажигание, словно поставил точку в разговоре. Как только мотор заработал, в будке охранника немецкого посольства зажегся свет, но только на секунду, и тут же снова погас. Возможно, охранник даже не заметил нашего присутствия, наверное, он там дремал и видел плохой сон, а шум мотора разбудил его.

— Куда тебя отвезти?

— Туда же, где я была, — ответила она. — Для меня ночь еще не кончилась, — и сунула в рот пластинку жвачки. Запахло клубникой.

Такого поворота я не ожидал. Мне это даже в голову не приходило. И я решил последить за ней: оставить ее на углу, который пока еще не стал для нее роковым, а самому не уезжать далеко. Мы были слишком близко от Эрманос Беккер, и я решил сделать крюк: мне нужно было время, чтобы принять решение. Когда она собралась выходить из машины, я протянул ей еще одну купюру, дал из рук в руки, как не делают в Мадриде.

— С чего это? — спросила она.

— За то, что я тебя напугал.

— Не очень-то я испугалась, — ответила она. — Но спасибо. — Она открыла дверцу, вышла и начала надевать плащ. Ее коротенькая юбка была сейчас измята больше, чем раньше, но она не была испачкана или порвана (я, по крайней мере, не пачкал ее и не рвал). Она не успела еще просунуть руку в рукав, как я резко тронулся с места.

Я не поехал домой. Я вернулся снова на Фортуни и остановился возле "Дрезднер-банк", за решеткой которого виден огромный газон с фонтаном. Для меня это по-прежнему колледж "Аламан", который находился недалеко от моей школы. Газона тогда здесь не было, а был обыкновенный школьный двор, и там часто играли на переменах мальчишки моего возраста, а я смотрел на них со смешанным чувством: од-

новременно завидовал им и радовался, что я не из их числа — так мальчики всегда смотрят на других, незнакомых мальчиков. Напротив этого банка или колледжа есть несколько баров, с давних времен пользующихся дурной славой, куда наверняка заглядывают все окрестные шлюхи, когда им нужно пропустить стаканчик или согреться. Я дошел до угла (ближайшего к тому, на который вернулась Селия или Виктория), до того места, где крутой подъем заканчивался и улица поворачивала так резко, что новый ее отрезок казался перпендикулярным предыдущему. Здесь стояли деревья, стволы которых были увиты плющом, а ветви опускались очень низко. Оттуда я и стал за ней следить. Я встал у дверей закрытого бара (он назывался "Sunset Bar"). Мой светлый плащ был слишком заметен в ночи, освещенной желтыми фонарями. Я простоял так довольно долго, прильнув к стене, как Петер Лорре[1] в фильме "М", где он играл вампира из Дюссельдорфа, — я видел этот фильм. Машин стало еще меньше, и я поймал себя на мысли, что не хочу, чтобы кто-то здесь проехал, чтобы кто-то посадил ее в машину. Я хотел, чтобы, вопреки ее утверждениям, ее ночь закончилась. Мое желание было понятным: я не был до конца уверен, что это не Селия. Но, стоя у той стены, я думал, что, даже если это была Виктория, я хотел того же, хотя почти не знал ее и вряд ли еще когда-нибудь увижу. Близость — удивительная вещь: стоит этому случиться, и между людьми возникает глубокая и прочная связь. Правда, со временем она ослабевает, исчезает и забывается, так что потом мы иногда даже не можем вспомнить, сколько раз это было — один? два? или больше? Мы забываем, но забываем не сразу после того, как это случилось, — первое время воспоминание жжет каленым железом, а перед глазами стоит лицо его или ее, и остро помнится запах (запах — это то, что остается нам после расставания: прощайте, желания, и прощайте, печали). По бульвару или поросшей деревьями набережной прошли два подозрительных типа. Они что-то сказали ей, я не расслышал что, какую-то грубость. Я услышал только, что она ответила им так же грубо, и они замедлили шаг, словно собирались проучить ее. Я подумал, что мне, наверное, придется за нее вступиться, защитить ее, стать ей наконец в чем-то полезным — благодетельный вампир! — и снова, наперекор собственным интересам, установить с ней отношения. Хотя бы на эту ночь. Иногда нельзя не вмешаться: не остановить руку с ножом, нацеленным в чей-то живот (если видишь, что эта рука уже занесена), не оттолкнуть в сторону человека, чтобы ему не снесло голову деревом, поваленным бурей (если видишь, как дерево закачалось). "Подстилка! Потаскуха!" — кричали они ей. "Пошли в задницу!" — ответила она, и этим все кончилось. Те двое зашагали дальше в темноту, время от времени оборачиваясь к ней, чтобы выкрикнуть еще какую-нибудь гадость, и скоро исчезли из виду.

Только через две минуты около Селии или Виктории остановилась машина, тоже красный "гольф" — похоже, что мы, владельцы таких машин, все одинокие полуночники. Я вышел из-под навеса бара. Теперь меня было хорошо видно, хотя я по-прежнему лепился к стене, как ящерица. Она подошла к краю тротуара, и я подумал, что сейчас он откроет ей правую дверцу и мне не удастся его увидеть. Но я увидел его, потому что он открыл дверцу со своей стороны и вышел из машины. Они с Виктори-

1. Петер Лорре (наст. имя и фам. Ласло Лёвенштайн, 1904—1964) — немецкий и американский актер. Успех пришел к нему с фильмом "М" ("Убийца", 1931), полном предчувствия надвигавшейся на Германию катастрофы фашизма.

ей разговаривали, стоя по разные стороны машины, он опирался левой рукой на открытую дверцу. Хотя она стояла ко мне спиной, я понял, что она применила уже знакомый мне прием: сунула руки в карманы и распахнула плащ, чтобы продемонстрировать тело. "Сколько за четверть часа? У меня времени мало", — услышал я его слова. Ее ответа я не расслышал, но цена, видимо, была приемлемая, потому что он кивнул, и это означало: "Садись!" Он не раздумывал и не колебался. Мужчина снова сел в машину, Селия сама открыла дверцу со своей стороны, машина рванулась с места, и они скрылись из виду: у него было мало времени. Ему было столько же лет, сколько сейчас мне, у него были редкие светлые волосы, мне показалось, что выглядел он вполне прилично: достаточно хорошо одет, не пьян, не похож на сексуально озабоченного или ненормального. Мне захотелось, чтобы он оказался врачом. Может быть, он знал, что скорее заснет, если перед сном трахнет кого-нибудь — полезная разрядка после восьмичасового дежурства в клинике, где полно усталых медсестер в белесых чулках с катышками около шва. Я вдруг почувствовал тоску одиночества, какую испытывают убийцы, какую испытывал тот вампир из фильма "М". Все проститутки уже покинули это место, а одна из них сейчас, пока я стою тут один, против моей воли проделает со мною то, что обозначалось глаголом ge-licgan, превратит меня в одного из тех, кого обозначало забытое существительное ge-for-liger, а может быть, не спрашивая моего на то согласия, навсегда превратит меня в ge-bryd-guma этого типа, этого якобы врача, которого я видел мельком и издалека и у которого в отличие от меня так мало времени. В течение четверти часа она будет против моей воли роднить меня в англосаксонском смысле еще с одним мужчиной (степень этого родства я определить не могу, потому что такого слова нет в нашем языке), а я ничем не смогу помешать. Одно дело — знать это, а другое — видеть собственными глазами (или видеть, как она готовится это сделать), одно дело — воображать себе время, в котором с нами случаются разные события (неприятные, причиняющие нам боль, приводящие нас в отчаяние), а другое — когда ты с уверенностью можешь сказать: "Это происходит сейчас, пока я стою тут один у стены и не знаю, как поступить, а вокруг ночь шуршит мокрыми листьями, и я снова топчу их, шагая к своей машине, припаркованной у "Дрезднер-банк" или у колледжа "Аламан".

Я ехал по тем же улицам, по которым некоторое время назад мы ехали вместе с ней, и искал глазами припаркованный красный "гольф" — но ни на самой Фортуни, ни на окрестных улицах красного "гольфа" видно не было. С ужасом и тайной надеждой я думал, что, возможно, между ними ничего не произошло, что у этого мужчины, этого врача, были крепкие и толстые пальцы — как клавиши, и он тут же сжал ими шею или виски Виктории или Селии — ее бедные виски! — а потом вышвырнул бездыханное тело на асфальт, на мокрые листья. И когда я уже отчаялся и повернул к дому (четверть часа уже прошли, хотя это только так говорится: четверть часа, а на самом деле они оба все еще в красном "гольфе" или врач решил отвезти ее к себе домой до утра — я не захотел, чтобы воспоминание о ней осталось в моей спальне, и теперь страдал), я подумал, что в ближайшие дни буду читать газеты очень внимательно и с замиранием сердца буду искать, страшась найти, строки, из которых узнаю, что стал вдовцом (если Виктория была Селией), и прочитав которые я всю жизнь буду чувствовать себя виноватым, если Виктория была Викторией. В машине еще сохранился ее запах. Я вернулся домой в

чрезвычайном возбуждении, о сне нечего было и думать. Я включил телевизор (точно так же два года спустя я включил телевизор на улице Конде-де-ла-Симера, когда не знал, чем помочь женщине, которая умирала рядом со мной, а я и не догадывался — да она и сама не догадывалась; так включил телевизор Solus в своем дворце той же ночью — у него была бессонница, и он встал и вышел из спальни, чтобы никому не мешать и попытаться заснуть у экрана). Было уже очень поздно, работали только два-три канала, и первое, что я увидел, был рыцарь в доспехах, который возносил молитвы, стоя на коленях перед военным шатром. Это был какой-то фильм[1] — цветной и, по всей видимости, не новый: самые лучшие передачи всегда показывают под утро, когда телевизор почти никто не смотрит. Эпизод с рыцарем сменился другим: теперь я видел человека в постели. Судя по количеству воланов на рукавах его рубашки, это был король, король, которого мучает бессонница или который спит с открытыми глазами. Дело происходило в военном шатре, хотя кровать была настоящая — с подушками и простынями, это я запомнил хорошо. И перед королем один за другим проходили призраки на фоне какого-то пейзажа — возможно, это было поле будущей неизбежной битвы: мужчина, два мальчика, еще мужчина, женщина и, наконец, еще один мужчина, который, воздев к небу сжатые кулаки, кричал, словно требовал мести (у всех остальных лица были скорбные, во взглядах отчаяние, волосы были седые, а бледные губы шевелились так, что казалось, они скорее читают вполголоса, чем говорят, — призракам трудно говорить с нами). Этот король был haunted, заколдован, точнее, его околдовывали в ту ночь его же близкие, обвинявшие его в своей смерти и желавшие ему проиграть грядущую битву. Тихие голоса тех, кто был предан человеком, которого они любили, произносили страшные слова: "В час битвы завтра вспомнишь обо мне, — говорили королю мужчины, женщина и дети один за другим, — и выронишь ты меч свой бесполезный, тебе в удел — отчаянье и смерть". "Тебе на сердце камнем завтра лягу", "Свинцом тебе на грудь мы ляжем", "И, устрашась грехов своих, умри!", "Твоя судьба — отчаянье и смерть", — повторяли один за другим дети, женщина и мужчины. Я хорошо помню их слова, особенно те, что произносила женщина — она говорила последней, — женщина-призрак, по щекам которой текли слезы. "Я Анна, я несчастная жена, — говорила женщина, — что часа не спала с тобой спокойно, пришла к тебе твой потревожить сон. В час битвы завтра вспомнишь обо мне и выронишь ты меч свой бесполезный. Тебе в удел — отчаянье и смерть!" И король в ужасе просыпается. Он весь дрожит. Даже я испугался, увидев этих призраков и услышав их заунывное пророчество с экрана, у меня мурашки по спине побежали — вот она, сила искусства! — и я переключился на другой канал, который тоже еще работал и по которому тоже показывали старый фильм. Это был черно-белый фильм о самолетах — там были "спитфайры" из морской авиации, и "штука", и "мессершмитты-109", и несколько "ланкастеров" (имя династии Генрихов) — возможно, это был фильм о битве за Британию[2], по поводу которой Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую фразу о том, что

1. Имеется в виду кинофильм "Ричард III" (1955). Сценарист, режиссер и исполнитель главной роли Лоренс Керр Оливье.
2. Вероятно, имеется в виду документальный черно-белый фильм "Битва за Англию" (1943). 15 сентября 1940 г. над Лондоном и над югом Англии состоялась блиц-схватка британских и немецких ВВС, которая положила конец продолжавшимся более двух месяцев попыткам гитлеровцев достичь превосходства в воздухе и обеспечить таким образом морское вторжение в Англию.

никогда еще в истории человеческих конфликтов столь многие не были обязаны столь немногим, — эту фразу всегда цитируют в сокращенном виде, так же как его слова про "кровь, пот и слезы" (всегда пропуская "тяжелый труд"). "Штука" и "юнкерсы" бомбили Мадрид во время гражданской войны. Особенно отличились "юнкерсы" — народ прозвал их "индейками" за то, что они так медленно плыли со своим смертельным грузом по небу, кусочек которого виден из моего окна. А истребители республиканцев получили прозвище "крысы", это были быстрые русские Миги и американские "кёртиссы". В реальном мире воздушных схваток, происходивших к тому же относительно недавно, я чувствовал себя гораздо лучше. Персонажи из первого фильма, с их доспехами и воланами, были, безусловно, ближе по времени к эпохе глагола ge-licgan и существительных ge-for-liger и ge-bryd-guma, о которых я был вынужден думать в эту ночь (и которые я, вполне вероятно, выдумал). Я не хотел их видеть, кто бы они ни были, я предпочитал остаться в моем веке и погибнуть в бою, хотя, возможно, в том, другом фильме тоже уже завязалась битва и тоже были смерти на поле брани. Я смотрел на самолеты, но в ушах у меня звучали проклятия призраков из той бессонной ночи или ночи кошмаров. Именно потому я и вспомнил их гораздо позднее, когда в комнате сынишки Марты Тельес наткнулся на что-то в темноте и обнаружил свисавшие с потолка на нитях модели самолетов, замечательные модели, которые наверняка принадлежали когда-то отцу малыша — я в детстве и мечтать о таких не мог, — самолеты на нитках, каждую ночь лениво готовившиеся к утомительному ночному бою, фантастическому и невозможному, который так ни разу и не завязался (разве только в моем воображении, когда меня мучила бессонница, или в моих кошмарах).

То, что произошло в эти две ночи, навсегда врезалось в мою память, оставило в ней след.

Я не знал, стоит ли звонить Селии, — было уже слишком поздно, и если она была дома, то, скорее всего, спала. В последние четыре-пять месяцев мы не виделись, я только слышал о ней, и лучше бы мне этого не слышать. Я ей не звонил, она мне тоже. Как я объяснил бы ей мое поведение и внезапное желание рассказать ей то, что со мной случилось? Мне пришлось бы объяснять ей, что я предположил, что это с ней я был сегодня вечером, что это ей я открыл дверцу своей машины, ей дал деньги на улице, ее отвез в тихое местечко, чтобы она эти деньги отработала. Мне пришлось бы сказать ей, что я думал, будто переспал с ней. Да она решит, что я сошел с ума, если вообще будет со мной разговаривать. Но как же трудно удержаться и не набрать знакомый номер, если знаешь, что этот номер можно набрать (точно так же, как, заполучив чей-то номер, всегда стараешься тут же им воспользоваться), тем более что этот номер еще так недавно был и моим. Часы показывали начало четвертого, и "спитфайры", преследуемые "мессершмиттами", летели по экрану, когда я снял трубку и решительно набрал номер. Я услышал гудок, потом второй и третий — еще не поздно было повесить трубку и остаться со своими сомнениями. После третьего гудка включился автоответчик и записанный на пленку голос Селии произнес: "Привет, это 549 60 01. Сейчас я не могу ответить, но, если хочешь, оставь сообщение после сигнала. Спасибо". Она обращалась к звонившему на "ты", как все молодые люди. Она молода, как и Виктория. Я услышал два-три коротких сигнала, означавших, что кто-то уже оставил ей сообщения, а потом — длинный сигнал, после которого нужно было говорить. "Селия, —

сказал я, — ты дома? — Автоответчики очень часто обманывают. — Это я, Виктор. Ты дома? Может быть, ты спишь или громкость убавила?" — говорил я, и мне хотелось, чтобы именно так и было, и мое желание сбылось: живой голос Селии ответил мне. Она была дома, она сняла трубку, услышав мой голос. Значит, она не Виктория. ("Час еще не настал, еще не настал, — подумал я, — она еще жива".) "Виктор, ты знаешь, который час?" — спросила она. ("Час еще не настал, — думал я, — так же, как не настал еще час того пилота из "спитфайра МК-XII", который все еще видит мир с высоты и пытается спастись".) Ее голос не был сонным — я знаю ее сонный голос, как помню ее сонное лицо, утреннее лицо без макияжа. Она не сердилась — я не разбудил ее, это точно. "В чем дело?" — спросила она. Я не заготовил правдоподобного объяснения, да и не было никакого объяснения, и придумать на ходу я ничего не мог: я был возбужден, мысли мои путались. Чтобы выиграть время, я сказал: "Мне нужно поговорить с тобой об одном деле. Можно я к тебе сейчас заеду?" — "Сейчас? — переспросила она. — Ты в своем уме? Ты вообще знаешь, который час?" — "Знаю", — ответил я. — Но это очень срочно. Ты ведь не спишь, правда? У тебя голос не сонный". Она помолчала немного и, прежде чем ответить, сказала: "Подожди секунду". Наверное, эта секунда нужна была ей, чтобы дотянуться до пепельницы, если она перед этим закурила сигарету, хотя я не слышал щелчка зажигалки — обычно его бывает слышно, иногда по телефону слышно даже, как человек затягивается. "Нет, я не спала, но сейчас тебе лучше не приезжать". — "Почему? Это совсем ненадолго". Селия снова замолчала, и я почувствовал, как она напряглась. "Виктор, — сказала она, и я все понял, потому что, когда нас называют по имени, это значит, нам не собираются давать то, о чем мы просим, — как ты не понимаешь! Вот уже который месяц ты обо мне знать не хочешь, несколько месяцев, как мы не видимся и не разговариваем, и вдруг ты звонишь в половине четвертого утра и говоришь, что хочешь приехать! Что ты себе позволяешь?" Такие фразы всегда обезоруживают — "Что ты себе позволяешь?" — она была права, хотя половины четвертого еще не было. Я посмотрел на часы, и в эту минуту она добавила (хотя могла бы этого и не говорить, но она сказала, чтобы задеть меня: я ведь не собирался настаивать, так что совсем ни к чему было мне это говорить): "К тому же я не одна". — "А, тогда конечно", — сказал я как дурак. Селия насладилась эффектом, который произвели ее слова (одно дело понимать, что рано или поздно это должно случиться, другое — знать, что это уже случилось), и заговорила снова, уже более благосклонно: "Позвони мне завтра, после двенадцати, и мы все обсудим. Если хочешь, можем пообедать вместе. Идет? Позвони мне завтра". Теперь была моя очередь сказать ей что-то, что задело бы ее: "Завтра может быть уже поздно", — и я повесил трубку, не простившись. Я успокоился. На экране пилот с усиками смотрел вверх и говорил: "Мич! Им не одолеть "спитфайр", Мич! Не одолеть!", — мне показалось, что это Дэвид Нивен[1] и что разговаривает он с погибшим другом. Потом самолеты полетели к солнцу, прятавшемуся за облаками, и появились субтитры с цитатой из Черчилля. Я выключил телевизор и поискал газету, чтобы узнать из телепрограммы, эпизоды каких фильмов я в тот вечер увидел, но газету выбросила женщина, которая приходит убирать (она приходила в тот день в мое отсутствие), — она всегда выбрасывает все раньше

1. Дэвид Нивен (1910—1983) — известный английский актер.

времени, так же как выбрасывают все во дворце у Единственного, что очень выводит его из себя (правда, это я узнал намного позже). Но мое спокойствие вмиг улетучилось — мой мозг почти никогда не отдыхает, я все время думаю о чем-нибудь: "Если Виктория не была Селией, а Селия в эту минуту не одна, то Селия сейчас тоже делает со мною то, что обозначается тем самым глаголом, и роднит меня с кем-то в англосаксонском смысле, да и я, в свою очередь, породнил ее сегодня ночью с проституткой Викторией, которая так похожа на Селию (эти глагол и образованные от него существительные в равной мере относятся и к женщинам)". Я чувствовал себя вдвойне ge-bryd-guma — ощущение довольно неприятное. Потом мне пришла в голову другая ужасная мысль: а стоило ли успокаиваться после того звонка? Да, Селия сняла трубку, да, она дома, но перед тем, как я начал говорить, я слышал два или три коротких сигнала, означавших, что кто-то уже оставил ей сообщения, так что, возможно, она вошла со своим спутником именно в тот момент, когда я звонил, и еще не успела прослушать пленку. Следовательно, нельзя исключать возможность, что Селия была Викторией и что они с тем врачом решили поехать к ней. Может быть, они прокатились по ночному городу, пользуясь тем, что на улице мало машин, или остановились ненадолго в каком-нибудь тихом местечке (и теперь мужчина уже не слишком спешил). А если это так, если Селия сейчас не одна, если с ней тот врач, то опасность для нее еще не миновала, и хотя час еще не настал для Селии и для Виктории, но как знать, когда он наступит. ("Те, кто знает меня, — молчат и молчанием меня не защищают").

Я решил снова выйти на улицу и немного пройтись, чтобы развеяться, чтобы устать, чтобы по крайней мере не находиться в спальне, пока те двое (или четверо) находятся в своей. Улицы никогда не пустуют, но в ту дождливую ночь прохожих почти не было. Я встретил по пути бездомную старуху в лохмотьях — может быть, это была banshee, которая не знала, к какому дому ей предстоит направиться выть и плакать в эту ночь, может быть, ей предстоит направиться именно к тому дому, который когда-то был моим? Я сейчас жил не там, и потому мне опасность не угрожала, но там была Селия — этот дом по-прежнему был ее домом, и сейчас она была там не одна, как она мне сказала.

Я вышел на проезжую часть поймать такси — все равно в какую сторону, перешел через улицу, вернулся обратно. Прошли две машины, а потом — удача! — пустое такси. Я остановил его, назвал свой старый адрес. Как давно я не называл этого адреса, как давно не просил отвезти меня туда! А ведь целых три года там был мой дом. И когда я оказался у знакомого подъезда, у той двери, в которую я столько раз входил, возвращаясь вечером, и столько раз выходил по утрам в течение тех трех лет, я вдруг вспомнил, что у меня до сих пор остались ключи. Я вынул связку, нашел нужный ключ. Если она не сменила замки, я могу зайти. Могу открыть эту дверь, подняться на лифте на четвертый этаж, могу даже открыть дверь знакомой квартиры справа от лифта и убедиться, что ничего плохого не случилось в эту ночь, что здесь не бродила никакая banshee, что Селия Руис Комендадор была жива и здорова и лежала в своей постели, одна или еще с кем-то. (Может быть, Деан предпочел бы не выяснять правду, если бы что-то подозревал там, в далеком Лондоне?) Соблазн был велик. Я посмотрел наверх, на те окна, которые еще так недавно были моими, — на окна спальни, гостиной (одно из этих окон было не окном, а дверью, которая вела на крышу-террасу, и летом — в на-

шей семейной жизни было три лета — мы часто ужинали на террасе). В окнах было темно: может быть, Селия все изменила после того, как я ушел от нее, и перенесла спальню в другую комнату, окна которой выходят во двор? Дом не подавал признаков жизни. Это был дом спящих или мертвых. Я колебался. Невдалеке послышался звон разбитого стекла и быстрые приглушенные голоса — наверное, грабили какой-нибудь магазин. Через несколько секунд сработала сигнализация, но стекла все равно продолжали звенеть, и воры продолжали свое дело: все знают, что в Мадриде сигнализация часто срабатывает сама по себе, так что пользы от нее никакой. Дело происходило в нескольких кварталах от того места, где стоял я. Сирена смолкла, послышался новый раскат грома (на сей раз совсем рядом), и хлынул дождь. Крупные капли падали на палые листья и мокрую землю, на грязь, похожую на подсохшую кровь или черные слипшиеся волосы. На улице, кроме меня, не было никого, так что никто не бросился искать укрытия: грабители были далеко отсюда и, должно быть, уже сделали свое дело. Я перебежал через дорогу и спрятался под навесом подъезда. Оказавшись там, я уже не мог противиться соблазну и попытался открыть дверь своим старым ключом. Ключ повернулся в замке легко. А потом уже не нужно было думать, делать или не делать те шаги, которые ты делал тысячу раз, — ты шагаешь механически, ноги идут сами. Лифт был, как всегда, наверху — всегда кто-то возвращается позднее, чем последний из тех, кто куда-нибудь уходит (таких полуночников тоже много, я сам такой и Селия тоже — она была тогда так молода, ей нравилась ночная жизнь, мы входили и выходили всегда вместе, мы были семейной парой). Сейчас я поднимался один, сердце мое замирало, я был охвачен возбуждением и любопытством (все тайное вызывает любопытство и возбуждает), и, вставляя ключ в замочную скважину, старался не шуметь, словно я был burglar, ночной вор, который карабкается по стене и проникает в квартиры, — именно это я делал в тот момент, только я не собирался ничего красть, я хотел лишь узнать и успокоиться, хотел убедиться, что она жива и что она это она. Но что, если ее уже нет в живых? И если она это не она? Если она мертва, то зачем мне красться на цыпочках? Если это так, то мне следовало бы зажечь свет, схватиться за голову, закричать от боли и раскаяния, попытаться вернуть ее к жизни поцелуями, пытаться покончить с собой, позвонить врачу, разбудить соседей, позвонить ее родителям и в полицию и все рассказать. Ничего не было слышно, я не услышал ничего и тогда, когда вошел в квартиру. Я очень осторожно закрыл за собой дверь, так же, как делал это и раньше, — я много раз приходил домой, когда Селия уже спала (иногда я уходил куда-нибудь без нее и возвращался поздно). По этим комнатам я мог ходить в темноте — это был мой дом, а в своем доме всегда знаешь, где стоит мебель, на что можно наткнуться, где опасные углы и где выступы; знаешь даже, в каком месте предательски скрипнет паркет. Я прошел по коридору и вошел в гостиную. Здесь было чуть светлее: свет шел из окна — на улице горели фонари, светились огни рекламы, да и небо всегда дает свет, даже если это грозовое небо, затянутое облаками. Бушевавшая за окном гроза была моей сообщницей: кто расслышит шаги в шуме дождя, бившего по черепичной крыше, по террасам, по листве деревьев, по земле. Хотя, даже если она не слышала моих шагов и не предчувствовала (спящие в отличие от мертвых могут предчувствовать) моего появления, ее могли разбудить (или уже разбудили?) гром и шум дождя.

Когда мы возвращаемся в хорошо знакомое нам место, время нашего отсутствия вдруг сжимается или даже исчезает совсем — словно мы никогда отсюда не уходили. Пространство, которое не изменилось, переносит нас в другое время. Мне захотелось сесть в свое кресло и закурить или почитать. Но я еще не узнал того, что хотел узнать, мое волнение все росло, и страх все усиливался. Я хотел узнать и боялся узнать, я хотел успокоиться, я должен был избавиться от своих подозрений, разрешить сомнения. И я все-таки подошел к белой раздвижной двери, которая вела из гостиной в спальню. Когда мы шли спать, мы всегда закрывали эту дверь, хотя, кроме нас, в доме никого не было, — мы хотели укрыться от всего мира и от остальной части нашего дома. Дверь и сейчас была закрыта — у Селии сохранилась эта привычка, не важно, спала она одна или нет (странно было бы предположить, что дверь закрыл за собой тот врач или любовник, выйдя из спальни после того, как сделал свое дело). Это успокоило меня: значит, ничего не случилось, это придало мне смелости, и я взялся за ручку двери, осторожно приоткрыл ее и заглянул внутрь. Но я ничего не смог разглядеть: в спальне было темнее, чем в гостиной, — теперь Селия опускала жалюзи (мне нравилось спать при поднятых жалюзи, а ей — при опущенных, и мы пошли на компромисс: опускали их наполовину, чтобы утром ей не мешало солнце и чтобы я, проснувшись, мог определить, была все еще ночь или уже наступило утро, — я часто просыпаюсь по ночам, я плохо сплю). Я раздвинул створки еще больше, потом еще, пока не открыл двери полностью (я не был уверен, что хочу сделать именно это, но я это сделал — мы действуем быстрее, чем думаем, потому что время бежит вперед и торопит нас, и пока мы будем сомневаться — "да", "нет", "может быть" — оно уйдет, и наступит час, когда мы больше не сможем сказать: "Не знаю, не уверен, там видно будет"). Мне захотелось увидеть Селию в постели одну, увидеть ее ночное лицо, которое я так хорошо помню, левую руку, засунутую под подушку — так она всегда спит, — услышать ее спокойное дыхание. Я подождал немного. Все было тихо. Слабый свет из гостиной рассеял сумрак спальни, и мои глаза понемногу привыкли к темноте. Я различил белое пятно простыни (это было первое, что я смог различить) — она или они также смогли бы увидеть только светлое пятно моего плаща, если бы проснулись в этот миг и начали всматриваться в разделяющее нас пространство. Точно так же много времени спустя я стоял у двери в комнату маленького мальчика, только мальчик до этого меня уже видел: он сначала следил за мной и только потом уснул, а не наоборот. Когда мои глаза окончательно привыкли к темноте, я смог разглядеть, что в постели были двое: на правой стороне кровати — Селия, а на моей стороне был не я, а другой мужчина. Одно и то же место могут занимать разные люди — это случается сплошь и рядом: дома тех, кто уезжает или умирает, их спальни, их ванные, их кровати занимают живые или вновь приехавшие — люди, которые забыли или просто не знают, что происходило там, где они теперь живут, когда их еще не было на свете или когда они были детьми, для которых время не имеет значения. Происходит столько всего, о чем мы не помним и даже не подозреваем! Все забывается и все теряет силу, все, что мы делаем, когда мы одни (и не записываем этого), и то, что происходит при свидетелях. Как мало остается после нас, как мало следов оставляет на земле человек, и из этого малого сколько всего умалчивается! А из того, что не умалчивается и не скрывается, в памяти остается только ничтожно малая часть, и то не-

надолго: память не передается от одного человека к другому, чужая память никому не нужна — у каждого есть своя. Бесполезно не только время ребенка — бесполезно время вообще: все, что с нами случается, все, что заставляет нас радоваться или страдать, длится всего лишь миг, а потом растворяется в бесконечности. Время скользкое, как плотный снег. Такое оно сейчас для Селии и для того мужчины, что занял мое место, таков их сон в это самое мгновение.

Сон этот неожиданно прервался, но виной тому был не я, не мое присутствие: молния, блеснувшая вслед за страшным раскатом грома, вдруг осветила весь дом, осветила гостиную, спальню и меня — тихий призрак в плаще, раздвигающий руками створки белой двери, — осветила кровать, и спавшие одновременно проснулись, одновременно подняли головы, и Селия закричала (как тот король, напуганный явившимися ему призраками), широко раскрыв глаза и зажав руками уши, чтобы не слышать страшного грома или своего собственного крика. Я смотрел только на нее. На ее обнаженную (как у Марты Тельес) грудь, которая когда-то перестала меня интересовать и снова начала интересовать в эту самую ночь, если только Селия была Викторией с улицы Эрманос Беккер. При вспышке молнии я увидел и эту грудь, и одежду, брошенную на стул — его одежда вместе с ее одеждой, они раздевались одновременно, может быть раздевали друг друга. Мужчину я не видел (не видел его лица — только белое пятно, такое же белое, как простыня). Я не видел, был ли это белобрысый врач, или кто-то совсем мне незнакомый, или, наоборот, знакомый, или даже близкий приятель — Руиберрис де Торрес, к примеру. (Или Деан, или Висенте — только через два года я узнаю их имена, услышу их голоса и увижу их лица.) Это мог быть и я сам. Я не успел разглядеть его — в комнате снова стало темно. Должно быть, я тоже кричал — может быть даже воздевая к небу сжатые кулаки, как кричат, требуя отмщения, хотя я был не вправе требовать мести. Я захлопнул дверь, повернулся в испуге и побежал в темноте через гостиную, а потом по коридору — я испугался себя самого и того, что я сделал. Здесь все было мне знакомо, поэтому я ни на что не наткнулся, хотя мчался, будто дьявол, уносящий непорочную душу, как у нас говорят. Я добежал до двери раньше, чем они смогли прийти в себя и сообразить, что при вспышке молнии действительно видели на пороге спальни человека в белом плаще (сначала они, возможно, решили, что им приснился один и тот же кошмар — муж или злой дух, который явился, чтобы потревожить их сон). Они были голые, а потому все равно не выбежали бы из квартиры вслед за мной (по крайней мере, по пояс они точно были голые, это я успел заметить при вспышке молнии, и они были босиком). Мне хватило времени, чтобы добежать до лифта, который все еще был наверху, на нашем этаже, спуститься вниз, пробежать через вестибюль, нажать кнопку на входной двери и выбежать на улицу, под проливной дождь. Я вмиг промок. Но я бежал и с облегчением думал, что Селия жива, хотя она сейчас и не одна, и что я никогда не узнаю, была ли она еще и Викторией. Но главная моя мысль, пока я убегал из квартиры, спускался в лифте и бежал по улице под дождем, была другая: "Как же мало осталось от меня в этом доме, как мало осталось от меня в этом доме!" Ветки деревьев качались, казалось, это машет руками разъяренная толпа.

Следуя за Луисой, я пересек улицу Кастельяна. Я смотрел и смотрел на ее красивые ноги, но уже не чувствовал себя ничтожеством, и мне боль-

ше не было стыдно смотреть на них — может быть, потому, что я мог делать что хотел (ведь рядом не было свидетелей, не было никого, кто мог бы осудить меня), а может быть, потому, что я шел сзади и просто не мог не смотреть на ее ноги. Она прошла четыре квартала и вошла в подъезд того дома, в который и направлялась, — то, что Луиса точно знала, куда идет, было ясно с той самой минуты, как она вышла из магазина: она шла зигзагами, как человек, который старается хоть как-то разнообразить слишком хорошо знакомый ему путь. Дом был скромный, хотя и стоял на фешенебельной улице (поэтому вряд ли он был таким уж скромным, он был просто старым, и его давно нужно было подновить). Поблизости не было ни одного бара, где я мог бы посидеть и подождать, пока она снова выйдет, хотя кто знает, сколько она там пробудет, — может, она здесь живет и сегодня уже не выйдет? Впрочем, вряд ли это ее дом: подходя к собственному дому, люди обычно заранее начинают искать ключи (мужчины — в кармане, а женщины — в сумке). Я вспомнил, что Луиса сказала Деану в ресторане: "Увидимся дома". Я подумал тогда, что она имела в виду дом на Конде-де-ла-Симера, но речь могла идти и о доме Луисы — возможно, о том самом доме, в который она только что вошла. Я решил немного подождать. Полчаса (хотя понимал, что буду ждать и дольше, если понадобится). Я отошел на несколько шагов, привалился к стене, чтобы моя фигура не бросалась в глаза и чтобы иметь возможность спрятаться в случае необходимости, закурил и начал просматривать иностранную газету, которую купил по дороге. К счастью, я понимал, что там написано (это была итальянская "La Repubblica", а итальянский и испанский — языки довольно близкие). Впрочем, мысли мои были заняты совсем другим. Я ждал. Ждал.

То ли статья о проблемах туринского "Ювентуса" (автор объяснял их растущим влиянием сатанистов в этом городе) так захватила меня, то ли процесс сравнения языков оказался слишком увлекательным (скорее всего, я утратил бдительность именно по этой причине), то ли просто потому, что ждать мне пришлось намного меньше, чем я предполагал (меньше четверти часа), — но я был застигнут врасплох, когда, взглянув на подъезд, не помню уж, в который раз за эти десять-двенадцать минут, я увидел не темный провал (дверь подъезда была открыта) и не кого-нибудь из незнакомых мне жильцов (за это время вышли уже двое), а изумленные глаза Луисы Тельес, которая стояла рядом и держала за руку малыша Эухенио, тоже (снизу вверх, с высоты роста двухлетнего ребенка) смотревшего на меня. Малыш был очень тепло одет, на голове у него была застегнутая под подбородком шапочка с маленьким козырьком, напоминавшая шлемы пилотов прежних лет. Сейчас Луиса держала только сумку и один из пакетов от Армани. Второй пакет она оставила в этом доме — подарок от Тельеса ко дню рождения: блузка или юбка. Пакет из "Vips" тоже остался там — значит, там осталась "Лолита" — может быть, как подарок от самой Луисы (ничего особенного: книга в мягкой обложке), а может быть, ее просто просили купить эту книгу (а еще сосиски, пиво и мороженое — наверняка это будет скромный ужин: сама Мария Фернандес Вера ничего не успела купить, потому что весь день сидела с ребенком, так что ее золовка должна была принести продукты для нее и для Гильермо, когда придет забирать малыша — их общего осиротевшего племянника). Тетушка и племянник сейчас стояли передо мной, они были в двух шагах от меня — наверное, вышли сразу после того, как я взглянул на дверь подъезда в последний раз, так что я, увлеченный ста-

тьей о сатанизме и футболе, не заметил, как они подошли ко мне (им нужно было повернуть здесь за угол). Я не был уверен, что малыш меня узнает, — я понятия не имею, как устроена память у маленьких детей (возможно, у всех детей она устроена по-разному?). Прошло уже больше месяца с того вечера, когда он меня видел (и это был для него не просто вечер — в тот вечер рухнул привычный ему мир), но мы провели вместе несколько долгих часов, и это от меня во время того бесконечного ужина он вынужден был охранять свою мать и отказывался идти в постель. Он много раз слышал мое имя (а я слышал, как обращалась к нему Марта: "Эухенио, дорогой, — сказала она ему один раз, — иди спать, а то Виктор рассердится". Это была неправда, я вовсе не собирался сердиться, я только начинал немного нервничать). А потом он снова увидел меня, когда, внезапно проснувшись, прибежал в спальню, распахнул неплотно прикрытую дверь и застыл в дверном проеме, с соской во рту и кроликом в руке, а мать даже не заметила его. Он положил ладошку на мою руку, и я увел его оттуда, пряча от него лифчик (трофей, который храню до сих пор). Я не дал ему попрощаться с матерью, я не знал, что в эту минуту рушился его мир и что он в последний раз видит свою мать живой. Если бы я знал это, я позволил бы ему подойти к Марте, не важно, что она была полураздета.

— Иктор, — произнес малыш и показал на меня пальцем. Он улыбался, он помнил, как меня зовут. Это меня тронуло.

Луиса Тельес пристально смотрела на меня. Она уже пришла в себя. Я понимал, что выгляжу глупо: иностранная газета в руках, на земле, в пластиковом пакете из магазина, — "Сто один далматинец", мультфильм, который мне совсем не нужен, и тающее мороженое (наверняка оно уже начало таять, а до дому я доберусь еще не скоро). К тому же стоило мне сделать шаг, как в ботинке у меня начинало хлюпать.

— Что ты здесь делаешь? — спросила она. Она перешла на "ты". Перешла легко, как все молодые и как переходим мы всегда, когда мысленно обращаемся к человеку (не только в тех случаях, когда хотим оскорбить его, желаем ему зла, позора или смерти). Я смутился, наверное даже покраснел, как покраснела она, когда ее окутало облачко пара из холодильника, но в то же время я почувствовал и облегчение: тайна раскрыта, можно больше не прятаться, можно больше не притворяться, по крайней мере перед ней, Луисой, сестрой Марты.

— Так что ты все-таки оставила себе, юбку или блузку? — я кивнул на пакет, который она по-прежнему держала в руках. Я тоже не колеблясь перешел на "ты".

Всегда чувствуешь, когда человек готов сменить гнев на милость, — а мы только к этому и стремимся, мы всегда хотим быть милыми, и не только в том смысле, что хотим нравиться другим людям, но и в том, который нашел отражение в забытом выражении "войти в милость": нам хочется, чтобы были забыты наши ошибки и наши неудачи, наши дурные поступки, все разочарования, которые мы принесли тем, кто в нас верил, наши маленькие предательства и наша ложь. Всегда знаешь, кто способен простить (хотя это и не значит, что он обязательно простит), посмотреть на все сквозь пальцы (еще одно забытое — или почти забытое — выражение). Луиса как раз такая: доброжелательная и надежная, мягкая и отходчивая, даже легкомысленная иногда. Я понял это в тот самый момент. Раньше — в ресторане — я этого не замечал, впрочем, тогда она почти не обращала на меня внимания, ей хватало Деана и отца: пер-

вый раздражал ее тем, что никак не мог принять решение, от которого зависели и ее планы, а второй — своими взглядами на жизнь (он человек другого времени, он многого не понимает и не хочет понимать — в его возрасте уже не меняются, и он вполне доволен собой). Но, кажется, уже тогда я начал догадываться, какая она: я видел, как она молча защищает Деана, видел, что она сочувствует ему, хотя, возможно, и не испытывает к нему особой симпатии, что у нее есть чувство ответственности за ребенка, что она готова помочь, даже если для этого ей придется изменить свою жизнь. Я почувствовал ее желание сохранить мир и согласие между близкими ей людьми, готовность молчать, когда спорят мужчины, которые терпеть друг друга не могут, ее стремление к ясности и гармонии, способность представить себе весь ужас чужой смерти, хотя она о смерти знает так мало ("Страшно бывает, когда это предполагаешь, — сказала она. — И знаешь"). В ресторане она не обращала на меня внимания: я был только наемным работником, чужаком, чье присутствие при разговоре (результат беспечности Тельеса) всем мешало. Сейчас я перестал быть никем. Мое имя стало очень значимым после того, как его произнесли детские губы, — я сразу стал интересен, я, если можно так сказать, перешел в другую категорию. Сейчас я был избранником старшей сестры (Луисе не обязательно знать, что я был только запасным вариантом, да и вряд ли она может подумать такое о человеке, рядом с которым Марта провела свои последние минуты — хотя и не знала, что они последние), и то, что она сейчас поняла, хотя бы отчасти объяснило ей произошедшее. Мы убеждены, что в жизни с нами должно было произойти именно то, что с нами и произошло: мать верит, что она и должна была стать матерью, а старая дева — что ей на роду написано быть девственницей, убийца верит, что рожден быть убийцей, жертва — жертвой, а неверная жена — неверной женой, если умирает именно в тот момент, когда изменяет мужу, и если при этом знает, что умирает. Марта не знала, что умирает, но это знаю я, и я сейчас об этом рассказываю. Я тот, кто рассказывает, и тот, кто дает другим возможность рассказывать ("Те, кто говорит обо мне, не знают меня, и, говоря обо мне, они клевещут на меня..."). И потому Луиса тоже смогла рассказать свою версию — неполную и субъективную историю из их общего детства. Сейчас это и ее привилегия тоже, не только моя, сейчас ее никто не опровергнет, никто не заявит, что все было не так. В этом заключается ничтожное превосходство живых над мертвыми. Можно не сомневаться, что, если бы Марта слышала то, что говорила Луиса, она снова сказала бы, что Луиса ей просто подражает, потому что сама она даже выбрать не может, и что ей достаточно только взглянуть на мужчину, которого выбрала Марта, чтобы в ней снова заговорил инстинкт младшей сестры, которая всегда хочет иметь то, что принадлежит старшей.

Она не засмеялась, только слегка улыбнулась, и я понял, что она была не только удивлена и возмущена, но и польщена: я ее преследовал, я за ней следил, я испытывал к ней интерес, преодолевал ради нее препятствия, я наблюдал за ней, мне было дело до ее одежды и ее покупок — избранник Марты, который теперь обратил свои взоры на нее ("Как я радуюсь этой смерти, как скорблю, как торжествую!"). "Как легко соблазнить и быть соблазненным, — подумал я, — как мало для этого нужно!" Я почувствовал себя уверенно, краска стыда исчезла, смущение прошло, и я подумал (еще несколько секунд назад такая мысль не могла прийти мне в голову): "Если Деан не захочет, чтобы

его сын жил с ним, и Луиса возьмет его к себе, то этот ребенок может стать почти моим. Я больше не буду для него обратной стороной времени, его черной спиной: я попытаюсь возместить его потерю, я, тайное наследство той печальной ночи, стану человеком, который заменит ему отца (одним словом, узурпатором), и мы вместе будем двигаться к роковой черте, только гораздо медленнее: нам слишком многое еще предстоит забыть. И может быть, когда-нибудь я смогу рассказать ему о той ночи". А еще я подумал о Луисе: "Может быть, я и есть тот гипотетический будущий муж, рядом с которым она проведет еще долгие годы в мире живых — в мире мужчин, с их комиксами, цветными портретами любимых футболистов и качающимися над головой самолетами. У нас много общего, мы завязывали шнурок на одном и том же ботинке".

— Ага, — сказала она, сдержав улыбку, — ты и там тоже был.

— Юбка тебе очень шла, — сказал я. — Блузка тоже неплохая, но юбка сидела просто замечательно. — Я и не пытался скрыть улыбку, я хотел ей понравиться, я не так давно снова стал холостяком.

— И что дальше будем делать? — спросила она и снова стала серьезной — наверное, хотела показать, что сердится, но форма множественного числа ("будем делать") ее выдавала: не такая уж она и суровая, и не так уж я ее и разгневал.

— Пойдем куда-нибудь, где можно поговорить спокойно, — ответил я.

Она посмотрела на меня с недоверием, но ей надо было найти ответы на множество вопросов, и некоторые из них она, не удержавшись, задала сразу:

— А ребенок? Я должна отвести его к Марте, я как раз туда иду. Ты ведь знаешь дом, да? Я однажды вечером видела тебя там — ты ждал возле такси, да? На следующий день. Как ты мог оставить малыша одного?

Для нее это все еще был дом Марты, а не дом Эдуардо или Эухенио — всегда трудно отвыкнуть от привычных словосочетаний. Ее последний вопрос прозвучал очень жестко (резкий тон, губы сжаты), но это был не гнев — Луиса вряд ли на него способна, — а боль и упрек. Малыш по-прежнему дружелюбно смотрел на меня. Он узнал меня, но ему было нечего мне сказать, у него не было причин радоваться встрече со мной — обычно при встрече с ним радовались взрослые. Я наклонился к нему, положил руку ему на плечо. Он протянул мне шоколадку, и я подумал: "Сейчас он скажет: "Атка". Он уже весь измазался.

— Он может пойти с нами, еще не поздно. А Эдуардо скажешь, что задержалась дома. — Я кивнул на подъезд, слежка за которым закончилась для меня так бесславно. Подумать только, я посмел предложить Луисе вступить в сговор! На ее последний вопрос я так и не ответил. Я ответил на предпоследний: — Или можешь отвести его к отцу, а я подожду тебя внизу. Если ты тогда видела меня, то ты та, кого я видел в ту ночь в окне спальни Марты.

— Она умерла одна? — быстро спросила Луиса.

— Нет, я был рядом с ней. — Я все еще стоял, наклонившись к малышу, и отвечал Луисе, не поднимая глаз.

— Она догадывалась? Знала, что умирает?

— Нет, это ей даже в голову не могло прийти. И мне тоже. Все произошло очень быстро.

(Откуда мне было знать, что именно приходило Марте в голову? Но я сказал то, что я сказал. Эту историю рассказывал я.)

Луиса замолчала. Я достал из кармана носовой платок, очень осторожно забрал у малыша шоколадку и вытер ему губы и пальцы.

— Весь измазался, — сказал я.

— Это моя невестка ему дала, — ответила Луиса. — На дорогу. Додумалась!

Малыш надул губы. Не хватало только, чтобы он расплакался! Я же должен понравиться его тете!

— Не плачь! Посмотри, что у меня есть! — сказал я ему и вынул из пакета кассету с мультфильмом про далматинцев. — Я знаю, что ему нравятся мультфильмы, у него есть кассета с Тинтином, мы с ним вместе смотрели, — объяснил я Луисе. Пусть думает, что я купил кассету не случайно, а потому, что вспоминал об этом ребенке, — может быть, тогда она изменит свое мнение обо мне, не будет считать меня таким уж бездушным человеком. Я выбросил в ближайшую урну то, что осталось от шоколадки, а заодно и газету "La Repubblica", которую не знал куда деть, коробку с мороженым и сам пакет — он давно протек и запачкал мне брюки. Тем же платком я попробовал отчистить пятно — получилось еще хуже. Платок тоже отправился в урну, а я подумал: "Удачно получилось с этим мультфильмом!"

— Можно было постирать, — сказала Луиса.

— Да ну его.

В такси (я взял такси) мы не разговаривали. Малыш (очень спокойный ребенок!) сидел между нами, не отрывая глаз от своей новой кассеты (он знал, что это такое), показывал на далматинцев и говорил:

— Баки. — Я был рад, что он не говорил "ав-ав" или что-нибудь в этом духе, как большинство детей его возраста.

Мы молчали всю дорогу до улицы Конде-де-ла-Симера. Я понимал, что Луисе Тельес нужно было прийти в себя, нужно было все обдумать, свыкнуться с тем, что она узнала. Я только несколько раз бросал украдкой взгляд на ее ноги и замечал, что она украдкой разглядывала меня — она легко могла сделать это во время обеда, но тогда она на меня почти не смотрела, а сейчас привыкала к мысли, что мое лицо и есть лицо того самого человека, который до этой минуты был никем, человеком без лица и без имени, а мое имя — Виктор Франсес. Тельес представил меня Луисе именно так. Я не Руиберрис де Торрес, а Виктор Франсес Санс, хотя при знакомстве я называю только первую фамилию, а в Англии меня называли мистер Санс. Сейчас она, наверное, пыталась представить нас с Мартой вместе, прикидывала даже, хорошая ли мы пара и хотела ли Марта умереть именно в моих объятиях. Мне тоже хотелось задать ей несколько вопросов, но я терпел и открыл рот только для того, чтобы ответить малышу:

— Да, собаки, много пятнистых собак. — Слова "пятнистый" он, конечно, не знал.

Возле его дома (или дома Марты) я на прощание погладил его по шапочке.

— Если Деан еще не пришел, мне придется его дождаться, — сказала Луиса у знакомого подъезда на улице Конде-де-ла-Симера. — В квартире больше никого нет.

— Я подожду сколько нужно, я буду в кафе за углом.

— А если он захочет поговорить? Ему нужно излить душу. Ты сам видел, как вел себя сегодня мой отец.

— Я тебя дождусь.

Она уже открыла дверь, но перед тем как исчезнуть вместе с малышом в подъезде, вдруг обернулась и сказала задумчиво:

— Ты понимаешь, что рано или поздно мне придется рассказать ему о тебе?

— Но не сейчас, правда? — спросил я.

— Нет, не сейчас, а то вдруг он побежит искать тебя. Я постараюсь не задерживаться, скажу, что у меня дела.

— Ты можешь сказать ему правду — что у тебя свидание. Скажем, в половине девятого.

— Можно и так.

Я ждал в кафе, откуда я не мог бы видеть Деана, если б он вернулся домой в это время, но и он не мог бы увидеть меня — я сидел спиной к окну. Он заметил бы меня, только если б зашел выпить перед тем, как подняться к себе, или купить сигареты, — но это было маловероятно. Я ждал. Ждал. Сейчас я жалел, что у меня не было под рукой какой-нибудь статьи о сатанистах и футболе. Без четверти девять появилась Луиса Тельес, с пакетом, в котором лежала блузка или юбка. Я ждал больше часа — они долго разговаривали или Деан задержался. Но у меня не возникло ни малейших опасений, что она может обмануть меня и не прийти или неожиданно появиться вместе с Деаном: она расскажет ему обо мне, но не сейчас. Я ей верил. Когда я увидел ее, я вдруг почувствовал, что очень устал: я избавился от мучительного напряжения, я был весь день на ногах, я выпил два пива, я не заходил домой, не прослушал автоответчик, не просмотрел почту, на следующий день мне нужно было рано вставать и идти к Тельесу, чтобы продолжать работать над речью, которую Only You собирается выдать за свою, хотя в это все равно никто не поверит. Я не хотел, чтобы эта ночь стала еще одной долгой ночью, как та, что я провел с Мартой Тельес, и та, когда я встретился с проституткой Викторией, которую принял за Селию (взвесив все, я решил, что это разные женщины), — абсурдные, порочные, нескончаемые ночи. Селия сейчас снова собирается выйти замуж и зажить спокойно.

— Ну, куда пойдем? — спросила меня Луиса. За окном было уже совсем темно. Я сидел у стойки бара, как Руиберрис.

— Может быть, поедем ко мне? — спросил я. Больше всего на свете мне хотелось переобуться и поменять носки. — Мне нужно переобуться, — сказал я и показал ей свои ботинки. Они высохли, и на них выступили белесые пятна (особенно пострадал правый ботинок) — как пыль или как известь. Ее туфельки были безукоризненно чистые, хотя она прошла столько же, сколько я, и по тем же самым улицам. Она чуть нахмурилась, и я поспешил добавить: — К тому же у меня лежит кассета из автоответчика Марты, может быть, тебе будет интересно ее послушать.

— Так это ты унес кассету? — сказала она и приложила два пальца к губам. — Я думала, что, может быть, Марта ее выбросила, но мне не хотелось в тот вечер рыться в мусорном ведре, оттуда к тому же начинало уже попахивать, так что я просто вынесла мусор, чтоб и у Эдуардо не возникло соблазна. Телефон и адрес Эдуардо тоже ты взял? Зачем?

— Пойдем куда-нибудь, и я отвечу на все твои вопросы.

Но на один из ее вопросов я ответил сразу:

— Листок с адресом я унес случайно. Собирался переписать его и не переписал. Потом подумал, что нужно позвонить в Лондон, но не решился. Вот, посмотри: он все еще у меня. — Я вынул из бумажника и протянул ей желтый листок, который Марта не бросила в сумку и не поте-

ряла на улице, который не вылетел в открытое окно и не попал под метлу подметальщика улиц. Луиса даже не взглянула на него — ей это было неинтересно, она и так знала, что там написано.

— Давай заедем ко мне на минутку, а потом сходим куда-нибудь поужинать.

— Нет, поужинаем сначала. Я не хочу идти домой к человеку, которого совсем не знаю.

— Как хочешь, — сказал я. — Не забудь только, что нас познакомил твой собственный отец. — Она сдержала улыбку (хотя и с трудом) — ей нужно было оставаться твердой и суровой.

Мы пошли к Николасу, в маленький ресторанчик, где меня хорошо знают и где она могла убедиться, что я не всегда таюсь и прячусь, где хозяева зовут меня Виктор, а официанты — сеньор Франсес. Там у меня есть не только лицо, но и имя. И там я смог ей наконец все рассказать, ответить на все вопросы и поведать еще много такого, о чем она меня не спрашивала и не могла спросить. Я хотел выйти из тени, раскрыть все тайны — наверное, мне тоже иногда хочется ясности и даже, возможно, гармонии. Я рассказал все. Но чары не рассеялись — наверное, они не рассеются уже никогда. Тот, кто рассказывает, обычно хорошо умеет все объяснить и обелить себя, рассказывать — это то же самое, что убеждать, доказывать и оправдывать. Оправдать можно все, даже самый подлый поступок, все можно простить, если есть, что прощать, на все можно посмотреть сквозь пальцы, со всем можно примириться, можно даже начать сочувствовать рассказчику: то, что случилось, — случилось, и от этого никуда не деться, раз уж мы знаем, что это *было*, мы должны с этим свыкнуться и примириться, и тогда мы сможем жить дальше. Знать — не так страшно, гораздо страшнее предположения, догадки, мрачные картины, которые рисует нам воображение, кошмарные сны: мы, ужаснувшись, гоним их прочь, но они возвращаются, наводя на нас прежний ужас. В отличие от них реальные события (такова их природа) со временем тускнеют и блекнут, и воспоминания о них причиняют с каждым разом все меньшую боль: раз уж это случилось, говорим мы себе, и я об этом знаю, и ничего исправить уже нельзя, я должен сам себе все объяснить. Или пусть мне все объяснит кто-нибудь другой, лучше всего тот, кто был участником событий, потому что он знает правду. Но тут есть одна опасность: рассказывая, человек может даже вызвать к себе сочувствие. Все зависит от того, как рассказывать. Наверное, именно поэтому некоторых преступников или врагов наказывают, убивают или линчуют, не дав им сказать ни слова; поэтому, отрекаясь от друзей, их гонят прочь со словами "Я тебя не знаю" или просто не отвечают на их письма — им не дают говорить, чтобы они не смогли оправдаться, чтобы не смогли объяснить свои поступки и вызвать к себе сочувствие ("...те, кто меня знает, молчат и молчанием своим меня не защищают...").

Потом я тоже задал несколько вопросов, всего несколько — вполне объяснимое любопытство: кто и когда пришел в квартиру Марты и обнаружил то, о чем я не рассказал никому той ночью? Сколько времени малыш был один? Когда и как разыскали Деана в Лондоне и через сколько времени после случившегося он обо всем узнал? Сколько минут он не знал того, что мог бы знать? Сколько времени все плыло у него перед глазами и ему казалось, что это происходит не с ним? Сколько времени он не мог прийти в себя? Луиса отвечала подробно и честно — у нее больше не было причин не доверять мне: я уже все рассказал, я перестал

скрываться, я сделал все, чтобы она поняла меня и даже простила, если было что прощать (я оставил малыша одного, но было бы гораздо хуже, если б я забрал его с собой: это как похищение, — сказал я ей), и даже посочувствовала — мне было в чем посочувствовать. Малыш был один только утром — с той минуты, когда он проснулся, до той, когда пришла (у нее свои ключи) женщина, которая убирает квартиру и готовит обед ему, Марте и ее мужу, когда тот обедает дома, а потом несколько часов сидит с ребенком, пока Марта в университете (на том же факультете, где учился я) — у нее занятия то утром, то вечером. Он, кажется, даже не понял, что Марта умерла: нельзя понять то, с чем раньше никогда не сталкивался, а он еще не знает, что такое смерть, и, должно быть, решил, что Марта спит — чем еще он мог объяснить то, что, сколько он ни тормошил и ни звал мать, она оставалась неподвижной и безучастной. Наверное, он забрался на постель, с трудом стянул с матери одеяло, тормошил ее, может быть, даже ударил — маленькие дети дерутся, когда сердятся, на них нельзя за это обижаться. Марта все еще была похожа на Марту. Может быть, он громко плакал или кричал от злости — его никто не услышал (или все сделали вид, что не слышат), но он наверняка устал и проголодался, съел то, что нашел на оставленной мною для него тарелке, выпил сока и стал смотреть телевизор — не тот, который я оставил для него включенным в гостиной и по которому, когда я уходил, шли "Полуночные колокола", а тот, что стоял в спальне, — его я тоже не выключил, и с его экрана разговаривали (без звука, одними субтитрами) Макмюррей и Стенвик: он хотел быть рядом со спящей матерью, он все еще надеялся, что она проснется. Там его и нашла домработница, уже после полудня: он лежал на кровати рядом с неподвижной матерью и смотрел телевизор без звука (может быть, на его счастье, шла какая-нибудь детская передача). Несколько минут женщина стояла в растерянности, схватившись за голову (наверное, еще даже не успела снять шляпку, приколотую булавкой). Пальто она тоже еще не сняла. Возможно, у нее мелькнула мысль, что весь этот ужасный беспорядок ей потом придется убирать. Она не знала, что Деан в Лондоне (сама Марта об этом тоже вспомнила накануне слишком поздно), поэтому позвонила ему на работу и рассказала (сумбурно и путано) о случившемся секретарше (которая ничего не поняла), а потом отыскала телефон сестры, Луисы, и Луиса тут же примчалась на такси на улицу Конде-де-ла-Симера и, задыхаясь, вбежала в спальню сестры. Через десять минут появился Ферран, компаньон Деана, — он ничего не понял из того, что со слов домработницы передала ему секретарша, и приехал сам, чтобы все выяснить. Они долго искали лондонский адрес и телефон Деана, но ничего не нашли, потом позвонили знакомому врачу, и, пока тот осматривал тело и звонил в полицию (о причине смерти я не спрашивал, мне это по-прежнему было не важно, жизнь — она такая хрупкая: эмболия мозговой артерии, апоплексический удар, инфаркт миокарда, аневризма аорты, разрушенные менингококком надпочечниковые капсулы, передозировка лекарства, внутреннее кровоизлияние через несколько дней после того, как человека сбил автомобиль, — мало ли по какой причине может внезапно наступить смерть, безжалостная смерть, не встретившая сопротивления со стороны той, что умерла в моих объятиях, безропотно, как послушная девочка, покорно принимающая все), Ферран оставался с врачом, а Луиса отвезла ребенка к своему брату Гильермо — нужно было увезти его как можно скорее, чтобы он как можно скорее начал все забывать и ни-

чего не спрашивал, — и потом поехала к отцу, чтобы известить его. Домработницу попросили пока никуда не уходить, но ничего не трогать и ничего не выбрасывать — нужно было еще раз поискать телефон Деана в Лондоне. Та согласилась, но на кухне, уже переодевшись в рабочую одежду, долго ворчала, что вот сейчас теряет попусту время, а потом все придется делать второпях. Как только Тельес смог встать с кресла, в которое он упал (вернее, он просто обмяк в кресле, в котором уже сидел), закрыв лицо руками, и выпить виски, которое, несмотря на ранний час (в Мадриде до обеда не пьют), налила ему дочь, Луиса отвезла его к Марии Фернандес Вера. Перед выходом она, наверное, крепко-накрепко завязала ему шнурки, чтобы он не споткнулся. Его ослабевшие от тяжелого известия ноги то и дело подгибались — казалось, он шел по глубокому снегу и его маленькие ступни бывшего танцовщика проваливались при каждом шаге. Пока Луиса была у отца, Мария Фернандес Вера, которая с той самой минуты, как малыша привезли к ней, обнимала его и обливала слезами, выкроила минутку, чтобы позвонить мужу на работу, так что он вернулся на улицу Конде-де-ла-Симера вместе с Луисой (то есть Луиса вернулась туда, а он туда приехал), где уже другой врач (судебный врач с пышными бакенбардами, которые, наверное, призваны были компенсировать отсутствие волос у него на голове) выписывал свидетельство о смерти. Ферран к тому времени уже ушел ("в сильном потрясении", по словам домработницы) — спустился в кафе выпить чего-нибудь. Луиса сходила за ним, и они снова принялись разыскивать Деана: Луиса, Гильермо и домработница искали бумажку с номером телефона и адресом, Ферран звонил английским партнерам, с которыми, как предполагалось, должен был встретиться Деан в Лондоне. Но Ферран почти не знал английского (по-английски хорошо говорил Деан, поэтому он и ездил везде), и из разговора с единственным человеком, которому он смог дозвониться, он понял только то, что этот человек не получал от Деана никаких известий и даже не знал, что Деан уже в Лондоне. Они позвонили еще нескольким близким. Нужно было, чтобы об обстоятельствах — не о причине — этой смерти узнало как можно меньше людей, поэтому решили известить о случившемся только немногих во избежание лишних расспросов. Но все равно дом скоро наполнился родственниками, друзьями, соседями и просто любопытствующими (эти стервятники всегда слетаются, чтобы поглазеть на чужое горе). Наверняка там была и та девушка в бежевых перчатках, но я о ней не спросил. Пришел бородатый судья, и тело наконец увезли. Несколько человек отправились сопровождать его, в их числе Гильермо, а потом и Мария Фернандес Вера — после того как Луиса забрала от нее отца и Эухенио, высвободившегося из объятий тетушки. Она отвезла Тельеса к нему домой, дала ему успокоительное, потом заехала к себе, чтобы взять свои вещи, и с валившимся с ног от усталости Эухенио уже около одиннадцати вечера, в третий раз за этот день, вернулась на Конде-де-ла-Симера — она оставалась ночевать там, и Эухенио должен был ночевать с ней: считается, что те, в чьем доме покойник, не должны покидать дом в первую ночь, иначе им трудно будет потом туда вернуться или они вообще не захотят возвращаться. Она посоветовалась с отцом, и он сказал, что она решила правильно.

Домработница ушла в очень плохом (по словам консьержа) настроении: ей не дали никаких указаний, о ней все забыли (только Луиса обратилась к ней один раз с просьбой одолжить ключ). Однако на следую-

щий день она обещала прийти, чтобы все убрать, — она ведь все понимает. Луиса уложила измученного малыша (его комната была единственным местом в доме, где все было как прежде: никто не прикоснулся к самолетам, хотя все, кто проходил мимо открытой двери, обращали на них внимание и заглядывали в комнату), соска и кролик были по-прежнему при нем. Луиса тоже приняла успокоительное, вынесла мусор (или она сделала это позднее, а сначала попыталась навести хоть какой-то порядок и предприняла еще одну безнадежную попытку найти пропавший адрес?), поменяла простыни на постели Марты (никто не позаботился об этом, а домработница не проявила инициативы). Она легла в постель и только тогда подумала обо мне (хотя еще не знала, что я это я): она вспомнила, что Марта больше двадцати часов назад оставила на ее автоответчике сообщение ("Я встречаюсь сегодня с одним типом, я его почти не знаю, но он вполне ничего, мы познакомились на коктейле, а потом как-то он пригласил меня выпить кофе, он знает всех и вся, разведен, кроме всего прочего, пишет сценарии. Сегодня я пригласила его на ужин — Эдуардо в Лондоне. Я не знаю, что из этого выйдет, но, может быть, что-нибудь выйдет, так что я немножко нервничаю"). Имени моего она не назвала. Луиса лежала в постели сестры, думала о ней и не понимала того, что произошло, не понимала этой неожиданной смерти, словно вдруг перестала понимать разницу между жизнью и смертью, разницу между человеком, которого не видишь в данный момент, и человеком, которого уже не увидишь никогда, как бы этого ни хотелось (мы никого не видим постоянно, разве что самих себя, да и то не полностью — только свои руки или ноги). "Я не знаю, почему я жива, а она умерла, не знаю, чем одно отличается от другого. Сейчас я не понимаю, что значит "жизнь" и что значит "смерть". Вот о чем думала она и думал вместе с нею я, пока она мне это рассказывала. Она включила телевизор, потому что не могла уснуть, несмотря на усталость, боль и горе. Она даже не пыталась заснуть — для нее было еще слишком рано. Она даже не разделась. В первом часу зазвонил телефон, и звонок напугал ее. Именно тогда она заметила, что в автоответчике не было кассеты: он почему-то не включался, а телефон все звонил и звонил. В волнении она сняла трубку. Она хотела (и одновременно боялась этого), чтобы это звонил Деан из Лондона — он ведь мог позвонить домой, даже не зная о том, что случилось. Но это был Ферран. Он дозвонился еще до одного из партнеров в Лондоне, и тот наконец сказал ему, в каком отеле остановился Деан — в отеле "Вильбрахам". Он не хотел звонить туда сам, не решался: нельзя, чтобы об этом спокойно сообщал друг (а Ферран уже успокоился — прошло достаточно много времени). "Я позвоню, — сказала Луиса, — но не сомневаюсь, что он позвонит тебе, когда узнает, что ты приехал сразу же после меня и видел Марту такой, какой ты ее видел". — "Если он позвонит сам, это другое дело, — сказал Ферран, — но я не в состоянии сообщить ему эту новость вот так, по телефону. Ты расскажешь ему, что она была не одна?" — "Я предпочла бы подождать, пока он вернется, но боюсь, что это мне не удастся: он будет меня расспрашивать, он захочет узнать все подробности — как это случилось, почему она не позвонила ему сразу, как только почувствовала себя плохо. Скрыть это будет невозможно — слишком многие уже знают, так что придется ему сказать. Лучше, чтобы он знал". И тогда Луиса позвонила в отель "Вильбрахам" (я не спросил, с кем она попросила ее соединить: с мистером Деаном — или Дином — или с мистером Бальестеросом), так что он уже

все знал, когда я позвонил ему в час ночи из телефона-автомата и повесил трубку, услышав его голос. Ему уже все рассказала Луиса, а потом подтвердил его компаньон, так что теперь он должен был пересмотреть, переоценить или по-другому рассказать все, что он делал в течение тех двадцати часов, которые вдруг превратились во что-то зыбкое и ирреальное, — такими станут для меня воспоминания о персонажах Макмюррея и Барбары Стенвик в тот день, когда я снова (уже целиком) буду смотреть этот фильм с субтитрами, а для Only the Lonely таким будет (когда ему дадут кассету, которую для него обещала достать сеньорита Анита) тот эпизод из "Полуночных колоколов", который он посмотрел в бессонную ночь. Или сцены воздушного боя, который вели пилоты "спитфайров", и сцены из фильма про королей и призраков, которые видел я тоже в бессонную ночь два с половиной года назад, — мне до сих пор не удалось найти ни один из этих фильмов, которые шли одновременно, я до сих пор не знаю, что это за фильмы. Те двадцать часов стали для него чем-то вроде заколдованного времени (или сна), временем, о котором нужно забыть, словно его и не было никогда, — но забыть нельзя: воспоминание занозой застряло в памяти.

Потом Луиса снова легла (разговаривая с Деаном, она сидела на кровати — трудно утешать вдовца издалека, да еще и лежа) и долго смотрела телевизор, пока сон не начал одолевать ее (кажется невероятным, что после смерти близкого человека можно заснуть, но все-таки в конце концов все засыпают). Тогда она заставила себя подняться и раздеться — без моей помощи, без чьей-либо помощи: подошла к окну и начала снимать свитер через голову. Скрестив руки, она потянула свитер снизу вверх и сдернула его одним рывком, так что рукава вывернулись и теперь держались только на кистях рук. В таком положении она простояла несколько секунд, и вся ее фигура выражала усталость (усталость после этого движения или после тяжелого дня) — так стоят застигнутые бедой люди, которые не могут перестать думать о своем несчастье, а потому раздеваются медленно и, сняв одну вещь, задумываются или погружаются в себя. А может быть, сняв свитер, она взглянула в окно и увидела что-то или кого-то — возможно, она увидела такси и возле него — меня.

— Он тебя ищет, — закончила она свой рассказ о том, чего я не знал или о чем только догадывался, — и мне придется рассказать ему, что я тебя нашла.

— Я знаю, — ответил я и сказал ей о том разговоре, который подслушал, выходя с кладбища: — Я признался Луисе, что был в то утро на кладбище. "Слышно что-нибудь про того типа?" — спросил человек, который шел впереди меня, а женщина, что шла с ним рядом, ответила: "Ничего. Но они только начали его искать, и Эдуардо настроен решительно". — Я не сказал ей, что они не были мне совсем уж незнакомы: их зовут Висенте и Инес, и с Висенте мы чуть не породнились.

Ресторан уже закрывался. Я давно расплатился, хозяева любезно делали вид, что снимают кассу и пересчитывают выручку. Мы съели все, что нам принесли, даже не поняв, что это было. Луиса машинально поднесла к губам салфетку (она положила ее на стол после десерта, это было уже давно). От кофе она отказалась, но попросила принести грушевый ликер.

— Вот, значит, как, — сказала она, — уже все вокруг знают. Кроме отца, к счастью. Надеюсь, он никогда не узнает.

— Я бы хотел, чтоб, перед тем как говорить с Эдуардо, ты послушала кассету, — сказал я. — На ней есть кое-что, о чем ты, возможно, не догадываешься. А уж он-то наверняка не догадывается. Если хочешь, заедем сейчас ко мне на минутку. Потом я отвезу тебя домой на такси. — Я улыбнулся и добавил: — Теперь ты меня уже немножко знаешь (а про себя подумал: "И, может быть, еще больше тебе предстоит узнать").

Луиса нахмурилась и посмотрела на меня пристально, словно подслушала мои мысли. Любопытство боролось в ней с усталостью (когда слушаешь, очень устаешь) и недоверием. Любопытство взяло верх. Она была очень похожа на Марту, даже когда ее лицо не было искажено болью, как тогда на кладбище. Она была моложе (хотя потом станет старше), вероятно, красивее (или просто не смирилась с тем, что дала ей судьба). Она сказала:

— Хорошо, но тогда пойдем прямо сейчас.

Я знал (и сейчас знаю) эту пленку наизусть, а она слушала ее впервые. Я предложил ей выпить, но она отказалась. Я попросил ее подождать немного в гостиной, пока я (наконец-то! какое облегчение!) переобувался в спальне. Она села на краешек кресла, в котором я обычно читаю или курю, когда мне надо о чем-то подумать (пальто она небрежно бросила на подлокотник, как человек, который зашел в дом только на минутку). Она и так сидела на самом краешке, но еще больше подалась вперед, услышав первый голос, торопливый и монотонный, который говорил: "Марта? Марта, ты там? Нас что, разъединили? Ты слышишь меня? Ты меня слышишь? Что за игры! Или тебя дома нет? Но я же только что звонил, и ты брала трубку? Эй, сними трубку, черт возьми!.." Когда этот неприятный бритвенный голос замолк, я нажал на "Стоп", и она сказала (сказала мне, но в то же время произнесла это как бы про себя):

— Это Висенте Мена. Он друг моей сестры. В общем, у них был роман какое-то время, еще до знакомства с Эдуардо. Потом они остались просто друзьями. Они часто встречаются все четверо — он, его жена Инес, Марта и Эдуардо. Я понятия не имела об этом. Марта никогда мне не говорила, что между ними снова что-то началось. Какой отвратительный тип! — Она замолчала. Она употребила глагол в настоящем времени: "они часто встречаются все четверо". Нам трудно привыкать говорить об умерших близких в прошедшем времени. Она потерла висок и задумчиво добавила: — А может быть, это никогда и не кончалось? Надо же, какая глупость!

— Что это за ночные дежурства у его жены? — спросил я (это был вопрос второстепенный, но ответы на главные вопросы я все равно вряд ли получу). — Чем она занимается?

— Точно не знаю, я с ними не в очень близких отношениях. Кажется, она работает в суде, — ответила Луиса. Я нажал на кнопку, и зазвучала следующая запись: "...ладно, — говорил женский голос (и я понял, что это голос Луисы: теперь этот голос был мне хорошо знаком, ведь мы проговорили с ней целый вечер), — обязательно позвони мне завтра и все расскажи в деталях. Судя по всему, он ничего, но — кто знает. Честно говоря, не понимаю, как ты решилась на такое". Луиса закрыла глаза и сказала: — Это я. В тот день она оставила сообщение на моем автоответчике — рассказала, что собирается встретиться с тобой, и я ей перезвонила. Как давно это было!

Я остановил пленку.

— Интересно, а почему она тебе об этом рассказала?

– У них с Эдуардо в последнее время не ладилось. Но она только придумывала себе романы, и дальше фантазий дело у нее не шло. По крайней мере, так я думала до сегодняшнего дня. Висенте Мена, надо же! Какая глупость! – повторила она с удивлением и горечью. – А так мы обычно друг другу рассказывали все или почти все. Впрочем, возможно, она рассказывала мне свои фантазии, а я ей – правду. ("Я тоже фантазия, – подумал я. – По крайней мере, был фантазией до того, как пришел на улицу Конде-де-ла-Симера. Да и потом, наверное, тоже: я был призраком и злым духом и остаюсь им до сих пор".) – Я не знаю, – продолжала Луиса, – какой был смысл все рассказывать: мы не навязывали друг другу своего мнения, не осуждали и не поощряли друг друга, не давали советов – мы просто слушали. Есть люди, которых мы любим, и, что бы они ни делали, мы на их стороне. – Луиса потирала висок, не замечая этого. "...Марта, скажи Эдуардо, что говорить "оставьте информацию" неправильно, надо говорить "оставьте сообщение", – это был голос старика, который, слегка кокетничая, жалел себя: "Povero me". – Это мой отец. Вот уж кто в самом деле бедный! Они были очень близки с Мартой, она проводила с ним больше времени, чем я, она выслушивала его рассказы о стычках с коллегами, о мелких интригах и о его связях при дворе. Он бы по десять раз в день рассказывал ей о тебе – для него это большое событие: у него дома несколько дней работает человек! Наверное, именно поэтому он захотел познакомить нас с тобой: чтобы нам легче было представить вас рядом и чтобы мы могли высказать свое мнение, когда он будет рассказывать о тебе нам. То есть мне – Эдуардо он рассказывать не будет. – Она не понимала, что говорила о невозможном: Тельес не смог бы говорить обо мне с Мартой, потому что я не захотел бы познакомиться с Тельесом, если бы Марта не умерла. "Марта, это Ферран..." Феррана Луиса выслушала молча: он не сказал ничего для нее нового. Я не стал останавливать пленку, и сразу же зазвучало другое сообщение, точнее, его конец. Голос говорил: " ...пусть будет, как ты скажешь, как ты хочешь. Решай ты". Сейчас я был уверен, что это не тот голос, что звучал раньше, и значит, не голос Луисы (хотя женские голоса больше схожи между собой, чем мужские). Луиса попросила меня перемотать пленку назад. Прослушав кусок еще раз, она сказала: – Не знаю, кто это может быть. Я не могу узнать этот голос. Наверное, он мне просто незнаком. Я никогда его не слышала.

– Тогда ты не можешь определить, кому эта женщина звонила – Деану или Марте.

– Не могу.

– Сейчас буду я. Это я, – поспешил я объяснить, прежде чем мы услышали следующее сообщение (тоже неполное), за которое мне было так стыдно: "...если не возражаешь, можем встретиться в понедельник или во вторник. Если не можешь – придется перенести все на следующую неделю: со среды я буду завален работой". Как я мог сказать "буду завален работой"? Что за комедию ломал? – снова подумал я. Я был сам себе противен. Луиса молчала. Снова прозвучал сигнал, и знакомый жужжащий голос сказал: "Эдуардо, это я, не ждите меня, садитесь ужинать без меня..." и так далее, до того места, где он попросил оставить ему ветчины и сухо попрощался: "Пока!"

– Это опять Висенте Мена, – сказала Луиса, – они часто ходят куда-нибудь ужинать вчетвером или большой компанией. – Она снова ошиб-

лась, употребив глагол в форме настоящего времени. Я остановил пленку и сказал: "Осталось еще одно. Вот послушай".

И снова раздался этот плач, горький плач взахлеб, который не дает ни говорить, ни думать: "Пожалуйста!.. Пожалуйста!.. Пожалуйста!" — женщина не столько умоляла, сколько заклинала, словно произносила слова, лишенные смысла, но способные спасти или отвести беду.

— Кто это? Кто эта женщина? — испуганно спросила меня Луиса. Вопрос был странный — откуда было знать это мне, случайному и временному владельцу пленки (укравшему или просто хранившему ее), хотя я и слушал пленку несчетное количество раз.

— Не знаю, — ответил я, — я думал, что ты можешь это знать. Кого умоляла эта женщина — Деана или Марту? — снова задал я вопрос, который не шел у меня из головы.

— Не знаю. Скорее всего, его. Думаю, что его, — сказала Луиса. Она была ошеломлена, потрясена больше, чем тогда, когда услышала первое сообщение Висенте Мены и узнала грубую правду. Она с силой терла висок — этот жест должен был показать, что она спокойна (но спокойной она не была), или помочь ей взять себя в руки. Помолчав немного, она добавила: — Но я не уверена. Я предположила это только потому, что умоляет женский голос.

Еще не решив для себя, стоит ли говорить Луисе о том, о чем в этот момент подумал я, стоит ли забивать ей голову тем, что вот уже столько времени не давало покоя мне, я уже спросил:

— А это не могла быть Марта?

— Марта? — Луиса даже вздрогнула: тому, кто живет один, очень трудно представить человека, звонящего себе домой. Но я не всегда жил один.

— Это не может быть голос Марты? Ее сообщение для Деана, вернее, не сообщение, а звонок — никакого сообщения она не оставила.

— Можно послушать еще раз? — попросила Луиса. Сейчас она сидела уже не на краешке моего кресла, она расположилась в нем удобно, она больше не торопилась уйти, в ее широко раскрытых глазах сгустилась темная ночь. Было странно видеть, что в моем кресле сидит другой человек, сидит женщина. Это было приятно. Я перемотал пленку назад, и мы еще раз услышали голос, так искаженный плачем и мольбой, что трудно было бы узнать его, даже если это был голос знакомого нам человека. Человека, знакомого или только ей, или только мне (нашими общими знакомыми были Марта и малыш, а теперь прибавились еще Деан и Тельес). Я и свой собственный голос не узнал бы, если б в нем звучало такое отчаяние.

— Не знаю, — сказала Луиса, — это может быть и Марта. И кто угодно. Может быть и та женщина, что звонила ему раньше. Та, что сказала: "Решай ты".

— Что за жизнь ведет Деан? Ты знаешь? — спросил я не потому, что мне было интересно, — просто эти же вопросы задавала себе сама Луиса. Я вообще не проявлял любопытства, я не хотел ничего выяснять о Марте — она умерла, а мертвые никого не интересуют, несмотря на многочисленные фильмы, романы и биографические книги, которые исследуют жизни тех, кого уже нет. Те, кто умерли, — умерли, и ничего здесь не поделать. О Деане я тоже не хотел узнать больше, чем уже знал (я хотел бы больше узнать о Луисе, и это было вполне возможно). В глубине души я понимал, что, даже если я узнаю что-то (если есть что узна-

вать), я все равно не смогу жить так, как прежде, словно связь между мной и Мартой Тельес не разорвать никогда или ее очень трудно будет разорвать — потребуется слишком много времени, и я, возможно, навсегда останусь haunted.

Луиса положила ногу на ногу. Туфельки ее были все так же безупречно чисты, словно она не ходила много часов по мокрому асфальту.

— Я бы выпила чего-нибудь, — сказала она. — У меня в горле пересохло.

Она уже не спешила, уже не чувствовала себя неловко в моем доме. Нас объединила пленка, которую мы прослушали вместе, пленка, на которой среди других голосов (некоторые из них нам даже незнакомы) звучат и наши голоса — ее и мой. А еще нас сближала усталость и то, что мы рассказали друг другу (теперь каждый из нас знал все: я рассказал то, что было до, а она — то, что было после того, что уже не исправить и что, наверное, уже не так нас и интересовало: все это уже в прошлом). Я встал и направился в столовую, чтобы налить ей виски. Она тоже поднялась и пошла следом за мной, непринужденно прислонилась к дверному косяку и смотрела, как я достаю бутылку, лед, бокал, воду. Иногда так разговаривают супруги: один ходит за другим по пятам, пока тот наводит порядок, готовит ужин, гладит или убирает. Их дом — это общая территория, здесь не надо назначать свиданий, не обязательно садиться, чтобы поговорить или рассказать что-то, здесь можно делать домашние дела и одновременно разговаривать: спрашивать и отвечать. Я знаю это, потому что я не всегда жил один.

— В общем, я тебе уже говорила, что у них начались нелады какое-то время назад, — говорила Луиса. — Думаю, что у него кто-то был, — мужчинам недостаточно только придумывать себе романы. Но наверняка я ничего не знаю, доказательств у меня нет.

Я подал Луисе виски, а себе налил граппы.

— Твое здоровье, — поднял я бокал и, осмелев, обратился к ней с просьбой, согласившись выполнить которую она окончательно стала бы на мою сторону, — чтобы завоевать расположение человека, достаточно попросить его об услуге (а их охотно оказывают почти все). Просьба была естественная и вполне понятная, хотя она могла бы ее и не выполнять — у Луисы Тельес пока еще не было причин в чем-то идти мне навстречу: — Будь добра, не говори обо мне Деану, пока мы с твоим отцом не закончим работу. Осталась еще неделя. Ты можешь рассказать ему на следующей неделе, он ведь не знает, когда именно мы с тобой познакомились. Пожалуйста. Я хотел бы закончить начатое, тем более что мы работаем на пару с одним приятелем. Кто знает, как поведет себя Деан. Возможно, он захочет помешать нашей работе, может быть, даже расскажет все твоему отцу, чтобы отлучить меня от него, от всех, от Марты.

Луиса сделала глоток (звякнули льдинки), шагнула вперед, облокотилась левой рукой — в правой она держала бокал — на столик (звякнули браслеты) и спросила:

— Который час?

На руке у нее (на правой, как у левши) были часы, так что вопрос она задала только для того, чтобы выиграть время, или боялась, что прольет виски, если повернет руку.

— Почти час, — ответил я. Я чуть не пролил свою граппу.

— Поздно уже. Все, сейчас ухожу.

"Интересная фраза, — подумал я. — Она означает (несмотря на то что глагол стоит в настоящем времени), что Луиса еще не уходит, что она еще немного побудет со мной, по крайней мере пока не допьет свое виски. Через некоторое время она скажет: "Я пойду", а еще чуть позже: "Я пошла" — и только тогда действительно уйдет." Мы вернулись в гостиную (я направился в гостиную, и она последовала за мной, словно мы были супруги, а не едва знакомые друг другу люди). Она ходила по комнате, разглядывала мои книги и видеокассеты, время от времени поднося к губам бокал. Ей было очень тяжело — виноваты в этом были я и пленка, которую она только что слушала. Она стояла ко мне спиной.

— Так ты не расскажешь?

Она повернулась и посмотрела мне в глаза — она избегала смотреть мне в глаза с той минуты, когда спросила, который час. В ее глазах я видел отражение мужчины — свое отражение.

— Не расскажу, — ответила она. — Но если ты боишься, что Эдуардо захочет набить тебе морду или что-нибудь в этом духе, то совершенно напрасно. Мы уже не в том возрасте.

— Вот как? — наивно спросил я, возможно, даже с некоторым разочарованием: напряжение спало, мне напомнили, что я уже не так молод. — И чего же он тогда хочет? Почему так рвется разыскать меня? Чего он хочет? Узнать, как все было? Но ты и сама можешь рассказать ему все, что узнала от меня.

— Расскажу, расскажу, не волнуйся, — успокоила меня Луиса. — Тебе не придется еще раз все повторять. Если не возражаешь, я расскажу ему все в понедельник — я не хочу заставлять его ждать дольше, чем это необходимо. Тебе сейчас нелегко, я понимаю. — Она понимала меня, она давала мне больше, чем я просил.

— Да, хорошо, в понедельник. Спасибо. К понедельнику я уже закончу работу, и твой отец все отнесет. Но чего же все-таки хочет Эдуардо? Зачем он меня разыскивает? — снова спросил я.

— Не знаю. Он мне не сказал. Но он действительно часто повторяет, что хочет найти человека, который был в ту ночь с Мартой, чтобы кое-что ему рассказать. Он сам тебе скажет, чего он хочет.

"Вот как, — подумал я, — он тоже хочет что-то рассказать. Он тоже устал, у него тоже неспокойно на душе".

— Запиши мой номер, — сказал я. — В понедельник можешь дать его Эдуардо, чтобы ему не пришлось его искать или спрашивать у твоего отца. — Я сам записал свой номер на желтом листочке с клейким краем — у меня тоже лежит такой блокнотик возле телефона, как и у всех.

Луиса взяла листок и положила его в карман. Сейчас она действительно казалась усталой и подавленной — словно вся тяжесть прошедшего дня вдруг навалилась ей на плечи: у нее, наверное, больше не было сил думать обо всем этом: об отце, о малыше, о Деане, обо мне, о сестре, живой и мертвой. Она снова села в мое кресло, словно у нее не было сил стоять. В правой руке она по-прежнему держала бокал, а левой она закрыла лицо, как тогда на кладбище, хотя сейчас она не плакала. Люди закрывают так лицо, когда им стыдно или страшно, когда они не хотят ничего видеть или не хотят, чтобы на них смотрели. Я не мог не смотреть на ее губы — эти губы! — которые рука не закрывала. Она все еще не сказала: "Я пошла".

Всю неделю я, под присмотром Тельеса, работал, а в воскресенье мы с Руиберрисом де Торресом отправились на ипподром. Пришло время отблагодарить его, вернуть долг — рассказать ему о том, что случилось со мной и с почти незнакомой мне женщиной больше месяца назад. Я не сомневался, что ему понравится эта история, он даже слегка мне позавидует: если б такое произошло с ним, он тут же раззвонил бы об этом на всю округу, и рассказ получился бы одновременно мрачным и пикантным, печальным и забавным — нечто среднее между ужасной смертью и смешной смертью. То, что само по себе не является ни грубым, ни возвышенным, ни трогательным, ни прелестным, может стать и прелестным, и трогательным, и возвышенным, и грубым — все зависит от того, как рассказывать. Я изложил все очень быстро, хотя мне то и дело приходилось прерывать рассказ: когда лошади выходили на финишную прямую и мы следили за ними в бинокли, когда мы сами переходили с трибун в паддок, из паддока — в бар, а оттуда — к тотализатору и снова на трибуны. Нельзя дважды рассказать что-то совершенно одинаково — ни тем же тоном, ни теми же словами, да и рассказчик каждый раз будет другим, даже если это один и тот же человек. Я рассказывал небрежно и рассеянно и в то же время старался, чтобы эта история ему понравилась. Я выпалил все одним духом. "Да ну! — повторял он время от времени. — Вот так вот взяла и умерла на твоих глазах? — для него главным было это, он только это и увидел: что она вот так вот взяла и умерла на моих глазах. — И ты даже переспать с ней не успел? — его забавляла моя неудача. Ну что же, я действительно не успел с ней переспать, мне действительно не повезло. — Так она дочь Тельеса Орати? Ну надо же!"

Выражение ужаса на его лице сменялось улыбкой — с таким выражением читают в газете о чьей-то смерти, которая кажется нам смешной: о том, что, когда человек умер, на нем были только носки, или он умер в парикмахерской, в борделе или в кресле зубного врача, или ел рыбу и подавился костью, как ребенок, когда рядом не оказалось матери, которая засунула бы ему в рот палец и спасла его, — к такой смерти нельзя относиться серьезно, о ней рассказывают как о представлении, как о спектакле. Так же рассказывал об этой смерти и я. Рассказывал на ипподроме (куда так часто приходил Тельес, когда был помоложе): возле тотализатора, в баре, и на паддоке, и стоя на трибуне, и глядя в бинокль на лошадей, которых с каждой минутой все больше скрывал от нас туман. В том месяце в Мадриде туман стоял с утра до вечера, такого не было уже сто лет. На дорогах то и дело случались аварии, в аэропортах откладывались рейсы. Лошади, казалось, плыли по воздуху (ног их в тумане не было видно, мы видели только их призрачные крупы и головы), словно это были лошадки с каруселей нашего детства. Туман стоял всего несколько дней, а до этого целый месяц бушевали грозы. На Руиберрисе был плащ, пояс которого он, как и положено пижону, всегда туго затягивал (я пояс не завязывал никогда), оба мы были в жестких кожаных перчатках. Мы походили на телохранителей. Он улыбался во весь сияющий рот, демонстрируя внутреннюю поверхность нижней губы в похотливой улыбке. Он без всякого интереса наблюдал за первыми, ничего не решающими забегами, озирался по сторонам (даже в то время, когда я рассказывал) в поисках очередной жертвы или кого-нибудь из знакомых, с кем можно было бы поздороваться или перекинуться словом. От него слишком сильно пахло туалетной водой. Я рассказал ему не все. Я не сказал ни слова о Луисе и о том, каким я видел мое и ее

будущее: достаточно того, что я рассказал о той смерти и об адюльтере, который закончился, так и не начавшись. Потом я сказал ему, что накануне мы завершили работу над порученной нам речью, и передал ему один экземпляр — как-никак он тоже имел право на часть скудного гонорара (если нам все-таки заплатят): я действовал от его имени.

— Хорошо получилось? — спросил он, небрежно скрутил листы, даже не взглянув на текст, и сунул их в карман.

— Как всегда. Такая же пустая и скучная. На нее опять никто не обратит внимания. Тельес держал меня на коротком поводке, следил, чтобы я не очень-то увлекался. Впрочем, исправлять ему пришлось не много — я и сам не слишком вольничал: помнил, для кого пишу. Ты же знаешь, заказчик (или имидж заказчика, если это человек известный) всегда стоит перед глазами, пока работаешь. От этого никуда не деться.

Мы работали всю неделю, и Тельес, все время пребывавший в радостном волнении, все больше проникался ко мне доверием. Он то и дело приходил ко мне, поправлял меня, инспектировал, советовал, поучал на правах знатока благородной души нашего заказчика. Он был в приподнятом настроении все эти дни: у него было дело, это было дело государственной важности, у него был подчиненный, который приходил каждое утро и весь день был в его распоряжении. Иногда он прерывал работу, чтобы поговорить о чем-нибудь другом, — о том, что напечатано в похоронной газете (он всегда читал ее чрезвычайно внимательно), о катастрофическом положении в стране, о том, как тщеславны и смешны его знаменитые коллеги. Разговаривая со мной, он курил свою трубку или просил у меня пару сигарет — он неловко держал сигарету большим и указательным пальцами, как держат кисть или кусочек мела, и осторожно затягивался несколько раз, краснея после каждой затяжки. Время от времени он уходил на кухню смолоть кофе, а иногда заставлял меня сделать перерыв, наливал себе и мне портвейна и вслух перечитывал отредактированные страницы: отбивал ритм, размахивая рукой, в которой держал бокал, добавлял какую-нибудь запятую или заменял запятую точкой с запятой (этот знак ему особенно нравится, потому что он "дает возможность перевести дыхание и не сбиться с мысли"). Телефон звонил очень редко — никто не хотел с ним поговорить, никто в нем не нуждался. Лишь изредка я слышал, как он разговаривал с дочерью и со снохой, но обычно это он под разными предлогами звонил им на работу. Его жизнь была пустой и бесцветной. В последний день, в субботу, когда я был у него, ему принесли огромную корзину цветов. Цветы послал я, заказал их в самом дорогом магазине. Я не вложил в букет ни карточки, ни записки — я знал, что это его заинтригует и развлечет на несколько дней (пока цветы не завянут), и он будет не так скучать, когда наша работа закончится и я больше не буду приходить к нему по утрам: не приду ни в воскресенье, ни в понедельник, ни во вторник, ни в какой-нибудь другой день. Прислуга в старомодном фартуке внесла корзину (прямо в целлофане) в гостиную и поставила на ковер. Тельес изумленно (он даже с кресла поднялся) глядел на цветы, словно это был неизвестный науке зверь.

— Разверните, — велел он прислуге таким тоном, каким римские императоры приказывали рабу: "Пробуй" — перед тем как самим отведать яство, возможно отравленное. И когда целлофан был снят, он несколько раз обошел вокруг корзины, разглядывая цветы с недоверием и радостным волнением. — Анонимные цветы, — повторял он, — какого черта кто-

то прислал мне цветы анонимно? Виктор, пожалуйста, посмотрите еще раз — может быть, там все-таки есть карточка. Посмотрите хорошо между стеблями. Странно, странно! — и он почесывал подбородок чубуком давно погасшей трубки, а я, ползая по полу, искал то, чего — я-то точно знал — там не было. Он показывал на цветы пальцем, так же как тогда на кладбище показывал на свои ботинки. Большой палец другой руки он засунул под мышку, как засовывают хлыст. Он хотел что-то сказать, но тут же забыл что — он был слишком возбужден. Он так и не подошел к корзине. Наконец он снова тяжело опустился в кресло и, подавшись вперед, сосредоточенно смотрел на стоявшие на ковре цветы как на чудо.

— Я понимаю, — сказал он, — если бы у меня сегодня был день рождения или день ангела. Юбилея вроде тоже никакого нет. И из Дворца их не могли прислать — работу мы еще не отвезли. Интересно, что скажут об этом Марта и Луиса, может быть, они найдут объяснение? Надо рассказать Марте. Сейчас ей позвоню — у нее иногда утром нет занятий. К тому же сегодня суббота, она наверняка дома. — Он даже сделал попытку подняться, чтобы пойти к телефону, но тут же снова упал в кресло и откинул голову на спинку, словно его вдруг захлестнула огромная волна или воспоминание лишило его сил. А может быть, у него вдруг потемнело в глазах, и ему пришлось откинуть голову и закрыть глаза. Он очень быстро взял себя в руки и извинился (в этом не было нужды) передо мной: — Не подумайте, что я сошел с ума или у меня склероз, просто очень трудно привыкнуть, вы согласны? Трудно осознать, что того, кто существовал, больше не существует. — Он помолчал и добавил: — Я не знаю, зачем я еще живу, когда столькие уже ушли. — Большего он себе не позволил. Он снова с трудом поднялся, опираясь на подлокотники кресла, и еще раз медленно обошел вокруг корзины. Он всегда был безукоризненно одет дома, словно собирался куда-то, но никогда не уходил. Он всегда был при галстуке, в жилете и пиджаке. И всегда в ботинках. Однажды я слышал, как он прошелся по поводу этих ужасных спортивных брюк: "Не понимаю, как политики позволяют, чтобы их фотографировали в таком виде, — сказал он. — Больше того, я не понимаю, как им вообще не стыдно ходить в таком виде, даже если их никто не видит". Он всегда был подтянут и элегантен, он чем-то напоминал антикварную мебель, добротно сделанную и искусно украшенную. Он сунул трубку в рот и добавил: — Что за таинственный букет! Надо бы выяснить, от кого он, и поблагодарить. Но вернемся к работе, друг мой, иначе мы сегодня не закончим, а я привык держать слово, — и, взяв меня под руку, он повел меня обратно в свой кабинет, полный книг и картин, пестрый и еще живой, где очень скоро мне предстояло зачехлить мою пишущую машинку, которую я принес сюда и расчехлил неделю назад. Он не стал звонить Луисе сразу, он решил позвонить ей (и другим тоже) чуть позднее — теперь у него был для этого хороший предлог. Я подумал, что, наверное, у меня есть повод прийти еще и в понедельник: в этот день он отправится во Дворец, чтобы вручить наш совместный труд (его, мой и Единственного, а еще Руиберриса), которому не суждено остаться в веках. Вполне возможно, что он удостоится встречи только с Сегаррой — Неповторимый удостаивает аудиенции не каждый раз. Но когда жизнь так пуста и бесцветна, нельзя упускать ни одной возможности хоть как-то ее разнообразить. Может быть, он будет ломать голову над тем, кто прислал этот букет, еще не один день — может быть, даже всю следующую неделю.

В третьем забеге тоже не произошло ничего интересного. Мы пока ничего и не выиграли, мелкие клочки разорванных билетов усеяли землю. Мы смотрели, как по паддоку шли (словно по карусельному кругу) лошади, участвовавшие в очередном забеге, и он рассказывал мне смешные сальности о своей простодушной подружке, которая была влюблена в него как кошка и потакала всем его прихотям, когда рядом кто-то назвал его полное имя, — Руиберрис обернулся, я тоже. Он с недоумением смотрел, как женщина, выкрикнувшая его имя, решительно подошла ко мне, протянула мне руку и обратилась ко мне, непонятно почему называя меня его именем: "Сеньор Руиберрис де Торрес". Это была сеньорита Анита, столь преданная Единственному. С ней была подруга, того же роста и тех же пропорций. У обеих на головах были шляпки, словно здесь был Аскот[1]. В наши дни редко кто носит шляпы, и девушки выглядели довольно забавно. Я заметил, что Руиберрис чуть скривился, но это не помешало ему проявить к девушкам интерес — он не пропускает ни одной юбки. Я, впрочем, мало от него в этом смысле отличаюсь, разве что методы у нас разные. И к женщинам я отношусь по-другому. И интерес у меня пропадает раньше.

— Познакомьтесь: Виктор Франсес, — я кивнул на Руиберриса, — сеньорита Анита.

— Анита Перес-Антон, — поправила она. — А это Лали, моя подруга. — Она лишила Лали фамилии, как Отшельник лишил фамилии ее саму (он ведь нас друг другу так и не представил — мало того что он говорил всем "ты", он еще и хорошими манерами не отличался).

— Надеюсь, сегодня с вашими чулками все в порядке, — пошутил я (мне хотелось посмотреть, как она будет реагировать, она казалась сейчас не такой серьезной, как на работе). Она отреагировала прекрасно:

— Ну и опозорилась же я тогда! — засмеялась она, прикрыв рот рукой, и пояснила (подруге, а не настоящему Руиберрису): — Представляешь, у меня петля на чулке спустилась, и времени уже не было, чтоб переодеться перед встречей моего шефа с этим сеньором. Ну и кончилось тем, что чулок на глазах у всех совсем расползся. — И она жестом показала, до какого именно места расползся чулок, чуть приподняв при этом юбку, такую же короткую и узкую, как и в прошлый раз. Руиберрис, заметивший ее жест, предположил, наверное, что она рассказывает что-то неприличное. — Ты не представляешь! Чулок — сплошная дыра, и все делают вид, что ничего не замечают. Вот попала в переделку!

"Попасть в переделку" — это архаизм, но ведь она работала в таком месте, которое по своей природе является архаичным. Все больше слов выходит из употребления, этот процесс идет все быстрее. Я перебил ее:

— Кстати, работа уже закончена, завтра сеньор Тельес ее отвезет.

Услышав это, Руиберрис наконец-то все понял. Я думаю, после этого девушки заинтересовали его еще больше, хотя больше одного-двух заездов нам в их обществе не выдержать (им в нашем тоже). Лучше договориться о встрече вчетвером как-нибудь в свободный вечер.

— Завтра? — переспросила сеньорита Анита, на миг снова превратившись в официальное лицо. — Вас что, не предупредили, что Страсбург отменяется? Я лично дала указание позвонить сеньору Тельесу и предупредить его. Неужели его не предупредили?

1. Место в графстве Берк, близ Виндзора (Англия), где ежегодно в июне проводятся скачки, на которых собирается высшее общество и члены королевской семьи.

— Мы работали всю неделю, закончили только вчера, я ничего не знал, — ответил я, помолчав несколько секунд. — Может быть, сеньор Тельес забыл мне об этом сообщить. Он уже немолод, вы же понимаете.

Сначала мне стало жаль Тельеса, ведь он лишится возможности провести несколько часов во Дворце в понедельник, потом я подумал, что он, возможно, все знал, но скрыл, чтобы удержать меня при себе еще несколько дней. Написанный нами текст навсегда будет спрятан в стол — такие тексты пишутся для конкретных случаев. Эта мысль огорчила меня, хотя кто я, собственно, такой? Негр, призрак. "Бедный старик, — подумал я, — ему приходится хитрить, чтобы как-то разнообразить свою жизнь".

Вчетвером мы отправились к тотализатору. Я предупредительно поддерживал сеньориту Аниту за локоть, Руиберрис шел чуть позади и вынужден был беседовать с Лали.

— Сожалею, что вам пришлось работать напрасно, — сказала сеньорита Анита. — Но вам заплатят, не беспокойтесь, вам заплатят, как договаривались. Предъявите счет обязательно.

"Прямо как с моими сценариями, — подумал я, — я их пишу, но их не снимают. Что ж, по крайней мере мне дают работу, я не бедствую, как другие". Сеньорита Анита уронила программку, я нагнулся, чтобы поднять ее, она тоже. Когда мы поднимали головы (она чуть медленнее, чем я), я воспользовался моментом и незаметно сбил ее шляпку. Я снова нагнулся, теперь уже для того, чтобы поднять шляпку, но перед тем как поднять, незаметно потер ее о пол, а потом начал громко сокрушаться по поводу того, как она испачкалась.

— Вот черт! — сказала она. Не знаю, посмела ли бы она сказать такое во Дворце.

— Какая жалость! Только взгляните, как она испачкалась! Пол здесь просто ужасный. Не беспокойтесь, я ее подержу, пока мы не найдем, чем ее почистить. Сейчас заезд начнется. К тому же вам без нее лучше.

И действительно, у нее было приятное округлое лицо и красивые черные волосы, но главное — не было этой ужасной шляпы (в некоторых вопросах я максималист).

Мы сделали ставки. Девушки поставили какую-то мелочь, мы — более значительные суммы. Они, должно быть, подумали, что мы богаты. Вообще-то, по нынешним меркам, мы не бедны, особенно я — я не такой ленивый, как Руиберрис, и мне приходится рассчитывать только на себя. Он давал советы безродной сироте, а я — придворной даме. Мы вернулись на трибуны. Девушки держали свои билеты так, словно это была большая ценность и они боялись ее потерять, а мы свои билеты сунули в нагрудные карманы, где обычно лежат носовые платки (я никогда не кладу туда платков, а Руиберрис — всегда, и всегда очень яркие). Руиберрис расстегнул плащ, чтобы продемонстрировать свои грудные мышцы, мы сняли перчатки. У дам не было с собой биноклей, и нам пришлось одолжить им свои. Было ясно, что пятого, самого главного, заезда они не дождутся — и отлично, мы не хотели жертвовать этим удовольствием. Без биноклей, да еще в таком тумане мы ничего не видели и не знали, что происходит. Лали ошиблась и крикнула, что первой пришла та лошадь, которая на самом деле пришла не первой, — она хотела, она так страстно желала, чтобы выиграла лошадь, на которую она поставила свой последний грош. Никто из нас ничего не выиграл, и мы тут же в гневе порвали свои билеты в мелкие клочки. Девушки, правда, немного

подождали, надеясь, что кого-нибудь дисквалифицируют и лошади, на которых они ставили, окажутся в числе победителей. Пора было идти в бар возле паддока, проделать в очередной раз тот же путь — туда и обратно, который мы обычно повторяем на протяжении всех шести заездов: в этом и заключается главное удовольствие — провести в баре полчаса в ожидании очередного заезда, — иногда там случается пережить незабываемые минуты.

— А почему все отменилось? — спросил я Аниту, когда мы уже сидели за столиком и ей принесли кока-колу. Ее шляпка все еще была у меня и порядком мне надоела. — Мне казалось, что речь шла об очень важном деле? К тому же я полагаю, что у вашего шефа все расписано заранее и менять ничего нельзя.

— В принципе да, это так и есть, но у бедняжки так часто бывает депрессия, что иногда ничего другого не остается, как только все отменить. Лучше отменить сразу, чем постоянно откладывать, переносить и передоговариваться.

— Наверное, те, встречи с кем он отменяет, бывают этим очень недовольны? Они, наверное, чувствуют себя задетыми, обиженными? Не бывает дипломатических инцидентов из-за этого?

Она посмотрела на меня строго, поджала накрашенные губки и высокомерно ответила:

— Знаете что, а не пошли бы они все? Он и так делает намного больше того, что должен. Его и так в каждую дыру готовы засунуть. А он ведь один, понимают они это своими дерьмовыми башками? — Она ужасно сквернословила, но кто в наши дни не сквернословит?

— Потому-то его и зовут Единственный? — спросил я. — Вы его именно так зовете? То есть вы так к нему обращаетесь?

Этот вопрос вызвал у нее раздражение. Ей явно не нравилось, что прозвища, употреблявшиеся в самом интимном кругу, становились достоянием посторонних.

— Вы, сеньор Руиберрис де Торрес, слишком много хотите знать. — Настоящий Руиберрис де Торрес, сидевший недалеко от нас, инстинктивно вытянул шею, услышав свое имя. Он не знал, о чем мы говорили: Лали оказалась болтушкой, она молола всякую чушь не закрывая рта.

— Я надеюсь, что ваш шеф отменил свое выступление не потому, что у него что-то случилось?

— Нет-нет, с ним все в порядке, постучите по дереву, — и она схватила деревянные зубочистки, которые стояли в фарфоровом стаканчике на стойке бара. — Он просто очень устал, не рассчитал сил. Его постоянно о чем-нибудь просят, а он старается ублажить всех. И спит он плохо в последнее время. Раньше такого не было. Он говорит, что, как только он ложится в постель, ему в голову начинают приходить разные мысли, которые не дают ему уснуть. А иногда мысли приходят во сне, и он просыпается.

— Обычная бессонница, — ответил я. — Иногда мысли одолевают так, что их не могут побороть усталость и сон, а если и заснешь, то во сне все равно думаешь.

— Со мной такого никогда не случалось, — сказала Анита. Она и впрямь казалась человеком очень здоровым. Ничего удивительного, что Only the Lonely было приятно видеть ее рядом.

— Мне кажется, он упомянул об этом в тот день, когда мы встречались. А о чем он думает, когда не может уснуть? Он рассказывал?

— Он говорит, что думает о себе. Что у него есть сомнения. Нас всех это немного тревожит.

— Сомнения? В чем?

Сеньорита Анита снова вспылила. Она была очень вспыльчивая:

— Сомнения, черт возьми, сомнения! Какая разница, в чем именно! Вам этого мало?

— Да нет, вполне достаточно. Особенно когда речь идет о нем. А что он делает, когда у него бессонница? Работает, чтобы не терять времени зря? Вообще, ему лучше относиться к этому спокойно. Я это знаю, потому что у меня это тоже часто бывает в последние годы.

— Ну да, не хватало только, чтобы он еще и ночью работал! Он пытается как-то отдохнуть, когда ему не спится. Лежит, чтобы хоть ноги отдыхали, и читает. Или смотрит телевизор, хотя ночью мало каналов работает. Или кости бросает, чтобы это его утомило и он мог уснуть.

— Кости?

— Кости, кости, — и сеньорита Анита потрясла в руке воображаемые кости и подула на них — на счастье, словно мы были в Лас-Вегасе. Она, должно быть, смотрит слишком много фильмов — Лас-Вегас, Аскот. — Ну, давайте мою шляпу, — сказала она. — Пойду попробую отмыть ее. Вот я растяпа! Сама виновата! — Она забыла, что виноват был я.

Я с радостью вернул шляпу, но воды взять все равно было негде.

— Она испортится от воды, — сказал я.

— Эй, пора, — послышался голос Руиберриса, которому удалось на секунду прервать поток излияний Лали, — лошади уже давно вышли.

Мы бросились к тотализатору, чтобы успеть сделать ставки. У всех окошек стояли очереди, ипподром был полон людей, как и весь Мадрид в любое время, — в этом городе везде толпы. Наши дамы тупо смотрели на табло, не понимая ничего.

— Слушай, Ани, — сказала Лали, — в каком надо было ставить много, в четвертом?

— Ой, хорошо, что напомнила. Это ведь уже четвертый? — Анита торопливо открыла сумочку (ногти у нее были очень длинные и ярко накрашены), вынула листок с какими-то цифрами и внушительную пачку банкнот. Банкноты были совсем новенькие, словно только что отпечатанные. Сумма была огромная, определить ее на взгляд я затруднился. Это была ставка человека, который получил очень хорошую подсказку. Я казался себе смешным с моими зажатыми в руке двумя банкнотами, сейчас мы с Руиберрисом выглядели новичками. Я пропустил ее вперед не только из вежливости.

— Все на девятый номер, — сказала Анита человеку в окошке. — И это тоже на девятый, — она протянула еще пачку банкнот разного достоинства — без сомнения, это была ее собственная ставка. Я посмотрел, какая лошадь значится под девятым номером: Графиня де Монторо. Она не входила в число фаворитов, но котировалась довольно высоко. Как бы то ни было, неопытная Анита сделала свою ставку. Я достал еще одну купюру и поставил на другой номер, не на девятый, чтобы у нее не возникло никаких подозрений. Но те две банкноты, что были приготовлены заранее, я не задумываясь поставил на тот же номер, что и она.

— Я поставлю на вашу лошадь, — сказал я ей.

Руиберрис все видел и слышал, несмотря на трескотню Лали. Он подождал, пока Лали сделает свою ставку (тоже на девятый номер), и сам

последовал нашему примеру: поставил четыре банкноты (в два раза больше, чем я).

Девушки аккуратно сложили билеты и спрятали их в сумочки. Потом они переглянулись, засмеялись в предвкушении, прикрывая рты ладошками. Анита обратилась ко мне:

— Я вижу, вы мне доверяете?

— Конечно, доверяю. Лучше сказать, я доверяю тому вашему другу, за которого вы сделали ставку. Такими суммами зря не рискуют. Он что, знаток?

— Большой знаток, — ответила она.

— Почему же он сам не приходит на ипподром?

— Он не всегда может. Но иногда он приходит.

Бросает кости в одиночестве, делает рискованные ставки — мне не хотелось связывать то и другое между собой: если мы выиграем, то значит, дело не обошлось без подсказки, без такого трюка, до какого не додуматься даже Руиберрису. Мне не хотелось бы, чтоб Единственный оказался в этом замешан, но банкноты были такие новенькие!

Наши бинокли снова были у девушек. Туман не рассеялся, но и не сгустился еще больше. Зрительская масса казалась размытым пятном, это была действительно масса — ни одного четкого силуэта. До заезда оставалось еще несколько минут. Лошади входили в боксы, я разглядел, что жокей Графини был пятном гранатового цвета, кепка у него тоже была гранатовая. Теперь мне будет легче следить за ним на дорожке, раз уж я из-за своей галантности остался без бинокля. Надо будет отделаться от наших дам к пятому заезду, хватит уже стоять тут и ничего не видеть.

— Вы достали ему ту кассету? — мой вопрос застал сеньориту Аниту врасплох.

— Кому? Какую касссету? — удивилась она, и ее удивление показалось мне искренним.

— Вашему шефу. Вы не помните? Он рассказал, что у него уже была как-то бессонница и он включил телевизор, а там шел фильм "Полуночные колокола". Он начал смотреть где-то с середины, очень заинтересовался и досмотрел до конца. Он еще сказал, что хотел бы посмотреть этот фильм целиком.

— Ах да! — вспомнила Анита. — Правду сказать, я и забыла об этом. Нас всех так беспокоит его бессонница! — Время от времени она употребляла форму множественного числа ("нас беспокоит"), но не в том смысле, в каком употребляют ее царственные особы, — наверное, эта форма объединяла множество людей: членов семьи, Сегарру, возможно даже женщину со щеткой и метелкой из перьев, которая в тот день медленно пересекала зал, скользя по паркету на подстеленных тряпках, — старую banshee. — Да он мне и не напоминал, — добавила она, словно извиняясь. Потом задумалась на минуту и сказала: — Хотя, мне кажется, он не забыл, потому что он очень любопытный. О чем этот фильм, вы не помните?

— В общих чертах. Старый король Генрих Четвертый не может спать и обвиняет сон в том, что он приходит куда угодно, только не в его дворец, что он милостив к беднякам, и к злодеям, и даже к животным (я не был уверен, что там было про животных, но я решил включить их в этот перечень, раз уж мы были на ипподроме), но отказывается подарить благословенный отдых его коронованной и больной голове. Король умирает, терзаемый воспоминаниями о своем прошлом и мыслями

о будущем, в котором ему уже не будет места. Вот и все, что я помню. Я видел этот фильм очень давно.

Анита задумчиво покусывала губы.

— Да-да, — сказала она, — нужно раздобыть кассету, и пусть он посмотрит в конце концов. Спасибо, что вы мне напомнили. У меня это совсем вылетело из головы. Как, вы сказали, фильм называется? — и она быстро вынула из сумочки тот самый листок, на котором были записаны таинственные цифры. — Подержите шляпу, пожалуйста.

— Мне кажется, в тот день вы записали название, — сказал я и снова взял ее шляпу.

— Ай, где я буду искать ту запись! Скажите еще раз.

— "Полуночные колокола", — терпеливо повторил я. — Достать его будет нетрудно — на телевидении наверняка есть копия.

— Вон они! — воскликнула Лали и тут же начала кричать: — Давай, Графиня де Монторо, давай!

Сеньорита Анита быстро спрятала листок в сумочку (так и не записав название фильма) и поднесла бинокль к красивым накрашенным глазам. Она тоже начала подбадривать лошадь криками, но называла ее "Монторо".

— Вперед, Монторо, задай им перцу! — наверное, она часто смотрит борьбу или бокс.

Мы все встали со своих мест. В начале финишной прямой я разглядел гранатовое пятно — нашего жокея. Лошади шли пока голова к голове. Зрители выдыхали облачка пара, тысячи облачков пара, и это еще ухудшало видимость. Внезапно что-то произошло: столкновение, падение, два жокея покатились по земле, закрывая головы руками, цветные кепки унесло ветром. Одна из лошадей продолжала скачку без жокея, другая поскользнулась (передние ноги разъехались, словно на плотном скользком снегу), третья испугалась и, сделав несколько нерешительных шагов, взвилась на дыбы. Остальные лошади прибавили шагу, чтобы как можно скорее миновать опасное место. Большинство потеряло темп. Только лошадь, над которой расплывалось гранатовое пятно, уверенно шла вперед. Другие лошади расступились перед ней, образовав живой коридор, и она беспрепятственно прошла по нему все тем же галопом. Она скакала и скакала, жокею не нужно было даже подгонять ее хлыстом. Я вдруг понял, что мысленно повторяю: "Давай, Монторо, ну же!" Но произносил я это мысленно: я не привык кричать в общественных местах.

— Давай, Монторо, давай! — кричала срывающимся голосом сеньорита Анита. — Еще чуть-чуть, ну же, еще чуть-чуть! — повторяла она, забыв обо всем. Я подумал, что дисквалификаций не последует, несмотря на то что падение произошло, вероятно, в результате какого-нибудь нарушения. Если все было подстроено, то участники сделки очень рисковали. Девушки прыгали от радости, обнимались, кричали: "Да здравствует девятый номер!" Лали выронила бинокль Руиберриса и даже не заметила этого. Руиберрис поднял бинокль и очень огорчился: одно из стекол было разбито. Но он ничего не сказал: радость выигрыша значила для него больше — он никогда не уходит с пустыми руками, сегодняшний день не будет исключением. Я увидел, как рвут свои билеты почти все остальные зрители. Но не мы: я себя на этот месяц обеспечил, ведь за речь мне, вполне возможно, не заплатят.

— Все, пока, мы уходим. Мы спешим. До свиданья, сеньор Руиберрис де Торрес, очень приятно было познакомиться, сеньор Франсес. Спасибо за компанию, — торопливо прощалась с нами сеньорита Анита. Им надо было бежать за выигрышем. Наверное, прежде чем выдать им такую сумму, у них попросят удостоверение личности, но точно не знаю — я таких денег никогда не выигрывал. Мы их больше не интересовали. Анита вернула мне бинокль, я отдал ей шляпку того же цвета, что и куртка жокея. Я смотрел, как она удалялась, смотрел на ее красивые ноги с крепкими икрами. Юбка на ней была очень короткая, на чулках не спустилось ни одной петли. Она так и не записала название фильма, она опять его забудет, Неповторимый так и не посмотрит его целиком.

— Ну и девицы! — сказал Руиберрис, подтягивая брюки и выпячивая грудь, когда девушки уже растворились в бурлящей толпе. Это было все, что он сказал им вслед.

Мы решили пойти за выигрышем позднее: мы хотели посмотреть пятый заезд, а потому отправились в паддок, чтобы взглянуть на лучших лошадей. Теперь можно было не волноваться: благодаря "девицам" мы уже были в выигрыше. Мы заняли хорошие места в баре: оттуда можно было видеть выход участников. Ипподром был полон, так что пятый заезд отменить не должны. Туман не помеха.

— Ты видел эту пачку? — спросил я Руиберриса.

— Целый капитал. Интересно откуда. Банкноты новехонькие.

— Свеженькие.

— Везет некоторым!

Может быть, он хотел еще что-то добавить, но не успел: недалеко от нас, у другого конца стойки, какой-то тип с багровой рожей и набрякшими венами схватил за горлышко пивную бутылку и разбил ее. Пена так и хлестнула из бутылки. Мы успели увидеть, что навстречу ему шел — роковые шаги — с ножом в руке еще один тип в кожаном пальто. Их ссоры мы не слышали — в Мадриде все всегда кричат. Тип в кожаном пальто попытался всадить нож в живот типу с бутылкой, но не смог, смертоносное стекло тоже не добралось до горла или до затылка: свободной рукой каждый из них схватил вооруженную руку врага. Стоявшие рядом мужчины, воспользовавшись моментом, набросились на них сзади и скрутили их (наверняка в этой заварухе изрядно поживился какой-нибудь карманный воришка). Тут же вмешались охранники (сейчас потребуют документы у всех, кто оказался возле того конца стойки), вытолкали драчунов, колотя их тяжелыми дубинками, одному разбили голову. Мы с Руиберрисом, глядя на все это, пили свое пиво — глоток, еще глоток и еще. Все произошло очень быстро, а туман еще больше сгустился.

В понедельник и во вторник все происходило тоже очень быстро — когда то, чего ждешь, наконец приходит, всегда кажется, что оно пришло слишком рано, что ожидание было слишком недолгим, что можно было еще подождать. Нам всегда всего мало, нам всегда кажется, что события слишком торопятся сменить друг друга, и когда что-то кончается, всегда оказывается, что оно закончилось слишком быстро и нам опять не хватило времени (мы жили так спокойно и ни о чем таком не думали, а сейчас — как мало писем, фотографий и воспоминаний мне осталось!). О том, что уже завершилось, можно рассказать, только вот то, что произошло со мной, не завершилось и, вероятно, завершится лишь тогда, когда я сам перестану существовать и, встретив ее (ту самую, из ужасной за-

гадки на могильной плите 1914 года), отдохну, как отдыхают люди в течение уже стольких веков. Я перестану быть связующей нитью — шелковой нитью, ведущей неизвестно куда, — когда моя воля устанет, ослабеет и больше уже не будет ничего хотеть, когда "Пока — нет! Час еще не настал" уступит место "Я больше не могу", когда мое существование прервется или когда я буду существовать только с обратной стороны времени, за его черной спиной, где не будет ни сомнений, ни ошибок, ни борьбы. А пока наступает еще один день — какое несчастье! Еще один день — какое везенье!

Все произошло очень быстро: Деан, как и очень многие, не сознавал, как быстро то, что совсем недавно было настоящим, становится далеким прошлым, и наверняка считал, что слишком поздно узнал то, что он узнал от Луисы в назначенный день. Предусмотрительная Луиса позвонила мне в понедельник вечером и сообщила, что она только что все ему рассказала, что я разоблачен, что я перестал быть для Деана никем и превратился в человека, у которого есть лицо, имя и грехи, в которых он сознался. Наверное, она просто хотела предупредить меня, чтоб я был готов к тому, второму звонку — звонку мужа или вдовца, — который, как она полагала, последует сразу же за ее звонком, как только мы повесим трубки и линия освободится, или (самое позднее) завтра, если Деан решит провести эту ночь в раздумьях над тем, что он узнал. Они встретились на Конде-де-ла-Симера (она приезжала туда почти каждый день — с ребенком было много проблем), а потом она позвонила мне из соседнего кафе, позвонила, как только вышла от Деана, — хорошо, что Деан не бросился к телефону тут же: она успела спуститься по лестнице, завернула за угол и достала карточку и несколько монеток, чтобы предупредить меня. Так что теперь я, если бы захотел, мог включить автоответчик на всю ночь. Если не был еще готов услышать его голос. Так она мне сказала. Она волновалась за меня.

— Как он это воспринял?

— Мне кажется, он очень удивился, но сумел скрыть удивление. Он, наверное, думал на кого-то другого. Но учти, — добавила она, — я ничего не сказала о Висенте. Я решила, что это будет уже слишком, хватит с него открытий. К тому же Висенте его друг. Какая разница, что там у них было, теперь это уже все равно. Так что если не хочешь ему об этом рассказывать, можешь не рассказывать. — Она секунду помолчала, а потом задумчиво добавила: — Хотя, возможно, тебе придется это вытащить на свет. Не знаю, решай сам. Что он будет думать о Марте, теперь тоже все равно. Честно говоря, я не знаю, стоит ли сейчас заботиться о ее добром имени. Я не знаю, что делать с мертвыми. Я вообще не знаю, что делать.

"Раньше их почитали, по крайней мере уважали их память. Приносили цветы на могилы, а их портреты стояли на видном месте в доме, — подумал я. — По ним носили траур, из-за них люди оставляли все дела (или хотя бы приостанавливали их), смерть одного человека влияла на жизнь остальных, мертвый уносил с собой кусочек жизни каждого из своих близких, и потому переход из одного состояния в другое не был таким резким и умирать было не так страшно. В наши дни их спешат забыть, словно смерть заразна. В лучшем случае ими прикрываются, как щитом, но чаще всего мы вспоминаем о них тогда, когда нужно найти виновника всех наших бед. Так что от наследников им достаются только упреки: за то, что они ушли слишком рано или слишком поздно, что не

подготовили для нас место или оставили его не нам. У них еще есть имена, но уже нет лиц, а этим именам приписываются все грехи, все долги и все ужасные поступки, так что им и после смерти нет покоя".

— Не бойся: если ты не хочешь, я ничего не скажу о Висенте. Ты лучше знаешь, что делать, — ответил я. — Я не подозревал о его существовании, когда шел на тот ужин с твоей сестрой, я мог бы уйти и не узнать о нем, это ничего бы не изменило. Когда-нибудь я выброшу эту кассету. Сегодня же и выброшу. Она никому не принесет пользы. И не волнуйся за меня.

На самом деле я очень нервничал и немного боялся.

— Послушай, — сказала Луиса, — если он предложит тебе встретиться прямо сейчас, я думаю, лучше отказаться. Если решите встречаться у него, то лучше днем, когда ребенка не будет дома: моя невестка Мария заберет его утром и привезет обратно только к вечеру, завтра ее очередь. Я уже говорила — Эдуардо хочет тебе что-то рассказать, но ты постарайся не напоминать ему о том, что пережил в его доме. Я рассказала ему все так, как рассказывал мне ты, слово в слово, попыталась посмотреть на случившееся твоими глазами. Он выслушал и почти ничего не сказал, но мне кажется, он никак не может понять, почему ты его не известил, почему ты никого не известил. И честно сказать, не знаю, как он тебя встретит. — Помолчав, Луиса спросила: — Ты мне потом расскажешь?

Она нервничала, она давала мне советы, она волновалась за меня — возможно, просто потому, что я оказался в трудном положении: мне предстояло выслушивать упреки, оправдываться, на меня должен был обрушиться гнев. Марты, которая могла бы разделить все это со мной, уже не было.

— Я думаю, он тебе расскажет.

— Одно дело то, что расскажет он, а другое — что расскажешь ты.

Это означало возможность увидеться еще раз, еще раз поговорить, еще раз позвонить (какое несчастье и какое везенье!) — один шаг влечет за собой другой, и в конце концов они становятся роковыми. Но, может быть, не всегда, может быть, на этот раз — нет? Я повесил трубку (мы повесили трубки) и стал ждать звонка. Но я не сидел у телефона: встал, пошел на кухню, достал из холодильника бутылку, открыл ее, сделал глоток, вернулся в гостиную, взял кассету, чтобы выбросить ее, как обещал Луисе, но не выбросил, положил обратно на полку — не всегда нужно выполнять обещания, и уж точно не всегда надо с этим спешить. Телефон зазвонил через три минуты. Я подождал, пока включится автоответчик. Я был уверен, что это Деан.

Но вдруг услышал голос Селии. Сейчас мы с ней общаемся. Мы по-прежнему почти не встречаемся, но по телефону разговариваем достаточно часто. Когда совместная жизнь закончена, лучше поддерживать отношения по телефону — так меньше соблазнов. Кажется, она снова собирается замуж, тогда мне больше не нужно будет посылать ей чеки и давать деньги при встречах — у нее будет состоятельный муж, владелец дорогого ресторана, в который я никогда не пойду. Я снял трубку и поговорил с Селией. Линия снова была занята, и я был в безопасности еще несколько минут, всего несколько — она собиралась куда-то уходить и только хотела сказать мне то, что я уже знал: один актер (довольно противный тип) оставил для меня несколько сообщений на ее автоответчике — я был ему срочно нужен (только его мне сегодня не хватало!).

Меня до сих пор многие разыскивают через Селию — все-таки она моя бывшая жена! — когда не могут связаться со мной по моему телефону (Ферран тоже пытался разыскать Деана через его жену Марту). Сейчас мы с Селией знаем друг о друге мало. Мы ни о чем друг друга не расспрашиваем: каждый ждет, пока другой сам расскажет. Последний раз конкретные вопросы были заданы два с половиной года назад, когда на следующий день после моего тайного ночного визита к ней (в дом, который когда-то был и моим) она позвонила мне, хотя накануне просила, чтобы я сам позвонил ей утром и тогда мы могли бы пообедать вместе и поговорить (о том, о чем я хотел с ней поговорить) за обедом, а не в три часа ночи (как настаивал я). Так она мне тогда сказала. Но утром она позвонила не затем, чтобы назначить встречу. Ее интересовало только одно: "Послушай, Виктор, — спросила она, — у тебя ведь остались ключи от квартиры?" — "Нет, — солгал я, — я их давно выбросил. Разозлился из-за чего-то и выбросил. А в чем дело?" — "Ты уверен? — спросила она. — Ты уверен, что ты не открывал ими дверь вчера ночью и не был у меня?" Тут мне следовало возмутиться, сказать ей, что она сошла с ума, что одно дело — звонить в неурочное время после нескольких месяцев молчания и просить немедленно встретиться, а другое — явиться к ней, несмотря на ее запрет и без звонка в дверь. Я должен был бы оскорбиться: "Ты что? Разве я на такое способен?" Но я ответил спокойно, слишком спокойно, чтобы не вызвать подозрений: "Нет. А что такое? Меня там не было". Иногда я лгу, и не всегда убедительно. Ключи и сейчас у меня, хотя она наверняка сменила замки в тот же день. И кассета до сих пор у меня, я ее не выбросил, и лифчик Марты Тельес, который я без всякого умысла унес тогда с собой, и желтый листок, на котором написано: "Отель "Вильбрахам", — возможно, именно в нем я остановлюсь, когда поеду в Лондон в следующий раз. А вот запах Марты у меня не сохранился: запахи долго не сохраняются, и забываются они быстро, только иногда, уловив вдруг знакомый когда-то запах, мы с необыкновенной остротой вспоминаем то, что с этим запахом было связано. Селия не стала больше ничего спрашивать. "Понятно", — сказала она и повесила трубку, так же как теперь сделал я, когда она позвонила, чтобы рассказать о звонке неприятного актера: "Если он снова будет тебе надоедать, скажи ему, что ты ничего обо мне не знаешь", — и мы оба повесили трубки. Сейчас, когда мы общаемся на расстоянии, у нас очень хорошие отношения. Но я не люблю говорить о Селии.

Я еще раз глотнул из бутылки и хотел зажечь сигарету, но в зажигалке кончился газ. Я пошел в спальню за спичками и уже оттуда услышал звонок. Я снял трубку как раз в тот момент, когда включился автоответчик и мой голос начал произносить записанный текст: "Это автоответчик. Если хотите оставить сообщение, дождитесь, пожалуйста, сигнала. Спасибо". Вот что услышал Деан, и, когда прозвучал сигнал, он сказал (и слова его записались на пленку): "Это Эдуардо Деан. Я говорил с Луисой и сейчас хочу поговорить с тобой, — он обращался ко мне на "ты", словно имел право говорить со мной свысока, словно был моим кредитором или хотел оскорбить (когда хотят оскорбить, особенно мысленно, всегда обращаются на "ты"). — Отвечай, не трусь, я знаю, что ты там — несколько секунд назад у тебя было занято. Посмотрим, возьмешь ли ты трубку!" Он замолчал на секунду, чтобы дать мне время ответить, и я воспользовался паузой и снял трубку:

— Слушаю. Кто говорит?

— Я только что сказал тебе, — ответил мне чрезвычайно низкий и уже несколько раздраженный голос. Наверное, он начал злиться, когда набирал и набирал мой номер, а в трубке постоянно слышались короткие гудки. А потому его фраза прозвучала как "Я только что сказал тебе, идиот" (последнее слово не было произнесено, но думал он, без сомнения, именно это). Наверное, он собирался продолжать обращаться со мной как с наемным работником, как с подчиненным. Голос его звучал по телефону более внушительно и солидно, чем голос его ge-bryd-guma Висенте Мены, он звучал как контрабас под чуткими пальцами. Он говорил очень уверенно, он хорошо умел сдерживать раздражение.

— Извините, я был в другой комнате и не слышал того, что вы сказали. С кем я говорю?

Наверное, на этот раз у меня получилось более правдоподобно.

— Я Эдуардо Деан. Я говорил с Луисой и теперь хочу поговорить с тобой. — Он повторил ту же самую фразу — наверное, долго репетировал ее перед тем, как набрать мой номер. — Мы можем встретиться завтра? — Вопрос прозвучал как утверждение: "Мы *можем* встретиться завтра", словно он не просил о встрече, а соглашался выполнить чью-то просьбу.

— Хорошо. Когда? У меня будет немного свободного времени с утра и еще пара часов после обеда.

— Не подходит, — ответил он. — Я буду на работе весь день. Лучше приезжай ко мне вечером, после одиннадцати, ребенок уже будет спать к этому времени. — Он приказывал, и мне оставалось либо отказаться, либо подчиниться. — Где я живу, ты знаешь, — добавил он.

— Хорошо, — послушно ответил я, — до завтра.

Но он уже повесил трубку. Все складывалось не так, как советовала Луиса. Мне захотелось позвонить ей и сказать, что наш план провалился (это был наш общий план, значит, и провал — общий), но лучше не делать шагов, для которых нет серьезных оснований (всякое ухаживание кажется пошлым, когда смотришь на него со стороны, это только попытка прикрыть инстинкт). Так что опрометчивые шаги пусть лучше делает она.

На улице Конде-де-ла-Симера я отпустил такси. Я опять приехал сюда поздно вечером. Было без десяти одиннадцать, у меня еще было в запасе немного времени. Я поднял голову и увидел свет в знакомых окнах гостиной и спальни. Я решил немного подождать, чтобы Деан успел уложить Эухенио, хотя в этот вечер ребенку незачем было вертеться у нас под ногами и некого было охранять. Теперь ему не придется бороться со сном ради женщины еще много лет — пока он не станет взрослым или по крайней мере подростком. Я закурил и стал спокойно прогуливаться около подъезда. Я готовился к этому дню целую неделю или даже больше. Чтобы взбодриться, я перед выходом из дома принял дозу кокаина. Я почти никогда не прибегаю к такому средству, но в эту ночь я плохо спал — в чрезвычайных ситуациях и меры надо принимать чрезвычайные. Но эффект долго не продлится, и через некоторое время я уже не буду таким бодрым — возможно, именно тогда, когда разговор станет особенно напряженным, именно тогда, когда мне понадобится быть особенно сосредоточенным. Я докурил сигарету, бросил окурок на землю и поднял руку, чтобы нажать кнопку домофона. В эту минуту я увидел, как в вестибюле открылась кабина лифта, в полутьме из него вышли двое, включили свет в подъезде и направились в мою сторону. Я подо-

ждал, пока девушка в бежевых перчатках подойдет грациозной походкой и откроет мне дверь, нажав на кнопку, которую я никак не мог отыскать гораздо более поздней ночью, много ночей тому назад. С ней шел тот же мужчина, который говорил ей тогда: "Я так больше не могу" и которого она послала к черту, — слова это всегда только слова: он еще мог, и она его еще терпела, они все еще были вместе, и сейчас вместе выходили из подъезда, в который я входил (сегодня мы поменялись ролями). Она, наверное, приходит и уходит чаще, чем все другие обитатели этого дома, — вечно снует туда-сюда. Вероятно, она приняла меня за одного из жильцов, потому что узнала и, улыбнувшись, кивнула: "Добрый вечер!" — "Добрый вечер!" — ответил я. Мужчина и сегодня не поздоровался. Он или невоспитанный, или рассеянный. А может быть, просто еще не опомнился от поцелуев (они целовались дома, а потом на лестничной площадке в ожидании лифта. И дверь была открыта, хотя в этот раз никто из них не должен был остаться за дверью: они не расставались, они выходили вместе). А может быть, он думал о смятой постели, которую он только что покинул, и о нетронутой постели, что ждет его дома.

Я поднялся и позвонил в дверь. Деан открыл мне сразу, словно он с таким нетерпением ждал моего прихода, что всякий раз, когда хлопала дверь лифта, подбегал к дверям и смотрел в глазок. Он был без пиджака, но при галстуке (узел чуть ослаблен), как муж, который вернулся с работы совсем недавно и успел только снять пиджак. Я подумал, что, если бы Марта была жива, она сейчас наверняка стояла бы на кухне в фартуке и мыла посуду (однажды я ее уже видел в фартуке) или делала еще что-нибудь, а он ходил бы за ней из одной комнаты в другую и что-нибудь ей рассказывал или спрашивал бы о чем-нибудь. Мне это знакомо — я не всегда жил один. Он даже не поздоровался со мной (хотя протянул мне левую руку), сказал: "Садись" — и указал на софу, сидя на которой малыш (он казался на ней крохотным муравьем) смотрел когда-то свои мультфильмы про Тинтина и капитана и где наконец уснул, все-таки проиграв затянувшийся бой. Он спросил меня, что я буду пить, и я ответил, что виски со льдом и водой, если можно. В доме, как мне показалось, ничего не изменилось (мужчины никогда ничего не меняют), но рассматривать комнату слишком внимательно мне было неловко. На столе, за которым мы с Мартой так долго ужинали (сейчас он был застлан маленькой скатертью), стояла пустая тарелка из-под десерта, и на ней лежала испачканная ложечка — у Деана еще хватало сил, чтобы, как положено, в столовой съедать то, что оставляет ему ворчунья-домработница или его добросердечные родственницы. Я почти никогда не обедаю и не ужинаю дома, но если когда-нибудь мне случается приготовить что-то, я съедаю это второпях, на кухне, стоя. Это признак слабости и упадка духа, и это плохо для желудка. Перед тем как налить мне виски, он убрал скатерть и тарелку. В тот вечер я ужинал в "Макдоналдсе" или в "Макчикене" — мне не хватает дисциплины. Или моя домработница слишком ленива. И заботливых свояченицу меня нет. И ребенка, о котором мне нужно было бы заботиться. Деан налил мне виски, закатал рукава рубашки — жест, не предвещавший ничего хорошего. Себе он тоже налил виски, но без воды. Он так и не сел — стоял, облокотившись на полку, и смотрел на меня. Ни один из нас не прерывал молчания. Я невольно бросил взгляд на открытую дверь в комнату малыша, который, наверное, спал и видел во сне только своего отца или своих молодых тетушек, — образ матери, оставшейся навсегда молодой, уже становился

все более размытым, все более туманным. Деан предложил мне снять плащ (я все еще был в плаще, и полы его замялись), и я понял, что разговор будет долгим. Я отдал ему плащ и шарф, он вышел и повесил их в шкаф, где однажды уже висели мой шарф и мое пальто (тогда было холоднее, а в эти туманные дни достаточно было плаща). Я вспомнил о шлеме, который видел в этом шкафу, и едва удержался, чтобы не спросить, откуда здесь этот шлем (он, должно быть, еще тридцатых годов), но не стал спрашивать — кто знает, к чему бы это привело. Деан вернулся, снова облокотился на полку. Он смотрел на меня так же, как смотрел в ресторане, когда я был еще никем. Тогда мы тоже молчали, и молчание тоже не было неловким, потому что говорили Луиса и Тельес. Тогда он смотрел так, словно видел меня насквозь или хотел понять, что я за человек, а сейчас он наверняка пытался взглянуть на меня глазами Марты, живой Марты, пытаясь угадать, что она во мне нашла, и понять, что заставило ее однажды вечером хотеть и стремиться.

В его взгляде не было ни презрения, ни гнева, ни насмешки, даже любопытством это назвать было нельзя — он словно пытался проникнуть в мою душу, пытался уловить что-то или в чем-то удостовериться. Он был очень высокий, и я смотрел на него снизу вверх — иногда режиссеры прибегают к такой съемке, Орсон Уэллс был большим мастером по этой части. Желтоватые раскосые глаза смотрели выжидательно и недоверчиво и вынуждали говорить (но я молчал), раздвоенный подбородок поднят, словно в ожидании моего ответа, и все складки и морщинки четко обозначились на его коже, которая скоро станет похожей (уже понемногу становится похожей) на кору дерева, на исцарапанную школьную парту.

Когда он наконец заговорил, в его голосе явственно зазвучало то же раздражение или напряжение, которое я почувствовал в нем накануне вечером, словно ровный огонь горел в нем целые сутки, с той минуты, как он повесил трубку, словно он все это время не спал, не ходил на работу, ни с кем не виделся, а всю ночь и весь день ждал меня, меряя шагами комнату, и лишь время от времени подходил к дверному глазку или с силой бил кулаком в ладонь, как боксеры перед боем или как (это мне рассказал один кинорежиссер) актер Джек Пэленс[1] на съемках — это помогало ему во время вынужденных перерывов сохранять нужное для его роли эмоциональное состояние. Другой знаменитый актер — Джордж Сэндерс[2] — с той же целью валялся в гамаке, положив руку под голову, и курил. Методы разные, а результат одинаково великолепный. Невозмутимый Сэндерс потом покончил с собой в Барселоне, оставив записку, в которой посылал всех к черту (ужасная смерть, иностранная смерть). "А вам оставаться тут", — было написано в записке. Джек Пэленс жив, кажется, до сих пор.

— Так значит, она не была одна, когда умирала? Или была одна? — сказал наконец Деан и сделал еще один глоток (казалось, он поднес бокал к губам только для того, чтобы закрыть им свои губы и сделать вид, будто спрашивает не он, будто это́ ничей голос или голос с экрана телевизора, хотя телевизор был выключен). По его тону нельзя было угадать, какой ответ он предпочел бы.

1. Джек Пэленс (наст. имя и фам. Владимир Паланюк, р. 1919) — популярный американский актер, обладатель Оскара (1991).
2. Джордж Сэндерс (1906—1972) — популярный английский и американский актер, обладатель Оскара (1951).

— Нет-нет, я был рядом с ней, Луиса вам уже сказала, — ответил я и тоже сделал глоток — тоже поднес свой бокал к губам, показывая, что закончил говорить.

— Ты помнишь ее последние слова?

"О боже, ребенок!" — вспомнил я и сказал:

— Она беспокоилась о малыше.

Деан провел рукой по щеке, словно в задумчивости.

— Да, конечно, малыш. Логично. А ты никому не позвонил и никого не известил. Тебе просто в голову не пришло. Это можно понять, правда? Можно понять.

Он все понимал или притворялся, что понимал. Прошло уже достаточно времени, чтобы он мог начать иронизировать.

— Послушайте, может быть, Луиса вам не сказала, но я вам звонил. — Я решил и дальше обращаться к нему на "вы", я не собирался оскорблять его ни словом, ни мысленно. Перейти на "ты" я всегда успею, если мне захочется. Воспоминание о Луисе подбодрило меня. — Я нашел ваш адрес — вы это знаете, Луиса об этом вам уже рассказала, — позвонил в ваш отель в Лондоне, хотя было очень поздно, но там мне сказали, что никакой Деан у них не проживает, на эту фамилию номер вообще не бронировался. Только потом мне пришла в голову мысль, что они могли зарегистрировать вас под вашей второй фамилией, как принято в Англии. Но позвонить во второй раз я в ту ночь не решился. — Я мог бы солгать, сказать, что второй фамилии я не знал (мне и первую-то знать было ни к чему), а потому и не мог позвонить во второй раз. Тогда ему не в чем было бы меня винить. Да и кого можно винить в том, что случилось? В этом нет ничьей вины. Наверное, именно поэтому я и не стал лгать. — И что я мог вам сказать? Подумайте сами, что я мог сказать?

Казалось, его совсем не волновало то, что в тот вечер я был с Мартой (это я все время вспоминал про тот вечер), или просто у него было достаточно времени, чтобы успокоиться. Гнев уже улегся — ни к чему было его демонстрировать, ни к чему было притворяться.

— Что ты мог мне сказать? — переспросил он. — То же самое, что сказал бы мне, если б я был зарегистрирован в отеле под своей первой фамилией и тебя соединили бы со мной, когда ты позвонил в первый раз. Я был в номере, я снял бы трубку. — Он помолчал и добавил: — Ты еще не все знаешь.

"Ты нас не спас, — подумал я, — ни меня, ни ее".

— Я не назвался бы. В лучшем случае я сказал бы только: "Позвоните домой". Вы позвонили бы, и никто не снял бы трубку. Вы заволновались бы и послали кого-нибудь узнать, что случилось. А может быть, я ничего бы не сказал, просто повесил трубку, как сделал это на следующий день, когда назвал фамилию Бальестерос и меня соединили с кем-то.

— Да, помню, — сказал Деан, — был какой-то звонок. — Он снова провел рукой по щеке, словно вдруг обнаружил, что забыл побриться. На самом деле выбрит он был тщательно. — Но тогда было уже все равно. Было уже поздно. Все уже случилось, и я уже обо всем знал. Два несчастья вместо одного. Впрочем, одно из них до той минуты было не просто несчастьем.

— Может быть, вы сядете? — спросил я. Он и так был высокий, к тому же стоял — я казался себе совсем маленьким. — Я плохо вас слышу и не все понимаю.

— Мне так лучше. Я сидел весь день на работе, — ответил он. У него были волосатые руки. Он почесывал правую руку крепкими пальцами левой (наверное, она занемела — он слишком долго опирался на нее). — И слышишь ты меня хорошо. А вот понимать действительно не понимаешь. Ты не знаешь моей половины этой истории, как раньше я не знал твоей — до вчерашнего дня я мог только догадываться. Твоя половина и моя не дополняют друг друга и не составляют единого целого, они просто случайно пересекаются. Лучше сказать, твоя история пересекает мою. Моя произошла потому, что я ничего не знал, а вот твоя ее пересекает. О некоторых вещах лучше узнавать сразу. Если бы ты кому-нибудь позвонил в ту ночь и тот человек известил бы меня!

(Нам невыносима мысль о том, что близкие могут не знать о нашей беде, что они хотя бы одну минуту пребывают в неведении о переменах в нашей жизни: полагают, что мы женаты, хотя мы уже овдовели, что у нас есть родители, а мы уже сироты, что рядом с нами есть кто-то близкий, а нас уже бросили, что мы здоровы, а мы в это время заболели. Или считают, что мы живы, а мы уже умерли.)

— Я вас не понимаю, — снова сказал я, и на сей раз это была не совсем правда.

Он помолчал несколько секунд, провел рукой по расчесанным на косой пробор волосам (раньше так причесывали детей, наверное, с тех пор он так и причесывается), и, когда он заговорил снова, голос его звучал еще глуше, он стал еще более низким, ржавым и хриплым, словно Деану мешала говорить застарелая астма или на голове его был шлем:

— Сейчас поймешь. Сейчас я расскажу тебе, что случилось за то время, пока я не знал о смерти Марты, расскажу, что я сделал за это время и чего не сделал, что готов был сделать и что случилось без моего участия. Твоей вины в этом нет, ты тут ни при чем, в этом никто не виноват. Стечение обстоятельств. Это произошло, вот и все. Может быть, это судьба. Ты, сам того не подозревая, оказался участником моей истории. Мы незнакомы, я для тебя никто, но сейчас ты узнаешь обо всем, и лучше тебе об этом узнать — тогда ты сможешь понять меня. Я не буду тянуть, не бойся, это не очень длинная история, и рассказываю я быстро.

— Хорошо. У меня тоже не слишком много времени, — сказал я, хотя это было не совсем так: на следующий день мне нужно было только позвонить тому неприятному актеру (деваться некуда — он дает мне работу). И еще, наверное, позвонить Луисе — шаг оправданный: она сама просила меня позвонить.

Деан взял пульт и включил телевизор, сразу же убрав звук, пробежался по каналам и снова выключил телевизор (машинальный нервный жест, привычный жест одинокого мужчины — мы все время от времени делаем так, чтобы узнать, что там происходит в мире за время нашего постоянного в нем отсутствия).

— Я был в Лондоне не один, — сказал он, — это нетрудно предположить. Год назад у меня появилась любовница — молоденькая медсестра из больницы "Ла-Лус", здесь неподалеку, — и он махнул рукой куда-то в сторону балкона-террасы. — Сначала ничего особенного, как у тебя с Мартой в тот ваш первый вечер, правда, для тебя все так и кончилось ничем, не знаю уж, к счастью для тебя или к несчастью. Ну вот, одна из девушек в белых халатиках, которую я встретил в соседнем баре. Мы перебросились несколькими словами, я заказал для нее какой-то коктейль, мы посмеялись над чем-то вместе с ее подругами (их мнение значит

очень много), прошлись вместе. ("Безобидные шаги", — подумал я.) Ты знаешь, как это бывает: двое идут рядом, останавливаются на перекрестке, потому что горит красный свет, и вдруг приникают друг к другу. А на следующий день уже встречаешь ее после работы, и вы вместе идете ужинать и наконец оказываетесь у нее дома. ("И он снимает с нее белесые чулки с катышками около шва".) Ничего необычного, ничего особенного — некоторое разнообразие в жизни. Но это повторяется и повторяется, уже без свидетелей, без одобрительного смеха подружек, и незаметно это входит в привычку: ты звонишь ей примерно в одно и то же время, приходя с ней в бар, ты уже знаешь, что заказать, и вдруг ловишь себя на том, что уже помнишь наизусть ее рабочий график. И ты проводишь в ее доме уже слишком много времени, и прощание длится с каждым разом все дольше, ты привыкаешь к этим тайным встречам, физическая близость (а не слова или поступки) порождает близость душевную, а потом ей уже кажется, что она приобрела на тебя права. Смешно: ты рвешься домой, а через несколько дней все равно снова возвращаешься туда, откуда так хотел уйти и где тебя слишком долго удерживали ласками, поцелуями, нежными просьбами и жалобами. Я думаю, каждому приятно чувствовать, что его любят.

Деан замолчал, подошел к столику, чтобы налить себе еще виски. Он пил в том же темпе, что и рассказывал, а рассказывал он действительно быстро.

— Ваша жена об этом знала? — осмелился я задать вопрос, воспользовавшись паузой. Я не осмелился только произнести имя Марты в его присутствии. Деан вернулся на прежнее место.

— Нет, — ответил он, — нет, нет. — Вопрос, которым прерывают чей-то рассказ, никогда не остается без ответа. — То есть я думаю, что она не знала. Мы с ней никогда друг друга ни о чем не спрашивали, каждый ждал, пока другой сам расскажет. Я, конечно, постарался сделать все, чтобы она не узнала. Когда наши с Евой отношения зашли слишком далеко, мы перестали появляться вместе на улице — я больше не встречал ее после работы, не водил ее ужинать. Мы встречались только у нее, звонить мне домой я запретил. Наш мир был закрыт для всех, особенно для ее подружек. У меня была своя жизнь, и я не мог рисковать. К тому же я не хотел, чтобы эти отношения продолжались, хотя они все продолжались и продолжались. ("Теперь мне придется помнить и это имя — имя Ева", — подумал я.) Не знаю, не думаю. В последнее время я несколько раз замечал, что Марта плачет ночью, уткнувшись в подушку. В первый раз я ничего ей не сказал, да и плакала она недолго. Во второй раз я спросил: "Что случилось?" — и она ответила: "Ничего, ничего". — "Но ты же плачешь!" — "Это просто ночные страхи, со мной бывает иногда". — "Какие страхи?" — спросил я. "Не знаю. Я вдруг начинаю бояться, что что-нибудь может случиться с тобой, со мной или с ребенком". — "Но что с нами может случиться?" — "Я все понимаю, просто я в последнее время очень устаю. Это все от усталости, это пройдет. Когда покидают силы, видишь все в черном свете. Не беспокойся, днем со мной такого не бывает". Я не придал тогда этому большого значения, но кто знает, может быть, она о чем-то догадывалась, и твое присутствие здесь свидетельство тому. — И Деан посмотрел на меня долгим взглядом, словно ждал от меня ответа на вопрос, которого он не задавал.

— Не думаю, — только и сказал я. — Она всегда говорила о вас спокойным и естественным тоном, я не думаю, что она что-то подозревала.

Когда вы позвонили из Лондона, мы еще ни о чем таком не думали. А потом все получилось, как получилось.

— Я тебя ни о чем не спрашиваю, — вспылил Деан. — Луиса мне все рассказала вчера, детали меня не интересуют! — Стакан, зажатый у него в руке, казалось, вот-вот хрустнет. — Я тебя не спрашиваю, — повторил он и ослабил пальцы. — Имей это в виду. Я просто тебе рассказываю, а ты должен только слушать. — Этот мужчина умел быть жестким, как Джек Пэленс.

— Хорошо, — сказал я, — я слушаю. Продолжайте.

Деану стало стыдно за свою резкость. Он сделал несколько шагов, постукивая по стакану короткими крепкими ногтями. Он явно хотел, чтобы его рассказ звучал беспристрастно, чтобы в его тоне не звучало ни гнева, ни обиды. Поскрипывал паркет.

Потом он снова заговорил, а я снова стал слушать. Его губы стали совсем тонкими, почти неразличимыми.

— Когда я звонил домой в ту ночь, все было еще в порядке. Более или менее в порядке. Тремя неделями раньше моя медсестра объявила мне, что беременна. Кто бы мог предположить: мы всегда были так осторожны! Впрочем, полной безопасности никогда быть не может. Я решил, что она нарочно все подстроила. Я уже давно хотел покончить со всем этим, положить конец нашим ненужным встречам и бесконечным прощаниям, я не хотел, чтобы Марта снова плакала или боялась чего-то, даже если не понимала, чего именно. Ева становилась все более прилипчивой, у меня тоже не хватало сил порвать с ней — если к женщине тянет, с этим трудно бороться. Одного года для этого мало, я еще не освободился от нее — и вдруг беременность! Она была медсестрой, ошибиться она не могла. Я просил ее сделать аборт, но она сначала отказалась и пригрозила все рассказать Марте. Я сказал, что буду все отрицать, заявлю, что вообще с ней незнаком. Она засмеялась: она знала, есть анализы, которые безошибочно определяют отцовство. И тогда у меня осталось только одно средство: припугнуть, что больше никогда в жизни я не буду с ней. Она очень меня любила — я не хвастаюсь, это действительно так, — готова была ради меня на все.

Деан умолк и торопливым жестом взял сигарету из моей пачки, что лежала на столе. Он взял мои спички и, еще не успев зажечь сигарету, продолжил:

— В конце концов она уступила в обмен на несколько туманных обещаний, и мы решили воспользоваться моей поездкой в Лондон: во-первых, ей как медсестре было хорошо известно, что в Лондоне эти вещи делают лучше, чем где-либо еще, а во-вторых, я был бы рядом с ней. Смешно звучит, но я подумал, что там мы снова могли бы вместе гулять по улицам, ужинать вместе в ресторанах, хотя остановиться я предпочел на всякий случай в разных местах — мое пребывание в Лондоне оплачивала фирма, в отеле я мог столкнуться с кем-нибудь из коллег, так что лучше, чтобы нас там не видели вместе. Я нашел для нее отель недалеко от моего, на Слоун-сквер, не где-нибудь. Я дал ей деньги на все, в том числе на врачей, поездка не стоила ей ни гроша. Никто не знал, что мы едем вместе, даже ее подруги — они бы очень переживали за нее, к тому же надавали бы ей кучу поручений. В первый вечер я повел ее в очень симпатичный индийский ресторан, чтобы немного развлечь накануне того, что ей предстояло.

— "Бомбей-Брассери", я знаю этот ресторан, — сказал я, не удержавшись.

— Понятно. Значит, ты тоже его знаешь.

Я был пару раз в его огромных залах в колониальном стиле, где у входа сидит пианистка в вечернем платье, официанты и метрдотели чрезвычайно предупредительны, а под потолком зимой и летом гоняют воздух огромные лопасти вентиляторов. Там чувствуешь себя как в театре. Для Англии это довольно дорогой ресторан, но не чересчур. Хорошее место для дружеского ужина, для того, чтобы отметить сделку или отпраздновать какое-то событие. А вот для ужина с дамой этот ресторан выбирают редко — только в тех случаях, когда хотят произвести впечатление на неопытную или небогатую девушку или любовницу, которую никогда или почти никогда никуда не водят и которую можно поразить интерьером, напоить допьяна индийским пивом и коктейлями ("Бомбей сансет", "Бомбей скайлайн", "Пинк камелия", "Бомбей блюз") и которую больше не нужно никуда вести, а можно сразу взять такси и ехать в гостиницу или домой, с которой не нужно говорить после ужина, обильно приправленного специями, а нужно только взять ее голову и целовать, — об этом я думал, глядя на качавшиеся в полутьме самолеты в комнате малыша Эухенио в ночь, когда умирала Марта Тельес. Наверное, самолеты все еще там — висят, охраняя его сон и готовясь к еженощному бою — утомительному ночному бою, фантастическому бою крошечных самолетов, подвешенных на нитках. Инертное (или величавое?) покачивание. ("Завтра — тебе в удел отчаянье и смерть".)

— Да, и он мне очень нравится, — ответил я, — я был там раза два-три. Уже давно.

— Его рекомендуют путеводители, — сказал Деан примирительным тоном, словно извинялся. — Я привел ее туда. Мы пили и много смеялись, она, казалось, не думала о том, что ждет ее завтра. Ей даже нужно было выпить, чтобы легче заснуть, да и мне тоже: мне предстояло проводить ее в клинику и подождать на улице на случай, если вдруг возникнут какие-нибудь проблемы или ей вдруг станет страшно (часа два, как она мне сказала), хотя вряд ли могло случиться что-нибудь непредвиденное — она была медсестра, она все знала. Медсестры часто впадают в депрессию в такой ситуации. Это кажется удивительным при их профессии, но одно дело лечить других, и совсем иное — быть пациентом самому. Я удивился, что ее не поместили в стационар — хотя бы на одну ночь или на несколько часов, — но она знала все лучше, чем я, она организовала все через больницу, где сама работала. По-английски она говорила не хуже меня.

— Я изучал английскую филологию, — сказал я (глупое замечание — к счастью, Деан пропустил его мимо ушей). Я налил себе еще виски, он подождал, пока я налью, и продолжил:

— В тот вечер после ужина я отвез ее в отель на такси. Мы не поднялись в номер: в ее теле было что-то, чего на следующий день в нем уже не будет, и не стоило накануне слишком много думать об этом. Она не казалась слишком подавленной или просто искусно скрывала свое состояние (в этом ей помогли коктейли), она казалась даже довольной, была очень нежна со мной — может быть, мои обещания много для нее значили. У входа в гостиницу она поцеловала меня. Это был просветленный поцелуй, если можно так сказать: в нем была надежда и нежность, он дал мне уверенность, что она никогда не упрекнет меня за то, что я заставил

ее пройти через такое. До своего отеля я дошел пешком — пара шагов — и, поднявшись в номер, сразу позвонил Марте, чтобы сообщить, что долетел хорошо, и узнать, как дела дома. Она не сказала мне, что ужинает с тобой или с кем-то еще. Я думал, что она одна с ребенком. И после этого у тебя хватает наглости заявлять, что ни о чем таком вы и не помышляли! — Деан выпрямился и посмотрел мне прямо в глаза, в его взгляде сверкнула ненависть, он наконец чиркнул спичкой и зажег взятую у меня сигарету. Он не хотел, чтобы наш разговор принял другой оборот — он позвал меня не за этим, — и искра в его глазах погасла. — В ту ночь я спал неспокойно, все время просыпался. Я считал, что причина тому — во мне самом и в Еве (а не в Марте, хотя думал я в ту ночь об обеих). То, что происходило в Лондоне, происходило потому, что существовала Марта. Каждый из наших близких занимает в нашей жизни свое место, но бывает, что другие пытаются потеснить их или занять их место, как только оно освобождается. ("Ты тоже плохо спал на том острове, ни одна из двух твоих ночей не была спокойной, — подумал я. — Но все равно ты ничего не услышал. До тебя не донесся ни шелест простыней, на которые я ложился, ни звяканье тарелок во время нашего домашнего ужина, ни звон бокалов с Château Malartic, ни пронзительный звук агонии, ни громыханье тревоги, ни скрежет недомогания и депрессии, ни дребезжанье страха и раскаяния, ни напев усталой оклеветанной смерти, сделавшей свое дело. Ты слышал только шум машин, мчавшихся по левой стороне улицы, громыханье высоких автобусов, гул ночного города, многоязычный гомон индийского ресторана, отзвуки иных напевов, может быть тоже погребальных, — иначе почему ты говоришь о Еве в прошедшем времени?") Если бы я знал, если бы я знал в ту ночь то, что уже знал ты! ("Я знал это, потому что я это видел, и я был охвачен ужасом и не мог ничему помешать, идиот! Я только обнял ее, чтобы ей легче было умирать. Это не я должен был быть рядом с ней". — Как и тогда в ресторане, я снова обращался к нему на "ты": ведь я хотел оскорбить его. Меня разозлили его последние слова — они звучали упреком. Он уехал с Евой решать свои проблемы, о которых Марта понятия не имела, так чего же он хочет?) — Деан подошел к креслу и, пошатнувшись (словно поскользнулся на плотном снегу), тяжело опустился на подлокотник. (Я уже видел его в таком состоянии — точно так же он внезапно лишился сил перед открытой могилой, — он тогда испачкался землей, запачкал свой плащ.) Сейчас он казался беззащитным. — Если бы я только знал! Тогда в Лондоне все было бы иначе. Я не позволил бы ей идти в клинику на следующий день — в этом уже не было бы необходимости: маленький братик для Эухенио и новая мать. Почему бы и нет, раз уж так получилось. Нужно человеку что-то или не нужно — зависит от того, что у него есть и чего у него нет, от того, чье место освобождается рядом с ним; наши потребности и желания (и наши чувства тоже) меняются по мере того, как мы кого-то теряем, или кто-то нас покидает, или нас лишают чего-то, я тебе уже это говорил. Можно принимать решения раз и навсегда, но ведь обстоятельства могут измениться — это зависит от того, все ли нас в нашей жизни устраивает, и от того, что нам нужно именно в эту минуту. — Он сам себе противоречил, говоря о чувствах, но, возможно, это потому, что раньше он говорил от лица Евы, а теперь — от своего лица.

— Я вам уже говорил, — возразил я, — я не решился позвонить второй раз. Мне не хватило смелости еще раз поговорить с портье. У них

не было никакого Деана, и Бальестероса вполне могло не оказаться. Сказать по правде, я не знаю, имел ли я право даже на то, чтобы выяснять вашу фамилию.

— Как вы ее выяснили?

— Здесь лежали письма, я нашел письмо из банка.

— Неплохо соображаете. Не каждый додумается. — Он вдруг начал обращаться ко мне на "вы". Неожиданно почувствовал ко мне уважение, вспомнил с запозданием о нормах приличия или просто последовал моему примеру? Но это продолжалось только несколько секунд, потом он снова перешел на "ты". — Я вас ни в чем не виню, я просто рассказываю, что произошло со мной только потому, что я поздно обо всем узнал, рассказываю, как провел те часы, а их было немало. Я не обвиняю вас и в том, что вы оставили ребенка одного. С ребенком ничего не случилось, и я не могу упрекать вас за то, что могло бы произойти. Ведь все зависит от результата, верно? Два одинаковых действия не являются равнозначными, если привели к разным последствиям; пуля, попавшая в цель, и пуля, не попавшая в нее, — это пули разные. Мы полагаем, что все зависит от нас, мы строим планы и принимаем решения, но я не знаю, зависит ли хоть что-нибудь от наших намерений. А иногда и нет никаких намерений. Может быть, и у вас их тогда не было. — Деан погасил недокуренную сигарету и соскользнул в кресло (сейчас он уже не возвышался надо мной).

Рукава его рубашки были закатаны, а узел галстука еще более ослаблен, но он все равно выглядел подтянутым.

— Но все-таки здесь что-то произошло, — продолжил он.

Мне не очень хотелось слушать его пошлую историю, которая не имела ко мне никакого отношения, но он хотел рассказать ее именно мне, так что, возможно, какое-то отношение она ко мне имела.

— Иногда я спрашиваю себя, как развивались бы события, если б тебя не было тогда в спальне Марты, — и он кивнул в сторону коридора, который (я знал это) вел в спальню. — Я не имею в виду ее смерть, я только хочу сказать, что она, может быть, позвонила бы кому-нибудь, когда почувствовала себя плохо. Может быть, не мне, чтобы я не волновался там, в другой стране, а своей сестре или кому-нибудь из друзей или знакомых, или соседям, или врачу. Позвонила бы и попросила о помощи. Может быть, она не позвонила именно потому, что была с тобой, может быть, надеялась, что все пройдет и праздник будет продолжаться. ("Ты с ума сошел! Звонить ему! Да он меня убьет!" — вспомнил я ответ Марты Тельес на мое предложение позвонить в Лондон и известить этого человека. Возможно, Деан прав, возможно, если б Марта была одна, она позвонила бы кому-нибудь. Но это ее не спасло бы, это могло бы спасти только его, и теперь его не мучила бы совесть".) На следующее утро мы с Евой пошли в клинику. Это хорошая клиника недалеко от наших отелей, на Слоун-стрит. Ты знаешь этот район, там все так красиво и чисто. Она вошла, а я остался — мне там нечего было делать, да и она считала, что так будет лучше. Я сказал ей, что подожду в кафе напротив, почитаю газеты, что никуда не буду уходить на случай, если вдруг понадобится моя помощь, — часа два, не больше, не так и долго. Одну деловую встречу я назначил на после обеда, остальные — на следующий день. Времени было достаточно: мы собирались пробыть там четыре дня, до пятницы. Билеты у нас были на один рейс, но места разные — мы не хотели, чтобы нас видели вместе. Когда мы прощались, она была бледная, и я в пер-

вый раз заметил в ее глазах страх. Может быть, она раскаивалась в своем решении, но было уже поздно. Я обнял ее и поцеловал в щеку. "Все будет хорошо, — сказал я ей, — я буду все время думать о тебе, я буду здесь, рядом". Я видел, как она — длинное пальто, платок на голове, туфли на низком каблуке, почти что детские, — входит в вестибюль и теряется там в толпе (в больницах народу куда больше, чем в отелях). Я купил несколько испанских и английских газет и сел за столик в кафе. Утро было прекрасное: прохладное, но солнечное, такие в Лондоне выпадают нечасто. Вопреки своим обещаниям я старался не думать о ней и о том, что с ней сейчас происходит, но не мог не думать об этом. Я не мог себе представить, что с ней в этот момент происходит, — я не знаю, как это все там делается, да и не хочу знать. Я думал о... Ладно, оставим это. — Деан поднял руку ко лбу, потер лоб крепкими пальцами, потом потер переносицу, словно человек, только что снявший очки. Только он не носил очков. — Через час я не выдержал. Я больше не в силах был пытаться читать газеты, которые меня совсем не интересовали. Я встал, расплатился, медленно пересек пространство, отделявшее кафе от клиники, вошел в переполненный вестибюль, где люди ждали или спешили куда-то, входили и выходили, — просто муравейник какой-то. Всюду сновали коллеги Евы, всегда такие озабоченные, — наверное, она чувствовала себя среди них как дома. Я подошел к окну регистратуры и на вполне приличном английском спросил, где можно подождать Еву, Еву Гарсиа (имя я продиктовал по буквам). Я сказал, что ей должны были делать операцию, и солгал, что не мог прийти раньше, вместе с ней. ("А мне придется теперь помнить и эту фамилию вместе с этим именем", — подумал я.) Я нервничал, и на душе у меня было тревожно, я не хотел ничего делать и ничего исправлять, я только хотел быть ближе, чтобы она сразу увидела меня, когда выйдет оттуда, откуда она должна была выйти, — здание было такое большое! Медсестра спросила меня: "Когда ее положили?" Я ответил, что около часа назад. Она спросила, была ли это срочная госпитализация. Я ответил, что нет, что это заранее назначенная операция, что Ева должна была прийти именно в этот день. "Такого не может быть, — ответила мне медсестра, продолжая искать в компьютере фамилию Гарсиа. — Если ее оперируют сегодня, ее должны были положить в клинику самое позднее вчера". — "Это не очень сложная операция", — объяснил я. Медсестра подняла на меня глаза и задала мне тот вопрос, которого я боялся: "О какой именно операции идет речь?" Я не хотел произносить это слово, я сказал: "Прерывание беременности". Я перевел это дословно, я не знаю, существует ли в английском языке этот эвфемизм, но она меня поняла. Она ответила: "Это невозможно. Ее обязательно положили бы вчера". Она еще раз проверила по компьютеру, просмотрела список поступивших накануне. Мне пришла в голову та же мысль, что и тебе, и я попросил посмотреть еще и на фамилию Валье. Это ее вторая фамилия, она Ева Гарсиа Валье. "Никакой Гарсиа и никакой Валье. Ни вчера, ни сегодня, — ответила она, оторвавшись от экрана. — В клинике нет никого ни с одной из этих фамилий". — "Вы уверены?" — я ничего не понимал. "Совершенно уверена", — сказала она и убрала с экрана список. Она не собиралась перепроверять. Это был окончательный ответ. Медсестра посмотрела на меня внимательно. "Вы ее муж?" — спросила она. Не знаю, чем был вызван ее вопрос, сочувствием или нездоровым любопытством, — Евы в списке не было, и медсестре должно было быть все равно, кем она мне приходится. "Да, — ответил

я. — Спасибо". Я отошел в сторону. Медсестра смотрела на меня ничего не выражающим взглядом. Я стоял в вестибюле, не зная, что делать, смотрел, как проходят мимо врачи и медсестры, пациенты и посетители. Я подумал, что Ева могла зарегистрироваться под чужим именем, но это вряд ли было возможно: у нее наверняка попросили бы документы. Я увидел, как некоторые посетители исчезают за одной из дверей. Я последовал за ними и оказался в большом зале, который был похож на зал ожидания. Этот зал тоже был переполнен. Множество людей сидели в потертых креслах. Я растерянно оглядывался. И вдруг вдалеке я увидел ее. Ева сидела в одном из этих кресел, закинув ногу на ногу. На ней уже не было ни пальто, ни платка. Глаза ее были опущены. В руках у нее был журнал. Она казалась спокойной — наверное, случилась какая-то задержка, и ее еще не зарегистрировали. Но пока я шел к ней, мне в голову пришли совсем другие мысли. Она читала яркий журнал, еженедельник, и не подняла глаз, пока я не подошел к ее креслу и не положил руку ей на плечо. "Что ты здесь делаешь?" — спросил я. Я хотел спросить: "Тебя еще не положили?" — но подумал, что так я подскажу ей, как выкрутиться, или подтолкну ее к тому, чтобы лгать дальше. Она вздрогнула. Прошел целый час после того, как мы расстались, мне казалось, что с тех пор прошел уже век. Она быстро закрыла журнал, испуганно глядя на меня. Она хотела встать, но я удержал ее. Я сел рядом, крепко сжал ее запястье и спросил уже в ярости: "Что ты здесь делаешь? В регистратуре мне сказали, что тебя нет в списках пациентов. Что все это значит?" Она смотрела остекленевшими глазами, она не могла сказать ни слова, она молчала. "Операции не будет?" — спросил я. Она отрицательно покачала головой, глаза ее увлажнились, но слезы не выступили. "Аборта нет, беременности нет, ничего нет?" — спросил я. Она взяла свой платок с соседнего кресла, закрыла им лицо и зарыдала. Мы быстро вышли оттуда, почти бегом пересекли вестибюль. Я почти тащил ее за собой, крепко держа за запястье. — Деан остановился, чтобы сделать еще глоток, и бокал еще раз на несколько секунд закрыл его губы. — Если бы я тогда не начал тревожиться, если бы не пошел в клинику, Ева пришла бы в кафе через два часа с заплаканным лицом, еле держась на ногах, как героиня, только что совершившая подвиг, и я утешал бы ее до конца своих дней. Можешь себе представить, у нее в сумочке лежал заготовленный заранее окровавленный кусочек ваты, который она, как бы случайно, должна была показать мне, чтобы я острее почувствовал свою вину, — женщины всегда найдут, где взять кровь. ("Я тоже видел такой кусочек ваты в мусорном ведре, здесь, в доме твоей жены Марты Тельес, клочок ваты с капелькой крови. Марта тогда была уже мертва".) Мы не сказали друг другу ни слова. Когда мы доехали до ее гостиницы, я даже не вышел из такси, просто молча открыл ей дверь, словно приказывал убираться. Я хотел остаться один. Я решил пройтись и купить подарки Марте и сыну ("Компенсация за ожидание, знак внимания, попытка заглушить угрызения совести — теперь уже не важно, чем были эти подарки: они опоздали"), я не хотел больше видеть Еву. Никогда. Нам предстояло возвращаться одним рейсом, но наши места были не рядом. Я знать ничего о ней не хотел. Я где-то наспех перекусил и вернулся в гостиницу, встретился с одним из партнеров и обсудил с ним дела. Я был не в состоянии сосредоточиться на том, что он мне говорил, я думал о своем. Я вспоминал все эти три недели, в течение которых меня обманывали, все эти ссоры, угрозы, хлопоты, нашу поездку. "Каким же я был дураком!" — ду-

мал я. ("На самом деле ни к чему так страдать — просто время, когда ты жил, не зная того, что узнал сейчас, стало вдруг странным, зыбким и нереальным".) Ева звонила мне три раза, я ей не перезвонил. Позвонить сюда мне и в голову не приходило — я был слишком раздражен, чтобы говорить с Мартой, я хотел прийти в себя. А в это время меня уже искали. Ты унес листок с моим телефоном, и меня не могли найти. ("Но я же не хотел, это получилось случайно, нельзя меня в этом винить".) Я снова вышел на улицу. Я никак не мог успокоиться, наоборот, возбуждение мое все росло. Я сел на метро и поехал в центр. Походил там немного, купил еще какие-то подарки, зашел в кинотеатр на Лестер-сквер, но я недостаточно понимаю английский, чтобы следить за сюжетом, к тому же мысли мои были заняты другим. Я вышел, не досмотрев фильма, но в гостиницу вернулся только в половине девятого. В вестибюле меня ждала Ева. Не знаю, сколько времени она там просидела, листая журнал. Увидев меня, она быстро встала и подняла руки, словно для того, чтобы защититься от удара. "Мне нужно с тобой поговорить, — сказала она, — пожалуйста, давай поговорим". Она ничего не ела весь день (я тоже почти ничего не ел), весь день просидела в своем номере и сейчас еле держалась на ногах. Глаза у нее были заплаканные. Я сказал ей, что я ее выслушаю, но это ничего не изменит. Нужно было найти неподалеку место, где можно поужинать. Для Англии было уже поздновато, но я знал, что "Бомбей-брассери" еще открыт, поэтому мы взяли такси и поехали туда, но на этот раз уже без всякой помпы — словно мы потерялись в чужом городе и возвращались в единственное знакомое нам место. Привести ее туда, мне кажется, значило еще и наказать ее: в этом ресторане накануне вечером я из кожи вон лез, чтобы ее ублажить. В этот раз мы не обращали внимания ни на пианистку, ни на официантов в экзотической одежде, ни на сцену. Мы заказали первое, что попалось в меню, — на самом деле нам кусок не лез в горло, — заказали коктейли. Пить мы пили. Я пил бокал за бокалом и скоро был уже пьян от индийского пива — от него быстро пьянеешь, оно должно было помочь мне заснуть той ночью. Если бы я знал тогда, что Марты уже нет в живых, я не испытывал бы такой ненависти к моей бедной медсестре, больше того, я простил бы ее. У меня оставалась бы только она, понимаешь?

— О чем вы говорили? Что она вам сказала?

Деан резко поднялся, словно его задел мой вопрос. Сейчас он снова стоял, облокотясь на полку. Красивая поза, красивый мужчина — высокий, худощавый. Он помрачнел, энергичный подбородок подрагивал, золотистые глаза горели гневом, как тогда, когда он уходил из ресторана и Тельес не позволил ему заплатить по счету. Только сейчас в них не было зеленоватого отсвета грозы (на улице был туман), лишь отсвет электрической лампы.

— Ничего. Что она могла мне сказать? Пыталась меня разжалобить, умоляла, пыталась оправдаться в том, чему нет оправдания, — не все можно простить, даже если это сделано из любви. Нельзя считать поступок правильным только потому, что к нему подтолкнуло сильное чувство. Хотя, возможно, я согласился бы с этой точкой зрения, если бы знал о том, что происходило здесь. Но я ничего не знал.

— Абсолютно правильных поступков вообще не бывает, — некстати заметил я. Действие кокаина проходило, я уже не мог полностью себя контролировать.

— Да, ни мой поступок, ни твой правильными не назовешь.

Деан взял у меня еще сигарету. Ее он зажег сразу и сделал подряд две затяжки. Курильщиком он, скорее всего, не был, а курил для того, чтобы руки были чем-то заняты, пока он рассказывает. Так мне тогда показалось. А еще я подумал тогда, что мысли у него интересные, но он не умеет их излагать. Да и кто из нас умеет?

— Она пыталась рассказать, почему она так сделала, но я не слушал — я и сам все понимал. Она видела, как я отдаляюсь от нее, и не хотела меня потерять — одна только мысль об этом приводила ее в ужас. Она хотела забеременеть, но это было очень трудно: я был очень осторожен, я тебе уже говорил. Она боялась, что не сможет меня удержать, боялась, что пройдет еще год — и я ее разлюблю. Говорила, что у нее сердце разрывалось, когда я торопился уйти от нее, спешил домой — ведь когда-то все было по-другому, когда-то мне и правда нелегко было отрываться от нее, я знаю, что это было так, но я уже не помню. ("Тот, кто уходит, целует в дверях того, кто остается, — так же целовались они позавчера, и так же будут целоваться послезавтра, их первая ночь была уже давно и давно уже забыта — столько прошло с тех пор недель и месяцев".) Она говорила, что я стал другим — сухим, раздражительным, словно вдруг стал чужим, она не знала, что делать: мы всегда теряемся, если видим, что мир вокруг изменился, а мы остались прежними. ("Я тебя не знаю, не знаю, кто ты, я в жизни своей тебя не видел. Не проси у меня ничего и не говори мне нежностей, потому что я уже не тот, что прежде, и ты тоже не та" — вот чем все кончается рано или поздно.) И вот тогда-то она и придумала всю эту комедию. Она полагала, что аборт нас объединит, что меня тронет ее жертва и ее самоотверженность. И она была права, все так и вышло бы, если б мне хватило выдержки и я дочитал бы свои газеты до конца, если бы сидел послушно в том кафе, как и обещал ей, не ушел оттуда, не отправился искать ее на случай, если ей понадобится помощь. Просидел же я так больше часа, делая вид, что читаю, но думая только о ней и о руках врача, которые что-то делают с ее телом, и время ожидания казалось мне вечностью, а она в это время листала журнал. Не знаю, понимаешь ли ты, о чем я говорю.

"Тот, кто рассказывает, обычно очень хорошо умеет все объяснить и обелить себя, рассказывать — это то же самое, что объяснять, доказывать и оправдывать. Оправдать можно все, даже самый подлый поступок, на все можно посмотреть сквозь пальцы, со всем можно примириться, можно даже начать сочувствовать рассказчику: то, что случилось, — случилось, и от этого никуда не деться, раз уж мы знаем, что это *было*, мы должны с этим свыкнуться и примириться, и тогда мы сможем жить дальше". А еще я подумал: "Когда человек рассказывает, он может даже начать нравиться".

— Мне кажется, я понимаю, что вы чувствовали, — сказал я, — это можно понять.

— Когда мы вышли из ресторана, подул сильный ветер и началась гроза. Меня шатало от выпитого, а ее — от отчаяния, от того, что ей не удалось ничего мне объяснить, не удалось меня умолить; от того, что в словах моих звучали только жестокость и сарказм. Ее мольбы не разжалобили меня, это правда. Тогда они меня не разжалобили. Потом... Но потом было уже поздно. — Деан замолчал. Я тоже ничего не говорил — он не ждал от меня вопроса. Он был погружен в свои мысли, он смотрел в мою сторону, но меня не видел — казалось, его взгляд обтекал меня. Резко дернув подбородком, он сказал:

— Я ее ненавидел. Я ее ненавидел, но тем не менее все сложилось бы не так, если б я тогда знал. Может быть, меня даже тронула бы вся эта комедия, я был бы снисходительнее. Бедная Ева, бедная Марта! — Выражение лица его изменилось — сейчас на нем было сострадание. — Через несколько секунд мы вымокли до нитки. Мы пытались поймать такси, но такси не было — для Англии было уже довольно поздно, к тому же во время дождя они всегда куда-то исчезают. Метро уже закрылось, так что мы пошли сами не зная куда, может быть, даже совсем не в ту сторону, куда нам было нужно. Мимо прошло такси, но не захотело остановиться, наверное, наш вид не внушал доверия, — мне было трудно держаться на ногах, когда я останавливался, мне было легче идти, чем стоять. Чтобы защититься от ветра и дождя, я поднял воротник пальто, она повязала голову платком, но это было бесполезно — он тут же намок и прилип к волосам, но по крайней мере ветер не трепал ей волосы. Она хотела укрыться под навесом и подождать, я снова схватил ее за запястье, не дал ей спрятаться от дождя. Он был не такой уж и сильный, гораздо хуже был ветер, а на улице темно и ни души. На перекрестке остановился красный двухэтажный автобус — наверняка последний рейс. У этих автобусов нет дверей, когда они останавливаются, в них всегда можно войти. Ева высвободила руку и вскочила на площадку. Я поспешил за ней, успел ухватиться за поручень в последний момент — автобус уже трогался. Было не важно, куда он шел, Ева решила, что это все-таки укрытие. Подошел кондуктор (не то индиец, не то пакистанец), я заплатил за проезд: "До конца", — сказал я, это было проще всего. Мы поднялись наверх, где никого не было (внизу тоже было только двое пассажиров, я успел заметить это, пока мы поднимались по витой лесенке, — я почти толкал Еву вперед). "Ты что, дура? — говорил я ей. — Ты с ума сошла! Мы же понятия не имеем, куда он идет!" — "Какая разница? Это лучше, чем мокнуть под дождем. Когда будем проезжать по улице, где больше машин, сойдем и возьмем такси. Или когда дождь кончится. Я насквозь промокла. Ты что, хочешь воспаление легких получить?" Она села, сняла платок, наклонилась вперед и начала стряхивать воду с волос. Потом достала бумажные носовые платки и вытерла лицо и руки. Она протянула салфетку и мне, но я отказался. Я сел не рядом с ней, а сзади, как приставала, наметивший жертву.

Ветер меня еще больше разъярил, ее тоже — ветер всегда приводит в ярость, — и она вдруг начала отвечать мне грубостью на грубость. От наших пальто пахло мокрой шерстью — ужасный запах! Двухэтажный автобус быстро шел под дождем (ночь, машин почти не было), тормозя с ревом на светофорах и на остановках. Ветки деревьев время от времени хлестали по стеклам ("Кроны деревьев") — иногда это было похоже на удар хлыста, а иногда (когда по стеклу ударяло несколько веток подряд) — на барабанную дробь. ("Мне всегда было интересно, как удается ей уклоняться от веток, которые низко нависали над дорогой и хлестали по окнам второго этажа автобуса, словно их возмущала наша скорость и они хотели поцарапать нас", — подумал я. Не знаю, чья это была мысль, моя или Марты Тельес. Возможно, это было просто воспоминание.) Ева выжимала свои густые вьющиеся волосы, словно ткань. Я не раз видел, как она делает это, выходя в халате из ванной у себя дома. Она не поворачивалась, сидела спиной ко мне ("Затылок"), мне показалось, что она решила изменить тактику, напустить на себя обиженный вид. Она уже не умоляла — может быть, полагала, что ничего такого ужасно-

го она не совершила, и хотела еще раз рискнуть – не понимала, что это безнадежно. А может, ей казалось, что я слишком далеко зашел, и теперь была ее очередь упрекать меня за жестокость, сарказм и за то, что весь день ее мучил ("Что-то рушится в отношениях, они словно портятся, теряют чистоту"), и потому она считала себя вправе резко отвечать мне. Этого я вынести не мог: да как она смеет! Я думал о ней и о том, что произошло утром в клинике ("И самое ужасное – когда прошлым становится тот, кто должен был стать будущим"). Я был пьян, но это не оправдание – пьяный ты или трезвый, есть граница, которую нельзя переступать. То, что я сделал, я сделал непреднамеренно, но я отдавал себе отчет в том, что я делал. Я подумал, что никто не увидит меня ни с улицы, ни с нижнего этажа автобуса. В этих автобусах есть круглое выпуклое зеркало, в которое кондуктор может видеть то, что происходит наверху, но для этого в зеркало надо смотреть, а тот индиец или пакистанец уже никуда не смотрел – это был его последний рейс, он очень устал, а усталый человек нелюбопытен. В некоторых автобусах сейчас установлены видеокамеры, но в том автобусе (это был пятнадцатый маршрут, или шестнадцатый, или еще какой – не помню) они вряд ли были. Я осмотрелся, чтобы убедиться в этом, – действительно, не было. Я подумал о себе, о том, что будет потом, о возможных последствиях ("Ты подумал о завтрашнем дне"). Я знал, что делал, когда взял ее голову в свои ладони и с силой сжал ее ("Ты сжал мои щеки и виски, мои бедные виски"). Я крепко держал и все сильнее сжимал ее голову, не давая ей повернуться, потому что сейчас она хотела повернуться ко мне, но уже не могла, под моими ладонями были ее мокрые кудри. Сначала ей, наверное, показалось, что это шутка, она раздраженно крикнула: "Ты что делаешь, успокойся!", но потом поняла, что все серьезно. Ей было больно, ей, должно быть, было очень больно, еще секунда-две – и мои пальцы впились бы ей в кожу, но я, чтобы она не закричала, быстро опустил ладони вниз, к ее затылку и шее ("Ее затылок с подобранными, как в девятнадцатом веке, волосами, выбившиеся черные прядки, как полузасохшие струйки крови или грязи") и сжал ее горло. Она уже теряла сознание, силы покидали ее, она почти не оказывала сопротивления, только слабо пыталась разжать мои руки. ("Как дети почти никогда не сопротивляются безжалостным недугам, которые уносят их жизни без всякого труда".) Еще секунда – и она упала бы на пол лондонского автобуса, который продолжал бы свой путь сквозь ветер и дождь по ночному городу, а я сошел бы – двери нет, меня ничто не может задержать. ("Ужасная смерть, смерть за границей, да еще и на острове".) Я не видел ее лица, не видел ее глаз – только затылок и волосы. Очень скоро она должна была умереть. ("Я исчезну не только та, что есть сейчас, но и та, что была раньше; исчезнет все, что хранит моя память, все, что я знаю, все, чему я научилась, все, что я видела – я столько всего видела, а теперь это никому не нужно. Все это станет бесполезным, если я умру".) Но – не знаю почему – я ослабил пальцы. Может быть, потому, что автобус резко затормозил и с шипением остановился (словно мои действия зависели от скорости движения автобуса и от силы ветра), а может быть, потому, что гнев сменился страхом и раскаянием. Я обмяк, убрал руки, я выпустил ее, не отнял у нее жизнь. ("Но пока час еще не настал, час еще не настал, и значит, пока я могу смотреть на этот чужой пейзаж, могу строить планы на будущее и могу продолжать прощаться".) Я сунул руки в карманы пальто, как будто хотел скрыть или стереть из памяти

то, что эти руки едва не совершили, — все зависит от результата, а результат зависит от того, насколько долго действие длилось. ("Связующая нить не порвалась, моя шелковая нить, ведущая неизвестно куда; еще один день — какое несчастье, еще один день — какое везенье!") Ева была жива, хотя могла быть уже мертвой. ("Я не знаю, чем одно отличается от другого, я не понимаю, что значит "жизнь" и что значит "смерть".) Я встал, подошел к ней, чтобы увидеть ее лицо. Я смотрел на нее с высоты своего роста. Ноги ее раздвинулись, но она этого даже не заметила. Она подняла голову, бедную свою голову, посмотрела на меня, и в ее глазах отражалась темная ночь и мое лицо. Я увидел в них не страх и не готовность сопротивляться, а безнадежность, сожаление и боль. ("Лучше ничего не знать, не знать ни о прошлом, ни о настоящем — хотя иногда только что произошедшее сразу же становится далеким прошлым".) Казалось, ее потрясло не то, что она едва не погибла, а то, что именно я мог хотеть ее смерти и пытаться приблизить эту смерть. Она вдруг вскочила с места и побежала вниз по лестнице — застучали высокие каблуки туфель, которые она надела, когда шла ко мне в гостиницу, чтобы ждать и умолять меня. Она сбежала по витой лестнице и выпрыгнула из автобуса еще до того, как он снова тронулся с места. Я не знаю, где мы были, что это была за улица. Я остался на месте, не побежал за ней — только открыл окно (в него тут же ворвался дождь) и высунулся в него, чтобы увидеть, как она уходит ("И до сих пор я смотрю на мир с высоты"). Автобус уже тронулся и набирал скорость, когда через заднее стекло — я подбежал к нему — я увидел ее пальто и туфли, уже не казавшиеся такими детскими на асфальте. Она пыталась перебежать дорогу, она боялась, что я побегу за ней и снова начну убивать ее, а может быть, просто была потрясена только что пережитым. Она даже не посмотрела по сторонам, улицу от нее закрывал автобус, он еще не отошел далеко. Но она не перешла на другую сторону, потому что ее сбило черное такси, которое мчалось по левой полосе — в Англии движение левостороннее, — "остин", похожий на носорога или слона. Через заднее стекло, пока отъезжал мой автобус, я видел все это собственными глазами, видел удар такой силы, что ее даже не подбросило вверх: машина протащила ее вперед. Такси не могло остановиться даже после удара и переехало ее, когда она уже упала на асфальт. Смертельный удар, о котором мой автобус даже не узнал или не захотел узнать: на миг мне показалось, что он хочет остановиться, но он не остановился, продолжил свой путь, набирая скорость с каждым метром. Может быть, сонные водитель и кондуктор ничего не услышали, а может быть, услышали, но подумали, что их рабочий день закончится слишком поздно, если они окажутся втянутыми в эту историю. Последнее, что я видел перед тем, как автобус свернул на другую улицу, были таксист и его пассажиры: им наконец удалось остановиться, и они бежали к трупу. Женщина и мужчина закрывались от дождя газетой, таксист уже знал, что там труп, потому что в руках у него было что-то вроде одеяла, которым он собирался его закрыть. "И лицо закрыть, — подумал я, — так оно по крайней мере больше не намокнет" ("Но появится запах страшной метаморфозы"). Я ничего не сделал. Я не сошел с автобуса на следующей остановке или на перекрестке, чтобы вернуться и убедиться в том, что я и так уже знал, или чтобы сопровождать Еву и помочь в оформлении бумаг. Я сделал бы это, если б знал (но я еще не знал), что произошло здесь двадцатью часами раньше. Хотя нет, это неправда, я и тогда не сошел бы с автобуса. Я сделал вид, что я

здесь ни при чем. Я не убивал ее в прямом смысле слова, это сделало такси, но я хотел ее смерти несколькими минутами раньше, и вот это произошло — произошло потому, что я этого хотел, пусть даже не я убил ее. ("Она умерла не своей смертью, — подумал я, — а если кто-то умирает, а другой остается в живых, то этот другой чувствует себя преступником несколько мгновений или всю жизнь. Проклятье! Теперь мне придется помнить имя той женщины, хотя я даже не видел ее лица, — Ева Гарсиа Валье".) А может быть, это ее воля уступила моей, потому что она не хотела больше стоять на моем пути. ("Наша воля устает и отступает и, отступая, открывает путь смерти, словно мир уже не в силах выносить нас и торопится от нас избавиться".) Я удалялся все больше и думал только об одном: никто не знает, что мы приехали вместе. Каждый сам покупал билеты, остановились мы в разных гостиницах, в клинике она не была записана, потому что на то не было причины. Это была просто смерть туристки с континента, которая не учла, что в Лондоне свои правила дорожного движения, и не посмотрела в нужную сторону, когда выходила из автобуса и хотела пересечь улицу. ("Смешная смерть, ужасная смерть туристки, она так же смешна и ужасна, как смерть от разбитого молнией дерева, упавшего на голову иностранцу — иногда такое случается, и мы читаем об этом в газете и посмеиваемся".) Она не имела никакого отношения ко мне, мы не были знакомы. Я выбросил ее автобусный билет в окно. Пакистанец даже не вспомнит, что я платил за два билета. И потом, я ни в чем не виноват, никто не виноват, просто несчастный случай. На сиденье лежал ее платок, все еще мокрый. Он еще хранил ее запах, запах ее черных волос. ("Запах умерших остается, когда от них самих не остается уже ничего. Он остается, пока еще есть их тела, и даже после, когда их уже похоронили: "Свинцом тебе на грудь мы ляжем, тебе на сердце камнем завтра лягу...") Я сунул его в карман пальто, он до сих пор у меня. — Деан секунду помолчал, потом прибавил: — Вот что со мной случилось, не знаю, понял ли ты.

"Мы так доверчивы, нас так легко в чем угодно убедить. Рассказать можно все, если умеешь представить дело, умеешь найти оправдание и смягчающие обстоятельства. Рассказать о чем-то — значит проявить щедрость. Все может случиться, обо всем можно поведать, все можно принять, всегда можно найти способ остаться безнаказанным, целым и невредимым. Когда мы делаем что-то (или что-то рассказываем), мы всегда (или по крайней мере в ту минуту, когда делаем это) считаем, что поступаем именно так, как должны поступить (или именно так должны рассказать). Странная это миссия и задача — рассказывать: ни одно событие нельзя считать совершившимся, пока о нем не стало известно, пока о нем не узнали, пока о нем не рассказали. Без этого оно превратится в мысль, в воспоминание, в ничто. Но историю можно рассказать только тогда, когда она уже закончилась, и тот, кто рассказывает, всегда может добавить: "Но сейчас я уже не тот, что был раньше, я другой, я отрекся от себя прежнего. Я этого не хотел, я к этому не стремился". А тот, кто слушает, может выслушать все до конца, а потом сказать (и это будет самый лучший ответ): "Не знаю, не уверен, там посмотрим".

— Думаю, что да. И что было потом? — спросил я. — Мне уже пора идти.

Мой вопрос вывел Деана из оцепенения. Он поправил галстук и начал медленно раскатывать рукава рубашки, словно собирался надеть пиджак, словно это он собирался уходить. Но уходить нужно было мне.

"Пора идти, — думал я, — я уже все выслушал и уже никогда этого не забуду".

— Я сошел, когда мы выехали на более оживленную улицу и автобус остановился на светофоре. В автобусе уже не было ни одного пассажира — я успел заметить это, когда спускался по лестнице. Кондуктор наверняка даже внимания не обратил, что кто-то вышел не на остановке. Я быстро поймал такси и поехал в гостиницу. Пока я ехал, дождь кончился, ветер утих, а я протрезвел. Я поднялся к себе в номер. Никто ничего мне не передавал. Я включил телевизор и несколько минут смотрел, переключая каналы и ничего не понимая. Потом встал с кровати, подошел к окну, поднял раму и долго стоял, облокотившись на подоконник, не обращая внимания на холод. ("Деан стоит у окна-гильотины и смотрит в темноту зимней лондонской ночи, смотрит на здания напротив или на окна — большей частью неосвещенные — его же гостиницы, на освещенное окно в комнатке под крышей, где чернокожая горничная раздевается после трудового дня, снимает наколку, туфли, чулки, фартук и униформу, а потом моется по-британски скромно над скромным умывальником, какие стоят в британских комнатах, жителям которых приходится выходить в коридор, чтобы воспользоваться общей для всех обитателей этажа ванной. В его комнате звонит телефон. Звонки взрывают ночную тишину и пугают полуодетую и полураздетую горничную, которая вдруг понимает, что кто-то может ее увидеть, быстро подходит к окну, поднимает раму и высовывается на несколько секунд, словно хочет убедиться, что, по крайней мере, к ней никто не лезет в окно, а потом поднимает раму и аккуратно задергивает шторы: никто не должен видеть, как она сидит в изножье кровати, полуодетая и полураздетая: блузка снята через голову, рукава держатся на кистях рук — может быть, кто-то уже видел ее такой, пока она, ничего не подозревая, расчесывала волосы и напевала что-то непонятное, возможно, это был погребальный плач, словно она была молодая banshee, — напев усталой оклеветанной смерти, предсказывающей прошлое. Я не знаю, так ли это было, я не уверен, там посмотрим, а скорее всего — никогда не узнаем. Мертвая Марта никогда не узнает, что происходило с ее мужем в Лондоне в ту ночь, когда она умирала рядом со мной: когда он вернется со своими подарками, она уже не сможет ни получить эти подарки, ни выслушать его рассказ — выслушать то, что он решит рассказать ей, — может быть, в его рассказе не было бы ни слова правды и он совсем не был бы похож на тот, который только что выслушал я. Призрак, который является ему, — это призрак другой женщины, она занимает его мысли, как Марта занимает мои, она не дает ему спокойно жить и спать. Его бедная жена и его бедная любовница поселились и смешались в нашем сознании (другого пристанища они не нашли), не желая примириться с тем, что им предстоит исчезнуть, стремясь воплотиться в единственном, что у них осталось, чтобы продлить свое существование, хотя от бесконечного повторения воспоминания о них тускнеют и блекнут".) Пока не зазвонил телефон, — сказал Деан, — и мне не сообщили эту новость. Прошло уже двадцать часов. Есть вещи, о которых нужно узнавать сразу, нельзя жить, не зная, что все изменилось. ("Легко жить в блаженном неведении. Это наше естественное состояние, — снова подумал я, — и не стоит так страдать из-за этого: ты будешь продолжать слушать бритвенный голос Висенте, будешь по-прежнему встречаться с ним".)

— Я пойду. — Вот я это и произнес. Я уже произносил эти слова в этом доме, но я никогда не произносил последней фразы, я не говорил: "Я пошел".

Надевая плащ и шарф, я незаметно бросил взгляд в сторону открытой двери, ведущей в комнату малыша, и подумал, что Деан вряд ли захочет, чтобы малыш оставался с ним. Завтра я позвоню той, что сейчас была и старшей сестрой, и младшей. Я посмотрел на часы — было еще не слишком поздно, может быть, стоило позвонить ей прямо сегодня, как только я вернусь домой, и сделать один, пока вполне невинный шаг. В конце концов, вдруг именно я окажусь тем мужем, которого еще нет и который должен стать для нее частью такого непостоянного мира живых? И малыш мог бы жить с нами — Деан вряд ли захочет, чтобы Эухенио оставался у него. И самолеты тоже переселятся вместе с ним, хотя они и принадлежали его отцу в далеком детстве (а вот у меня никогда не было столько!) — истребители и бомбардировщики Первой и Второй мировых войн, несколько корейских самолетов и несколько испанских, которые бомбили или защищали Мадрид когда-то давным-давно, во время нашей войны. Когда история заканчивается, дальше все зависит только от рассказчиков, хоть и не всегда. Всей правды не узнать никогда, вокруг много людей, и всегда нужно от кого-то что-то скрывать. Малыш никогда не узнает о том, что произошло, это будут скрывать от него его отец, его тетушки и я сам. И пусть он ничего не знает — в мире происходит очень много такого, о чем никто не знает и не помнит.

Все забывается, все имеет срок давности. Как мало следов оставляет человек в этом бесполезном времени, похожем на плотный снег! Как мало остается после нас и из этого малого сколько всего умалчивается! А из того, что не умалчивается и не скрывается, потом помнится еще меньше и помнится совсем недолго — только пока мы медленно движемся к той черте, перейдя которую окажемся по ту сторону времени, где уже нельзя будет думать и нельзя будет прощаться: "Прощайте, радости, и прощайте, печали! Больше мы с вами не встретимся. И прощайте, прощайте, воспоминания".

“Я поэт в бунте против правил”

Стихи французских сюрреалистов

Составление и предисловие Михаила Яснова

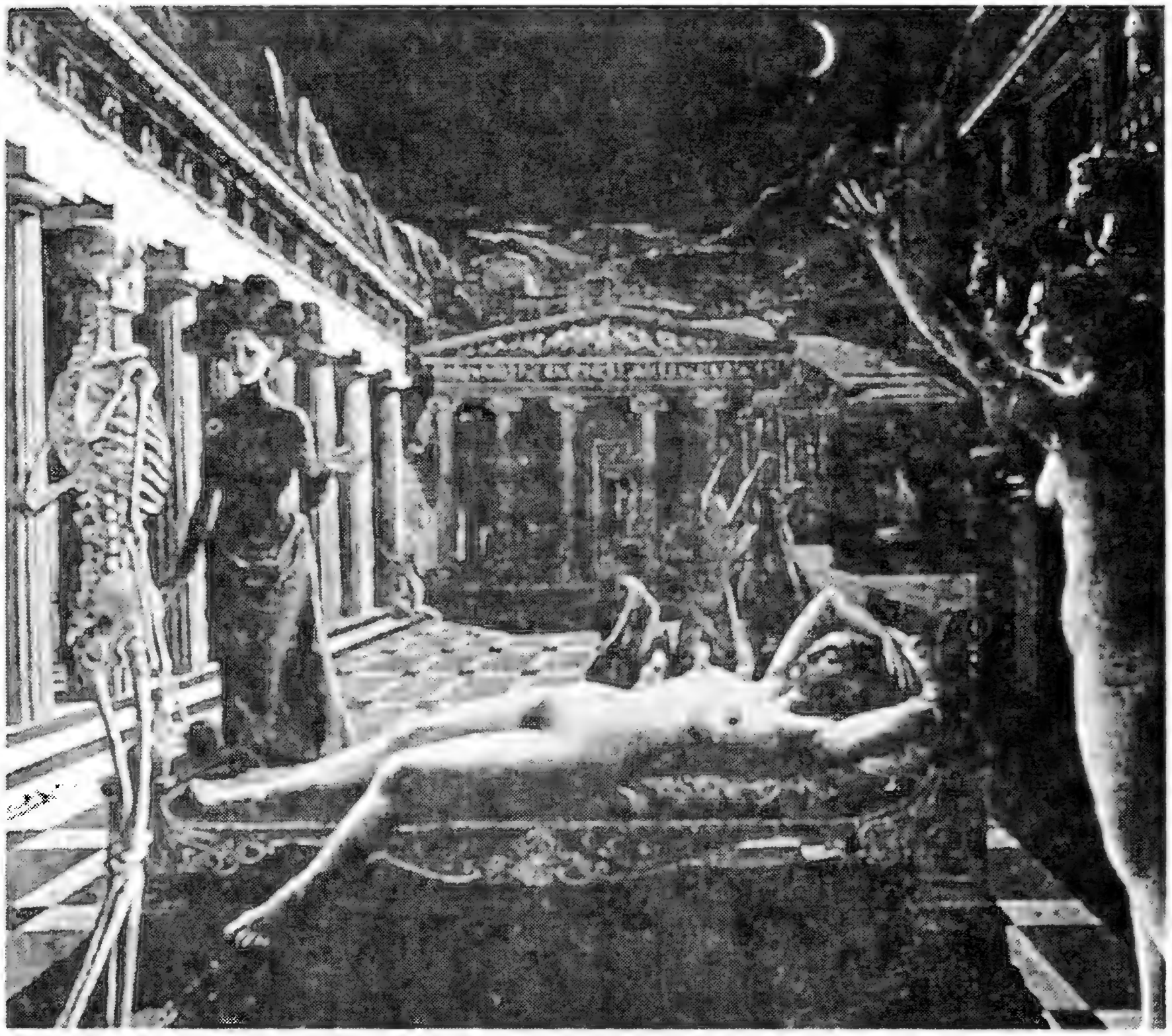
Бретона, Арагона и Супо называли тремя мушкетерами сюрреализма. Сблизившись к 1919 году, они стали первым поэтическим призывом нового течения, которое принялось активно оформляться после выхода в мае 1920 года “Магнитных полей” Бретона и Супо — “стартовой” книги, на страницах которой авторы попытались материализовать стержневую идею сюрреализма — автоматическое письмо. Чуть позже, в 1924 году, в своем знаменитом манифесте Андре Бретон, основываясь, в частности, и на опыте “Магнитных полей”, даст первое определение сюрреализма: “Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить — или устно, или письменно, или любым другим способом — реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений”.

Возникший как поэтическая группа, быстро заявивший о себе как литературная и живописная школа, поглотившая своих предшественников дадаистов, сюрреализм обязан своим рождением прежде всего поэзии. Именно в ней стали реализовываться его главные понятия: и уже упомянутый автоматизм, сцепление свободных ассоциаций, и главенство подсознательного, прежде всего сновидений, и порождающая все это фрейдистская концепция психики. Однако мы куда отчетливей представляем себе видеоряд сюрреализма (Рене Магритт, Джорджо Де Кирико, Макс Эрнст, Поль Дельво, Жоан Миро, Ив Танги, Сальвадор Дали в живописи, Ман Рей в фотографии, Луис Бунюэль в кинематографе), куда больше знаем о его теоретических притязаниях, куда подробнее посвящены в историю его политических пристрастий, нежели имеем опыт чтения его поэтических текстов.

Все девяностые годы мы интенсивно осмысляли то, что в европейской культуре давно стало общепринятым, внедренным в сознание и уже порядком заштампованным — сюрреализм как главную составляющую авангарда XX века. Примечательная антология французского сюрреализма, подготовленная С. Исаевым и Е. Гальцовой и увидевшая свет в 1994 году, впервые ввела в наш литературный обиход значительный корпус сюрреалистической прозы. В 1999 году вышла “Антология черного юмора” Андре Бретона, подготовленная к изданию и по большей части переведенная Сергеем Дубиным. Это был серьезный опыт прочтения отдельных текстов под углом зрения тоталитарных притязаний сюрреализма на литературное господство. Наконец, настоящая подборка знакомит со стихами одиннадцати поэтов, которые были связаны с сюрреализмом в эпоху его расцвета, в двадцатые — первую половину тридцатых годов.

Мишель Лейрис, поэт из когорты сюрреалистов, вычленил, возможно, главное в формировании их поэтических судеб. “Известно, — отмечал он, — какое значение сюрреализм придавал мечте, изобретению и шире — всем продуктам во-

© М. Яснов. Составление, предисловие, 2002



Поль Дельво. Спящая Венера

ображения, исходящим из самых глубин человека. Но в меньшей степени известно, что для большинства поэтов и художников, которые, объединясь вокруг Андре Бретона, участвовали в этом движении, изначально речь шла не столько о бегстве от действительности, сколько о завоевании области воображаемого и присоединении ее к жизни".

Лейрис, собственно, говорит о целях, к которым должна была привести сюрреалистическая революция, утверждавшая право на свободу во всем — от любви до поэзии. Как в первой, так и во второй прежде всего выявлялись ассоциации и аллюзии, которые раньше далеко не всегда принимались в расчет. В этом смысле поэзия оказалась уникальным испытательным полем — здесь сюрреализм утвердил особые приемы отношения с языком, особые способы организации поэтического образа, которые в отдельных случаях использовались в литературе и прежде. Неспроста получил такую широкую известность "почетный список" из первого "Манифеста сюрреализма" А. Бретона: "Свифт — сюрреалист в язвительности. Сад — сюрреалист в садизме. Шатобриан — сюрреалист в экзотике. Констан — сюрреалист в политике...". И т. д., и т. п. — перечень бесконечен. Какой бы отбор предшественников ни производили сюрреалисты, их главная историческая миссия как записных модернистов выразилась в ассимиляции множества поэтических истоков и свелась к многократному умножению уже сделанных открытий.

Ныне, когда эпатаж и революционные бури, поднятые сюрреалистами, давно утихли, следует, очевидно, согласиться с Сергеем Дубиным, который предположил, что сюрреалистов "лучше сравнивать не с дерзкими революционерами, сбрасывающими все с корабля современности, а с кропотливыми археологами че-

ловеческой мысли, отыскивавшими в подвалах традиционной культуры забытые имена и творческие рецепты, чтобы затем, адаптировав их к требованиям момента, преподнести современникам". Дадаизм бросил вызов традиции, продемонстрировав, каковы могут быть авангардистские приемы творчества. Последовательностью и множественностью употреблений сюрреализм превратил их в традицию авангарда. Поэтическое движение становится школой и методом отношений с миром только при многократном повторении сформулированных (но далеко не обязательно ими открытых) приемов; школа — это множественность. Что самым замечательным образом продемонстрировала и школа Бретона.

Утверждая, что сюрреализм — это образ жизни, ученики этой школы и здесь не выглядят первооткрывателями. Конечно, определенным откровением может считаться сама "стратегия" скандалов и введение в литературной обиход воинственной и "хорошо вооруженной" группы, однако стереотипы поведения были обретены сюрреалистами в самых недрах парижской богемы и озвучены в согласии со злобой дня. Жан-Поль Креспель в книге "Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху" дает обобщенный и весьма показательный портрет сюрреалистов тех лет: "Поведение этих людей характеризовалось неуклонным соблюдением некоторых, незыблемых в их глазах, принципов: антиклерикализма, антимилитаризма, антикапитализма и сентиментального восхищения советским коммунизмом, а также постоянной подозрительностью друг к другу и — неожиданная черта — некоторым снобизмом. Они сочетали в себе одновременно вольнодумство и ханжество. Они оскорбляли священников на улице и уважали религиозные убеждения нескольких избранников, они ходили в дырявых ботинках, но носили гетры, монокли и трости, они не гнушались случайными связями — сколько венерических заболеваний, серьезных и не очень! — но верили в страстную, безумную любовь. Они презирали деньги до такой степени, что отказывались от любой регулярной работы, от любой профессиональной деятельности, предполагавшей зависимость (так, Бретон и Арагон отказались продолжить медицинское образование), чтобы оставаться вне социальной иерархии, и в то же время разинув рот восторгались пышностью дома де Ноай и мчались на приемы. Это благоговение перед богатством — самое темное пятно на истории сюрреализма. И самое неизгладимое". Не случайно вся его история — это череда взаимных нападок, оскорблений, исключений, чудовищной подозрительности, вечной любви-ненависти друг к другу.

Всего этого не избежали и те, кто долгое время представлял костяк движения, "великолепная семерка": Андре Бретон, Луи Арагон, Поль Элюар, Тристан Тцара, Филипп Супо, Робер Деснос, Бенжамен Пере. Что же до их поэтического творчества, то оно свидетельствует о попытках сопротивления жесткому регламенту. "Мы, — писал Бретон в своем первом манифесте, — люди, превратившиеся в скромные *регистрирующие аппараты*, отнюдь не завороженные теми линиями, которые они вычерчивают..." На самом деле оказывалось — еще как завороженные! Декларировались механические, автоматические, а реализовывались самые тонкие, интуитивные отношения с любого рода действительностью. Бретон противоречил сам себе: говорил о тотальной, бесконтрольной "диктовке мысли", но тут же восклицал: "Я хочу, чтобы человек молчал, когда он перестает чувствовать!" Элюар настаивал на исключении чувственного мира из сюрреалистических произведений, а на практике оказался одним из самых эмоциональных поэтов. Деснос в своей работе с языком декларировал бессмыслицу как основу для разрушения логических, то есть стандартных, норм и одновременно создал, в частности, уникальный текст "Рроз Селави", построенный на четко продуманном соединении традиционных афоризмов и максим, поданных в виде виртуозных каламбуров и подчиненных внутренней логике поэтической игры...

В поэтике каждого из представляемых поэтов, на фоне общих задач и совместно сформулированных положений, нетрудно вычленить индивидуальные черты и отличия. Все-таки судьбы и таланты были разные.

У Андре Бретона поэзия оказалась не самой сильной стороной творчества. Мощный организатор и теоретик движения, он куда убедительнее писал прозу и куда изысканнее — свои манифесты. В то же время, с точки зрения группы и ее адептов, Бретон был наиболее значительным поэтом своего времени. И это понятно: его воспринимали целиком, во всех проявлениях личности, которая так или иначе покоряла тех, кто его встречал (позднее Жорж Рибемон-Дессень назовет это "папологией Андре Бретона"). К тому же в поэтике Бретона естественным образом нашли отражение все им же сформулированные основные постулаты поэтического письма: и автоматизм, и ониризм, и незавершенность (подхваченная у Раймона Русселя, который "развертывал" свои многострочные поэмы как бесконечную ленту описаний и образов, усложняя синтаксис значительным количеством переносов); такая поэзия не ограничивается переплетом книги, но выплескивается наружу, становится образом жизни — не случайно в поэтической философии Бретона было столь важным стихотворение Аполлинера "Понедельник улица Кристины", записанное на салфетках в кафе как обрывки только что услышанных и не связанных между собой мимолетных фраз.

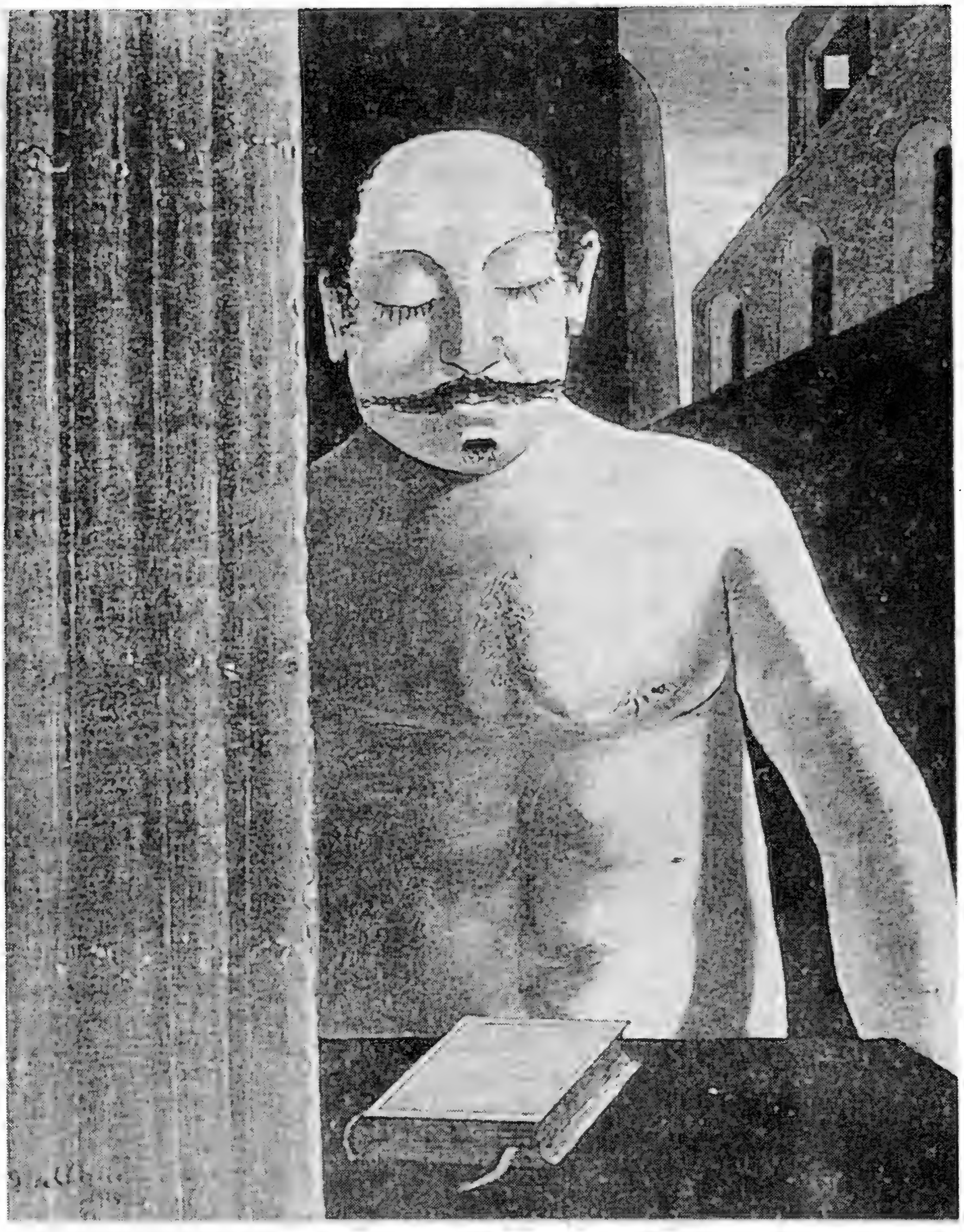
В 1932 году вышел, возможно, наиболее значительный сборник Бретона — "Седовласый револьвер", вобравший все лучшие стихи из сочиненного им до того времени и снабженный подробным предисловием, из которого часто цитируют характерную формулу: "Воображение — это то, что имеет склонность становиться реальностью". Бретон пытается реализовать и иной тип мелодики — противопоставленной стихам Верлена, если говорить о последнем как об образце классической музыкальности во французской поэзии. Поэтические приемы Бретона суть производное от иной системы, допускающей в поэтическую речь все формы прозаизации, — ныне это называется "prosème", "стихопроза", — и носящей в подтексте весь комплекс современной культуры, включая самые маргинальные ее области. Полный доступ в поэзию любого явления бытия, абсолютная свобода созидания и мысли были поэтической реализацией главной философской идеи сюрреализма — дать человеку максимальное величие и поставить его на место Бога.

Одновременно это была и попытка сформировать поэтическую ментальность поколения, а здесь безусловно важной оказалась поэтическая практика Луи Арагона и Робера Десноса. Годы сюрреализма до сих пор terra incognita в наших представлениях об этих поэтах, хотя именно в ту эпоху были ими изданы очень значительные книги стихов: "Беспрерывное движение" (1924) и "Преследуемый преследователь" (1931) Арагона, "Причесанный язык" (1923), "Сумерки" (1927), "Тела и блага" (1930) Десноса. В тридцатые годы они разошлись с Бретоном (многие полагают, что на этом талант Арагона умер, а талант Десноса окреп), но еще долгое время оставались в кругу языковых и тематических предпочтений сюрреализма.

Поэт Жак Барон вспоминает, что в ту раннюю эпоху Арагон любил повторять слова Бодлера: "Человек должен очень низко пасть, чтобы поверить в счастье". Счастье, в его обыденном смысле, было табу для сюрреалистов, если только оно не относилось к самому факту творчества или еще шире — к представлениям о любви. Брошенная походя в 1924 году, но ставшая с тех пор классической анонимная фраза "Если вы любите ЛЮБОВЬ — вы любите СЮРРЕАЛИЗМ", во многом проясняет стихи и Арагона, и Десноса: оба придавали любви и сексуальности первостепенное значение как акту жизни-поэзии, поэтому в целом в их творчестве женщина и любовь занимают первое место. Такое же, как на формальном уровне — виртуозное овладение всем пространством поэтической речи. Игра со

словом, переходящая в игру с рифмой, фонетическая изощренность, феноменальное манипулирование звуком, обыгрывание внепоэтических форм любого вида: математических формул, специальной терминологии, городских вывесок, цитат и, наконец, просто букв (как в стихотворении Арагона "Самоубийство", представляющем собой расположенный особым образом алфавит французского языка) — все становилось "общественным достоянием", литературным фактом и нередко давало повод для иронии. Причем, иронии в ее наиболее гротескном воплощении, когда говорят противоположное тому, что хотят услышать.

Это характерно и для Филиппа Супо, который, впрочем, оказался среди всех самым непредсказуемым и свободолюбивым. Оставаясь в дружеских отношениях с Бретоном, он тем не менее предпочитал личную независимость клановым обязательствам. Скандалист в молодости, он и на исходе дней при любом удобном случае пытался расквитаться с друзьями юности, прежде всего с Элюаром, и по-



Джорджо Де Кирико. Мозг ребенка. 1914 г.

сколько за свою весьма долгую жизнь успел раздать немало интервью, возможностей для сведения счетов у него было предостаточно. В стихах он был более закрыт — и более загадочен. Благословленный в свое время Аполлинером, тяготеющий к злобе дня Супо-поэт, по крайней мере в ранних стихах, пытался решить важную для сюрреализма проблему взаимоотношений напыщенной серьезности и веселой иронии; на небольшом пространстве лирической миниатюры он нередко пытался разыграть комедию положений, героями которой выступали аллюзии, каламбуры и самые что ни на есть реальные детали окружающего. Получался, как писали про его стихи, "коктейль из ритуальных образов", замешенный на остром вкусе ко всему современному. Спонтанная, на глазах рождающаяся поэзия становилась истоком того самого "ошеломления", которым громче всего и заявил о себе сюрреализм. Выпустив семь сборников стихов (включая "Магнитные поля"), Супо уже в 1937 году издал "Полное собрание стихотворений" и, хотя впоследствии неоднократно обращался к поэтическому творчеству, так и не смог превзойти себя "раннего", когда поэтический дар затмевал его другие, еще только зарождавшиеся литературные таланты.

Противоположностью Супо был Бенжамен Пере, самый последовательный после Бретона проповедник сюрреализма. Пере принимал активнейшее участие в большинстве сюрреалистических акций, был инициатором сначала разрыва с дада́, потом — сближения с коммунистами, но публикациям собственных стихов не придавал большого значения. По-настоящему стихи Пере открыли только спустя сорок лет после появления его первого сборника "Пассажир трансатлантического парохода" (1921), но еще при жизни он был признан "виртуозом полемического стихотворения". Автор большого количества манифестов и деклараций, он и в стихи перенес оптимизм бойца-победителя, язвительность по отношению к любого рода неприятелю, а то и просто шутливость, когда, используя столь полюбившиеся сюрреалистам народную песенку или детскую считалку, создавал поэтические сценки в духе ярмарочного балагурства:

Ах петрушка вот свежая дама
Вот свежая дама по низкой цене
По самой низкой цене в стране
А сама страна из нашей деревушки

Ах деревушка вот свежая дама
Свежая дама такая петрушка
Она из страны по низкой цене
А сам огородник родом из дамы

Ах петрушка вот свежая страна
Свежая цена в низкой стране
Низкая цена выросла вдвойне
А петрушка выросла в низкой даме

Перевод М. Иванова

В 1928 году вышел самый известный сборник Бенжамина Пере "Большая игра" — через пару месяцев это название подхватили Рене Домаль и Роже Жильбер-Леконт, бросившись выпускать журнал с тем же названием, но Пере уже был к тому времени мыслями и душой в Бразилии: незадолго до того он женился на бразильской певице Элси Хьюстон, а затем отправился в Латинскую Америку совершать и там сюрреалистическую революцию. В тридцатые годы достаточно ча-

сто выходили его сборники — в том числе "Припрятанное на случай" (1934), "Сублимирую" (1936), "Я не ем этот хлеб" (1936)... Название последнего сборника было впоследствии выбито на его могильной плите на кладбище Батиньоль, подчеркивая вечную непримиримость этого "ортодокса" сюрреализма.

По-своему непримиримым оказался и Антонен Арто: "Бог исчез неизвестно куда. / Осталась лишь черная точка, / Туда и канула моя судьба..." Арто так и не примирился с необходимостью выбора: при всех своих талантах, он не смог полностью реализоваться ни в литературе, ни в театре, ни в кино, разве что его многотомные дневники, которые он вел в лечебнице для душевнобольных, оказались потрясающим документом силы и живучести его литературного дара. С годами Арто стал похож на известную маску Вольтера, которая хранится в парижском музее Карнавалé: под ироническими чертами кроется необузданная, по словам Бретона, ярость, "находящая выход в абсолютном словесном дебоше" и говорящая "об острейшем внутреннем напряжении". В сентябре 1924 года Арто писал, что он "слишком реалист" для того, чтобы быть с сюрреалистами, но прекрасно понимает, что такое сюрреализм: это система жизни и мысли, это толкование невидимого, "которое несешь в руке". Стихов он написал не так уж и много, формально они близки традиционной поэзии, но вся внутренняя структура их образов свидетельствует об интенсивном движении подсознательного, разрушающего традиционную логику и сближающего Арто с живописной ветвью сюрреалистической поэзии.

Ее в первую очередь представляют Франсис Пикабиа и Жан Арп, которые показали, какой может быть работа художника в языке. Впоследствии это попытался сделать и Пикассо, но его единичные поэтические опыты по всем статьям проиграли. И Арп, и Пикабиа занимались литературой всю жизнь, стихи для них составляли единое целое с другими областями творчества, прежде всего, конечно, с живописью. Оба они прошли чуть ли не через все школы, перепробовали чуть ли не все направления и, хотя участвовали во многих акциях сюрреализма — подписывали манифесты и декларации, устраивали выставки, сотрудничали в журналах, издававшихся под его знаменем, — остались в этом стане попутчиками. Тем не менее их поэтические труды заслуживают внимания: они работали с пластикой языка, как работают с красками и глиной, и опирались на основные положения сюрреалистической теории. "Пикабиа первым понял, что все без исключения сближения слов законны", — говорил Бретон. "Слова, образы, — добавлял Арп, — должны свободно сочетаться, без какой бы то ни было намеренности. Все зло исходит от осознанной мысли".

Мишель Лейрис, чуткий к обнажению приемов творчества (словарную статью, посвященную метафоре, он, например, закончил словами: "Эта статья сама по себе и есть метафора"), дал примечательный образ Жана Арпа — и эта пространная цитата тоже сама по себе метафора работы художника: "Длиннобородые гномы, которые спускаются по руслу, оставленному в земле потоком лавы, корриганы, вырезанные из дерева, сильфы с прозрачными руками, русалки, до пояса погруженные в извивы волны, саламандры с губами из языков пламени, все, что находится между человеческим существом и необработанной материей, все, независимое от четырех стихий и одновременно связанное со всем вокруг, не камень и не вода, не тень и не металл, не понятие и не костяк, не твердое и не газообразное, наполовину смоква, наполовину виноград, ни рыба ни мясо, все то, что волею судьбы навсегда заключено между плотью дерева и его корой, недолизанные медвежата, гусеницы, недопревращенные в бабочек, человекообразные обезьяны, сфинксы, сирены, дрессированные звери, химеры, гермафродиты, грифоны, все, кто от ворон отстал, а к павам не пристал, Буридановы ослы, Ньютоновы яблоки, статуи Кондильяка, автоматы Вокансона, удивительное явление диффузии через полупроницаемую перегородку, минеральные соли в состо-

янии переохлаждения, смесь грязи и снега, которой эскимосы покрывают полозья своих саней, телята с пятью ногами, ярмарочные фигурки с львиными головами, карлики, пигмеи, деревенские дурни, амфибии, мандрагоры, призрачные ветви сухостоя, морская вода, смешанная с кровяной сывороткой, мусор и живые частицы, рогатые облака, червеобразные дожди, град из сгустков крови, сороки-воровки, старые медали, имитирующие аэролиты, швабры из пырея, — все это обнаруживает себя в стихах и в других произведениях Жана Арпа, извергнутое невероятным напряжением его таланта с той силой, которой обладает этот вулкан юмора". Увлекательный перечень, словно занесенный сюда со страниц "Гниющего чародея" Аполлинера, куда больше говорит о сопоставлении несопоставимого, чем все теории сюрреализма, подхватившего это знамя из рук сумбурных дадаистов.

Последовательно дадаистскую линию отстаивали в поэзии Тристан Тцара и Жорж Рибемон-Дессень. Один — главный "вдохновитель", другой — официальный "полемист" дада. Оба достаточно недолго сотрудничали с сюрреалистами — Тцара делал несколько попыток сближения с Бретоном, лучшие его стихи, возможно, написаны именно в эти периоды и вошли в сборники "Из наших птиц" (1923), "Индикатор сердечных дорог" (1928), "Дерево путешественников" (1930), "Где пьют волки" (1932). Несмотря на склонность к широким поэтическим полотнам (поэма 1931 года "Приблизительный человек" насчитывает до трех тысяч стихотворных строк), Тцара остался в истории XX столетия прежде всего как лирик; возможно, он один из наиболее реализовавшихся поэтов-метафизиков во французской литературе. По крайней мере, он сделал успешную попытку сопрячь автоматическое письмо с индивидуальным внутренним ритмом, настолько эмоциональным, что в его стихах есть что угодно, только не автоматизм.

В отличие от Тцара, при жизни которого вышло пятьдесят восемь книг, составивших шесть объемистых томов его собрания сочинений, Рибемон-Дессень оставил небольшое литературное наследие: проза, несколько пьес, но главное —

Рене Магритт. Заблудившийся всадник

статьи, манифесты, тексты полемических выступлений и стихи. Рибемон-Дессень был своего рода возрожденческой личностью (еще и музыкант, и художник, и издатель, и в конце жизни — блестящий мемуарист), однако в любом из видов деятельности он прославился прежде всего как отрицатель всего сущего: вот и стихи его, резкие, крикливые, экспрессивные, должны были свидетельствовать о том, как с помощью антипоэтического языка следует создавать антипоэтическую вселенную человеческой жизни. "Лазарь не воскресай ты скрежет пилы по камню" — этот возглас из стихотворения "Трое суток" можно поставить эпиграфом к стихам Рибемон-Дессеня. В судьбе его многое не свершилось, моральные кризисы, болезни, семейные неурядицы занимают в ней слишком большое место. Он окончательно порвал с Бретоном в 1929 году, когда глава сюрреалистов затеял процесс против группы "Большая игра", которой Рибемон-Дессень симпатизировал и в изданиях которой принимал участие.

"Большая игра" — особый сюжет в истории сюрреализма. Ряд французских исследователей считает группу "парасюрреалистической", не связанной напрямую с движением, почему она и была так скоро отторгнута Бретоном. Однако она подарила литературе как минимум двух значительных авторов — Роже Жильбер-Леконта и Рене Домаля, в творчестве которых многие идеи сюрреализма были воплощены с юношеским энтузиазмом.

В июне 1928 года, когда вышел первый номер журнала "Большая игра", Жильбер-Леконту был только двадцать один год. За несколько лет он написал значительное количество стихов, которые составили единственный (не считая крохотной книжки 1937 года "Черное зеркало") его прижизненный сборник "Жизнь Любовь Смерть Пустота и Ветер" (1933). Одним из первых в нем шло стихотворение "Драма детского сознания", которому суждено "Уродливое униженье / За первый приступ разрушенья".

"Приступ разрушенья" — метафора, реализованная автором ценой собственной жизни. Судьба "прóклятого" поэта — вслед за любимым им Рембо — оказалась для Жильбер-Леконта наиболее подходящим способом сюрреалистического существования. Уже в детстве он встал на путь мятежа и всю недолгую жизнь, бунтуя, экспериментировал — с языком, создавая поэтическую речь саморазрушения (его рифмы, ассонансы, аллитерации — все подчинено мятежу против духа и буквы обыденности), и с собственной судьбой, которую он последовательно губил, экспериментируя с наркотиками, и завершил, бродяжничая по парижским гостиницам в поисках денег на опиум. Позже о нем скажут: "Миф о Морфее для него важнее мифа об Орфее". Он мог бы возразить: "Есть только два вида поэзии: слова, которые надиктовывает бред, либо слова, открытые впервые, — первообразы всего сущего". Плоть человека и плоть речи были для него почти синонимами, так материализовывался один из главных постулатов сюрреализма — поэзия разлита повсюду, она есть образ жизни. Впоследствии это было заключено в формулу: "поэзия говорит поэтом".

Ныне эта формула важна как опора для читательского восприятия усложненной поэтики сюрреалистов. Читателю нелегко. Его приглашают: создавай с нами. От него требуют знаний, компетенции, эрудиции. От него ждут сотворчества. Более того — грамотного прочтения и толкования предлагаемых текстов. И первым таким читателем оказывается переводчик.

Неоспоримое первородство поэзии в сюрреализме и выраженность в ней большинства присущих ему приемов делают практически невозможным точное воспроизведение поэтического текста на другом языке. Тем не менее в игре, которую переводчик ведет с оригиналом, он следует законам этой игры, и тут, очевидно, нужно помнить, что поэтическая практика сюрреалистов, как почти всегда и бывает, куда шире теоретических построений.

Переводчику приходится вспомнить о "детскости" сюрреализма ("Дух, погрузившийся в сюрреализм, — замечал Бретон, — заново, с восторгом переживает лучшую часть своего детства"); переводчик оказывается сродни поэту, пишущему для детей, который одновременно занимается интерпретацией детского языка, воссозданием детской психологии и не упускает из виду ситуацию взрослой культуры, где располагается объект его работы. Здесь излюбленный сюрреалистами тезис Рембо "Я — это другой" приобретает новый смысл: необходимо войти в плоть и кровь, перевоплотиться в переводимого поэта, видеть и говорить изнутри его сознания, отдавая себе отчет в том, что успех отнюдь не гарантирован, что способы интерпретации могут не совпадать с читательским ожиданием.

Остается утешать себя, вспоминая последние слова "Первого манифеста" Андре Бретона: "Существование — в иных краях".

Жоан Миро. Статуя. 1925 г.

Андре Бретон (1896—1966)

Из книги "Седовласый револьвер" (1932)

Все школьницы разом

Часто ты вонзая в землю каблук говоришь как если бы
На кусте раскрывался цветок дикого
Шиповника кажется целиком слитого из росы
Говоришь Все море и все небо ради одной
Детской счастливой сказки в стране пляски а лучше ради
Одного объятья в тамбуре поезда
Летящего в тартарары сквозь пальбу на мосту а еще лучше
Ради одной бешеной фразы из уст
Глядящего на тебя в упор
Окровавленного человека чье имя
В отдалении перелетает с дерева
На дерево то появляясь то исчезая среди
Нескончаемых снежных птиц
Одной фразы где же всё где
И когда ты так говоришь все море и все небо
Рассыпаются брызгами словно
Стайка девочек по двору интерната
С очень строгими правилами поведенья
После диктанта в котором они быть может
Вместо "вещее сердце"
Написали "вещи и сердце"

Совершенно белые мужчина и женщина

Я вижу волшебных проституток укрывшихся под зонтами
Их платья древесным цветом слегка поджелтил фонарь
Они гуляют а рядом свисают лохмотья обоев
Сердце щемит как посмотришь на этот полуразрушенный дом
На беломраморную раковину слетевшую с каминной доски
На смутные вереницы вещей в зеркалах вставших за ними
Кварталом где бродят они овладевает
Великий инстинкт сгоранья

© М. Гринберг. Перевод, 2002

Они подобны опаленным цветам
Далекий их взгляд взвивает и кружит камни
Но сами они неподвижны и пропадают
В сердцевине этого смерча
Для меня ничто не сравнится со смыслом их вялых мыслей
Свежестью ручья куда они окунают тень своих остроносых ботинок
Плотностью летучих клочков сена их затмивших скрывших из виду
Я вижу их груди последние капельки солнца в глубоком мраке
Они опадают вздымаются и этот ритм единственная
Точная мера жизни
Я вижу их груди и это звезды
Качающиеся на волнах
Их груди внутри которых всегда рыдает незримое синее молоко

Перевод Марка Гринберга

А. Бретон, И. Танги, М. Морис, М. Дюамель. Изысканный труп

Луи Арагон (1897—1982)

Из книги "Беспрерывное движение" (1924)

Надежный замóк

Речь моя
Как прижатая дверью рука
Сплошные препоны друг мой сплошные препоны
А ну-ка дайте мне слово
Спасибо
Теперь у меня есть ключ
Язык замочной скважины прищелкнул
Совсем как человеческий язык
Начнем

Перевод Григория Стариковского

Благоуханный воздух

Плоды со скрипом песка
Птиц безымянных стон
Кони по кругу друг другу вдогон
И любовь как незыблемая тоска

Повторяют вечный канон
Покуда заходится дух с глотка
Шампанского светлого на века
В чаду угарных времен

Бормочут свой панегирик
И эхо вторит Постой
Лежит под этой плитой

Оплаканный всеми лирик
Выведыватель химер
Сад Орфей Аполлинер

© Г. Стариковский. Перевод, 2002
© Е. Баевская. Перевод, 2002

Песня умирающего от любви на карнавале перед Великим постом

Последние дни обезлюдят Париж
В воскресенье плачешь во вторник сгоришь
Понедельник в маске буен и рыж
Любовь побушует еще смотри ж
Последний день и зарево крыш
Карнавал кричат карнавал кричишь
Полыхал карнавал вот и пост настал

Вчера карнавал сегодня пост
Я для этого слишком прост

Осени меня пост святым крестом
Пригрози мне строгим своим перстом
Покажи мне все как станет потом
Как Господь расправится с шутовством
Как любовь истает в дому пустом
Как провиснет небо кровавым мостом
И падет из звезд сам Великий пост

Вчера карнавал сегодня пост
Я для этого слишком прост

Перевод Елены Баевской

Из книги "Предназначение поэзии" (1925–1926)

Доброе мартовское пиво

Жану Бернье

В лесах Сюрена
Водилась сирена
Вылитый папочка
Министр финансов

Министр монстр
И глуп как пробка
Но попка твоя
Такая попка

© Е. Березина. Перевод, 2002

Папаша с папкой
Дочурка с попкой
В лесах Сюрена
Водилась сирена
Вылитый папочка
Министр финансов

В прелестном шале я
Тебя обожая
Дрожа я
В пылу поцелуя
Тебя уважая
Шалею

В лесах Сюрена
Водилась сирена
Вылитый папочка
Министр финансов

Перевод Елены Березиной

Робер Деснос (1900—1945)

Из книги "Причесанный язык" (1923)

Ночной ветер

В море морском пропащие пропадают
Мертвые мрут преследуя следопытов
Пляшут кружась в кругу.
Божеский бог! Человечьи люди!
Сдавлю себе церебральный мозг
    пальпируя сразу десятком пальцев —
Какая жуткая жуть!
А вот у красоток у крашеных прически в отменном порядке.
    Небесное небо
    Земная земля
А все-таки где же небесные земли?

© А. Попова. Перевод, 2002

Из книги "Сумерки" (1927)

Три звезды

Я растерял сожаления о бездарно проведенных годах.
Я добился одобрения рыб.
Дворец, который приютил мои сны, полон водорослей, это коралловый риф, территория грозового неба, а вовсе не бледных божественно-меланхоличных небес.
А еще растерял я славу, которую презираю.
Я растерял все на свете, кроме любви, любви к любви, любви к водорослям, любви к королеве бедствий.
Одна звезда говорит мне на ухо:
"Поверьте, эта дама прекрасна,
Ей подвластны водоросли, а море, стоит ей выйти на берег, превращается в хрустальное платье".
Прекрасное хрустальное платье, ты вызваниваешь мое имя.
И этот звон, о чудесный колокол, отдается в ее теле,
Колышет ей грудь.
Хрустальное платье откуда-то вызнало мое имя,
Хрустальное платье мне сказало:
"В тебе и любовь и ярость
Дитя бесчисленных звезд
Ты властелин одного лишь песка да ветра
Властелин колокольцев вечности и судьбы
Властелин всего вообще кроме той которую любишь
Властелин всего что растерял и пленник того что хранишь
Ты будешь последним гостем за круглым столом любви
Другие гости-воришки растащили столовое серебро
Древесина колется тает снег
Властелин всего кроме ее любви
Повелеваешь смешными богами людей но не прибегнешь к их силе которая у тебя в руках,
Ты — властелин властелин всего кроме той которую любишь".
Вот что сказало мне хрустальное платье.

Когда-то давным-давно

Когда-то давным-давно я забрел в лиственный замок
Листья неспешно желтели в пене
И ракушки вдалеке безнадежно лепились к прибрежным скалам
Воспоминание о тебе или просто твой мягкий след был на своем месте
Неясный след принадлежащий мне
Все осталось по-прежнему но все постарело когда постарели мои виски и глаза

Не нравятся банальности? Но позвольте позвольте же мне
сказать ведь редко выдается такая горькая радость
Все постарело кроме твоих следов
Давным-давно я миновал прилив одинокого дня
Эти волны всегда были призрачны
Остов разбитого корабля который тебе знаком — помнишь ту
ночь поцелуев и грома? — впрочем был ли это разбитый
корабль или легкая дамская шляпка влекомая ветром под
весенним дождем — остов остался на том же месте
А потом чаячья свистопляска и танцы в терновых кустах
Аперитивы сменили названия и оттенки
Мороженое подают в рамках из радуг

Когда-то давным-давно ты меня любила

Перевод Алины Поповой

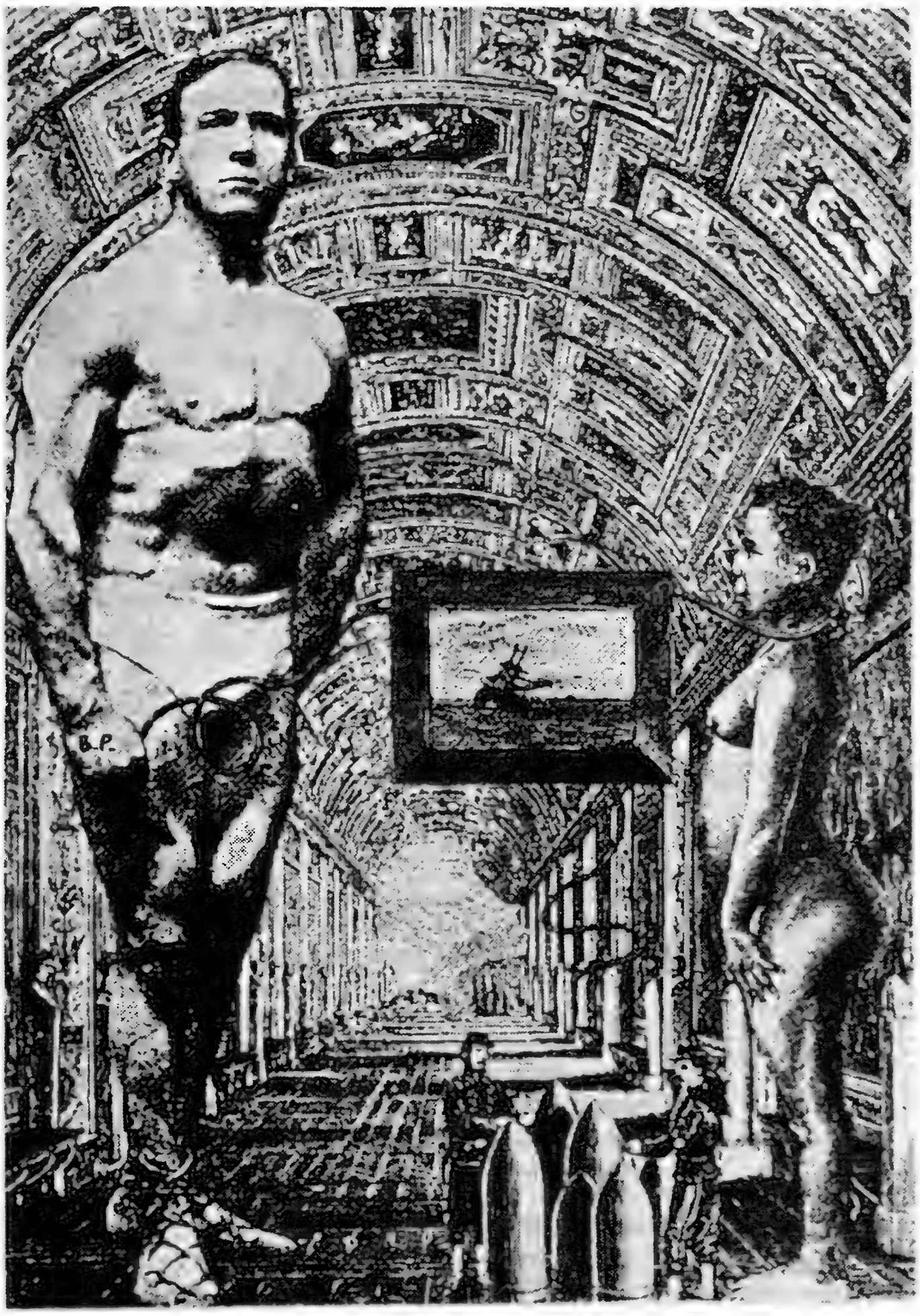
Бенжамен Пере (1899—1959)

Из *книги* "Припрятанное на случай" (1934)

Тысячу раз

Для Элси

Среди золотистых развалин газового завода
ты найдешь шоколадку и она от тебя даст деру
но если побежать так же быстро как баночка с аспирином
шоколадка заведет тебя далеко
Она изменит окрестный пейзаж
как дырявый ботинок
который прикрывают дорожным плащом
чтоб не пугать прохожих зрелищем обнаженной натуры
от него стучат зубы в коробочках рисовой пудры
и осыпаются листья с деревьев словно фабричные трубы
А поезд минует заштатную станцию без остановки
потому что еще не хочет ни пить ни есть
потому что на улице дождь а он без зонта
потому что коровы еще не вернулись
потому что дорога неспокойна и он боится
встретить пьяных дядек воров или злых полицейских
Вот если бы ласточки встали в очередь у кухонных дверей
чтобы попасть в жаркое



Портрет-коллаж Бенжамена Пере (фронтиспис т. 2 его Полного собрания сочинений)

если б вода отказалась подмешиваться в вино
а у меня завелось бы несколько франков
то было бы наконец что-то новое в этом мире
тогда от булочек на колесах пришли бы в экстаз жандармы в
казармах
и был бы огород для бород и в нем воробьи разводили бы
шелковичных червей
и был бы у меня на ладони
крошечный холодный фонарик
золотистый как яйцо на тарелке
и настолько легкий чтобы мои подошвы вспорхнули что твой
накладной нос
и тогда дно моря превратилось бы в телефонную будку
из которой никто никогда никому не звонит.

Из книги "Я не ем этот хлеб" (1936)

Эпитафия для памятника павшим героям

Нам генерал сказал
засунув палец в зад
Враг у дверей
Вперед
Отчизна-мать в беде
И мы пошли вперед
засунув палец в зад
И встретили Отчизну
засунув палец в зад
Сказала эта стерва
засунув палец в зад
Ваш долг меня спасти
или умрите с честью
засунув палец в зад

Потом явился кайзер
засунув палец в зад
Фельдмаршал Гинденбург
засунув палец в зад
Абдул Хамид эрцгерцог
Сараево и вот
Нам руки отрубили
засунув палец в зад
Переломали ноги
засунув палец в зад
Изгрызли животы
засунув палец в зад
И повтыкали спички
нам в голые яички
засунув палец в зад
Так постепенно мы
на фронте передохли
А вы за нас молитесь
засунув палец в зад

Перевод Алины Поповой

Филипп Супо (1897—1990)

Из стихотворений 1917–1926 гг.

Горизонт

Тристану Тцара

Весь город вошел в мои двери
деревья исчезли
вечер прилип к моим пальцам
Дома превратились в океанские пароходы
я наполнен грохотом волн
Дня через два мы прибудем в Конго
позади экватор и тропик Козерога
нет конца холмам
в Нотр-Дам скрывается Эверест и северная заря
ночь падает капля за каплей
часы ожидания

Допью лимонад докурю сигарету
и возвращаюсь в Париж

Воскресенье

Ткет самолет телефонные провода
но ручей напевает как в давние времена
Кучера потягивают оранжевый аперитив
но глаза машинистов белым-белы
а дама гуляя в лесу обронила улыбку

Еще о луне

Вод просвет
цвет высот
вот твой портрет огонь и лед
привет-вет-ветреная дочь
отец твой Север мама Ночь

Тем не менее

К соседям отправился доктор Бретон
в такую дурную погоду притом
что по дороге свалился в межу
вот только где не скажу

© М. Яснов. Перевод, 2002

Декабрь

Оставайтесь в Норвегии снеги снеги
пока я в учении не дойду до омеги

В *энциклопедию*

Филипп Супо недолго томился
в понедельник родился
во вторник крестился
в среду женился
в четверг простудился
в пятницу причастился
в субботу угомонился
в воскресенье зарыли этого типа
Такова жизнь Супо Филиппа

Перевод Михаила Яснова

Тристан Тцара (1896—1963)

Из книги "Из наших птиц" (1923)

Ненароком

гортань один гляди
застыл гордый
под гирляндой кладу
жирную тильду

карамболь в корчаге
рукоять
пламя из фляги
сердечная прядь

нерв перпендикуляром
в горсти
у горькой жидкости
и лампы с перегаром

© В. Козовой (наследники). Перевод, 2002

Из книги "Индикатор сердечных дорог" (1928)

Вольт

наклонность башен косогор небес
автомобилей растворение в пустотах
дорог кайма животных у дороги сельской
где хлебосольными усеяны достоинствами ветки
и мнимой по верхушкам лиственностью птиц
шагаешь ты но то другая следом
шагает по пятам цедящая досаду в обрывках
памяти и счета
укрывшаяся в платье наглухо не слыша там
сгустком гул столиц

кипящий город и густой от горделивых кличей
вспышек
клокочет из-под век бурлит из-под кастрюльных крышек
бегут потоки слез ручьями народного происхожденья
в долину тощую под твердь и лаву диких гор
сень апокалипсического поползновенья

в ландшафтах прошлого и розы темной утратив
нить и путь
по тесным улицам вокруг тебя плутаю
пока плутаешь ты в других пошире
вокруг чего-нибудь

Перевод Вадима Козового

Франсис Пикабиа (1879—1953)

Из стихотворений 1918–1935 гг.

Белая пижама

Ворвавшись в мою хандру
Пастор во всей красе
Тихо вступает на лужок
Прямо в мои владения!

© Е. Баевская. Перевод, 2002

Заходите без обыска попросту
Идите прямо туда где выставлены новинки.
Сами видите я не такой как все
Я не знаю проводите меня
все хочу осмотреть
И в залог того что мы во всем заодно
Я принес вам оттиск
Бриллиантовой печатки.
А еще я беспокоюсь вдруг я не я а другой
Как странно...

Новое счастье

Любить друг друга —
это далекое чувство,
далекое, как родина
в годину побед или поражений;
долг велит мне
выступать против —
против всего.
Люди просто не в курсе —
я против исследования,
против анализа,
против веры;
я тружусь над созданьем основ
для грядущего ритма и рифмы,
я как свободные анархисты.
Люди вечно носятся с предвзятыми идеями,
подогнанными к цели,
к подобающей цели,
это как народная песня, в которой все звуки привычны.
В гору идти чересчур тяжело,
повороты и окольные пути,
а также недвижность
на пользу только равнинам.
С тех пор как я жив,
мораль всегда противница счастья.

Плавать

Я мираж, взошедший над литературой
буржуазных абсентов.
Ласковая гипотеза пьяницы, алкоголика,
призрачный автор нового труда!
Дорога уединенно дика,
только местами вспыхивают озарения.
Смерть, уникальнейший вариант
невидимых красот,

возлежит на ложе упокоения.
Я поэт в бунте против правил,
то есть творец плохого поведения.

Перевод Елены Баевской

Жорж Рибемон-Дессень (1884–1974)

Из *стихотворений 1918–1924 гг.*

Трое суток

Я вам ничего не сказал
Ибо я
Мертв
Но кое-что я все же скажу
Ибо воскрес
Бывают глаза что желудки
И уши что животы
Для пищи у которой больше нет ничего общего
Ни с желудком ни с животом
Которая больше не проникает в кровь
Кровь
Тело ветреный грациозный пингвин
Ищущий в ночном небе созвездие Плеяд
Маскарад домино
Но больше нет крови
Незримая крыса сиропа из гелиотропа
Порочный круг смеха
Вокруг пупка
Лазарь не воскресай ты скрежет пилы по камню
Единственное что я могу сказать вам наверняка
Воскреснув больше нельзя умереть
Альдебаран
Влияет на приливы в моем корыте
И вот что еще
Когда воскресают
Легко превратиться в самку
Самку сурка
Это не утешение утреннее какао
Но перевертыш воспоминание
Музыкально-немецкой темы

Перевод Виктора Андреева

© В. Андреев. Перевод, 2002

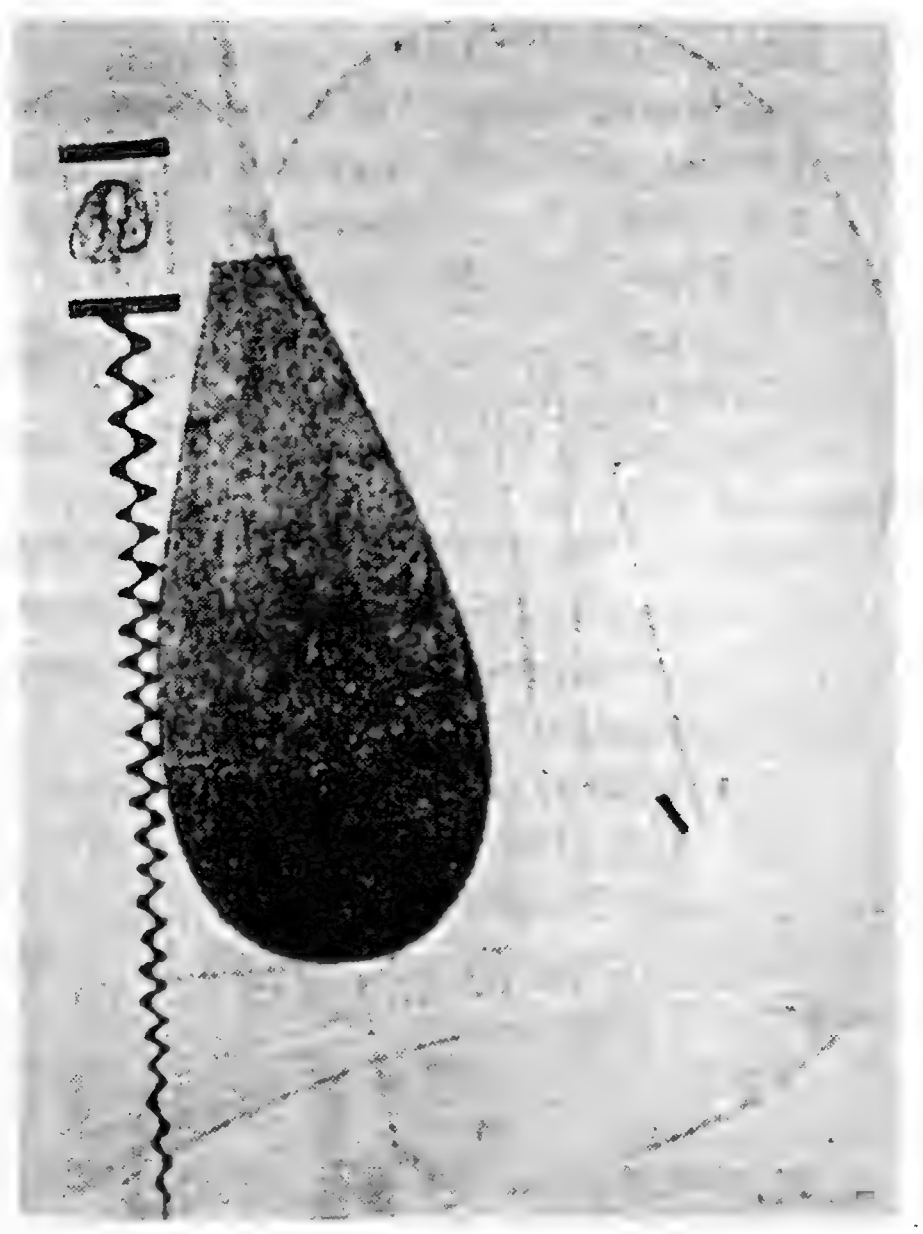
Жан Арп (1887—1966)

Из стихотворений 1917–1937 гг.

Времена года их винтики и колесики

до чего же ты синяя весна моя
неплохо ты поживилась
напрасно лето не урвало и себе немножко
звенят зеленые парики
который час
без четверти лето
звезды расшнуровывают себе корсажи
и распускают свои похотливые розы
стрелки дней показывают июль
что-то зима опять припоздала
через плечо тащит бледного как снег человека
он пал под бременем ежедневного зимнего лета
от перебора лета даже квадрат становится круглым
что ни понедельник то зима

зима пополам перепиливает белизну черноты
и запускает гибкую сталь отдельно в каждую половинку
покуда хозяин дома на благоуханных своих корнях почивает



Ман Рей. Инволют. 1917 г.

© Е. Баевская. Перевод, 2002

Франсис Пикабиа. Женщина с моноклем. 1922–1923 гг.

не в силах его разбудить ни разящий клинок черного кофе
ни снег что в этом году выпал так рано
на пасмурных домовых
покуда лопаются ячейки утроб
и в установленные дни открываются краны
из которых хлещут потоки людской листвы
мы опять стали совсем маленькими
и идем за процессией траурных муравьев
у каждого факел в руке
и мышь в зубах
над нами зонтики цифр
и распятая пища очертаниями смутно напоминает осень

***

для говорения язык бесполезная штука
пользуйтесь для говорения лучше ногами
чем плешивым своим языком
пользуйтесь для говорения лучше пупом
язык хорош
для вязания памятников
для игры на чернильной скрипке
для чистки расшитых позументом китов
для ловли полярных корней
но главное язык хорош
для свисания изо рта
и чтоб развеваться по ветру

Перевод Елены Баевской

Антонен Арто (1896–1948)

Из стихотворений 1922–1924 гг.

Потаенная логика

Город город град огней
Город шума расточитель
Вольный наш освободитель
О лукавый о размытый
Безымянный именитый
Бьются ангелы о стекла
Кони прут сквозь тучи прочь
В небо падают кареты
В ночь ночь ночь ночь.
Это словно пар дыханья
Словно выпот выдох камня
Искупленья крестный ход.
В сшибке четырех ветров
В сходке четырех небес
Конденсируется город
Непреложный город снов
Твой орга́н роняет в землю
Пыль гремучую громов
Пополняя бесконечность.

© М. Квятковская. Перевод, 2002

Из стеклянной ясной пыли
Зыбких атомов камней
О небесных сеть отдушин
Город ты себя творишь
Город камень твой послушен
Там где горестей граница
На краю тоски немой
Вырос замок потайной
Пепел сердца там хранится.

Дыбом волосы

И словно совершилось непоправимое:
Ужас разбух до предела,
А с ним отчаяние
И беспросветность.
И все это навалилось
На предстоящую жизнь души.
Бог исчез неизвестно куда.
Осталась лишь черная точка,
Туда и канула моя судьба
И съежилась
До той поры,
Когда времена
В абсолют сольются.

Орга́н и купорос

Этот миг хорош для органа
Сеет ноты ветер крутой
Занося неказистую площадь
Костенеющей снежной крупой

Ты задрипанный городишко
По балконам женщин расставь
Эта манна на голом камне
Лучше дрожи в твоих мостах

Призываю к вечере черной
Где бурлит купоросом вино
И гуляку во мраке ночном
И подростка с памятью сонной

И того кто в поисках слова
В лабиринтах мечты кружит
И того кто в поисках матери
Подле матери возлежит

Город спермы ключиц лопаток
И постелей вздыбленных к небу
Всех зову на грешную требу
Вплоть до ангелов из соборов

Перевод Майи Квятковской

Роже Жильбер-Леконт (1907—1943)

Из *книги "Жизнь любовь смерть пустота и ветер" (1933)*

Темная *история*

Одетые в парчу крутились акробаты
Мочился небосклон
В продолговатый
Тромбон

Смерть безъязыкая глаза вдевала в уши
И пел редис
И плыли чудеса как души
В свой Парадиз

Кишки земли вздымались облаками
Выл камень на
Кровь под руками
Горбуна

Колпак безносой шпарил отченаши
Яйцо вспухало что есть сил
Его из чаши
Апостол пил

И ветер взвыл как светопреставленье
Взметнулось пламя вкривь и вкось
И преступление
Сбылось

© М. Яснов. Перевод, 2002

Границы любви

Между губами в поцелуе
Стекло одиночества

Погребальная песнь по славному старику

Умер славный старик
Он больше не сможет пугать
Величественной стремниной своей бороды

Умер славный старик
Он больше не сможет ходить
С блеклой улыбкой на бледных своих губах

Умер славный старик
Он больше не сможет вгонять
Бедных своих детей в нищету и страх

Умер славный старик
И больше не смогут твердить
Что он способен весь мир проклясть вгорячах

Умер славный старик
Он больше не сможет играть
Гром перекатывая в облаках

Умер славный старик
Он больше не сможет царить
На земле и на небесах

Умер славный старик
Клад зарытый в тайник
Спит и глядит впотьмах

В глине гниющий прах

Повешенный

Вся мировая тоска
Засосала под ложечкой так
Что удавка
Затянулась узлом

Огонь ветра

Говорят что до тверди земной
До начала времен

Только ветер живой
Только ветер свистел в пустоте

Ветер что был рожден
Прежде жизни любой

И тренье
Его завихрений

Высекло искру
Первую искру огня

Перевод Михаила Яснова

Гиш Чжэнь

Это я – ирландка?

Рассказ

Перевод с английского А. Власовой

В Китае говорят, полукровки умные, и Софи, моя внучка, конечно, умный ребенок. Но Софи дикая, Софи не похожа на мою дочь Натали и на меня не похожа. Я всю жизнь работала не покладая рук и притом никому не давала спуску. Муж всегда говорил, что боится меня, и в ресторане все меня боялись, официанты и повара. Даже приходившие за отступным бандиты предпочитали договариваться с мужем. При мне они носу не казали. А если случайно зайдут, делают вид, что пришли поесть. Прячутся за меню, заказывают кучу еды. Говорят о своих матерях. Ах, у мамы артрит, нужны лечебные травы. Ах, мама стареет, волосы у нее совсем седые.

Были седые, говорю, а теперь опять черные, потому что она их красит. Заглянули бы когда-нибудь домой. Как сказал Конфуций, почтительный сын всегда знает, какой у матери цвет волос.

Дочь тоже никому спуску не дает, теперь она вице-президент банка. В ее новом доме у всех есть отдельные комнаты, и у меня тоже. А Софи пошла в родственников мужа Натали, Ши их фамилия. Ирландцы. Я всегда думала, ирландцы похожи на китайцев, трудятся на железной дороге; теперь я знаю, почему им до китайцев далеко. Конечно, не все ирландцы как семья Ши, это понятно. Дочь говорит, я не должна судить, ирландцы то, да ирландцы сё.

Говорит, если бы кто-нибудь начал: китайцы то, да китайцы сё — тебе бы это понравилось?

© 1999 by Gish Jen
© А. Власова. Перевод, 2002

Говорит, знаешь, за кого британцы их держат — ирландцы для них варвары, как и китайцы.

Говорит, по-твоему ведь "опиумные" войны[1] — это плохо, вот и представь, каково жить с британцами бок о бок.

Что тут возразишь? У дочери забавная привычка: когда перевес на ее стороне, она принимается сок какой-нибудь потягивать и в сторону глядит, чтобы тебя не смущать. А я и не смущаюсь. И ни о ком ничего не говорю. Просто я заметила, что у семьи Ши есть любопытная особенность: в семье четыре брата, и ни один не работает. Их мать, Бесс, пока не заболела, была секретарем-референтом в большой компании. На подхвате у тамошнего заправилы — такая сложная работа, даже представить трудно, это не просто сиди и печатай. Теперь это милая женщина, хозяйка уютного дома. А сыновья ее на пособии, все как один, на так называемом "выходном" или по так называемой "нетрудоспособности". Что-то в этом роде. Говорят, не могут найти работу, теперь, мол, не то что в пятидесятые. А я говорю, сейчас даже негры процветают. Некоторые так живут — вам и не снилось. А семью Ши кто сглазил? Вы белые, говорите по-английски. Я приехала сюда без гроша и языка не знала. Но у нас был собственный ресторан, пока муж не умер. Все в порядке — ни долгов, ни убытков. Мне, конечно, повезло, что кухня моей страны славится на весь свет — я понимаю. Я понимаю, семья Ши не виновата, что в их стране пища немудреная. И все-таки.

Она права, надо шире смотреть на вещи, сказал Джим, один из братьев, в День благодарения. Забыть о машинах. Думать о блинчиках.

Да, пад-тай, сказал другой, Майк. А что, сделаю-ка я состояние на пад-тай. Это будет новая пицца.

Слишком вы разборчивы, говорю. Блинчики вам зазорно продавать. Но мы с мужем, по крайней мере, можем сказать, что продавали блинчики. А вы что можете сказать? А? Что вы можете сказать?

Все жевали жесткую индейку.

Джон, муж дочери, меня особенно удивляет: работать не работает и с Софи не сидит. Я, говорит, мужчина, и этим все сказано.

Немудреная пища, немудреные мысли. Даже имя у него немудреное — Джон. Может быть, потому что я выросла на соусе из черных бобов, соусе хойсин, чесночном соусе, я всегда чувствую, что в словах моего зятя чего-то не хватает.

Ну ладно, зять — мужчина, а с ребенком сижу я. Шесть часов в день, как до меня эта сумасшедшая старуха Эми. Теперь, в шестьдесят восемь лет, в мои китайские почти семьдесят, мне это нелегко дается. И все-таки я стараюсь. В Китае дочь заботится о матери. Здесь все по-другому. Здесь мать помогает дочери, здесь мать спрашивает: что-нибудь еще? А если нет, дочь жалуется, что от матери никакой поддержки. Нет такого понятия в китайском языке, говорю, — поддержка от матери. Но дочери слушать некогда, у нее встречи, ей надо докладные писать, пока ее муж, чтобы быть мужчиной, занимается в спортзале. Дочь говорит, иначе у него будет депрессия. Впечатление такое, что это его пожизненная напасть, депрессия.

Дочь говорит, человека, у которого депрессия, никто не захочет нанять. Бодрость духа ему необходима.

1. Англо-китайская и англо-франко-китайская войны 1840—1842 и 1856—1860 гг., в которых Китай вел борьбу за сокращение осуществляемого Великобританией и другими странами импорта опиума. (*Прим. перев.*)

Прекрасная жена, прекрасный ребенок, прекрасный дом, посуду машина мост. С деньгами хлопот никаких: сбережений нет, да еще и сиделка бесплатная. В Китае такой, как Джон, был бы счастлив. А он нет. Даже в спортзале у него проблемы. То мышцу потянет, то в комнату для взвешивания не протолкнуться. Вечно что-нибудь не так.

И вот, ура, он нашел работу. Прощай, беззаботная жизнь!

Мне надо сосредоточиться, говорит. Собраться с мыслями.

Работать он будет в страховой компании. Агентом. Говорит, зарплату положат. По крайней мере, будет ходить в нормальной одежде, не в шортах. Дочь покупает ему карамель в магазине продуктов для здоровья. "Эврика" называется, она вроде как должна помогать Джону думать.

Джон хорош собой, что правда, то правда, особенно теперь, когда он побрился и стало видно лицо.

Я старик в команде юниоров, говорит Джон.

Мне понадобится новый костюм, говорит Джон.

На этот раз я не собираюсь прострелить себе ногу, чтоб не бежать дистанцию, говорит Джон.

Рада слышать, говорю.

Она хочет сказать, что будет нам помогать, говорит дочь. Не задевай в ней китайскую струну, не надо.

Софи всего три американских года, но ее благонравная китайская половина уже подавлена необузданной половиной Ши. Внешность у нее типично китайская. Прекрасные черные волосы, прекрасные черные глаза. Нос идеального размера — не плоский, словно сверху чем-то капнули, не огромный, словно его приделали по ошибке. Все у нее как надо, только кожа смуглая, к удивлению родственников Джона. Смуглая такая, говорят они. И Джон говорит то же. Говорит, никогда не загорает, а кожа такого цвета. Смуглая. Нет, это, конечно, ничего, говорят они. Просто странно, что такая смуглая. У Натти, мол, не такая смуглая. Казалось бы, Софи по цвету кожи должна быть между Натти и Джоном. Забавно, девочку зовут Софи Ши и она такая смуглая. Может, раз она такая смуглая, лучше называть ее Софи Смугли? Никогда не загорает — и, надо же, такой цвет, говорят они. Ничего, конечно. Просто странно.

В семье Ши иногда заведут разговор — и, как рождественский паровозик, кружат и кружат не переставая.

Может, ее отец не Джон, сказала я однажды, чтобы паровозик остановился. В ту же минуту он потерпел аварию. И слова "смуглая" я от братьев больше не слышала.

Зато их мать, Бесс, сказала, надеюсь, вы не обиделись.

Я, говорит, все, что могла, для ребят сделала. Но четверых мальчишек воспитывать — это ведь не пряники кушать.

У вас прекрасная семья, говорю.

Я, говорит, старею.

Вы заслужили отдых, говорю. Вы из-за орды мальчишек стареете.

У меня никогда не было дочери, говорит. А у вас дочь.

Да, у меня дочь, говорю. С китайской точки зрения, дочь не бог весть какая прибыль, но у меня дочь, это верно.

Я, говорит, никогда не была против этого брака. Никогда не считала, что она Джону не ровня. Я всегда считала, что Натти ничем не хуже белой.

Я тоже никогда не была против этого брака, говорю. Меня волнует, представляют ли они себе проблему в целом.

Вас, говорит, это беспокоит, оно и понятно, вы мать. Но теперь и у вас и у меня есть внучка. Маленькая смугляночка, я ужасно ее люблю.

Я рассмеялась. Маленькая смугляночка. Если честно, говорю, я не знаю, почему она такая смуглая.

Мы еще посмеялись вместе. Бесс тогда уже одна не выходила. И принимала столько таблеток, что проглотить их все можно было только с двумя стаканами воды. Любила смотреть по телевизору всякие смешилки и птиц кормить. День напролет все за кормушкой своей наблюдает, как кошка.

Я, говорит, могу и не дождаться, когда она вырастет. И у меня наконец будет женское общество.

Слишком много у вас сыновей, говорю.

Сыновья у меня, говорит, замечательные. Но иногда от них просто спасу нет.

Вам нужен отдых, говорю. Поживите у нас, в нашем доме полно девчонок.

Поосторожнее с такими предложениями, говорит Бесс и подмигивает мне. Там, откуда я родом, обычно так предлагают переехать.

С виду Софи ребенок как ребенок, ничего не скажешь. А внутри — какая же это китайская девочка? Стоит пойти с ней в парк, она там такое вытворяет. Встанет в коляске, всю одежду снимет — и в фонтан ее.

Я кричу — Софи! Перестань!

А Софи только смеется как безумная. До меня с ней сидела эта сумасшедшая Эми-гитаристка. Дочь считала, что Эми — натура творческая. Вот еще выражение, которое в Китае редко когда услышишь. У нас говорят, трудно-нетрудно. Жизнь тяжелая-легкая. А в Америке дни напролет рассуждают о творчестве. Неудивительно, что я не могла даже смотреть на Эми в этой ее кофточке, коротюсенькой — пупок виден. Софи должна любить свое тело, считала Эми. Когда Софи стаскивала с себя памперс, Эми только смеялась. Когда Софи бегала без ничего, Эми говорила, что ей бы тоже не понравилось носить памперсы. Когда Софи делала пи-пи у нее на коленях, Эми смеялась и говорила, что в моче нет микробов. Когда Софи снимала сандалики, Эми говорила, что нет ничего полезней ходьбы босиком — это даже педиатры говорят. Вот почему Софи теперь ходит босиком, как нищенка. И вот почему Софи любит все с себя снять.

Гляди-ка! — кричат мальчишки в парке. Дурочка какая-то!

Софи, конечно, не понимает. Софи хлопает в ладоши, я одна говорю ей, что это совсем не смешно.

Семья Джона здесь ни при чем, говорит дочь. Просто Эми ей потакала, вот и все.

Но мне кажется, не будь она внутри дикой, не было бы босых ног, раздеваний и прочего.

Ты, говорю, маленькая с себя одежду не снимала. У моих друзей-китайцев, говорю, у всех дети. Но я не видела, чтобы кто-нибудь из них позволял себе дикие выходки.

Ой, ты знаешь, говорит дочь, у меня ответственная презентация завтра.

Они с Джоном согласны, что с Софи надо что-то делать, только не знают что.

Отшлепайте ее, она перестанет, сказала я однажды.

Да вы что, говорят.

В Америке родители детей не шлепают.

Дочь говорит, у детей понижается самооценка. Из-за этого, видите ли, потом возникают проблемы.

Когда обсуждается эта тема, все презентации забыты.

Не трогай Софи, говорит дочь. Никакого рукоприкладства, переждем.

Не учи меня, что мне делать, говорю.

Я не учу, говорит дочь. Я говорю, как по-моему.

Я, говорю, не прислуга тебе. Не смей со мной так разговаривать.

У дочери есть еще одна забавная привычка. Когда ей нечего возразить, она начинает пальцы свои рассматривать — вытянет их перед собой и смотрит, будто проверяет, все ли на месте.

Моя дочь, как я, никому спуску не дает, но согласна с Джоном, что лучше объяснить Софи, мол, одежда — это не плохо. Когда холодно, нет ничего проще. Сложнее, когда тепло.

Попробуй словами, говорит дочь. Так, как мы. Покажи пример.

Подействуешь на Софи примером, как же. Меня боялись даже бандиты, приходившие в наш ресторан, но не Софи.

Софи, говорю, только разденься — никакой еды.

Только разденься, говорю, Софи, — никакого обеда.

Только разденься, Софи, говорю, — никакого парка.

И вот мы уже сидим целый день дома, и за шесть часов во рту Софи ни крошки не побывало. Мир еще не видывал такого упрямого ребенка.

Есть хочу! — закричала она, когда моя дочь вернулась домой.

Что такое, разве бабушка тебя не покормила? — Дочь засмеялась.

Нет! — кричит Софи. — Не кормила она меня!

Дочь опять засмеялась. Вот тебе на.

И Джону говорит, Софи надо расти.

Она у вас как сорняк растет, говорю.

Раздевания продолжались, и однажды я Софи отшлепала. Несильно, но она ревела не переставая, и когда я пригрозила, что опять дам ей шлепка, если она не оденется, она оделась. Вот хорошая девочка, сказала я и покормила ее. На другой день мы пошли в парк, и, как примерный китайский ребенок, она раздеваться даже не пробовала.

Она перестала раздеваться, сообщила я. Наконец-то!

Как тебе это удалось? — спросила дочь.

За двадцать восемь лет, говорю, что я с тобой прожила, думаю, чему-то я научилась.

Наверно, это было возрастное, сказал Джон тоном знатока.

Теперь он всегда говорил таким тоном, обзавелся кожаным портфелем, блестящими ботинками, новую машину приглядывал. Это, говорит, за счет фирмы. Фирма платит, а ты ездишь куда хочешь.

Бесплатная машина, говорит. Каково?

Дочь говорит, приятно видеть, что ты опять на коне. В твоей семье предприимчивых не так уж много.

Зато я не пью, говорит. И потом, говорит, не я один из семьи непредприимчивых.

Само собой, сказала дочь.

Все счастливы. И я тоже — хотя с Софи хлопот невпроворот, но зато теперь я знаю, как бросить все, что в ней есть китайского, на борьбу с ее дикой частью. Я учу Софи есть при помощи вилки, ложки или палочек — нельзя же просто запускать руку в чашку с лапшой. Я учу Софи, что мусорные баки не для игр. Иногда я шлепаю ее, но нечасто и несильно.

Все не безоблачно пока еще. Софи любит везде лазить. Если поблизости есть перекладина, Софи не пройдет мимо — обязательно на нее заберется. Еще она любит атаковать мамаш своих друзей. Этой забаве она научилась у своего закадычного дружка по детской площадке, четырехлетнего Синбада. Синбад неизменно одет как солдатик и любит устраивать на свою маму засады. Он в одиночку вырыл огромную яму под детской горкой, лисью нору, как он ее назвал. Такой работяга. Засядет там с совочком мокрого песка, мать придет — он этим песком в нее.

Мать говорит, все нормально, от военных игр никуда не денешься, так работает их воображение. Все мальчишки через это проходят.

Так вот, ему нравилось нападать на маму, потом он однажды и Софи подговорил на нее напасть.

Увы, это так.

Ударь, ударь ее, говорит Синбад.

Софи ударяет. Невинный такой удар, как бы невзначай — раскачивает своей детской ножкой, а взрослая мамина нога как раз случайно рядом. Опять я отшлепала Софи и велела извиниться, и что же мама?

Да все нормально, говорит, мне не больно.

И Софи решила, что атаковать мам на площадке можно: одни говорят "прекрати", а другие — "ну, она ведь не нарочно", особенно если видят, что Софи хотят наказать.

И вот однажды случилось кое-что посерьезней. Все началось с того, что Софи притаилась в лисьей норе с совочком песка. Она сидит, я за ней прихожу, она в меня песком — раз! Прямо на чистое приличное платье.

Где это видано, чтобы китайский ребенок так себя вел?

Софи! — говорю. — Вылезай и извинись.

Но она не вылезает. Еще и смеется. Ха-ха-ха, говорит.

Ей-богу, ни один из миллионов китайских детей не позволит себе такого.

Софи! — говорю. — А ну живо вылезай!

Но Софи знает, что ей грозит. Она знает, что будет, стоит ей вылезти. И она не вылезает. А я разве могу в шестьдесят восемь лет, в свои китайские почти семьдесят, ползать там и ловить ее? Нет конечно. И я продолжаю кричать — кричу и кричу, и что же? Ничего. В Китае мамы помогли бы мне, а американские мамаши только смотрят, качают головами и расходятся по домам. И уж конечно, китайский ребенок давно бы уступил, но не Софи.

Ненавижу тебя! — кричит она. — Ненавижу тебя, Злюка!

Меня теперь так зовут — Злюка.

Длилось это ужасно долго, целая вечность прошла. Лисья нора глубокая, ничего в ней толком не разглядишь, и где она кончается, не ясно. К тому же оттуда плохо слышно. Если Софи не кричит, невозможно даже понять, там ли она еще. Вот уже стемнело, похолодало. На площадке, кроме нас, никого.

Софи, говорю, и в кого ты такая упрямая? Я иду домой одна.

Я попыталась выудить ее палкой, пару раз ткнула ее, но она не вылезла. В конце концов я сдалась. Вышла за оградку.

Пока, говорю, я домой.

А Софи все не выходит. Время ужинать, темень. Не пойти ли за помощью, думаю. Но как ребенка одного на площадке бросишь? А вдруг мерзавец какой-нибудь? Или крысы. Вернулась посмотреть, как там Софи. У нее ведь совок — а если она ход роет, чтобы убежать?

Зову: Софи!

Тишина.

Софи!

Кто знает, жива ли она. Или уснула где-нибудь там. Может быть, она плачет, а я не слышу.

Я опять взяла палку и пошуровала в норе.

Софи! — кричу. — Шлепать не буду, обещаю. Вылезай, леденец тебе дам.

Тишина. Я забеспокоилась. Что же делать-то? Я опять с новой силой взялась за палку, тыкала ею, тыкала, и тут пришли дочь с зятем.

Что ты делаешь? Что происходит? — сказала дочь.

Брось, говорит, эту палку!

Ты с ума, говорит, сошла!

Джон протиснулся в лисью нору, чтобы выручить Софи.

Она уснула там, говорит Джон-знаток. С ней все в порядке. Яма большая.

Софи ревет в три ручья.

София, говорит дочь, обнимая ее. Как ты, ягодка моя? Ты как?

Просто испугалась, говорит Джон.

Я тоже спрашиваю, ты как? Не понимаю, что случилось, говорю.

С ней все в порядке, говорит Джон. Он не то что моя дочь — сыплет вопросами, нет, он сыпал ответами, пока мы не оказались дома, там, где свет.

Полюбуйтесь только! — завопил он. — Это что, черт возьми, такое?!

Смуглая кожа в синяках, глаз распух.

Ты с ума сошла! — закричала дочь. — Ты сошла с ума! Посмотри, что ты с ней сделала!

Я старалась изо всех сил, говорю.

Как ты могла палкой? Я же тебе сказала — словами!

С ней трудно сладить, говорю.

Ей три года! Разве можно палкой! — говорит дочь.

Таких, как она, я среди китайских детей не встречала, говорю.

Я стряхнула с себя песок. У Софи платье тоже в грязи, зато, по крайней мере, на ней.

А прежде было такое? — спросила дочь. — Она тебя била?

Она меня все время бьет, сказала Софи, поедая мороженое.

Вот она, твоя родня, говорит Джон.

Дочь говорит, никуда не денешься.

У меня дочь, славная девочка. Я заботилась о ней, когда она еще головку не держала. Заботилась, когда она со мной еще не спорила, когда она была девочкой с двумя косичками, одна всегда торчком. Заботилась, когда нам пришлось бежать из Китая, когда мы приехали в страну, где повсюду машины, только и смотри, как бы ребенок не попал под колеса. Ког-

да муж умирал, я обещала ему сохранить семью, даром что нас только двое осталось — и семьей-то не назовешь.

А теперь дочь вместе со мной ходит ищет для меня жилье. В конце концов, приготовить-убраться я сумею — смогу жить и одна, мне только телефон нужен. Конечно, она не рада. Иногда она плачет, я же еще и говорю, что все будет хорошо. Дочь говорит, у нее нет выбора, она не хочет, чтобы дошло до развода. Это ужасно — развод, говорю, и кто только эту ужасную вещь придумал. Вместо жилья с телефоном, я, представьте, поселилась у Бесс. Ну и дела. Бесс предложила пожить в ее доме, а ведь там, откуда она родом, так и вправду предлагают переехать. Жить в чужой семье — безумная затея, но ведь Бесс всегда мечтала о женском обществе, не то что моя дочь — ей общество ни к чему. Теперь, если дочь приходит, то без Софи. Бесс говорит, Натти нужно время, скоро мы опять Софи увидим. Только, кажется, у дочери сплошные презентации, никогда их столько не было — не успеет прийти, как ей уже надо уходить.

На мне семья, говорит.

Голос тяжелый, как будто намокший.

У меня дочь — ребенок, говорит, и муж в депрессии, а поддержки никакой.

Поддержки никакой — это она меня имеет в виду.

И теперь моя славная девочка так устает, что сядет — и засыпает прямо на стуле. Джон опять без работы — недолго продержался, — но они предпочли взять няньку, хоть им это и не по карману, чем просить меня. Конечно, новая нянька гораздо моложе, она проворная. Не знаю, какая теперь Софи — дикая или нет. Она звала меня Злюкой, но и целовала иногда. Я вспоминаю это каждый раз, когда по телевизору вижу ребенка. Софи, когда хотела поцеловать, хватала меня двумя руками за волосы. Зажмет в своих кулачках — и чмок в нос. Никогда больше не видела, чтобы дети так целовали.

В спутниковом телевидении уйма каналов, так много, что и не сосчитаешь — есть и китайский матерный канал, и тайваньский канал, но я все больше смотрю смешилки вместе с Бесс. И за кормушкой наблюдаю — столько разных птиц прилетает. А братья Ши постоянно тут как тут, спрашивают, когда я домой собираюсь. Но Бесс говорит им, отвяжитесь.

Она тут насовсем, говорит. Никуда она не собирается.

А сама подмигивает мне и на пульте кнопку нажимает.

Конечно, не надо бы говорить, ирландцы то, да ирландцы сё, особенно теперь, когда я сама, если верить Бесс, стала почетной ирландкой. Это я — ирландка? — говорю, а она смеется. Нет, кое-что я все-таки об ирландцах скажу — о некоторых, не обо всех, конечно. Скажу я вот что: слова у них — захочешь, не забудешь. Не знаю, где Бесс Ши так говорить научилась, но иногда ее слова я долго потом слышу. *Насовсем. Никуда не собирается.* Снова и снова я слышу Бесс — то, что она сказала.

Ингомар фон Кизерицки

Деловое общение, или Школа жизни

Рассказ

Перевод с немецкого Т. Баскаковой

ИСКУССТВО, сказал один мудрый человек, намного слабее необходимости; бывает, говорила красивая тетя Тамара из нашего семейного клана, что только необходимость и порождает искусство. Я точно помню, как, когда я еще был от горшка два вершка, обе сестры, дочери древней Йози, Тамара и Роза, подделывали мелкие предметы мебели; правда, сами они называли свои подделки "усовершенствованиями" и совершенствовали очень немногие объекты, поскольку рынок, или время, или их клиенты тогда еще не вполне для этого созрели. Йозю, самую старшую представительницу нашего семейства, я хорошо знал. Дочери держали ее в тесной трехкомнатной квартирке, которая размещалась в мансарде, и Йозя постоянно была голодна — голод мучил ее еще со времен бегства из Прибалтики в 1924 году, — или, если воспользоваться выражением воспитанной тети Розы, она никогда не страдала отсутствием аппетита.

Чем питались ее дочери, ведомо одному Богу. Самым ценным их достоянием было старое кресло "бержер"[1], на котором и влачила свое существование Йозя. Однажды Тамара прочитала в мемуарах одного давно умершего французского антиквара, как подделывают старинную мебель: сундуки, комоды и, между прочим, "бержеры". В Тамару, пышнотелую красавицу с молочно-белой кожей, влюбился пожилой столяр-краснодеревщик, который в те времена, оставшись без работы, мастерил модели кораблей, — так вот, моя тетя внезапно поддалась на его уговоры, согнала с "бержера" свою старуху мать, заперла ее в спальне, а сама занялась переделкой мебели (поначалу, естественно, по модели настоящего "бер-

© DeutscheVerlags-Anstalt, Stuttgart; München, 2000
© Т. Баскакова. Перевод, 2002

1. Кресло в стиле Людовика XV. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

жера") под руководством краснодеревщика, чьи корабли — увы! — потерпели крушение в урагане его любовной страсти. Тетя и ее сердечный друг сначала лакировали каркасы кресел, потом покрывали их раствором едкого кали и, наконец, обрабатывали проволочной щеткой. После двух слоев лака на третий, и последний, наносились "следы износа": симпатичные трещинки, различные вмятины и потертости, "древний" мушиный помет. Подлокотники подвергались бичеванию — их стегали крепкими пеньковыми веревками, отчего получались такие звуки, какие можно услышать в садомазохистских борделях. Сходство с борделем усиливали крики древней бабы Йози — мне как-то довелось у них побывать, когда велись такого рода художественные работы. Старушка в огненно-желтом заплатанном халате — еще из царских времен, по словам Розы, — сидела в старом кресле с вылезающей из спинки ватой. Она казалась иссохшей, как старое привидение, уже давно не видавшее никакой публики, и здорово смахивала на уродливого птенца, который с нетерпением ожидает корма. На ее шее, под морщинистой кожей, непрерывно перекатывался огромный кадык, беззубый рот был раззявлен, а покрытый редкими белыми волосками череп то и дело с хриплыми возгласами поворачивался в ту сторону, откуда она надеялась получить пищу. Йозя не верила ни в милого боженьку, ни в милого младенчика Иисуса, ни в воскресение во плоти (а если и верила, то совершенно иначе, чем ее дочери) и не надеялась на вечное спасение, а всегда надеялась только на пищу. Я упоминаю об этом, чтобы объяснить, почему усовершенствование предметов мебели было для них жизненной необходимостью.

К сожалению, я тогда еще не догадывался, какую неприглядную роль мне вскоре предстояло сыграть. Но зато узнавал много такого, чему не научишься под сенью вальдорфских, лицевских или цинцендорфских школ[1]. Я, например, искал ржавые гвозди, нужные для имитации старинной обивки. Производственный процесс всегда завершался вспарыванием спинки кресла, чтобы наружу вылезал конский волос — найти старый конский волос в те годы не составляло никакого труда. Как только первый объект, "бержер", был готов, Тамара арендовала маленькую лавку ("бутик", как выражалась Роза) и окружила это произведение искусства кучей всякого хлама — ветхих матрасов, меланхолических трехногих табуретов, пыльных этажерок и грязных бутылей. Красивая вещь на этом фоне сразу бросалась в глаза. Тетушки приоделись, предварительно накормив старую Йозю смесью американского какао и овсяных хлопьев, а меня ради первого дня торговли обрядили в старую, сильно потрепанную матроску из синего бархата. Зачем бедному ребенку, спросила моя мать, в то время увлекавшаяся сочинениями Р. Штайнера[2], присутствовать при этом ге-

1. Вальдорфские школы — частные школы, где обучение проводится на основе принципов антропософской педагогики и особое внимание уделяется развитию творческих способностей учеников. Первая такая школа была основана в 1919 г. в Штутгарте руководителем сигаретной фабрики "Вальдорф-Астория" Е. Мольтом. Герман Лиц — немецкий педагог; в 1898—1904 гг. основал три сельские школы для детей из низших слоев общества, в которых обучение чередовалось с трудом и приобщением к природе. Позже его последователи создали еще несколько аналогичных школ. Николай Людвиг Граф фон Цинцендорф (1700—1760) — немецкий религиозный деятель, пиетист, создатель евангелической Братской общины в Гернгуте (Оберлаузиц), объединившей эмигрантов из Австрии, последователей учений богемских и моравских братьев; миссионер. Позже подобные общины возникли в других местах Германии, в Великобритании и США, в Канаде, Африке, Австралии, Латинской Америке, в Гималаях.
2. Рудольф Штайнер (1861—1925) — основатель Антропософского общества (существует с 1913 г., в 1923 г. преобразовано во Всемирное антропософское общество), автор многочисленных трудов по антропософии.

шефте? Ребенок в поношенном костюмчике, уверенно сказала Тамара, если он не лишен благородных манер и вместе с тем кажется глуповатым, всегда производит хорошее впечатление на потенциальных покупателей. Кто знает, может, эта ее идея тоже была "необходимым искусством". Тамара надела платье с декольте, и настроение мое сразу улучшилось, когда она наклонилась надо мной и шепнула: ты, главное, тихо сиди на табурете и старайся казаться безобидным – кротким и чуточку глупым, может, даже малахольным. Она мне нравилась; и кроме того, хотя я еще был малявкой, она поделилась со мной своим планом, а я никогда, ни в каком возрасте, не умел отказывать женщинам. В витрине, рядом с фарфоровыми безделушками, тетя Роза – Розмари, – затянутая во все черное и закрытое, выставила табличку с надписью: "Бержер, Франция, около 1830 г.". Без указания цены, потому что Тамара рассчитывала пустить в ход свое обаяние. Я сразу же заснул; а когда проснулся, "бержера" уже не было, на щеках у тети Тамары горели красные пятна, и баба Йозя с той самой поры напоминала уже не птенца, а большую упитанную птицу.

Вскоре мне вместе с Тамарой, которую я очень любил, пришлось разбирать вещи, оставшиеся после другой, умершей тети. Эта другая тетя всю жизнь маялась оттого, что у нее не поднималась рука хоть что-нибудь выбросить, и у каждого из нас, у Тамары и у меня, имелись в этой связи особые надежды. В просторной квартире я ощущал себя капитаном Марриетом[1], который на своем крейсере исследует один остров сокровищ за другим. Первым островом – отдать якорь! – была гостиная. Искатель приключений явился сюда в коротких бриджах с глубокими карманами, однако разыскать хоть сколько-нибудь достойную добычу ему не удалось. Второй остров – ванная – оказался настоящим архипелагом, полным раздавленных тюбиков из-под крема, баночек и коробочек, непригодных для обмена. Потом я обнаружил атолл – спальню, загроможденную старыми перинами, подушками самых причудливых форм (в ретроспективе – точь-в-точь незаконченная работа Барлаха[2]), коллекцией матрасов. В конце концов на ночном столике – на капитанском мостике захваченного мною вражеского корабля – я увидал стакан с водой, в котором плавал перламутрово-белый, доброжелательно ухмыляющийся зубной протез. Воду я вылил под матрасы, сказал себе, что погибший капитан, скорее всего, уже не нуждается в протезе, и завернул свою добычу в носовой платок, после чего она исчезла в правом брючном кармане. Остальные находки были не ахти: медицинский градусник с присохшим к наконечнику комочком капитанского кала (или тетушкиных испражнений), старая чайная ложка, увы, не из серебра, а из дешевого сплава, и некая брошюра, заглавием которой служил обоснованный вопрос: "Зачем умирать так рано?" Под готическими печатными буквами заглавия совсем другим, мелким и аккуратным, почерком был вписан завет покойной тети: "Да, зачем!" – с пламенным восклицательным знаком. Потом я вломился в капитанский платяной шкаф, но и там не нашел ничего особенного, только кружевные перчатки на очень маленькую руку и в углу дохлую мышь. Она лежала на боку, высохшая и легкая как перышко, сложив передние лапки, будто молилась. Задние лап-

1. Фредерик Марриет (1792–1848) – английский писатель, в 1806–1830 гг. служил в военно-морском флоте. Его романы ("Питер Симпл", "Мичман Изи" и др.) изобилуют описаниями морских сражений и корабельного быта.
2. Эрнст Барлах (1870–1938) – немецкий скульптор (создатель скульптурных групп, в основном из дерева), график и писатель; экспрессионист.

ки вытянуты, словно, отбегав свое, они сами согласились на бессрочную паузу. Я даже не знал, хочу ли обменять эту мышь, она тоже казалась тетушкиным прощальным напутствием; однако обменные сделки всегда оставались для меня загадкой, потому что трудно было заранее угадать, что именно, для кого и почему окажется — или не окажется — соблазнительным.

Я предложил протез моему другу Виолу — пирату, владевшему многими сокровищами. Но тот отказался, сославшись на изношенность товара. Тогда я предложил ему в довесок к протезу мышь, но мышь он тоже не хотел брать даже как довесок — видимо, дохлых мышей тогда можно было запросто найти в любом доме. Мышиную мумию я похоронил, использовав в качестве саркофага зеленую пластмассовую мыльницу, и с тех пор каждый вечер после чтения "Германских героических саг" произносил языческую молитву за процветание обменной торговли.

Сын учителя Закона Божьего предложил мне за протез четыре марки. Я согласился — может, он надеялся с помощью протеза одолеть свои прыщи — и на вырученные деньги купил себе первые в моей жизни комиксы: "Дональд-Дак", "Принц Железное Сердце" и "Тарзан у обезьян". Под кроватью в нашей крохотной мансардной квартирке я хранил сундук с сокровищами, куда и прятал свои драгоценные находки, но с точки зрения меновой торговли это все были вещи бесполезные, недостойные того, чтобы стать частью товарооборота: изглоданный муравьями череп утки; один настоящий ружейный патрон, меновый эквивалент которого я не мог определить даже приблизительно; старый металлический штык; таинственная дудочка — как я узнал позже, манок для уток, но с неправильным, отпугивавшим их звуком; кобальтово-синий флакон от духов "Soir de Paris", который я часто нюхал, для обмена непригодный; книжка греховно-алого цвета, иллюстрированное издание бальзаковского романа "Блеск и нищета куртизанок" — уже само слово "куртизанки" обладало в моем представлении неизъяснимым блеском; костяная дамская шпилька с изящными надкусами на ней; сиротливое павлинье перо; несметное множество ракушек и улиточных домиков — естественно, из тетушкиного наследства; молочные зубы — четыре коренных и один резец — моей подружки Армгард из вальдорфской школы.

Как раз когда я читал о приключениях принца, о его юности и первых рыцарских забавах (и рассматривал многоцветные иллюстрации, выполненные методом глубокой печати) — а встреча героя с прекрасной Алетой еще только предстояла в далеком будущем, — обнаружилась пропажа протеза. Поскольку вряд ли кто-то захотел бы воспользоваться жевательным инструментом усопшей, я не совсем понял причину всеобщего возбуждения, но после долгого допроса все же признался в содеянном. Мне пришлось потребовать протез назад, вернуть полученные за него четыре марки, а комиксы отдать моей матушке, которой они были совершенно ни к чему, поскольку она предпочитала читать "Двух человек" Фосса или "Святую и ее шута" Агнес Гюнтерс[1]. В итоге я оказался в проигрыше. Мораль восторжествовала, протез отправился обычным путем всех никому не нужных земных вещей, однако цену, которую меня заставили заплатить, я находил чересчур высокой. Друг на меня обиделся, у меня не осталось ни объекта для будущих обменных сделок, ни комиксов,

1. "Два человека" — крестьянский роман Рихарда Фосса, опубликованный в 1922 г. и сразу ставший бестселлером "Святая и ее шут" (1913) — первый бестселлер в Германии, посмертно опубликованный исторический роман Агнес Гюнтер (1863–1911).

которые были сожжены. К сожалению, я потерял из виду и другого моего друга, Виола, у которого торговля шла вовсю — он менял переводные картинки на сигаретные этикетки, большую серию "Наша прерия" на "Женщин Востока" (чрезвычайно потрепанных), патроны на пластилиновые фигурки индейцев, стеклянные шарики на продукты и т. д. Виол, властелин целой процветающей торговой империи... Позже он занялся операциями с металлоломом и стал настоящим миллионером, а начиналось все просто с собирания похожих по форме предметов.

В первом из интернатов, в которых мне довелось учиться, в Шварцвальде, я наконец обрел единомышленников, так же страстно увлекавшихся деловыми сделками, как и ваш покорный слуга. Там был, например, друг моих школьных лет Федерман, по натуре поэт, — субтильный телом и нежный душой, но, к сожалению, слишком рано испорченный школьными уроками по литературе, которые начисто отбили у него способность получать удовольствие от текста[1]. Он хотел непременно стать миллионщиком, чтобы покупать себе яхты, виллы, женщин и шампанское. В школе он учился так себе, зато имел успех у девчонок благодаря своей смугло-оливковой коже, темным глазам и длинным пушистым ресницам. В нашу компанию входил и некий Франтишек, который, хотя уже несколько раз оставался на второй год, проявлял большое терпение и на свою участь не жаловался. Он любил повторять, что в школе учат совсем не тому, что может пригодиться в жизни. Это связано с пробелами в учебной программе. Жизнь, говорил он на переменках, есть бизнес, к которому нужно готовить заранее и совершенно иначе, чем это делается у нас. Его не по возрасту "взрослый" идеальный план занятий выглядел так: первый урок — способы знакомства с богатыми вдовушками; второй урок — бокс и дзюдо; третий — двойная бухгалтерия; четвертый — уклонение от уплаты налогов; пятый — практика торговли недвижимостью. Как я уже отмечал, Франтишек слишком рано повзрослел: его мать была алкоголичкой, а отец после какой-то аферы с налогами мотал срок в тюрьме.

В нашем классе учился и Эрвин, сын известного тогда криминалиста Платтеля; он знал чудовищное количество детективных романов и на этой основе разработал собственную теорию о соотношении практической жизни и образования. Плохо то, говорил Платтель в нашем уголке для курения, в туалете, что люди, видимо, должны работать, чтобы жить, но, как правило, получается наоборот: они живут, чтобы работать. Работу нужно превратить в прибыльное удовольствие, а этого можно добиться, только совершая джентльменские преступления, например, грабя банки и взламывая сейфы, но без кровопролития, элегантно. Мы спросили, существуют ли другие профессии, позволяющие относиться к работе как к удовольствию. Ну да, с энтузиазмом ответил Платтель, такие есть и в искусстве. В каком именно, спросили мы, ведь имеется множество форм искусства и большинство из них не обеспечивает художника даже куском хлеба. Нужно, сказал Платтель, ни чуточки не смутившись, искать себе великих кумиров — тех, кто без оглядки на общество занимался своим делом. Мы, чтобы хоть что-то понять, попытались уточнить, каких кумиров он выбрал для себя. Его кумиры, сказал он с некоторым высокомерием, это артистические натуры, вероятно неиз-

1. "Удовольствие от текста" (1973) — статья французского семиолога и литературоведа Ролана Барта.

вестные нам даже по именам, люди типа Жоржа Манолеску, Макса Маркузе, Хуго Хаха, Игнаца Штрасса или Стависки[1]. Таких мы и в самом деле не знали. И кто же это, спросили мы, — писатели, художники, актеры, музыканты или балетные танцоришки? Уже прозвенел звонок, возвестивший начало очередного тягостного урока. Да нет, бросил на ходу Платтель, все они были знаменитыми, снискавшими себе дурную славу мошенниками, вольными художниками, которые умели извлекать из своего искусства неплохой доход.

Слава богу, тогда господствовал принцип совместного обучения, и у нас в классе, на первой парте справа, сидела Ангелина, писаная красавица с византийскими бровями, карими глазами и лукаво изогнутым ртом. Ангелина внушала страх всей мужской части преподавательского состава. У нее есть один такой специальный взгляд, с уважением говорил Федерман, который на корню губит и всю работу учителей, и все их околоучебные начинания. Они (учителя) бросали свои слегка воспламененные педагогическим эросом взгляды на ту или иную жертву, и только Ангелина выдерживала такой взгляд с полным безразличием. Она и сама в ответ пристально смотрела на наших бедных педо-свинов (не отношу к этой категории только Форманека) — как тигрица, и им тотчас делалось не по себе, будто у них грязные ногти, дурно пахнет изо рта или полно перхоти. Излишне говорить, что Ангелина, хотя и тянула, как все, повседневную лямку скуки, неизменно числилась в отличницах; мы все были в нее влюблены, сама же она питала слабость только к Манкопфу. Если Франтишек находил методы школьного преподавания никуда не годными, то Манкопф давно понял, что школа — это модель жизни и что в хороших отметках нет ничего зазорного.

Мы очень удивлялись его прагматизму и однажды спросили, как он себе мыслит жизнь. Понятия не имею, отвечал Манкопф; и добавил, что так или иначе он хотел бы приобрести в будущем не особо обременительную, но доходную интеллектуальную профессию. Что конкретно он имеет в виду, поинтересовались мы. Он сказал, что таким возможностям несть числа, только, прежде чем выбрать одну из них, нужно определить, к какому духовному типу ты принадлежишь. Мы сразу врубились — все, кроме Платтеля. Человек — от рождения или в силу своих наклонностей — бывает либо глупым, либо умным, либо так себе, серединка-наполовинку; осознав это, он может работать над собой, вот и вся премудрость. Совершенно достаточно иметь две какие-нибудь способности; например, Альберт Швейцер умел играть на органе и лечить негров, этого ему с лихвой хватило, чтобы прославиться на весь мир. Манкопф снял очки. У него было минус восемь с половиной диоптрий в обоих глазах, и когда он задумывался — в очках, — то выглядел в точности так, как выглядит лягушка, если надавить ей большим пальцем на брюхо. В нашей курилке повисло сизое облако сигаретного дыма, так как все мы предпочитали "Юнону" и "Мерседес". В мире существует, сказал Манкопф менторским тоном — его отец был профессором зоологии, — всего два типа духовной организации, аудитивный и визуальный, в животном мире они смешаны. Мы попросили его привести несколько примеров

1. Жорж (Георгий) Манолеску — международный авантюрист румынского происхождения; Макс Маркузе (1877—1963) — первый судебный эксперт-сексолог в Германии, с 1919 по 1932 г. издавал журнал "Сексуальные проблемы"; Александр Стависки — международный авантюрист, выходец из России, с чьим именем связан скандал 1934 г., в который были вовлечены многие французские государственные деятели и который привел к правительственному кризису.

из повседневной жизни или из истории. Хеббель — аудитивный тип, а Штифтер[1] — визуальный, объяснил Манкопф, и точно так же дело обстоит с Манном и Гессе; эти два принципа восприятия реальности — аудитивный и визуальный — противоположны.

Тебя послушать, так вообще голова пойдет кругом, сразу и слух, и зрение потеряешь, возмутился Платтель, — неужели только два типа? Наверняка существуют и смешанные — Гёте, например; Гёте был универсалом. Я хотел бы когда-нибудь иметь много денег, вмешался в разговор красавчик Федерман, а с благоприятными условиями и способностями все так получается потому, что они распределены несправедливо. Можно ли вообще что-то сделать для успешного самосовершенствования? Учиться, учиться и еще раз учиться, к этому призывал еще Ленин, сказал Манкопф и снова надел очки. Человек должен постоянно усовершенствовать те таланты, которыми обладает; Федерман, например, обладает привлекательной внешностью — значит, он должен работать над своим телом, лицом и т. д. В его случае, несомненно, принимать в расчет следует лишь физические и психические качества, что же касается качеств интеллектуальных, то они представляют слишком малую величину, которой можно пренебречь. Федерман немного обиделся. Лучше всего, возразил он, как можно раньше ухватиться за какую-то ясную, здоровую, надежную деловую идею; это будет как прививка, гарантирующая здоровье до конца жизни. Ты материалист, зашикали на него остальные; и вообще, эти твои "здоровые" идеи тоже не валяются просто так на улице и не носятся в воздухе.

Деловое чутье, сказал Франтишек, вероятно, есть врожденная способность, которую очень трудно перенять; человек просто имеет ее или не имеет — это как с абсолютным слухом. Относительно врожденной деловой хватки он, похоже, не ошибся: в параллельном классе учился один парень по фамилии Моль, так тот додумался отдавать напрокат собственную красавицу сестру — на секунды и минуты. Мне эта сестра напоминала Соню Циман[2], но в блондинистом варианте. У нее были великолепные ноги (она всегда носила бархатные брючки, слишком тесные, из-за чего и мы чувствовали себя стесненно), темные глаза и рот, о котором мечтали все старшеклассники. Существовал даже прайс-лист предлагаемых услуг: один поцелуй в губы — закрытые — стоил две марки; поцелуй в затылок — более робкие клиенты предпочитали именно это местечко — пятьдесят пфеннигов; поглаживание одной из коленок с ямочками — столько же. Французский поцелуй — одна минута по секундомеру — обходился в целых пять марок.

Моль в своем деле придерживался строгих правил и всегда находил укромные уголки, где желающие могли без помех — в соответствии со списком услуг и указанными в нем ценами — апробировать достоинства его сестры; ее, кстати, звали Надей. Ситуация, впрочем, не навевала романтических чувств, как и место действия — одна из скамеек в старом парке, под красным буком. Надя с холодным безразличием позволяла проделывать с собой все, что было оговорено, затем — "товар прочь, денежки в кассу", как любил выражаться практичный кузен Густав, племянник рази-

1. Кристиан Фридрих Хеббель (1813—1863) — один из крупнейших немецких драматургов и теоретик драмы. Автор пьес "Мария Магдалина" (1844), "Ирод и Мариамна" (1850), "Агнеса Бернауэр" (1851), театральной трилогии "Нибелунги" (1861) и др. Адальберт Штифтер (1805—1868) — классик австрийской литературы, автор романов "Бабье лето" (1857), "Витико" (1865—1867), сборников новелл и повестей.
2. Соня Циман (р. 1926) — немецкая танцовщица, актриса, киноактриса, пик популярности которой приходится на 40—50-е гг.

ни Дональда-Дака. Если кто-то, увлекшись, прозевывал свое время, ему приходилось платить вдвое, в таких делах Моль не знал снисхождения.

Грозный секундомер в руках торчащего за скамейкой брата почти не оставлял шанса почувствовать настоящую страсть. Правда, пара-другая самонадеянных клиентов (среди них, например, Федерман) рассчитывали с помощью умелых манипуляций склонить девчонку к определенной ответной реакции, заставить ее забыть о секундомере, однако ни разу не добились своего. То, чем занимается Моль, сказал Федерман (как и другие, потерпевший фиаско), может служить примером нездоровой и тем не менее успешно функционирующей деловой идеи; коммерческое рвение Моля базируется на замечательных в своем роде исходных предпосылках: он может не сомневаться, что поток заинтересованных клиентов не иссякнет, не забивает себе голову ненужными мыслями о том, нравится ли такой бизнес его сестре, и всегда обходителен с теми, кто пользуется его услугами, — несмотря на секундомер и взимание платы. На ближайшей переменке мы снова встретились в своем излюбленном месте, в мужском туалете. Приближался конец учебного года. На уроках истории, у д-ра Ледера, тянулась тягомотина крестовых походов; на английском, у Бёдике, мы неохотно и коряво переводили на немецкий стивенсоновское "Злосчастье Джона Николсона"; на уроках Закона Божьего, у Ханфмаля, из-под палки ломали головы над стихом Иоан. 12, 24: "...если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода", — над тем, что бы это могло значить; на французском перелагали изысканные французские фразы мопассановской "Пышки" на скверный немецкий, и т. д.

А я — я добился освобождения от спортивной гимнастики под предлогом, что упражнения на перекладине или брусьях чреваты опасными травмами. Учитель гимнастики Йоггерс долго и настойчиво внушал мне, что спорт — это сделка между телом и духом, комбинация, обещающая в будущем приносить постоянную прибыль; я же прямо ему заявил, что боюсь, как бы спортивные снаряды не нанесли непоправимых увечий моим половым органам. На педсовете, когда зашел разговор о моем решительном отказе заниматься гимнастикой, все очень удивлялись этой фразе, поскольку не представляли, где я ее подхватил. Я не отличался особым прилежанием, и ни у кого не возникло даже мысли о том, что ради такого случая я мог заглянуть в справочник. Это случилось, когда на горизонте уже маячила угроза последнего сочинения перед окончательным выведением годовых оценок, от которых зависело, останется ли кто-то на второй год. Платтелю пришла в голову плодотворная идея: основать временное сообщество с четко очерченной целью. Вы только вникните, сказал он, каждый из нас что-то умеет, и некоторым что-то удается лучше, чем другим. Значит, те, кто в совершенстве знает какой-то один предмет, должны поддержать отстающих. Такого рода сделки иногда называют компенсационными, или бартерными: например, Манкопф хорошо разбирается в математике (наш учитель, родом из Вены, ставил ударение в этом слове на втором слоге), значит, мог бы много чего взять на себя; тогда как К. (это был я) хорошо пишет немецкие сочинения. Если мы соответствующим образом распределим нагрузку и каждый великодушно предоставит свои способности в распоряжение коллектива, успех нам обеспечен.

Ну как, закончил свою речь Платтель, по рукам? Вспомните, в мире детективных романов встречаются куда более крутые мошенничества, в

сравнении с ними все это яйца выеденного не стоит. Дело, конечно, осуществимое, пробормотал Манкопф, но лично его беспокоит прежде всего интерпретация стихотворений. Да брось, это же детские игрушки, вмешался я: нужно только выписать все существительные и потом прилагательные; пересчитай их и посмотри, что к чему относится, и ты всегда будешь точно знать, где прячется так называемое "лирическое я" и о чем оно вещает. Тут Франтишек брякнул, что ему жутко интересно, успел ли кто-то из нас — помимо Федермана — попробовать прелести красотки Нади.

Платтель вздохнул и признался, что заплатил пять марок за поцелуй. Когда ее целуешь, поделился он своим впечатлением, она держит глаза широко открытыми, как, судя по рассказам, поступают зайцы-русаки, когда спят, — и от этого становится не по себе. Мы кивнули, выражая согласие с его мнением, и спросили, какими были ее губы на вкус. Как абрикосовая жевательная резинка, ответил Платтель; и, сделав паузу, уточнил, что сама по себе идея у Моля классная, вот только чувственности почему-то маловато. Тогда сам Франтишек мечтательно поведал нам, как один раз за марку трогал Надю под коленкой; наверное, из-за того, что он видел ее глаза не вблизи, а в некотором отдалении, он страшно распалился и уже воображал себя ее преданным слугой; но все его возбуждение мигом улетучилось, когда брат и сестра начали делить между собой полученную от него двойную плату (за перерасход времени на четверть минуты) — разумеется, в пользу бессердечной сестры. Наступит день, и она тоже в кого-нибудь втюрится, сказал Манкопф; тогда Молю, хочет он того или нет, придется от нее отцепиться.

На этом мы оставили Надю в покое — пусть себе и дальше сидит на своей скамейке в парке — и перешли к обсуждению того, какую тему для итогового сочинения выберет Форманек, известный любитель Гёте; Гёте, во всяком случае, мы проходили очень основательно. Правда, Форманек мог предложить и весьма неприятные вопросы. Подсунул же он нашему параллельному классу — хотя сам ненавидит немецкий экспрессионизм — то еще заданьице: анализ стихотворений Августа Штрамма[1]; он вообще предпочитал коварные темы, типа прошлогодней: "Структура диалога в балладе Гердера[2] „Эдвард"". Д-р Форманек был угрюмым и низкорослым, стрижен ежиком, с глубоко посаженными глазами; он страдал (в легкой форме) болезнью Бехтерева[3], а немецкий преподавал, по его словам, "как первый иностранный язык". К ученикам он испытывал своеобразный комплекс любви-ненависти. В тот памятный день он, прихрамывая, вошел в классную комнату, серьезно посмотрел на нас и написал на доске тему сочинения. Гёте иногда использует слово *Geschäft* (дело, занятие, сделка) и в значении "работа". Проинтерпретируйте его фразу из романа "Годы странствий Вильгельма Майстера": "Счастлив человек, если для него дело (*Geschäft*) становится любимой куклой, с которой он просто-напросто играет, забавляясь тем, что́ его состояние вменяет ему в обязанность"[4]; или другую: "К делам нужно подходить абстрактно, а не по-человечески — со склонностью или отвращением, со

1. Август Штрамм (1874—1915) — поэт-экспрессионист, изобретатель новаторского поэтического языка.
2. Иоганн Готфрид Гердер (1744—1803) — немецкий философ и писатель-просветитель; создал теорию народной поэзии и оказал значительное влияние на движение "Бури и натиска".
3. Одеревенелость позвоночника.
4. Иоганн Вольфганг Гёте. Страдания юного Вертера. Избирательное сродство. Годы странствий... М., 1998, с. 364 (перев. С. Ошерова).

страстью или как бы из милости; тогда и сделаешь больше, и скорее со всем справишься"[1].

Боже мой, прошептал сидевший рядом со мной Платтель, ну и дерьмовое задание. Форманек услышал, но ничуть не рассердился, а посоветовал, чтобы мы проверили обе сентенции Гёте на жизненных примерах и, может быть, привлекли еще кое-какие понятия — скажем, "честолюбие", или "деятельность", или даже "удовлетворение"; потом останется составить хороший план, и дальше все пойдет как по маслу. Он усмехнулся, поудобнее устроился у стола, закинул ногу на ногу и погрузился в чтение книги под названием "Рембрандт как предприниматель". Одной воли, изрек он, не поднимая на нас глаз, еще недостаточно, чтобы успешно действовать. Мы тупо уставились в пространство. Я украдкой оглянулся. Красавчик Федерман, будущий миллионер, сосредоточенно посасывал колпачок авторучки и считал водяные подтеки на потолке. Ангелина, сидевшая передо мной, быстро-быстро строчила что-то на черновике; она всегда составляла фантастические планы, но никогда не умела ими воспользоваться. Платтель, мой сосед по парте, со стоном в третий раз выводил на первой странице слово "План". Потом сумел-таки внутренне собраться — это было заметно по его задвигавшимся челюстям — и с помощью ключевых слов (подобранных, так сказать, из подручного материала) наметил линию дальнейших рассуждений: счастье, дело, кукла, игра — подходить к ним абстрактно, а не по-человечески; тогда успех гарантирован. После этого обнадеживающего начала бедный Платтель, не особенно сильный по части сочинений, растерянно воззрился на свою цепочку существительных, не зная, что с ними делать дальше. Потом решительно выделил оба наречия, обведя их шариковой ручкой. Мне тоже так сразу ничего не приходило в голову по поводу гётевских деловых советов; поэтому я попытался успокоиться и сконцентрироваться на вещах посторонних, которые тоже могли привести к цели — непонятно только, к какой.

У каждого из нас был собственный метод концентрации внимания. Манкопф, мечтавший о прибыльной интеллектуальной профессии, как всегда, откинулся с закрытыми глазами на спинку стула и расковыривал булавкой зрелый прыщ на подбородке. Платтель опять застонал и принялся с силой вымарывать бесполезную цепочку ключевых слов. Ангелина писала, склонив голову набок, мне был виден кончик ее высунутого языка. Ее шею покрывал нежный загар, и я задумался о посторонних вещах совсем иного рода. Я покосился назад и удивился, увидев, как Франтишек с сосредоточенной миной дописывает уже целое предложение, правда, стоившее ему долгих мыслительных усилий: Гёте всегда был, как в духовном, так и в эстетическом смысле, истинным "князем мира". Я тоже выжал из себя пару-другую слов, которые на бумаге смотрелись ужасно одиноко, упорно отказывались подружиться друг с другом: кукла, склонность, кукла абстрактная, без склонности, и т. д. Гёте наверняка знал, о чем он говорил, как и все поэты, сумевшие сделать карьеру; примеры Рильке и Д'Аннунцио наглядно показывают, что все эти великолепные карьеры были так или иначе связаны с женщинами — я хочу сказать, с красивыми, умными, способными поддерживать беседу и наверняка хорошо сложенными женщинами. Гёте, мы об этом читали, вообще менял женщин как перчатки, что подтверждается многими его

1. Из письма канцлеру Фридриху фон Мюллеру, декабрь 1825 г.

стихотворениями. И я написал: Гёте, работа, женщины и красота, — но дальше продвинуться не смог. Рильке тоже так жил: вечно волочился за женщинами, главным образом за графинями и княгинями, вечно гостил во дворцах и замках (надо думать, в огромных количествах поглощая шампанское и черную икру), а в промежутках одиноко и героически сочинял стихи в своих дармовых апартаментах. Мне только непонятно, из каких средств он мог оплачивать столь многочисленные переезды.

И Д'Аннунцио был таким же карьеристом, он даже завел роман с самой Дузе[1], причем обращался с ней очень дурно, что, однако, никак не отразилось на изысканности его стиля. Вероятно, человек, если он окружен богатством и красотой, может позволить себе буквально все. У Платтеля уже сложилось в уме новое предложение, которое пока — на бумаге — еще топорщилось; он будто подхватил мои носившиеся в воздухе "посторонние мысли": славу и женщин, роскошь и модные вещи, писал Платтель, человек завоевывает только посредством работы, но что есть работа? Под "работой" может подразумеваться разное, поэтому сначала нужно определить, что такое работа вообще — и как ее понимал Гёте, когда формулировал эти две сентенции. Гёте и работа в его стихотворениях. Далее следовал новый план. Склонность к физике на сей раз Платтелю не помогла, а, напротив, увлекла на ложный путь, отнявший у него целых двадцать минут, в течение которых он рассуждал о принципах механической работы; я разглядел только подрагивающий хвостик его последнего предложения (последнего перед тем, как дело у него опять застопорилось): ...итак, вся сила k поднимает тело вдоль пути s только на компоненту s/k.

На доске все еще красовались оба гётевские высказывания, записанные почерком Форманека, печатными буквами. Я жалел, что он не выбрал тему "Гёте и красота" или "Гёте и женщины"; книгу Кюна "Женщины вокруг Гёте" (вполне целомудренную) я прочитал уже два раза. И заранее подыскал к теме красоты две фразы, которые обе пригодились бы мне при возделывании благодатной эстетической нивы: а) неразделимы "красота и добро, красота и есть добро, предстающее под покровом тела" — уж не знаю, похоже ли это на стихотворный размер, Форманек рассказывал нам только о ямбе и хорее. Фраза б), тоже из этой серии, звучит так: "В любой красоте есть некая закономерность, выставленная напоказ". Это уже не лирика, а боевой клич из "Максим и рефлексий".

В моей голове роилось столько мыслей, что я не знал, за какую ухватиться. На парте передо мной грустно вздыхала Ангелина. Время от времени кто-нибудь покашливал, чтобы оживить мучительную тишину безнадежности хотя бы одним звуком. За окнами, как замедленные кинокадры, проплывали кучевые облака; они напоминали каждому, кто привык мыслить свободно, о странствиях в воздушном море — и не дарили ни единой мысли о Гёте..Рильке и Д'Аннунцио в качестве примеров не годились, потому что были самыми настоящими прихлебателями; нет, примеры нужно брать из "непосредственного бытийного контекста", как писал один знаменитый немецкий германист, который раньше работал главным редактором в нацистском издательстве "Франц Нехер и наследники", но в данном вопросе, в порядке исключения, попал в самую точку. Я искал конкретные примеры из жизни, в которых

1. Элеонора Дузе (1858—1924) — итальянская драматическая актриса, пользовавшаяся огромной популярностью; гастролировала в большинстве стран Западной Европы, в России, США, Южной Америке, Египте.

действовали бы люди, каким-то образом — с удовольствием, но абстрактно — превращавшие свои дела в кукол, то есть счастливые натуры. К сожалению, в тот час невезухи мне вспомнился только старый барон Хельберг, один из наших родственников по дерптской линии, который потерпел неудачу в делах из-за того, что слишком ценил красоту. А может, подумал я, действительно стоит подойти к этой проблеме иначе и взять практические примеры из собственной биографии; скажем, мой отец, который в 1945 году скончался в армейском госпитале от менингита, в 1943-м, будучи солдатом, работал в тылу, в окрестностях Киева, много пил — это тоже работа, как пораскинешь мозгами, — потом одной теплой летней ночкой сошелся с моей матерью, стал вкалывать по части тыловой эротики; но если все это свести вместе — темную ночь, русских партизан, мою мать в офицерской форме, — то получится все что угодно, только не удовольствие.

Рядом со мной стонал Платтель — и вдруг продемонстрировал мне всю серьезность положения. Из кармана пиджака он выудил листок, заблаговременно исписанный вдоль и поперек бисерным почерком, и начал переносить из него в свою тетрадку следующий пассаж:

"Словно зачарованные волшебным словом, мы видим гармоничную картину царственного появления Гёте, окруженного кольцом прекрасных, воспитанных, умных и просвещенных дам, связанных с ним узами любви, дружбы, непринужденного духовного общения и образующих его нетленную свиту..." Пауза. Платтель остановился и задумался. Потом продолжил, уже от себя: "...Общение с женщинами стало для него особым родом деятельности, которому он был обязан теми интенсивными усилиями, которым его образованность, его гений и его разносторонние интересы были, в свою очередь, столь многим..." — тут он попытался найти синоним к слову "обязаны", но не сумел. Это предложение показалось мне на удивление знакомым. Вычеркнув вторую половину фразы (с недостающей частью составного сказуемого), Платтель заерзал на стуле. Эй, повернулся он ко мне, скажи еще раз, как звали того герцога. По крайней мере, он, Платтель, не позволял себе впасть в уныние из-за очередной неудачи. Карл Август[1], прошептал я. На мгновение в классе воцарилась полная тишина, и было слышно, как пара дождевых капель упала на жестяной подоконник. Сколько времени, тихо спросил Платтель, Гёте валандался с первой и второй частями "Фауста"? Я так же тихо задал встречный вопрос: что я за это получу? Мне уже в то время было ясно как божий день, что глупо делать что-то без гонорара, если имеются люди, способные тебе заплатить. Сказал же Гёте в "Торквато Тассо": "Таланты образуются в покое, / Характеры — среди житейских бурь"[2]; да он и сам умел за себя постоять и не забывал о собственной выгоде — в отличие от бедного барона. Бутылку шантре, шепнул Платтель. Я потребовал для ровного счета еще две пачки "Юноны" и потом ответил: пятьдесят лет. Платтель посмотрел на меня так, будто я плюнул на его хаотичный текст, и сказал, что я несу ахинею. Лажа, услышал я его бормотание, ни одна свинья не станет тратить пятьдесят лет, чтобы написать такую хреновину.

У Платтеля был скверный характер. Хотя с "Фаустом" я его не обманул, он в итоге зажал и шантре, и обе пачки "Юноны". Мне снова вспом-

1. Карл Август, герцог Саксен-Веймарский, с которым Гёте познакомился в молодости, когда тот был еще наследным принцем; в 1775 г. Гёте по его приглашению приехал в Веймар, где и оставался до конца жизни.
2. Строки 304–305 (перев. М. Соловьева).

нился помешанный на красоте барон. Чувство прекрасного не всегда помогает в делах, предпринимателю оно даже скорее вредит; эта закономерность сказалась на судьбе причудливых деловых проектов барона, за которые ему явно не стоило браться, по крайней мере до 1950 года. С каждым провалом очередного делового начинания, никак не желавшего превращаться в "куклу", барон становился все более подавленным и жалким. Моя сладкая птичка, часто повторял он некоей вдове, я бы охотно помогал тебе сохранять твою божественную тучность, тем более что она радует и мою скромную персону, но вот только как? Перо Платтеля снова застопорилось; видимо, линия герцога тоже оказалась тупиковой. Я вывел печатными буквами на своем листке: Гёте и демон любовной страсти, работа или удовольствие? Будущий джентльмен-преступник стрельнул правым глазом в мою тетрадку и, глубоко вздохнув, написал: если взглянуть на обе вышеупомянутые сентенции с точки зрения гётевского гения любовной страсти, то, возможно, такие понятия, как "работа", "дело" и "кукла", придется интерпретировать совсем по-иному...

Как мы и уговаривались, неотразимая Ангелина подняла руку и звонким голоском попросила разрешения сходить в туалет; минут через десять я присоединился к ней. Форманек украдкой растянул губы в дьявольской усмешке. Он знал, что мы никогда не списываем друг у друга, а к нашей взаимной симпатии относился со снисходительной иронией. Под лестницей я пожаловался Ангелине, что до сих пор даже не представляю, с чего начать. Она посоветовала мне рассмотреть под микроскопом жизнь самого Гёте, то есть его хитроумное конструирование собственной жизни, его знакомства, дружеские связи и все из этого вытекающее. Со своей стороны она хотела, чтобы я подсказал ей кое-какие даты, начиная с итальянского путешествия, — те, которые помнил. Пока мы совещались, я рассматривал ее лицо: мелкие белые зубы, пигментацию губ, красивый сильный язык; поэтому в классе мне не удалось вспомнить ни слова из того, что она говорила.

Гёте, писал Платтель, двигая челюстями, был невероятно усидчивым, как можно видеть по полному собранию его сочинений, даже если не принимать во внимание дневников, личных записей и громадного количества писем. Писание не составляло для него никакой работы, иначе, наверное, он бы столько не написал, — и он интересовался всем: стихами, которых за свою жизнь насочинял целые горы, древними растениями, учением о цвете (здесь он перешел дорогу Шопенгауэру), френологией, греческими женскими статуями и еще многим другим. Он и в своих любовных связях был очень осмотрителен и всегда умел оценивать их как бы со стороны. Когда умерла Кристиана Вульпиус[1], он долго оставался в постели, потому что стал бояться болезней и смерти.

Боже, подумал я, разглядывая розовую мочку Ангелининого уха, ведь и это тоже можно было бы рассмотреть в аспекте "работы"; и мне сразу вспомнилась моя тетушка Илла, которая на курорте в Шварцвальде влюбилась в слепого героя-интеллектуала, некоего асессора А., за которым ухаживали две его сестры. Все трое жили вместе в очень маленькой квартирке. Чем точно занимался асессор, никто не знал, но, во всяком случае, он читал назидательные доклады об этике и морали, ответственности и самосознании.

1. Работница цветочной мастерской, с которой Гёте много лет состоял в гражданском браке, а потом оформил этот брак официально.

Эти доклады он диктовал своим сестрам, которые затем отсылали машинопись в одно из издательств, специализирующихся на литературе для слепых, и из издательства возвращались тексты, полностью набранные шрифтом Брайля; потом асессор читал свои доклады в курзале санатория или в школах, а тетя Илла все больше западала на тембр его голоса и на его чувствительные руки. Мне показалось — однажды он выступал с докладом и в нашей школе, — что он слишком резко меняет темы, от "пасторского врачевания" перескакивает к "органам, влияющим на успех", и т. д. Преобладал у него дух теософии и высокого оккультизма. Квинтэссенция его учения сводилась к тому, что индивид должен нести ответственность и за себя самого, и за массу всех других индивидов.

Илла, как все старые девы, отличалась застенчивостью; как-то раз мне (по ее просьбе) пришлось сопровождать ее в гости к асессору и обеим сестрам. Жилище интеллектуала было обставлено очень скудно, пахло валерьяновыми каплями и касторкой. Илла позволила себе сесть рядом со слепым, одна из сестер устроилась по другую сторону от нее, а вторая — бок о бок с А., который не давал никому и рта раскрыть. Изрекая свои монологи, он все время смотрел в потолок, загвазданный мушиными какашками, как будто обращался к домовому. Одна из сестер принесла напитки, другая — домашнее печенье. Потом он произнес фразу, которую никто толком не понял, но все заметили, что ему стоило немалого труда подыскать для нее безупречный конец: только вечно изменчивая духовная сила может привести в движение первичные субстанции всегда наличествующей материи и заставить их сгруппироваться так, чтобы возникли определенные материалы, миры и ощущения; поскольку сие, как очевидно, удалось, мы можем быть уверены в наличии движущего начала персональной этики. Бедная Илла, которая мечтала о чем-то совсем ином, проглотила эту дурацкую сентенцию без всякого удовлетворения, произнесла своим мягким голосом ни к чему не обязывающее "Ну да" и окончательно замолчала. Асессор тоже теперь молчал, только могучие складки на его лбу под львиной гривой грязно-желтых волос продолжали энергично двигаться — но ничего особенного он больше не изрек.

По пути домой Илла вздохнула и сказала: боже, хоть бы раз остаться с ним наедине! Однако ужасные сестры все время вертелись поблизости. Эта изнуряющая и безнадежная любовь длилась около года. Однажды Илла набралась смелости и подкараулила его возле санаторского туалета, но асессор, не изменившись в лице, одной рукой отодвинул ее в сторону, исчез за дверью кабинки и с шумом спустил воду; в тот вечер приватный контакт между ними так и не состоялся. Тетушка располагала очень ограниченными техническими возможностями для выражения своих чувств: писать любовные письма по системе Брайля она не умела, а кассетников, позволяющих слушать записанные на пленку устные признания, тогда еще не было. Вскоре, во время очередного переезда по железной дороге, асессор (вероятно, погрузившись в свои мысли, такие же возвышенные и недоступные для непосвященных, как шрифт Брайля) перепутал дверь купе с выходом из вагона и упал на рельсы — печальный конец для такого великого человека. Тетя Илла долго после того не читала любовных романов, а потом все-таки опять влюбилась в некоего инвалида-колясочника, который не имел ног, зато ответил ей полной взаимностью.

Я заметил, что Платтель мчится вперед на всех парусах. Бывают такие времена, с воодушевлением писал он, когда люди, обладающие общезначимым опытом, непоколебимо здоровым разумом и чистотой помыслов, возвышающей их над всеми сомнениями, уже одним фактом своего существования поддерживают и укрепляют других. Однако, продолжал он, приведя эту шеллинговскую цитату, в самом ли деле простое существование уже само по себе является "работой"? И если да, то какое определение должны мы дать такой работе в свете биографии Гёте? Бутылку "шантре" за идею, нацарапал я на клочке бумаги. Платтель прочитал и с мрачным видом кивнул. Тогда я написал на оборотной стороне того же клочка: игра ради удовольствия и верность своему долгу, — как двойная игра. Платтель фыркнул и помотал головой. Его, похоже, не особенно обрадовало предложенное мною новое начало, которое плохо состыковывалось с цитатой. У вас еще час, произнес в этот момент Форманек.

Кто-то открыл окно, и к доске подлетела муха; она будто соображала, какое из двух каверзных предложений ей лучше выбрать, но в конце концов предпочла лысую голову Форманека, беспечно уселась на ней и принялась чистить лапки. Я сразу же снова вспомнил о бедном бароне и о последнем протоколе его героического крушения; пришедшая мне на ум история, кстати, проливала дополнительный свет и на тот феномен, что одной силы воли недостаточно, чтобы найти опору в чуждой для тебя деловой реальности.

Однажды ротмистр фон Хельберг наткнулся в антикварной лавке на два предмета, которые сразу привлекли его внимание: это были вышивка в рамке, красным по синему фону, воспроизводившая, может быть, самый красивый из афоризмов Карлейля — "РАБОТАТЬ И НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ", — и фарфоровое гнездышко с восхитительной курочкой, тоже из фарфора. Горя желанием разыскать все красивое, что только имеется на свете, и исполненный жажды действовать, пробудившейся у него благодаря фразе Карлейля, Хельберг явился к вдове и сбивчиво изложил ей свой великолепный план. Вдова согласилась с тем, что нужно перебираться в деревню, сыграть ва-банк, и обо всем этом можно прочитать в дневнике барона:

Май. Шарлотта наконец одобрила мою идею! Мы будем выращивать декоративных кур! Здесь, как ни жаль, их вряд ли можно достать. Придется ехать в Голландию. Июнь. Купил двух чистокровных английских бойцов, которые люто дерутся между собой, а также "доркингов", "юданьцев", парочку замечательных "итальянцев", парочку "брабантцев" и одного петушка "ла флеш" (к сожалению, без пары). Все очень хрупкие по конституции, за исключением "англичан". Заказал еще "золотую бентамку" и самца к ней...

Барон нашел эту живность и в самом деле красивой, но обращался с нею небрежно; будь он таким же фанатиком куроводства, как Трошюц, ходивший вместе со мной на уроки танцев, это дело, за которое он взялся по душевной склонности и отнюдь не абстрактно, наверняка привело бы к лучшему результату.

...10 июня. Закончил сооружение вольера. Птички бездельничают. Только расхаживают взад-вперед и сильно смахивают на вольноопределяющихся первого года службы. У них выпадают перья. Возможно, из-за неправильного питания. Но зато гадят они колоссально.

13-й день. Изобрел новый укрепляющий корм, фантастическую смесь, которая стоила мне больших трудов, даже Шарлотта на ней совершенно помеша-

лась. Много дрожжевого сульфата марганца, выжимки сои, так называемые "растворимые рыбные субпродукты" (понятия не имею, что это такое), кормовая патока, сухая молочная сыворотка и отходы с винокуренного завода. Вставать каждый день в шесть часов невыразимо тяжело, но производственные успехи, то есть работа, заключают в себе своеобразную красоту.

14-й день. Мои "рекруты" оживают; жрут чудовищно много, почти не двигаются, почти не кричат, абсолютное послушание, настроение у всех превосходное, как на достопамятной общей попойке 1942 года в Тунисе. Шарлотта заботится о моем интеллектуальном развитии. По вечерам на веранде читает мне вслух Бенна[1] и угощает яичным ликером. "Моя Европа, носик кнопкой, / Дитя четырнадцати лет. / "Куда", — ты спросишь. / На Аляску!"[2] Отличные стихи, проникнутые дикой свободой, может, я и сам бы мог...

С 15-го по 17-й день. Перышки отрастают, смотреть на них — большое эстетическое удовольствие, но вставать в шесть утра горько. Праздник на веранде, много яичного ликера, у вдовы запор; она говорит, что пора подумать и об "отдаче" — это у нее синоним "доходов", но как? В постели объяснял ей свои производственные планы. На ее безупречном теле (в паховой области; все остальное во время акта остается для меня terra incognita, поскольку мы предаемся страсти в темноте) обнаружил чешуйки, которые сами собой отшелушиваются, будто у нее должна начаться линька. Назвал ее моей сладкой курочкой.

18-й день. На свою беду, получил новую посылку, парочку обольстительных малайских кур. Они, как и написано в руководстве, ведут себя вызывающе, темпераментны и своевольны, взбудоражили весь курятник. Шарлотта за яичным ликером сказала — она опять читала мне много стихов Бенна, которые я не понял, — так вот, моя сладкая курочка сказала, что понимание тоже есть работа. Хотел бы попробовать скрещивать разные породы, но сомневаюсь, что это пойдет им на пользу. Шарлотта все сбрасывает кожу, как змея. Открыть, что ли, маленький зоопарк — для детей? Птички стали задиристыми и бодрыми, любо-дорого смотреть; а яичного ликера я явно перебрал.

24-й день. В голове не укладывается! Вся работа насмарку, напрасно я вставал в шесть утра, теперь это в прошлом. Птичек уже не вернуть. Они все удрали, все улетели, все до одной меня покинули. Вечером мы с Шарлоттой сидели на веранде. Придется искать новую работу, но где я найду такую, чтобы была эстетичной и вместе с тем не требовала столь ранних вставаний?..

На этом дневник барона, правдивое зерцало его абстрактно-конкретных горестей, обрывается. Как я узнал позже, он оставил вдову в деревне, а сам некоторое время с помощью лексикона по греческой мифологии безуспешно пытался сочинять стихи для им же основанного издательства "Хельберг". В конце пятидесятых он сдал экзамены на аттестат в вечерней школе, какое-то время изучал медицину, не изменяя своему идеалу красоты (в соответствии с девизом Гёте, цитируемым в изданиях Майера: только красота способна придать научным идеям жизненность и теплоту), а потом бесследно исчез в Сахаре, куда отправился с целью изучения сексуальных обычаев бедуинов. Счастливая судьба! Карьера поэта — это вещь; но сколько я ни думал о своих даже самых отдаленных родственниках, не мог вспомнить ни единого примера удачи в делах.

1. Готфрид Бенн (1886—1956) — немецкий поэт, начинавший как экспрессионист.
2. Начало стихотворения "Аляска", которое далее продолжается так: "Там А-леут, там Шквалеут. / Фата-леут самодовлеет. / Тюленя бьет, медведя жрет / И алеутку удивляет, / Мужик!" Перев. В. Топорова.

Прозвенел звонок; муха снялась с форманековского черепа и вылетела в распахнутое окно. Отличник Боль, который потом получил за это сочинение единицу с минусом[1] ("Гёте как мастер использования своих возможностей"), собрал наши тетради и листочки — в общем, довольно убогий урожай, — и мы опять встретились в своем надежном убежище, в углу мужского туалета.

Ненавижу сочинения, констатировал Платтель, глубоко затянувшись сигаретой "Лаки страйк": я готовился по "Эдварду" Гердера — "Твой меч так покраснел от крови...", — тут я многое мог бы написать, потому что тоже натерпелся от своей матушки. Манкопф проворчал себе под нос, что он лично готовился к вопросам по первой и второй частям "Фауста", а не к этим треклятым сентенциям, но тем не менее сумел-таки как следует разобрать основные качества Гёте. Платтель меня слегка ошарашил, заявив, что изложил целую теорию относительно веймарского мастера, причем аккурат по теме. Потом мы спросили у Федермана, как его успехи, но он уклонился от прямого ответа, сказав только, что все в норме — тройка ему в любом случае обеспечена. В коридоре мы увидели Моля, который подыскивал себе новую партнершу, так как его красавица сестра в кого-то влюбилась. Я подумал, что женщины — загадочные существа, и вспомнил, как целовал Надю на скамейке в парке за пять марок.

Через две недели Форманек, сильно раздосадованный, вернул нам наши сочинения. Результаты в своем роде великолепны, пояснил он, но к теме в большинстве случаев отношения не имеют. Мне больше всего понравилась теория Платтеля, согласно которой Гёте — я цитирую — "вероятно, мог бы стать лучшим автором детективных романов в Европе, если бы не растранжиривал, как ненормальный, свое время на работы самого разного толка". Особенно поражает воображение последняя фраза: "Вообще же у профессий, связанных с искусством, есть большие преимущества, ведь они позволяют заработать кучу денег". Платтель покраснел и протянул руку за своей тетрадкой. Дальше Форманек назвал фамилию Манкопфа и, грозно чихнув, сказал: Гёте, конечно, в какой-то мере был универсалом, однако твой вывод, что он ни на чем не мог по-настоящему сконцентрироваться, потому что соединение визуального и аудитивного восприятия превышает возможности отдельного индивида, уводит на ложный путь.

Ты, Ангелина, очень красиво пишешь о танцующих куклах, продолжал Форманек, но несколько преувеличиваешь влияние женщин на творчество Гёте; тем не менее я поставил тебе двойку. Федерман весь сжался, когда Форманек приблизился к нему. Из всей твоей работы, вздохнул Форманек, можно извлечь только одну мысль: Гёте непрестанно работал над собой, и это гарантировало ему небывалый жизненный и творческий успех. Негусто, но по сути правильно, хотя и чересчур расплывчато. Ах да, повернулся он ко мне: К., ты слишком рассеян, приводишь много хороших примеров, но когда пытаешься поставить всю производительную работу на фундамент одной совершенной и в данный момент неизбежной деловой идеи, как будто ничего вне этой идеи для человека не остается, твоя аргументация выглядит малоубедительной; четыре с плюсом, хоть ты и процитировал двусмысленную фразу Карлейля.

1. В немецких школах единица — самая высокая оценка.

Монхаупт с последней парты получил тройку за свою старательную проработку проблемы тождества работы и удовольствия в произведениях Гёте, начиная с "Вертера", и особенно за терпеливый разбор "Фауста" – Монхаупт позже стал профессором новейшей немецкой литературы в одном из крупных университетов, – и только наш Франтишек схлопотал круглую пятерку, потому что он, как объяснил Форманек, отнесся к заданию чересчур легкомысленно. Впрочем, в каком-то смысле он все-таки проявил усердие, это был вынужден признать даже наш учитель: Франтишек разделил лист тетрадки на две рубрики, одной дал заглавие "ДЕЛА, абстрактно", а другой – "ДЕЛА, со страстью". По этим рубрикам он, по своему разумению, распределил все произведения веймарского мастера; так, в рубрику "ДЕЛА, абстрактно" вошли обе части "Фауста", "Герман и Доротея", "Избирательное сродство" и "Вильгельм Майстер", а в рубрику "ДЕЛА, со страстью" – все стихотворения, драмы и письма.

Франтишек нисколько не переживал из-за пятерки, он и без того знал, что учится в школе только ради самого процесса обучения. В качестве напутствия и чтобы мы не особенно расстраивались из-за своих отметок Форманек процитировал нам еще одну сентенцию, или максиму, Гёте, на сей раз адресованную Карлейлю и, может быть, в свое время тоже сказанную в утешение этому бедолаге, всю жизнь призывавшему своих современников относиться к работе как к священному долгу: "Добрая воля помогает обрести совершенное знание". Хотелось бы верить, что это соответствует действительности, но только стоит мне подумать о злополучном Хельберге, как меня одолевают сомнения...

Литературная биография

Андре Моруа

Роберт и Элизабет Браунинг

Перевод с французского В. Меранова

ОБРАЗ великого человека не остается неизменным после его смерти. Портрет, запечатленный в памяти людей, не перестает трансформироваться. Новые свидетельства, случайно найденные документы вынуждают нас добавлять новые мазки к уже составившемуся представлению. Именно это случилось со мной, когда я прочел книгу о поэте Браунинге "Портрет Роберта Браунинга", написанную Бетти Миллер и изданную в 1953 году в Лондоне (издательство Джона Меррея).

До тех пор история женитьбы Роберта Браунинга на Элизабет Барретт рисовалась мне рождественской сказкой, живым вариантом "Спящей красавицы". Златокудрая девушка чахнет взаперти и медленно умирает в лондонском доме под властью дракона-отца. И вот появляется храбрый принц — поэт, который преодолевает множество препятствий, будит ее ото сна, похищает и женится на ней. Они уезжают в Италию, у них рождается дитя, они наслаждаются полным счастьем.

Красивый заоблачный сюжет. Пора опустить его на землю. Первая половина сказки правдива или, по крайней мере, близка к истине. Вторая — куда дальше от нее. Письма и воспоминания современников свидетельствуют, что эта великая любовь недолго была счастливой, потому что в основе ее лежало взаимное заблуждение. Но теряя свою сказочную фееричность, история становится более человечной и значительной.

I

Роберт Браунинг родился в 1812 году в Камберуэлле, предместье Лондона. Его отец, мелкий служащий Английского банка, мог бы стать одним из живописных персонажей Грэма Грина. Этот мягкохарактерный человек любил и собирал книги о пытках, магии и алхимии. Странности, иногда явно болезненного свойства, появились у него, видимо, после перенесенного еще в молодости сильного потрясения. При слове "кровь" он бледнел. От природы робкий и незлобивый, обожал рисовать кроваво-красной краской — сангиной — жуткие личины. При этом до самой смерти он оставался ребячливо беспечным. Не проявлял особого рвения ни в домашних делах, ни в служебных. Все обязанности он взвалил на жену — Сару Анну Видеман, дочь немца и шотландки.

Мать полновластно царила в доме. Двое детей — Сарьянна и Роберт — считали матриархат естественной формой семейного уклада. Роберт с малых лет обнаружил склонность к поэзии и враждебность к любым тре-

© В. Меранов Перевод, 2002

бованиям общественной дисциплины. Воспитанный пуританами, уверенными в том, что только они знают правду обо всех божественных и людских делах, он обрел привычку пылко и категорично утверждать свое мнение и опровергать чужое, хотя часто не имел к тому никаких оснований. Зато матушку почитал слепо и готов был ради нее поступиться собственными вкусами и пристрастиями. В ранней юности он открыл для себя Шелли и вдохновился его идеей мессианского атеизма. Так вот, одного слова Сары Видеман оказалось довольно, чтобы сын если и не перестал читать Шелли, то уже не восхищался им прилюдно. "Лучше любить, чем знать. Разум должен всего лишь прислуживать чувству".

Сыновняя любовь заставляла его таить свои сокровенные мысли. "Все вокруг могут говорить то, что думают, я же ограничиваюсь тем, что вызываю на разговор других, а истину извлекаю преломленной сквозь призму их мнений". Такая позиция ущемляет свободу духа, но дает особую силу художнику, учит воспарять над страстями; она устраивает человека, которому удобно жить под материнской опекой, продлевая детство. Роберт уже давно стал взрослым, но мать по-прежнему покупала ему одежду, собирала чемодан в дорогу, следила за каждым его шагом. Она позволила ему учиться так, как он хотел: получить домашнее образование, не заботясь о карьере. Он хочет стать поэтом и не сможет зарабатывать на жизнь? Ну и пусть! Родители, хоть они и не слишком богаты, позаботятся о нем. "Песня, а не служба" – выбор был сделан.

Он так любил свою мать, что даже в зрелом возрасте часто просто сидел рядом с ней, обняв за талию, и не шел спать, пока не получал, совсем как в детстве, материнского поцелуя. Ночью дверь между их спальнями оставалась приоткрытой. Их жизни были переплетены: когда заболевала мать, сын чувствовал недомогание и приходил в себя сразу, как только миссис Браунинг выздоравливала. Узы были более тесными, чем те, что позже соединят госпожу Пруст с ее сыном Марселем. К тому же в семействе Браунинг отец никогда не позволял себе перечить жене и с удовольствием играл при ней роль еще одного ребенка.

Можно было предположить, что "фиксация на матери" (именно так это называется) сделает Роберта Браунинга неспособным полюбить другую женщину, однако случилось иначе. Опубликовав свои первые, прекрасные и непонятные, поэмы – "Полину" и "Парацельса", – он стал отдаляться от родителей, но не столько в бытовом, сколько в духовном плане. Ему было приятно сознавать, что Камберуэлл остается для него надежным убежищем, что там есть сад с цветущими розами и любящие отец и мать. Однако людей, способных его понять, он искал в другом месте.

В этот период жизнь Браунинга походила на жизнь его кумира Шелли. Некий прогрессивный журналист Бенджамин Флауэр приближает к себе Роберта, как в свое время Годвин приблизил к себе Шелли; последний влюбился в дочь учителя, Браунинг – в красивую и талантливую Элизу Флауэр, столь хрупкую и одновременно пылкую, что друзья прозвали ее Ариэль. Разница лишь в том, что мужественного Шелли влекло к девушкам совсем молоденьким, которых он мог бы "обратить в свою веру", в то время как Браунинг в каждой женщине искал сходство с собственной матерью и не мог отделить любовь от почтительного преклонения. Поэтому он был счастлив, что Элиза оказалась на девять лет старше его. "Любовь всегда идет снизу, любящий видит в любимом существо возвышенное... О, сколько счастья в обожании и подчинении!"

У Элизы имелась сестра — Сара Флауэр. И обе были достойны любви. Но влюбиться в Браунинга надлежало скорее младшей. Его красивое лицо, длинные, ниспадавшие на плечи волосы — все это, на взгляд Сары, добавляло убедительности идеям Шелли о пользе вегетарианства и вреде "такого христианского предрассудка, как фанатичное целомудрие". Однако чувствам не прикажешь: по мнению Браунинга, Саре недоставало привлекательности, какую дает более зрелый возраст, а также властности, отличавшей ее сестру. После некоторых колебаний Сара, вопреки идеям Шелли и Браунинга, все-таки выбрала путь вечного целомудрия. Погрузившись в религиозные переживания, она впоследствии начала сочинять псалмы, один из которых — "Ближе к Тебе, Господи!" — стал в Англии очень популярен.

В 1829 году Бенджамин Флауэр умер, и обе его дочери нашли приют в семье друга отца — пастора У. Дж. Фокса. Его дом посещали литераторы, и юный Браунинг встретил там многих известных писателей и издателей. Но напечатать его стихи было нелегко: они казались совершенно непонятными — результат сильнейшей концентрации мысли, — так что влиятельный критик Харриет Мартино, читая их, задавалась вопросом: что, она так глупа или просто сошла с ума? Но стихам трудно не быть темными, если поэт вступает в конфликт одновременно и со своим временем, и с самим собой. В Браунинге соединились элементы байроновского бунта и атеизма Шелли; он вышел из семьи, где почитались домашние добродетели, и жил в эпоху, когда созревало викторианство. Быть непонятым — в этом крылось особое достоинство.

Элиза Флауэр, девушка смелая, согласилась жить в гражданском браке с пастором Фоксом, который ради нее оставил законную супругу. А от Браунинга Элиза отдалилась весьма скоро, так как он, на ее взгляд, был слишком поглощен своим искусством и на возлюбленную внимания у него явно не хватило бы. Правда, Браунинг не мог обходиться без вдохновительницы, однако дружеские отношения с женщиной он поддерживал только при условии соблюдения сексуального нейтралитета. Когда ему исполнилось двадцать четыре года, тайной музой его стала тридцатишестилетняя мисс Фанни Хауорт, некрасивая, но с честным и умным лицом. Ее несомненным достоинством было то, что она хвалила — и даже поняла — поэмы, которые всеми были признаны невразумительными, и с ней у Браунинга наладилась дружеская, доверительная переписка. К несчастью, восхищалась она не всегда тем, чем следует, и поэт прочитал ей жестокую отповедь. Иными словами, ему опять не удалось найти ту, что могла бы вести его за собой, руководить им; в итоге он стал склоняться к мысли, что женщин вообще любить невозможно.

Чтобы завершить новую поэму "Сорделло", действие которой происходило в Италии, он некоторое время путешествовал по этой стране. Работой своей он остался недоволен. И настойчивей, чем прежде, принялся искать возвышенное существо, которое могло бы руководить его духовной жизнью подобно тому, как мать руководила материальной сферой или как луна — движением океанских вод. И вот, уже по возвращении в Лондон, ему попались на глаза два томика в зеленом переплете — "Стихотворения" Элизабет Барретт. По словам книготорговца, книги вышли в свет, пока Браунинг путешествовал, и имели большой успех. Он прочел стихи и был потрясен. Они дышали тем возвышенным интеллектом, о котором Роберт мечтал, их отличали необычная и новая музыка,

а также смелость мысли — явные признаки зрелости. Робертом завладело непреодолимое желание познакомиться с талантливой женщиной.

II

Элизабет Барретт родилась в 1806 году; отец ее был владельцем больших плантаций на острове Ямайка, разбогатевшим на продаже сахара и рома. У Эдуарда Моултона Барретта было двенадцать детей. Он слыл человеком набожным и эгоистичным и считал, что лучше потерять жену, чем погубить свою душу. Жена умерла в 1828 году, душа его, видимо, погибла гораздо раньше, но мистер Барретт этого не заметил. Он хотел жить, как библейский патриарх, и не сомневался, что это ему удается. После смерти миссис Барретт с ним остались три дочери и восемь сыновей (малышка Мэри умерла в младенчестве), при этом двое последних — за отсутствием у родителей воображения — были крещены Септимусом и Октавиусом. Мистер Барретт воспитывал свое многочисленное потомство в деревне, в красивом имении "Хоуп Энд".

Домашние называли Элизабет просто Ба. Девочка отличалась необузданным и властным характером, у нее случались приступы гнева, приводившие служанок в ужас. Когда старший из братьев, Эдуард, вдруг заявил свои права на лидерство, она принялась горько сетовать, что не родилась мальчишкой. Зависть пробудила в ней решимость ни в чем не уступать брату. Он учит латынь и греческий? Ей это тоже по силам, а как только она подрастет и будет свободна, наденет мужской костюм и пойдет в пажи к лорду Байрону.

"В двенадцать лет отрадой моей была метафизика, — писала Элизабет впоследствии. — По прочтении одной страницы из Локка разум мой не только обогащался, но и начинал пылать восторгом". Она все чаще прибегала к менторскому тону, правда в разговоре обнаруживала незаурядный ум. С равным удовольствием и ловкостью она скакала на пони и переводила Феокрита. "Ей надо было родиться мальчишкой" — слова эти звучали справедливо во всех смыслах.

Когда Эдуарду исполнилось тринадцать и он отправился в школу, она испытала настоящее горе. Чувство соперничества сменилось ревнивой нежностью к обожаемому брату — товарищу по учебе и мечтам. Характер у Ба оставался властным, но сама она считала, что сумела обуздать свой нрав. На самом деле в ней вызревала тайная горечь, и чувство это облекалось все в более и более странные формы.

Началось все с головных болей, а также невыносимых болей в разных частях тела, таких сильных, что нередко она не могла встать с постели. Встревоженный отец приглашал врачей, но им не удавалось распознать болезнь. Отчаявшись найти причину, они пришли к соглашению и единодушно поставили диагноз — "поражение спинного мозга", хотя сами не очень-то в него верили. На самом деле они полагали, что болезнь была душевного свойства, и, видимо, не ошибались. Положение больной давало мисс Барретт весьма удобный повод избавиться от всех домашних обязанностей. Ей открылись преимущества слабости. Тем временем Эдуард покинул школу. Брат и сестра были счастливы, вновь обретя друг друга. От былого соперничества не осталось и следа. Мисс Барретт считала Эдуарда совершенством и восхищалась им. Больше мы ничего сказать не можем.

С четырехлетнего возраста Элизабет сочиняла стихи. Отец поощрял ее увлечение, и впоследствии, в первом издании своих стихотворений, она посвятила ему такие строки: "Вы делили со мной каждодневно горечь и сладость, смягчая одну и облагораживая другую, и теперь можете принять эти стихотворения — зарисовки тех недолгих лет жизни, которую Вы мне не только дали, но защищали и поддерживали". Из чего видно, что в ту пору она любила мистера Барретта. Благодаря ему Ба получила хорошее образование, к которому так стремилась. Уроки греческого ей давал друг отца слепой священник Хью Стюарт Бойд; он научил ее понимать и наслаждаться самыми благородными образцами поэзии.

В 1821 году у нее случилось небольшое кровохарканье. Врач заподозрил туберкулез. Отец послал ее в Торки, к морю, и велел Эдуарду сопровождать сестру. Когда же мистер Барретт решил, что сыну пора возвращаться домой, Элизабет всеми силами воспротивилась этому, и отец уступил. Несколько дней спустя Эдуард утонул, катаясь на лодке под парусом в бухте совсем недалеко от дома, где жила сестра. Она, конечно, сочла себя виновной в гибели брата, которого любила больше всего на свете, и надолго погрузилась в полубезумное состояние. Ей казалось, что в шуме волн она слышит жалобные крики. В течение трех месяцев она не могла даже плакать и неподвижная, словно одеревеневшая, лежала в постели. Мало-помалу с помощью морфия ее вернули к нормальной жизни, но душевный покой не вернулся к ней никогда. "Неизлечимые горести, — писала она позднее, — порождают новые наши прегрешения". В этих неясных словах угадывалась мучительная тайна.

Оправившись от потрясения, она осталась грустной и нелюдимой и предпочла сделаться затворницей. Мистер Барретт снял в Лондоне удобный, но мрачный дом по адресу Уимпол-стрит, 50, став там абсолютным и полновластным хозяином. Его не тревожило то, что старшая дочь считала себя умирающей, проводила все время в постели, принимала только старых друзей — вроде Бойда, своего учителя греческого. После смерти жены деспот отец привязался к Элизабет и сделал ее пленницей своей привязанности. Вечерами он входил к ней в спальню и молился о ее здоровье. Недуги обожаемых пленников — предел желаний таких вот сентиментальных тюремщиков.

Мисс Барретт согласилась на подобный образ жизни — возможно, из-за невроза, возможно, из-за дочерней любви. Она искренне считала, что дни ее сочтены, и стала бояться всего: посетителей, шума, ветра, свежего воздуха. Братья и сестры подчинились отцовской тирании. Младшие дочери Генриетта и Арабель, как и Ба, оставались незамужними. Мистер Барретт и мысли не допускал, что какой-нибудь мужчина похитит у него дочерей. Вместе с тем Элизабет никак нельзя было назвать бесхарактерной. Один из ее учителей итальянского языка сказал ей однажды, что ее недостатком была testa lunga: Элизабет бросалась в любое дело "головой вперед". Сама же она сформулировала это так: "Лучше кинуться в крапиву и колючки, чем шагать по ровной дороге; лучше догадаться о смысле незнакомых слов, чем рыться в словарях; лучше разорвать бечевки на пакетах, чем развязывать их". Такой темперамент, разумеется, не мог долго мириться с неподвижностью и затворничеством.

Если Ба так долго терпела и первое и второе, то это объяснялось тем, что ее, словно каменными стенами, отгородили от внешнего мира. Мисс Ба страстно любила поэзию. Один американский критик писал,

что Англия никогда не рождала поэтессу подобного уровня. Многие считали, что ее стихи переполнены замысловатыми аллюзиями и весьма трудны для понимания; другие говорили, что они несовершенны. Да и в самом деле, она писала очень быстро, кидаясь головой вперед — "в крапиву и колючки" экстравагантных тем, либо принималась не слишком умело развивать метафизические мотивы — с упорством и витиеватостью, достойными елизаветинской эпохи. Но она обладала умом и живым воображением. И несомненно была Поэтом.

III

Это сразу почувствовал Роберт Браунинг. Прочитав стихи мисс Барретт, он понял, что нашел собеседницу по сердцу. В сборниках ее стихов он обнаружил те же, что и у него, философские и классические познания, а также столь близкие ему пылкость и склонность к смутным намекам-рассуждениям. Вот советчица и вдохновительница, в которой он так нуждался. Следовало добиться встречи. Роберт выяснил, что у них был один общий друг — Джон Кеньон, кузен Барреттов, и попросил, чтобы тот представил его. У Роберта было "тайное предчувствие", что он влюбится в мисс Барретт.

Однако так просто в дом на Уимпол-стрит было не попасть. Мистер Барретт и его дочь единодушно решили, что двери комнаты Ба должны быть затворены для посторонних. Там царила полная тишина. Элизабет слышала только дыхание своей собаки по кличке Флаш. Щели в окнах были заклеены бумагой. Густые заросли плюща и плотные темные шторы не пропускали дневной свет. Двойная дверь в коридор постоянно оставалась запертой, зато дверь в комнату отца открывалась свободно. Воздух в спальне стоял тяжелый, на полу лежал толстый слой пыли. Дни шли за днями, как во сне, время здесь замерло. Мисс Барретт не считала ни часов, ни дней, ни месяцев, с трудом припоминая, сколько ей лет.

Каждый вечер дверь отцовской спальни отворялась, Эдуард Моултон Барретт подходил к изголовью постели и брал руку дочери. "Папа — мой капеллан, — писала Элизабет. — Он молится со мной вечерами, но не по книге, а по наитию, с искренним чувством, моя рука лежит в его руке, и в мире нет никого, кроме нас двоих..." Она признавалась, что единственный звук, который приносит ей немного радости и ускоряет пульс, это шум по-юношески легких отцовских шагов. Сам мистер Барретт находил в заточении дочери (к тому же совершенно добровольном) ревнивое и маниакальное удовольствие.

Очень долго Браунингу не удавалось попасть в дом Барреттов. Отказывая ему, Элизабет ссылалась на собственное нездоровье и запрет отца. Но свою роль, несомненно, играло и опасение: не будет ли он разочарован? В тридцать лет Элизабет еще сохраняла красоту, здоровый цвет лица, румяные щеки, густые шелковистые кудри. Но в 1845 году ей исполнилось тридцать девять, а выглядела она старше. "Следы прошедших лет, отметины возраста мне отвратительны". Мысль о госте приводила ее в ужас: "Во мне нет ничего, на что можно было бы посмотреть, а слушать меня неинтересно. Единственное, что у меня осталось, это моя поэзия — ее кто-то еще способен оценить". Элизабет цеплялась за любые предлоги, чтобы не принимать неизвестного обожателя, которого хотел привести Кеньон. "Сегодня ей было хуже... Дул восточный ветер..." Позже Браунинг будет рассказывать Элизабет, что, проходя по

Уимпол-стрит, разглядывал с улицы "освещенную часовню", дверь которой для него была затворена.

Наконец он решился написать ей и 10 января 1845 года послал свое первое письмо: "Я всем сердцем полюбил Ваши стихи, дорогая мисс Барретт, но я не хочу ограничиваться банальными комплиментами, выражая восхищение Вашим талантом, и на том вежливо поставить точку. Я полюбил Ваши книги, как уже сказал, всем сердцем, но я полюбил и Вас... Известно ли Вам, что однажды я был очень близок к тому, чтобы увидеть Вас — увидеть наяву? Мистер Кеньон сказал мне как-то утром: "Хотите повидать мисс Барретт?" — и отправился поставить Вас в известность о моем визите, но скоро вернулся: Вы дурно себя чувствовали".

Она ответила. Письма были для нее единственным способом вести непринужденную беседу, тут мужчины не внушали ей страха: "Симпатия мне дорога, очень дорога, а симпатия поэта, да еще такого поэта, для меня — квинтэссенция симпатии..." Затем она спрашивала, действительно ли его интересует ее творчество и не будет ли он настолько добр, чтобы высказаться о недостатках ее стихов. Иначе говоря, знакомство с ним — безусловно честь для нее, но, получи она еще и уроки, к этому чувству примешалась бы также благодарность.

Подобные формулы вежливости не могли умерить пыл Браунинга: "Хочу надеяться, что Вы никогда больше не повторите, будто знакомство со мной — честь для Вас; нет, я буду ждать радостного мига, когда смогу наслаждаться Вашей дружбой..." Она дала понять, что ожидание будет долгим: "Вы, надеюсь, поймете мое состояние и то, что, когда мне доводится видеть новое лицо, душа моя приходит в смущение".

Она, конечно, отдавала себе отчет в том, что жизнь, целиком сотканная из чтения и мечтаний, не была нормальной: "Я похожа на умирающего, который никогда не читал Шекспира и который чувствует, что уже слишком поздно, Вы понимаете?.. Но жалобы унизительны. Мы должны только благодарить Бога за то, что Он дал нам в жизни, и считать, что каждому из нас этого достаточно..."

Роберт Браунинг был не из тех, кто отступает от задуманного. Напрасно она писала о головокружении, о "совсем близкой смерти", о Божьей каре, о восточном ветре, усугублявшем ее болезнь, о суровой зиме. Браунинг продолжал настаивать. Зима прошла, ветер переменился, смерть отступила — и поэт добился аудиенции, ее назначили на 20 мая. Больше всего мисс Барретт боялась разочаровать Браунинга: "Ну вот! До вторника мы друзья, а дальше — едва ли..."

20 мая он явился, увидел хрупкое создание, вытянувшееся под одеялом, волну темных кудрей, наполовину скрывавших большие нежные глаза. Он пометил в дневнике: "20 мая... 3—4 ч". Он НЕ был разочарован; он знал, что эта женщина страдает от неизлечимой болезни спинного мозга, и, естественно, не рассчитывал увидеть розовые щечки и коралловые губки. Мертвенно-восковое лицо, темные кудри на подушках, "милые бледные щеки и худенькие прозрачные руки" — именно это он и ожидал увидеть, вернее, желал увидеть. Как ни странно, ему были дороги в ней физическая немощь и моральное превосходство. В таинственной часовне, отделенной от мира толстыми стенами и крепкими запорами, он нашел это необыкновенное существо — женщину, которую мог полюбить.

На следующий день он писал: "Надеюсь, Вы откровенно мне скажете, как себя чувствуете — не утомил ли я Вас и не совершил ли какой оп-

лошности... Здесь, например, все считают, что я говорю слишком громко... Не очень ли долго я оставался у Вас?"

"Нет, – отвечала она, – в Вашем поведении не было ничего плохого; да разве подобное возможно? Все было очень хорошо; да разве могло быть иначе?.. А Вы действительно придете во вторник? И в другие дни, когда захотите и сможете..."

Вы придете?.. Женщина сразу же ищет способ продлить завязавшуюся дружбу, любовь... Что касается Браунинга, то в данном случае и он стремился к стабильному чувству. В его жизни было мало женщин, если только они вообще были, тут трудно что-то утверждать с определенностью. Суровые мать и сестра опекали его не менее ревностно, чем отец-деспот опекал мисс Барретт. Сходство судеб и предопределение свыше! Его любовь была порождена умом: он с первого взгляда полюбил эту тридцатидевятилетнюю женщину с изможденным лицом, бледную, излишне чувствительную, но поразительно талантливую.

22 мая он послал мисс Барретт новое письмо; это было объяснение в любви. Она пришла в ужас – возможно, замешанный на радости, – но, вероятно, была польщена, хотя и напугана. Ей казалось, что, полюбив ее – больную, стоящую на краю могилы, – молодой человек ставил себя в безвыходное, тупиковое положение. Но он считал иначе: "Мне хотелось бы запереться с Вами в четырех стенах Вашей комнаты – чтобы мы никогда не расставались; и я бы впервые почувствовал себя хозяином бесконечного пространства..."

"Вы не представляете, – отвечала она, – какую муку причиняете мне, произнося столь безрассудные слова. Оставьте эту тему, иначе я не смогу Вас больше видеть..." Письмо с объяснением в любви было возвращено отправителю. Браунинг сжег его, какое-то время не касался запретных вопросов, и визиты продолжались.

Каждый вторник, в те часы, когда мистер Барретт отправлялся в Сити по делам, связанным с торговлей сахаром и ромом, Роберт Браунинг приходил к Элизабет. По логике этой волшебной сказки, Принц никогда не должен встречаться с людоедом-тюремщиком. Мисс Ба не скрыла от отца, что в ее жизнь вошел новый друг, но она не стала подробно рассказывать о том, как часто он ее навещает и сколько времени проводит рядом. Братья и сестры подшучивали над ней. Старый друг мистер Кеньон молча, не мигая смотрел на Элизабет сквозь очки в черепаховой оправе, когда она заговорила с ним о Браунинге. Коккер Флаш, такой же пугливый затворник, как и его хозяйка, драматически воспринимал любые новшества; он не любил мистера Браунинга и дважды пытался его укусить. Когда же убедился, что хозяйка встает на сторону гостя, перестал ревновать, решив, по всей вероятности, что жизненные удобства дороже. Отныне он изображал из себя жертву. "Флаш – последователь Байрона; он извлекает максимум выгоды из своих несчастий".

В течение трех месяцев Браунинг говорил о поэзии, о греческих трагедиях, об Италии, давал мисс Барретт советы, как ей исправить слишком поспешно сделанный перевод "Прометея". Потом посчитал, что настал момент вернуться к главной теме: "Позвольте мне повторить, только один раз... что я Вас люблю всей душой, что я отдам Вам свою жизнь – или то, что Вы захотите взять, – и что для меня это вопрос решенный, раз и навсегда..." Письмо было благоговейно сохранено в перевязанной лентами коробке. Предложенная любовь, однако, принята не была. Почему? Причин много: страх перед болезнью, которую она счи-

тала очень серьезной, и, следовательно, боялась любой жизненной перемены; страх оказаться недостойной человека, который избрал ее и которого она искренне полагала гораздо талантливее себя, страх перед ссорой с отцом, который никогда не согласится на ее замужество: "Повторяю историю, которую я уже рассказывала Вам между делом... Даже если бы явился принц из Эльдорадо, держа в одной руке лист с генеалогическим древом, восходящим к какому-нибудь лунному божеству, а в другой — свидетельство о безупречном поведении, выданное в ближайшем приходе методистов, — даже в таком случае, как говорит моя сестра Арабель, отец не был бы доволен... И она права; мы все сошлись на том, что она права".

Ба совершенно искренне называла сумасбродством его желание жениться на неизлечимо больной: "Это предложение не соответствует ни моему униженно-подчиненному состоянию, ни Вашему процветанию".

Он пребывал в некоторой растерянности. Назвать его положение процветающим! "Ведь вся моя гордость и вся моя слава пред людьми и самим собой в том, чтобы жить у постели страдалицы и ухаживать за ней". Ни единой минуты, по его уверениям, он не рассчитывал на взаимность. Его чаяния были куда скромнее: "Я женюсь на Вас и приходить буду, лишь когда Вы позволите; уйду, как только Вы того пожелаете. Я буду для Вас еще одним братом, не более того... Но как только Вам станет хуже, я буду рядом".

Она протестовала: "Вы видите во мне то, чего нет". Она ставила себя гораздо ниже его; он для нее был великим поэтом с большим будущим. Всю жизнь восхищаясь разными героями, она была счастлива найти своего в Браунинге. И признавала, что он имел над ней почти магическую власть. Он решил: она не должна умирать; и Элизабет, до того не сомневавшаяся в своей близкой смерти, поверила: этот упрямый Орфей вырвет ее из царства теней, к которому она уже успела привыкнуть. Подобно непокорной Евридике, она порой ускользала из рук спасителя и вновь погружалась в болезненные грезы; но он вновь и вновь терпеливо отыскивал потерянную было тропу; и мисс Ба в конце концов пришла к мысли, что он, подобно герою его поэмы Парацельсу, знает, как обмануть смерть.

Из письма Элизабет Барретт к Роберту Браунингу: "Моя жизнь близилась к концу, когда я познакомилась с Вами; если я еще жива, то только благодаря Вам: я вернулась для Вас одного". Ее поддерживало сознание, что она нужна ему. Мысль, что она может быть полезна ему, примиряла ее с жизнью. Странное недоразумение! Ей казалось, что он спасал ее, тогда как это он искал в ней спасение. Она полагала, что искала и, видимо, обрела в нем учителя — но в действительности получила дитя. Она жила в полном подчинении у отца и теперь возжелала выйти замуж на нового тирана. Он всю жизнь слепо подчинялся матери и с каких-то пор, сам того не сознавая, начал мечтать о новой госпоже. Так что их устремления, конечно же, не могли не войти в противоречие.

Жизнь их самым удивительным образом протекала в двух пространствах — пространстве литературы и пространстве реальных встреч. Во всем, что касалось литературы, Роберт Браунинг был доверчив и щедр на признания. Браунинг-визитер заикался и прятал глаза. При нем Элизабет становилась воплощением скромности и сильно смущалась. Элизабет-поэтесса не сомневалась, что угадывает мнение друга даже касательно тех вопросов, которые они никогда не обсуждали. На самом деле

существовала еще и третья Элизабет — та, что описывала в сонетах всю историю своей любви, доверяя их секретной тетради. Но Роберт узнает о сонетах еще не скоро. К тому же Элизабет поставила на обложке заголовок, призванный обмануть того, кто случайно нашел бы тетрадь: "Сонеты, переведенные с португальского". Сонеты были просты и прекрасны. Их содержание отлично укладывалось в строгую форму. Этапы любви занимали подобающее место в поэтической архитектуре.

IV

Зима 1844—1845 годов была очень суровой, дул восточный ветер. Мисс Ба сильно страдала. Врачи в один голос рекомендовали отправить ее на следующую зиму в Италию, например в Пизу. Того же мнения придерживались мистер Кеньон, мистер Бойд и, естественно, Браунинг. Но мистер Барретт сказал: "Нет!" Он не мог допустить, чтобы порядок, установленный в доме на Уимпол-стрит, был нарушен. Ведь, если Элизабет уедет, отец будет лишен возможности ежедневно умиляться, лишен драгоценных поводов возносить молитвы либо гневаться. Кроме того, придется послать с ней брата или сестру... "Нет!"

Отказ потряс Элизабет. Она согласилась бы принести жертву — если бы отец попросил ее об этом. Но тот не пожелал дать ей даже маленькое утешение, позволив думать, что ею движет дочерняя любовь. Он принадлежал к числу тех добродетельных эгоистов, которые воображают, будто все в мире, даже Небо, подчинено их интересам. Отец утверждал, что только он один печется о благе Элизабет. Но на сей раз она прислушалась к мнению Браунинга, который твердил: "Вы — рабыня". Она посмела возразить отцу и тотчас услышала в ответ: "Строптивая дочь забыла о своем долге!" Авторитет патриарха таял. Родитель отступал перед Врагом.

И Враг воспользовался случаем. Он предложил мисс Барретт немедленно обвенчаться с ним и вместе уехать в Пизу. Если она пожелает, можно ограничиться фиктивным браком. Это ее тронуло. "Отныне я принадлежу Вам целиком и полностью, — писала она, — но никогда не причиню Вам зла..." Ведь до сих пор она полагала, будто причинит Роберту зло, соединив свою жизнь с его жизнью. Какой толк от умирающей? "Вы не умирающая, — отвечал Браунинг. — Вам стало лучше, значительно лучше..." Эти слова удивили Элизабет. Разве ей могло стать лучше? Но к ней возвращались силы и мужество. Зимой она даже выезжала в коляске, сама пугаясь своей смелости и тем не менее чувствуя готовность начать все сначала.

Теперь она больше не отказывалась принимать от Браунинга самые настоящие любовные послания. Она разрешила ему называть себя "Ба... dearest Ба", как было заведено в семье, а он придумал для нее новую превосходную степень: "Dearestest!" Она спросила, а как близкие называют его. "У меня, — отвечал он, — никогда не было ни ласкательного, ни уменьшительного прозвища — ни дома, ни в кругу друзей... Не будем больше об этом, это мое преимущество перед Вами: у меня есть моя Ба, и я могу ее так называть... Да — моя Ба!"

Отныне он приходил к ней два раза в неделю — к великому негодованию одной из тетушек, которая, явившись на Уимпол-стрит, не удостоилась приема: "Когда я попыталась войти в комнату Ба, у нее там сидел какой-то господин, и она сделала мне знак, чтобы я уходила!" Ба клялась,

что никакого знака не делала, но братья и сестры, собиравшиеся у нее, чтобы поболтать и обменяться новостями, прекрасно понимали, в чем дело. Правда, они не знали самого главного, но этого не знал никто: мысль о замужестве крепко засела в голове их сестры.

Препятствием служила удивительная власть над ней мистера Эдуарда Моултона Барретта. "Я постоянно ощущаю его волю, – говорила она, – ведь я из числа тех слабых женщин, которые обожают сильных людей". Она признавалась, что испытывает "аморальную симпатию" ко всякой силе. Ее трогали неземное терпение и нежность Роберта Браунинга, но куда более громкий отклик вызывала в душе непреклонная воля отца-тирана. Воздыхатель много терял в глазах Ба, когда писал: "Хочу, чтобы Ваше желание стало моим, чтобы оно пробудило мое желание, чтобы Ваше удовольствие было моим единственным удовольствием..." Или еще: "Я никогда не смогу сказать: "Она должна есть рыбу, фрукты", или: "Пусть она носит шелковые перчатки!" – Навязывать Вам свою волю, пусть даже мысленно, – для меня нет ничего отвратительнее".

Подобные откровения разрушали образ Браунинга, который успел сложиться у Элизабет и который она пыталась сохранить, – образ мужчины с железной волей, ведь вопреки обстоятельствам он вторгся в ее жизнь, взял под свое покровительство и вырвал из лап смерти. Когда этот образ начал бледнеть, она перестала находить в себе мужество и готовность отказаться от атмосферы затянувшегося детства, в которой жила в доме на Уимпол-стрит. Тем не менее она поклялась принадлежать Роберту. В январе 1846 года он напомнил Ба, что в конце лета, если ей будет легче, она должна уехать с ним в Италию – то есть выйти за него замуж. Весной 1846 года она почувствовала себя достаточно крепкой, чтобы совершить пешком небольшую прогулку под деревьями Регент-парка со славным Кеньоном. Какую же причину для отсрочки выставить теперь? "Не лучше ли подождать еще год? – робко предложила она. – Я так долго жила во сне..."

Решительные действия пугали ее. Она приходила в ужас при одной лишь мысли о том, какой скандал разразится на Уимпол-стрит. Отец с грохотом шагал по коридору, дверь шумно распахивалась: "Мне показалось, Ба, что этот мужчина провел с вами весь день?.." Даже Флаш инстинктивно угадывал близкую угрозу и кусал мистера Браунинга за ногу. Ба чудилось, что она стоит на краю пропасти. С одной стороны – семья, привычный и милый сердцу образ жизни; с другой – влюбленный в нее талантливый поэт, который требует от нее торжественных клятв и твердит, что не переживет крушения своих надежд. "От вас зависят мои жизнь или смерть, – говорил он. – Думайте о нас двоих". Но как раз этого говорить не следовало. "Всю ответственность должны нести вы", – отвечала она. Вот диалог влюбленных, каждый из которых страстно желал подчиняться и терпеть не мог командовать.

Можно только гадать, решились бы они все-таки на этот шаг или нет, если бы мистер Барретт неожиданным поступком сам не заставил их действовать. 9 сентября 1846 года в полночь Элизабет отправила с посыльным письмо Браунингу: "Нынче вечером отец приказал Джорджу завтра же утром отправляться на поиски дома в деревне, чтобы снять его..." Дом на Уимпол-стрит надлежало спешно освободить под предлогом ремонта.

Угроза переезда ускорила ход событий. Если Элизабет вместе с семьей покинет Лондон, встречи их будут невозможны. Но как обвенчаться?

Родительского благословения им не получить. Оставался один путь — похищение. Славное приключение для сорокалетней девственницы! Элизабет согласилась тайно встретиться с Робертом в церкви в Марилебон — жених раздобыл разрешение на брак. Верная горничная по фамилии Уилсон — только она одна! — была в курсе дел и сопровождала хозяйку в церковь. После церемонии Элизабет вернулась домой: "Как горька необходимость снять кольцо! Вы должны вернуть мне его поскорее..." Теперь надо было срочно заняться подготовкой побега во Францию и Италию, так как, оставаясь в Англии, они подвергались серьезному риску: мистер Барретт мог не ограничиться скандалом, он был способен и на физические действия. Мисс Ба довелось пережить на Уимпол-стрит непростые дни — трудно было хранить такую тайну! Мистер Кеньон, расширив глаза до размеров очков, спрашивал у нее мертвым голосом: "Это правда, что вы давно не видели мистера Браунинга?" — и она краснела под его взглядом.

Последние детали отъезда уточнялись в письмах. Но оставить хотя бы записку отцу она не посмела: "Я цепенею при мысли, что надо написать: "Папа, я вышла замуж и надеюсь, что Вы не будете сердиться..." Ах, бедный папа!.. Он сильно рассердится и вычеркнет меня из своей жизни..." А Браунинг тем временем безуспешно пытался разобраться в расписании поездов и кораблей, путал названия компаний, портов и вокзалов; вместо Гавра писал в Саутгемптон и одновременно сочинял брачное объявление в газету "Таймс", которое будет напечатано после их отъезда.

Наконец все было готово. "Я больше не стану писать, не могу. Завтра в этот час во всем мире мне будет некого любить, кроме Вас, любимый мой!.. Это похоже на молитву: у меня есть только Бог!.. Он тоже будет с нами, если услышит мою молитву... Неужели я пишу Вам последнее письмо, дорогой мой? Если бы я могла любить Вас меньше... чуть-чуть меньше..."

В последнюю минуту Браунинг опять перепутал вокзалы, и затворнице Элизабет пришлось открыть справочник, чего она никогда в жизни не делала, и самой уточнить маршрут путешествия. Бетти Миллер писала: "Это была Андромеда, в какой-то мере влюбленная в чудовище, из лап которого ее вырывал герой, но она вынуждена была сама играть роль поводыря при своем неопытном спасителе". Элизабет в волнении писала Браунингу: "Вы стоите на своем и в этой пьесе желаете до конца играть роль женщины... Вы хотите оказать мне честь, подчинившись мне, несмотря на клятву, данную в прошлую субботу... Так ли следует держать клятву?" Роберт Браунинг сочинил замечательный ответ: "Вы будете решать за меня. Таков мой приказ".

Похищение не прошло незамеченным в литературных кругах Лондона. Вордсворт сказал по этому поводу: "Итак, Роберт Браунинг и мисс Барретт уехали вместе... Надеюсь, они поймут друг друга — никто другой их понять не в силах".

V

Она неплохо перенесла тяжелое путешествие до Пизы, где они и обосновались. Браунинг все время был рядом с женой и говорил с утра до вечера и с вечера до утра, говорил блестяще, весело, умно. Таким образом он пытался заставить ее забыть, что письма, которые она посылала от-

цу, все до одного возвращались нераспечатанными. И это глубоко печалило Элизабет. "Если бы я совершила подлог или даже убийство, отец, наверное, не обошелся бы со мной суровее..." Еще более мучительной оказалась реакция братьев — те утверждали, будто Браунинг похитил Ба, позарясь на ее деньги. Совершенно нелепое обвинение в адрес известного своей бескорыстностью человека, который к тому же имел смутное представление о том, что такое капитал, счет в банке или бюджет.

Он женился на Элизабет, чтобы никогда больше с ней не расставаться, и сопровождал ее повсюду, даже когда она, поднявшись с постели, перемещалась из одного утла комнаты в другой. Если же верная Уилсон, уехавшая вместе с ними, уводила Элизабет в спальню переодеваться, он с несчастным видом ждал под дверью. Такая любовь ее несколько утомляла. Проводить наедине с мужчиной двадцать четыре часа в сутки, будь он хоть трижды гений, — это надоест любой женщине.

Две беременности завершились выкидышами. Она перенесла несчастье мужественно, непрестанно видя преданную заботу мужа. "Я никогда в жизни не встречала другого такого мужчину, как мистер Браунинг", — говорила Уилсон со смесью почтения и изумления. С самого дня женитьбы он перестал работать и, хотя испытывал смутное сожаление по этому поводу, блаженно отдавался давно желанному удовольствию — укрыться от мира под крылом ангела-хранителя.

В 1849 году Элизабет родила наконец сына. Семейство поселилось во Флоренции, неподалеку от палаццо Питти, в доме под названием Каза Гуиди. Ребенка назвали Видеманом — в память о бабушке, матери Роберта, ведь всего через неделю после рождения сына Браунинг получил известие о кончине матери. Он впал в состояние глубокой депрессии. Жена безуспешно пыталась развлечь его путешествиями. "В течение трех месяцев я не мог думать ни о чем другом, только о маме, о том, каким, как мне казалось, она хотела меня видеть..." Элизабет советовала ему написать поэму о своем горе. Он отвечал, что это невозможно: "Нельзя писать, когда чувства переполняют тебя". На следующий день он стоял у окна, грустно смотря вдаль, Элизабет подошла к нему и робко сказала: "Знаете, я написала здесь несколько стихов о вас, — и сунула тетрадку ему в карман. — Вдруг вам захочется взглянуть". И убежала в свою комнату. Это были "Сонеты, переведенные с португальского".

Недавняя больная чувствовала себя превосходно. Видя, как она взбирается на холмы, гуляет по лесу, ухаживает за сыном, все невольно задавались вопросом, не была ли ее долгая болезнь просто неврозом. Однако прошло еще пять лет, прежде чем супруги решились отправиться во Францию и в Англию. Браунинг захотел прежде всего навестить — один — своего старого отца. При виде сада, выращенного матерью, он понял, что не сможет жить в доме, лишившемся хозяйки. Браунинги сняли квартиру в Лондоне. Элизабет, в свою очередь, стала мучаться былыми печалями — ее вновь преследовали воспоминания о гибели брата, о ссоре с отцом. Она собралась с духом и отправилась на Уимпол-стрит повидать одну из сестер, которая тайком приняла ее в своей комнате. Ба чуть не лишилась чувств, услышав вдалеке шаги отца.

В Париже они поселились на Елисейских Полях. Они находились там и в декабре 1851 года, когда Луи Наполеон совершил государственный переворот, что стало причиной их первой крупной размолвки. Элизабет восхищалась мужеством и ловкостью, с какими захватил власть этот грустный человек с тяжелым взглядом — она называла его взгляд

"завораживающим". "Аморальное" сочувствие акту насилия, выраженное женой публично, удивило и возмутило Браунинга. Она называла республиканцев "отбросами общества" и радовалась, что войска так легко расправились с ними; она приветствовала их ссылку в Кайенну, потому что так и нужно было поступать в период диктатуры. "Должна Вам признаться, — писала она подруге, — что Роберт и я по-разному смотрим на события... У нас было несколько сцен по этому поводу".

Убедившись в неспособности мужа управлять домом, она в конце концов взяла власть в свои руки. Мало-помалу она сделалась решительной, жесткой. И никогда не советовалась с мужем в вопросах воспитания сына, которого звала не Видеманом, а Пенини. У Пенини были длинные кудри, и мать обожала украшать их бантиками, короче — воспитывала вопреки здравому смыслу. Браунинг, видя все это, страдал, но не смел ничего сказать; кроме того, считая себя писателем-либералом, не посмел выразить поддержку Виктору Гюго и другим изгнанникам — из страха вызвать недовольство жены. Теперь, много лет спустя, он вел себя так же послушно, как когда-то в материнском доме. На его взгляд, у двух женщин было одно сходство: они благодушно и снисходительно приглушали порывы ребенка, когда он, по их мнению, вступал на опасный путь.

В Италию они вернулись, горя желанием вновь взяться за работу, причем оба сознавали, как трудно художнику выразить себя, когда он слился душой с другим человеком. Для Браунинга опасность была еще острее, ибо сильная личность жены подавляла его. Поэтому супругам были просто необходимы разногласия и споры — только они давали возможность каждому обрести себя. Рим, где они проводили зиму, предоставил им хороший случай. В том сезоне в моде был завезенный из Америки спиритизм. Во всех салонах занимались столоверчением и вызывали духов. Тому же увлечению поддалась и семья Гюго на острове Джерси. Элизабет всерьез заинтересовалась спиритизмом и верила в откровения душ умерших. Браунинг считал "опыты" с ломберными столиками мистификацией и участия в них не принимал. Вскоре он стал выходить без Элизабет, отдавая предпочтение местам, не зараженным спиритизмом, тем, где танцуют красивые дамы.

"Что можно сказать о женщине, которая верит в Луи Наполеона и в то, что души умерших стучат по столам?" — вопрос был задан в шутку, но для Браунинга проблема становилась все более серьезной. Еще до женитьбы он признался Ба в своей неспособности играть роль главы семейства и попросил взять бразды правления в свои руки. Что она и сделала, сперва неохотно, затем более чем решительно. Теперь он видел: получалось у нее это плохо. Как быть? Отобрать бразды правления? Она не собиралась их уступать. К тому же он безмерно любил ее. А любовь означала для него самоотречение и подчинение. Но как подчиняться, если утрачено уважение? Он только мечтал бы на все смотреть глазами жены. Только вот две картинки больше не совмещались.

Новая поездка в Лондон ничего не изменила. В Англии в большой моде был молодой медиум — шотландец Дэниэл Хоум. Элизабет сделалась его горячей поклонницей и затащила мужа к Хоуму. Они увидели белеющие в темноте руки, наблюдали, как тяжелые столы отрывались от пола, как в воздухе из ничего возникали короны. Чем дольше Браунинг смотрел на все это, тем больше убеждался в обмане.

Еще одна неприятность: верная Уилсон забеременела от слуги-итальянца, и их нужно было срочно обвенчать. Любопытный и многозначительный факт: как только супруги Браунинги перестали жить душа в душу, оба вернулись к работе: он напечатал томик "Мужчины и женщины" — стихи, которые для публики оказались не более понятными, чем предыдущие; она опубликовала длинную поэму "Аврора Ли", имевшую огромный успех. По общему мнению, в этой чете гением была она.

В апреле 1857 года на Элизабет обрушился сильнейший удар: умер отец — так и не простив ее. И состояние крайней подавленности, в которое она впала, удивительным образом повторяло то, что испытал Браунинг после смерти матери.

В 1859 году Браунинги оказываются в Риме. Она постоянно чувствует усталость, вечно лежит в постели и читает "Графа Монте-Кристо" Александра Дюма ("Легкомыслие — состояние необоримое"); он полон жизни, активен, каждый вечер появляется на людях.

Итальянский поход Наполеона III вернул Элизабет к жизни. Она продолжала пылко любить как императора, так и Италию. Поэтому испытала глубокую боль, когда ЕЕ император подписал соглашение о перемирии в Виллафранке и перестал интересоваться итальянскими делами. Это "личное горе" (по словам самой Ба) спровоцировало у нее приступ грудной жабы. Роберт Браунинг день и ночь сидел у постели больной и окружил ее бесконечной нежностью и вниманием. Она начала выздоравливать, но вскоре ей пришлось пережить еще один удар. Медиум, которому она поверила всей душой, был уличен в мошенничестве. "Надо признать, — писала она с грустью, — что все медиумы мошенничают. Как, впрочем, и мужчины, которые медиумами не являются... Только начинаешь различать что-то хорошее в людях, тотчас приходит разочарование... Ах, эти мои мыльные пузыри..." Зато Браунинг благодаря этой истории написал шедевр — поэму "Медиум Сладж".

Элизабет чувствовала приближение смерти. Зимой 1860—1861 года контраст между супругами был разительным. Ей исполнилось пятьдесят пять. Лицо в обрамлении длинных локонов казалось восковым. Очень хрупкая фигурка делала ее похожей на преждевременно состарившуюся девочку-подростка. Роберт в свои сорок девять лет наоборот казался молодым и отменно здоровым человеком. "Мне представляется, — говорила она, — что сейчас он бесконечно красивее и привлекательнее, чем во время нашего знакомства шестнадцать лет назад, и женщины восхищаются им куда больше, чем то допускают приличия..." Она с грустью писала подруге: "Чем лучше я узнаю мир, тем грубее он мне представляется и тем меньше я удивляюсь, что возвышенные и чистые души поддаются соблазну аскетизма". Она ложилась спать в восемь вечера, сына Пена укладывала у себя в спальне; а Роберт тем временем посещал званые ужины, где беседовал с принцами, прекрасными принцессами и кардиналами. И она радовалась, видя, что он именно так растрачивает "тот огромный избыток жизненной энергии", который, сиди муж при ней, оставался бы неизрасходованным.

Когда пришла весна — время их ежегодных поездок во Францию, — врачи сказали, что миссис Браунинг в таком состоянии путешествовать опасно. Она протестовала, твердя, что чувствует, как становится для мужа тяжкой обузой, но все-таки согласилась провести июнь во Флоренции. Измученная жарой, она подхватила легкий бронхит, но отнеслась к болезни беспечно, почти радостно. Браунинг ухаживал за ней с обыч-

ной преданностью, не сомневаясь, что она умирает. Она обнимала его и нежно шептала: "Да благословит вас Господь!" Горничная-итальянка Аннунциата понимала, что хозяйка, чувствуя приближение развязки, радовалась этому. Для Элизабет было важно, что она умирает, не успев ничего потерять. "Если бы она продолжала жить, их любовь несомненно умерла бы. Но раз умирала Элизабет, любви суждено было выжить; так что Элизабет Барретт Браунинг одержала победу и, сознавая это, заснула со счастливой улыбкой на сделавшемся вдруг детским лице..."

VI

Эпилог истории удивителен. Браунинг тотчас решил бесповоротно порвать с прошлым. Через несколько дней после смерти Элизабет Пену отрезали локоны; костюмчики с бантами заменили на строгую мальчишечью одежду; Роберт поспешил уехать из Италии, чтобы мальчик воспитывался как английский boy. Но от столь быстрой перемены воспитательных методов ребенок так никогда и не оправился. Отец продолжал опекать его с неловкой заботливостью, но больших успехов не добился.

Начиная с 1863 года Браунинг вел очень активную творческую жизнь, и его стихи обрели наконец читателя. И снова он искал (или думал, что ищет) женщину-покровительницу. Некоей мисс Джулии Веджвуд он писал: "Вы возьмете меня за руку и поведете — если я Вас не утомлю". Так что верно, будто в судьбе каждого мужчины особая роль отведена женщине, и роль эта должна быть распределена между многими, текст без изменений переходит от одной исполнительницы к другой. Однако теперь поэт знал: если дух твой мечтает воспарить, лететь ввысь он должен в одиночку. Чужие крылья только мешают. Да и риск большой: двое могут столкнуться и вместе рухнуть на землю.

Не отрекаясь от былой любви, Браунинг все же сознавал, что вернувшееся одиночество было ему во благо. И он решил целиком, не тратя впустую, отдать творчеству оставшиеся годы жизни. Джулия Веджвуд, которая нарисовала себе заманчиво поэтический образ безутешного вдовца, попыталась было создать что-то вроде брака втроем: она сама, он и покойница Элизабет. Он отверг эту идею, и разочарованная женщина попросила больше ее не беспокоить. Напечатав свою главную поэму "Кольцо и книга", он послал ей томик. Джулии поэма не понравилась, она написала ему об этом, и он обнаружил, что ее критические замечания были точно такими же, какие сделала бы Элизабет.

После смерти жены он не испытал тех мук, в которые погрузила его кончина матери. Он вспоминал Элизабет со спокойной душой, без горечи и угрызений совести. Он знал, что их большая любовь не переросла в ту духовную общность, которую он себе вообразил и о которой мечтал. "Я не хотел бы воскресить свое прошлое... Хотя, кажется, оно и было моей настоящей жизнью: ни до, ни после у меня не было ничего. Оглядываясь назад, я вижу всю свою жизнь — и жизнь эта невыносима. Я неизменно думаю об этом, перечитывая "Одиссею". Гомер вложил в уста греческих воинов, говорящих о Трое, такие слова: "В Трое, где греки столько страдали..." Но ведь вся их жизнь сконцентрирована в тех десяти годах, когда они осаждали Трою".

Статьи, эссе

Видиа С. Найпол

Два мира

Речь по поводу присуждения Нобелевской премии, произнесенная в Стокгольме 7 декабря 2001 года

Сегодня я в необычном положении. Я устраивал публичные чтения, но не читал лекций. Людям, которые просили, чтобы я прочитал лекцию, я говорил, что таковой у меня нет. И это правда. Может показаться странным, что человеку, почти полвека отдавшему словам и эмоциям, нечем поделиться. Однако все хоть сколько-нибудь ценное, что есть в моей личности, сосредоточено в моих книгах. Остальное, то, что содержится во мне в тот или иной момент времени, не вполне оформлено. Я не уверен даже, что сознаю это таящееся нечто; оно ожидает следующей книги. Оно — если мне улыбнется удача — проявится непосредственно во время письма и застигнет меня врасплох. Когда я пишу, то пытаюсь найти именно этот элемент неожиданности. Так я сужу о собственной работе — а это занятие не из легких.

Пруст с великой проницательностью писал о различии между писателем как таковым и писателем как общественным существом. Эти его мысли вы найдете в нескольких эссе из книги "Против Сент-Бёва", воссозданной из его ранних рукописей.

Французский критик XIX века Сент-Бёв полагал, что для того, чтобы понять писателя, необходимо как можно больше знать о внешней стороне его личности, об обстоятельствах его жизни. Это увлекательный метод — использовать человека, чтобы объяснить его творчество. Он может показаться безупречным. Однако Пруст очень убедительно разносит его в пух и прах. "Этот метод Сент-Бёва. — пишет Пруст, — пренебрегает тем, чему учит нас и самый поверхностный опыт самопознания, а именно: книга есть порождение личности, отличной от той, что мы выказываем в своих привычках, в своей общественной жизни, в своих пороках. Если мы хотим понять эту личность, то искать ее следует в наших сердцах, и постигнуть ее можно, лишь пытаясь воссоздать ее в собственной душе".

Эти слова Пруста должны сопровождать нас всегда, читаем ли мы биографию писателя или биографию любого человека, чья работа зависит от того, что зовется вдохновением. Нам могут быть известны все подробности его жизни, все его причуды и обстоятельства личных взаимоотношений, и все же тайна писательства останется тайной. Никакие даже самые завораживающие документы не способны раскрыть нам всего. Биография писателя — или его автобиография — всегда будет отличаться такой незавершенностью.

Пруст — мастер удачных обобщений, и я еще совсем ненадолго задержусь на книге "Против Сент-Бёва". "По сути дела, — пишет Пруст, — автор выставляет на всеобщее обозрение тайнопись своего сокровеннейшего "я", строки, написанные в одиночестве и для самого себя. То, что человек выражает в личной жизни — в беседе... или же в тех салонных очерках, которые суть не более чем опубликованные беседы, — это

© М. Дадян. Перевод, 2002

результат весьма поверхностного "я", а не того сокровенного естества, которое возможно обрести, только отказавшись от света и от той личности, что свет посещает".

Когда Пруст писал эти строки, он еще не обрел тему, которой суждено было привести его к счастью великого литературного свершения. Как можно заключить из процитированного отрывка, он был человеком, доверяющим собственной интуиции и ожидающим удачи. Я и раньше приводил эти слова. Дело в том, что они объясняют, как я сам занимался писательским ремеслом. Я доверял интуиции. Я полагался на нее в начале пути и поступаю так даже сейчас. У меня нет ни малейшего представления о том, какой оборот примут события и куда я устремлюсь в процессе сочинительства. Я доверял своей интуиции при выборе тем и писал интуитивно. Когда я принимаюсь писать, у меня есть некая идея, некая форма; однако полное осознание того, что я написал, приходит лишь спустя годы.

Ранее я говорил, что все сколько-нибудь ценное во мне сосредоточено в моих книгах. Теперь я пойду еще дальше. Я утверждаю, что я есть сумма моих книг. Каждая книга, интуитивно угаданная и, если речь идет о художественной литературе, интуитивно созданная, опирается на пройденное и вырастает из него. Мне кажется, что на любой ступени своей литературной карьеры я мог бы сказать, что моя недавняя книга содержит все предыдущие.

Причина тому — мое происхождение, необычайно простое и одновременно в высшей степени запутанное. Я родился на Тринидаде. Это маленький остров в устье великой венесуэльской реки Ориноко. Тем самым Тринидад не принадлежит ни собственно Южной Америке, ни собственно Карибскому бассейну. Остров развивался как колония-плантация, и когда в 1932 году я появился на свет, там проживало около 400 000 человек. Из них около 150 000 были индусами и мусульманами, и почти все они — выходцами с равнины Ганга.

Такова была моя маленькая община. Бóльшая часть переселенцев из Индии прибыли после 1880 года. Дело обстояло так. Люди нанимались работать на плантациях в течение пяти лет на кабальных условиях. По окончании этого срока им давали крохотный участок земли, акров пять или около того, или же оплачивали проезд обратно в Индию. В 1917-м, благодаря выступлениям Ганди и его сподвижников, система кабальных договоров была отменена. И возможно, по этой или какой-то иной причине земельный залог и репатриация стали почитаться бесчестьем для поздних переселенцев. Эти люди были совершенно нищими. Они спали на улицах столицы — Порт-оф-Спейна. Ребенком я видел их. Полагаю, я не догадывался, что они нищие, — думаю, осознание этого пришло гораздо позже, — и они не вызывали у меня никаких чувств. Таково было одно из проявлений жестокости колонии-плантации.

Я родился в провинциальном городке под названием Чагуанас, в двух или трех милях в глубь острова от залива Пария. Чагуанас — странное название, и на письме, и по звучанию, и многие из индийцев — а они составляли большинство в нашей области — предпочитали называть его по имени индийской касты — Чаухан.

Мне было тридцать четыре, когда я узнал истоки названия моего города. Я жил в Лондоне и к тому времени прожил в Англии уже шестнадцать лет. Я писал свою девятую книгу. Это была история Тринидада, история его людей, попытка воскресить обитателей острова и их рассказы. Я ходил в Британский музей читать испанские документы об этом регионе. Документы, извлеченные из испанских архивов, были скопированы для британского правительства в 90-х годах XIX века во время отвратительного пограничного конфликта с Венесуэлой. Они начинаются 1530 годом и прерываются с исчезновением Испанской империи.

Я читал о дурацких поисках Эльдорадо и о кровавом вторжении английского героя, сэра Уолтера Рэли. В

1595-м он высадился на Тринидаде, убил столько испанцев, сколько смог, и поднялся по Ориноко в поисках Эльдорадо. Он ничего не обнаружил, но, вернувшись в Англию, заявил, что нашел. С собой у него был кусок золота и немного песка. Он утверждал, что отколол золото от утеса на берегу Ориноко. Королевский монетный двор, куда он передал песок для количественного анализа, заявил, что песок не представляет никакой ценности, поговаривали, что Рэли заранее купил золото в Северной Африке. Затем, в доказательство своего открытия, он опубликовал книгу, и на протяжении четырех веков люди верили, что Рэли действительно что-то обнаружил. Магия книги Рэли, которая в действительности весьма неудобочитаема, заключается в ее пространном названии: "Открытие огромной, богатой и прекрасной империи Гайаны, а также описание великого золотого города Маноа (который испанцы именуют Эльдорадо) и провинций Эмерии, Аромайа, Амапайа, а также иных стран, с истекающими из них реками". Как это правдоподобно звучит! А ведь он вряд ли добрался до главного русла Ориноко!

А затем, как это иногда случается с самоуверенными людьми, Рэли попал в плен собственных фантазий. Спустя двадцать один год его, старого и больного, выпустили из лондонской тюрьмы, чтобы он отправился в Гайану и нашел золотые рудники, которые, по его собственным утверждениям, открыл там. В этой мошеннической экспедиции погиб его сын. Отец, ради спасения своей репутации, послал сына на смерть. Потом же, убитый горем, без гроша в кармане, он вернулся в Лондон и был казнен.

Истории следовало бы на этом завершиться. Но у испанцев память очень долгая — несомненно потому, что имперская почта отличалась медлительностью: могло пройти два года, прежде чем письмо с Тринидада добралось бы до Испании. Через восемь лет испанцы Тринидада и Гайаны все еще сводили счеты с местными индейцами. Однажды в Британском музее я прочел письмо испанского короля губернатору Тринидада. Оно было датировано 12 октября 1625 года.

"Я просил Вас, — писал король, — предоставить мне сведения о некоем индейском народе числом около тысячи по имени чагуанес, который, согласно Вашим словам, настроен столь враждебно, что именно его представители были проводниками у англичан, когда те захватили город. Их преступление осталось безнаказанным, так как мы не располагали достаточными силами, а также потому, что индейцы не признают иной власти, кроме собственной воли. Вы решили покарать их. Следуйте правилам, которые я определил для Вас, и сообщите мне о Ваших успехах".

Неизвестно, как поступил губернатор. В музейных документах я не нашел более ни одного упоминания о чагуанес. Возможно, какие-то еще документы о чагуанес содержатся в бумагах испанских архивов в Севилье, однако работавшие по заданию британского правительства филологи пропустили их или же не сочли их достойными внимания. Достоверно лишь то, что небольшое племя, насчитывавшее чуть больше тысячи человек — которые, по всей вероятности, жили на обоих берегах залива Пария, — исчезло так бесследно, что ни одна живая душа в городке Чагуанас или Чаухан ничего не знала о них. И там же в музее меня посетила мысль, что с 1625 года я, наверное, первый человек, для которого письмо испанского короля действительно обладает смыслом. А из архивов это письмо выкопали только в 1896-м или 1897-м. Исчезновение, а потом молчание веков.

Мы жили на земле чагуанес. Каждый день во время учебного года — я только что начал посещать школу — я шел пешком от дома своей бабушки — мимо двух или трех магазинов на главной улице, мимо китайского салона, Юбилейного театра и пахучего португальского заводика, производившего дешевое голубое и желтое мыло в длинных брусках, которые, чтобы они высохли и затвердели, выставляли по утрам на воздух, — в государственную школу Чагуанаса. За

школой начиналась плантация сахарного тростника, простиравшаяся до залива Пария. Люди, которых изгнали с этой земли, имели свое сельское хозяйство, свой календарь, свои законы и священные места. Они различали питаемые водами Ориноко течения в заливе Пария. Все их умения и все с ними связанное было уничтожено.

Мир всегда в движении. У людей везде и во все времена отбирали землю. Кажется, когда в 1967-м я узнал историю своих родных мест, это открытие меня шокировало, так как раньше я не имел об этом ни малейшего представления. Но так слепо жило в сельскохозяйственной колонии большинство из нас. То не был заговор со стороны властей — держать нас в неведении. Мне думается, все обстояло проще: сведений не было ни у кого. История народа чагуанес не представлялась важной, и добыть знания о нем было бы затруднительно. Они были маленьким племенем, и они были аборигенами. Эти люди — на материке, в стране, что тогда именовалась Британской Гвианой, — были нам известны и служили предметом для шуток. Вспоминаю, что представители всех этнических групп на Тринидаде называли крикливых и дурно ведущих себя людей *варрахунами*. Мне казалось, что это искусственное слово, выдуманное для обозначения дикарства. Только когда я стал путешествовать по Венесуэле, а мне было уже за сорок, я понял, что там подобное слово служит названием довольно многочисленного туземного племени.

Ребенком я слышал какую-то странную историю — и теперь это невыносимо трогательная для меня история, — что в определенное время аборигены приплывали с материка на каноэ, шли через лес на юге острова и в определенном месте срывали какие-то плоды или же совершали некое приношение, а затем, пересекали залив Пария и возвращались в затопленную дельту Ориноко. Должно быть этот обряд обладал огромным значением, если он пережил бурные события четырех веков и истребление исконных обитателей Тринидада. А может быть — хотя у Тринидада и Венесуэлы общая флора, — они появлялись, чтобы собрать какие-то неведомые плоды. Не знаю. Не помню, чтобы кто-нибудь это старался разведать. А теперь вся память об этом стерта; и это священное место, если оно существовало, стало обычной землей.

Что было, то прошло. Вероятно, таково было общее отношение. И мы, индийцы, иммигранты из Индии, относились к острову именно так. Мы, по большей части, были строгими приверженцами обрядности, еще не способными к самооценке, с которой и начинается учение. Половина из нас, живших на земле чагуанес, делали вид — а возможно, не делали, а только ощущали, не облекая это в ясную форму, — что привезли с собой некую Индию, которую, так сказать, могли раскатать по земле как ковер.

Дом моей бабушки в Чагуанасе состоял из двух частей. Передняя его часть из оштукатуренного кирпича была выкрашена в белый. То была разновидность индийского дома с большой, огражденной балюстрадой террасой на втором этаже и молельной комнатой на третьем. Он изобиловал декоративными излишествами, лотосовидными капителями на столбах и скульптурами индуистских богов — все они были изваяны людьми, опиравшимися в работе только на память об Индии. На Тринидаде этот дом был архитектурной диковинкой. Позади него, соединяясь с ним посредством навесной комнаты, находилось деревянное строение во франко-карибском стиле. Вход располагался сбоку, между двумя домами. То были высокие ворота рифленого железа в деревянной раме. Они сообщали дому свирепую уединенность.

Так в детстве я ощущал присутствие двух миров, мира вне высоких ворот рифленого железа и домашнего мира — или, по крайней мере, мира бабушкиного дома. Это был пережиток кастовости, чувство, которое отгораживало и изолировало. На Тринидаде, где, как недавние пере-

селенцы, мы принадлежали к неблагополучной общине, эта идея недопущения служила своеобразной защитой; она позволяла нам — некоторое время, но только некоторое — жить по-своему и согласно собственным правилам, жить в своей прозрачной Индии. Это способствовало необычайному эгоцентризму. Мы смотрели внутрь себя; мы жили собственными заботами; внешний мир существовал точно во тьме; мы ни о чем не спрашивали.

По соседству располагалась мусульманская лавка. Маленькая лоджия бабушкиного магазина упиралась в ее слепую стену. Лавочника звали Миан. Вот все, что мы знали о нем и его семье. Должно быть, мы встречались с ним, но теперь я не помню его лица. Мы ничего не знали о мусульманах. Идея странности, понятие о вещах, которые следует оставлять за порогом, распространялась даже на других индусов. К примеру, мы ели рис в середине дня, а оладьи — вечером. Встречались чудаки, которые опрокидывали этот естественный распорядок и ели рис по вечерам. Мне они представлялись странными — вообразите себе мальчика, не достигшего и семи лет, потому что в семь лет вся жизнь в бабушкином доме в Чагуанасе для меня закончилась. Мы переехали в столицу, а затем на северо-запад острова, к холмам.

Однако привычки мышления, порожденные жизнью ограждающей и не допускающей ничего чужеродного, просуществовали еще какое-то время. Если б не рассказы, которые писал мой отец, я бы почти ничего не знал о быте нашей индийской общины. Эти рассказы дали мне больше чем знания. Они сообщили мне своего рода цельность. Они дали мне почву, на которой я мог стоять в мире. Я не могу и вообразить, какова была бы картина моего сознания без этих рассказов.

Внешний мир существовал во тьме; и мы ни о чем не спрашивали. Я уже достаточно вырос, чтобы иметь какое-то представление об индийском эпосе, в частности о "Рамаяне". Детям, которые родились в нашей большой семье через пять или больше лет после меня, такой возможности уже не представилось. Никто не обучал нас хинди. Кто-то когда-то написал для нас алфавит, и все; предполагалось, что остальное мы сделаем сами. Так, пропитываясь английским, мы стали терять свой язык. Дом моей бабушки был насквозь религиозен; в нем совершалось множество церемоний и чтений, некоторые из них длились целыми днями. Но никто ничего не переводил и не объяснял нам, а мы уже не поспевали за языком. Так вера предков отступила, сделалась таинственной, не связанной с повседневной жизнью.

Мы не задавали вопросов об Индии или об оставшихся там родственных семьях. Когда мы подросли и захотели знать — было слишком поздно. Мне ничего неизвестно о родственниках со стороны отца; знаю только, что некоторые из них происходили из Непала. Два года назад некий добросердечный непалец, которому понравилась моя фамилия, прислал мне оттиск британской книжки об Индии 1872 года, что-то вроде географического справочника, "Индусские касты и племена, представленные в Бенаресе"; там — посреди множества имен — были перечислены группы непальцев в священном городе Бенарес, которые носили имя Найпол. Вот все, чем я располагаю.

Вне мира бабушкиного дома, где мы ели рис в середине дня, а оладьи по вечерам, пребывало великое неизведанное — на эдаком островке с населением в 400 000 человек. Там были африканцы или потомки африканцев, составлявшие большинство. Полицейские; учителя. Одну из наставниц, мою первую учительницу в государственной школе Чагуанаса, я с восхищением вспоминал много лет. Там была столица, куда все мы вскоре должны были переехать и, навсегда поселившись среди чужестранцев, продолжать образование и искать работу. Там были белые люди, и не обязательно — англичане; а порой и португальцы, и китайцы, некогда такие же иммиг-

ранты, как мы. Еще большей тайной были окутаны те, кого мы звали испанцами, *паньол*, люди разных корней, с тепло-смуглым цветом лица, потомки испанских поселенцев, живших здесь еще до того, как остров был отделен от Венесуэлы и Испанской империи — история, находившаяся совершенно за пределами моего детского восприятия.

Чтобы рассказать вам о своем происхождении, мне пришлось использовать знания и представления, которые пришли ко мне гораздо позже, в основном благодаря моей литературной работе. Ребенком я не знал почти ничего, что лежало за стенами бабушкиного дома. Полагаю, все дети приходят в этот мир именно так, не зная, кто они. И все же, к примеру, французского ребенка поджидает знание. Оно окружает его повсюду. Косвенным образом оно происходит из бесед взрослых. Оно — в газетах и на радио. И в школе — пересказанные в учебниках работы многих поколений ученых дадут ему представление о Франции и о французах.

На Тринидаде, хотя я и был способным мальчиком, меня окружали участки тьмы. Школа ничего не проясняла. Меня засыпáли фактами и формулами. Все приходилось учить наизусть; все оставалось абстрактным. Опять же, я не думаю, что в придании нашим учебным курсам подобной формы был какой-то умысел. Мы получали обычное школьное образование. В других условиях оно было бы оправданным. И по крайней мере часть ответственности лежала на мне. Учитывая ту изоляцию, в которой прошло мое детство, я не мог мысленно перенестись в условия иного общества или общества, географически отдаленного. Я любил саму идею книг, но мне трудно было их читать. Лучше других поддавались книги Андерсена и Эзопа, стоящие вне времени, вне места, не отчуждающие. И когда наконец в шестом классе, последнем классе колледжа, мне стали нравиться некоторые литературные тексты - Мольер, Сирано де Бержерак, — то произошло это наверное потому, что они обладали качествами сказки.

Когда я стал писателем, окружавшие меня участки тьмы сделались темами моих книг. Земля; аборигены; Новый Свет; колония; история; Индия; мусульманский мир, причастность к которому я тоже ощущал; Африка; а затем Англия, где я занимался сочинительством. Вот что я имел в виду, говоря, что мои книги накладываются одна на другую и что я есть сумма моих книг. Вот что я имел в виду, говоря, что мое происхождение, то есть источник и вдохновение моей работы, было одновременно необычайно простым и невероятно сложным. Полагаю, вам понятно сколь незамысловатой была жизнь в провинциальном городке Чагуанасе. И сколь сложной была она для меня как для писателя. Особенно вначале, когда мои литературные образы — образы, навязанные мне моим псевдообразованием, иначе не назовешь — относились к совершенно чуждому мне обществу. Но, возможно, вы согласитесь, что материал был очень богат и позволил мне ступить на стезю сочинительства. Мысли, которые я высказал о своем происхождении, пришли ко мне как знание только во время работы над моими книгами. И вы должны поверить мне, если я скажу, что узор моих произведений стал для меня очевиден только в течение последних двух месяцев или около того. Мне читали отрывки из старых книг, и я узрел связи. До этого величайшей трудностью для меня было объяснить свою работу людям, рассказать им, что я делал.

Я говорил, что был интуитивным писателем. Так было, и так оно и есть по сей день, когда я почти в конце пути. У меня никогда не было плана. Я не следовал никакой системе. Я работал, влекомый интуицией. Каждый раз моей целью было создать книгу, сотворить нечто, что было бы просто и интересно читать. На каждой стадии я мог работать только в рамках своего знания, восприимчивости, таланта и мировоззрения. Эти качества развивались от книги к книге. И я должен был написать те вещи, которые написал, так как не было

книг, раскрывавших темы, мне необходимые. Мне нужно было прояснить свой мир и истолковать его для самого себя.

Мне пришлось обратиться к документам Британского музея, к другим архивам, чтобы приобрести верное ощущение колониальной истории. Мне пришлось совершить поездку в Индию, ибо не было никого, кто мог бы рассказать мне о той Индии, откуда приехали родители моих родителей. Были сочинения Неру и Ганди; и, как ни странно, именно Ганди, с его южноафриканским опытом, дал мне больше всех, но этого было недостаточно. Был Киплинг; были англо-индийские авторы, как Джон Мастерс (очень популярный в 50-е годы, с заявленным, но, боюсь, позже оставленным планом тридцати пяти взаимосвязанных романов о Британской Индии); были романтические сочинения женщин-писательниц. Те немногочисленные появившиеся тогда индийские писатели были горожанами и принадлежали к среднему классу: они не ведали Индии, из которой произошли мы.

А потом, когда индийская жажда была утолена, появились другие темы: Африка, Южная Америка, мусульманский мир. Целью всегда было заполнить свою картину мира, а замысел происходил из детства: мне хотелось чувствовать себя непринужденно наедине с самим собой. Добрые люди иногда писали мне — просили написать о Германии или, скажем, о Китае. Но об обеих странах уже много написано, и написано хорошо; здесь я предпочитаю опираться на существующие работы. Эти темы — для других. Они не были участками тьмы, окружавшими меня в детстве. Так, наряду с развитием, которое претерпела моя работа, развитием повествовательных навыков, знаний и восприимчивости, я все же сохранил некое единство, определенный фокус, хотя подчас и кажется, что я следую в разных направлениях.

Начиная, я не знал о том, что меня ожидает впереди. Я лишь хотел написать книгу. Я пытался писать в Англии, где остался после окончания университета, и мне казалось, что мой опыт слишком беден, несообразен с тем, о чем дóлжно писать в книгах. Ни в одной книге я не мог найти того, что было бы близко моему детскому опыту. Молодой француз или англичанин, желающий писать, всегда найдет множество образцов, способных вывести его на широкую дорогу. У меня их не было. Рассказы моего отца о нашей индийской общине не принадлежали прошлому. Мой мир был совсем иным. Он был более городским, более смешанным. Обыденные физические детали хаотической жизни нашей большой семьи — спальни и спальные места, время приема пищи, одно только число людей в доме — представлялись невозможно сложными для описания. Потребовалось бы слишком много разъяснений как о моей жизни дома, так и о внешнем мире. И кроме того, слишком многое о нас — наши предки и история — оставалось мне неизвестно.

Наконец однажды меня посетила мысль начать с улицы в Порт-оф-Спейне, куда мы переехали из Чагуаназа. Там не было отгораживающих от мира больших ворот рифленого железа. Жизнь улицы предстала перед моими глазами. Наблюдать ее с веранды было для меня сущим наслаждением. И писать я начал именно о той уличной жизни. Я хотел писать быстро, чтобы не задавать себе слишком много вопросов, и потому упрощал. Я утаил рассказ о происхождении ребенка-повествователя. Я пренебрег расовыми и социальными проблемами улицы. Я ничего не объяснял. Я, так сказать, оставался на уровне земли. Описывал людей такими, какими они представали на улице. Писал по рассказу в день. Первые рассказы были очень краткими. Я тревожился о том, хватит ли мне материала. Но затем проявилось волшебство сочинительства. Материал стал сам поступать из разных источников. Рассказы стали длиннее; их уже нельзя было написать за день. А затем вдохновение, казалось с легкостью увлекавшее меня за собой, иссякло. Однако книга была написана,

и в собственном сознании я стал писателем.

Две следующие книги увеличили расстояние между писателем и его материалом. А затем интуиция привела меня к большой книге о нашей семье. Во время ее написания мои честолюбивые замыслы выросли. Но закончив книгу, я почувствовал, что сделал со своим островным материалом все, что мог. Сколь долго бы я ни продолжал о нем размышлять, литературы из этого больше бы не вышло.

Случай спас меня. Я стал путешественником. Я объездил страны Карибского бассейна и гораздо лучше понял колониальную систему, частью которой был сам. Я провел год в Индии, на родине предков; то была поездка, расколовшая мою жизнь надвое. Книги, которые я написал о двух этих поездках, привели меня в новое царство эмоций, придали мне видение мира, которым я не обладал ранее, обострили мои профессиональные навыки. В сочинениях, которые последовали, мне удалось объединить Англию с Карибами — и какая это была непростая задача! Я также сумел описать все расовые группы населения острова, что мне никогда не удавалось ранее.

Новое произведение повествовало о колониальном стыде и фантазиях — это была книга о том, как беспомощные люди лгут о себе, лгут самим себе, так как ложь — их единственное прибежище. Книга называлась "Имитаторы". Но в ней говорилось не об имитации. В ней говорилось о людях в колонии, подражающих человеческому существованию, людях, совершенно переставших доверять самим себе. Несколько дней назад мне прочитали несколько страниц из этой книги — я не раскрывал ее более тридцати лет, — и мне пришло в голову, что я писал о колониальной шизофрении. Тогда я об этом так не думал. Я никогда не пользовался абстрактными словами для выражения тем своих книг. Иначе я никогда бы не написал ни строчки. Мои книги пишутся интуитивно и только на основании пристального наблюдения.

Я произвел этот краткий обзор ранних лет своей писательской карьеры для того, чтобы попытаться показать, как в течение всего десяти лет изменилась или развилась в моих сочинениях моя родина: от комедии уличной жизни до исследования некоей широко распространенной шизофрении. Простое стало сложным.

Как художественная проза, так и жанр книги путешествий сообщили мне мой способ восприятия; думаю, вы поймете, почему все литературные формы обладают для меня одинаковой ценностью. Например, когда я принялся писать третью книгу об Индии — через двадцать шесть лет после первой, — мне пришло в голову, что самое важное в книге путешествий — это люди, среди которых странствовал автор. Идея довольно-таки простая, однако для нее потребовалась книга нового типа; она призывала к иному способу путешествий. Именно им я воспользовался позже, когда во второй раз отправился в мусульманский мир.

Мной всегда руководила одна только интуиция. Я не придерживаюсь системы, литературной или политической. Меня не направляет та или иная политическая идея. Думаю, это связано с моей родословной. Индийский писатель Р. К. Нарайан, скончавшийся в этом году, не придерживался каких-то определенных политических воззрений. Мой отец, писавший рассказы в очень глухое время и безо всякого вознаграждения, не имел политических убеждений. Так случилось, возможно, потому, что на протяжении многих веков мы жили вдали от властей. Это придало нам особую точку зрения. Мне кажется, мы более склонны замечать юмористическую и печальную сторону вещей.

Почти тридцать лет назад я ездил в Аргентину. То было время кризиса герильи. Люди ожидали, когда старый диктатор Перон[1] вернется из изгнания. Страна была полна нена-

1. Хуан Доминго Перон (1895—1974) — аргентинский политический деятель, президент Аргентины в 1946—1955 и 1973—1974 годах. (*Прим. перев.*)

висти. Перонисты жаждали сведения старых счетов. Один из них сказал мне: "Есть хорошая пытка и плохая пытка". Хорошая пытка — это то, что вы делаете с врагами народа. Плохая пытка — то, что враги народа делают с вами. Люди по другую сторону баррикад говорили то же самое. Настоящих дебатов не было и в помине. Были только страсти и заимствованный из Европы политический жаргон. Я написал: "Когда жаргон обращает живые вопросы в абстракцию и когда жаргон соревнуется с жаргоном, люди теряют мотивацию. У них остаются только враги".

А аргентинские страсти все бушуют, все так же побеждая разум и пожирая жизни. И конца этому не видно.

Срок моей работы истекает. Я рад, что мне удалось сделать то, что я сделал, рад, что творчески пробился так далеко, как мог. Из-за интуитивности моего письма и еще благодаря преодолению трудностей материала каждая книга была для меня счастьем. Каждая книга изумляла меня; до той самой минуты, когда я начинал сочинять, я не знал, что книга поджидает меня. Но величайшим чудом было начать писать. Я ощущаю — эта тревога все еще жива во мне, — что вполне мог провалиться еще до того, как начал.

Я закончу тем же, с чего начал, одним из чудесных маленьких эссе Пруста из книги "Против Сент-Бёва". "Прекрасные вещи, которые мы напишем, если обладаем талантом, — говорит Пруст, — существуют внутри нас, неразличимые, подобно мелодии, которая восхищает нас, хотя мы и не в силах воссоздать ее рисунок. Те, кого преследуют эти смутные воспоминания о неузнанных истинах, — одаренные люди... Талант — та разновидность памяти, которая наконец позволит им подойти ближе к этой неотчетливой музыке, услышать ее явственно, записать ее..."

Талант, говорит Пруст. Я бы сказал, удача и тяжелый труд.

Перевод с английского
М. Дадяна

Алексей Цветков

Стокгольмский синдром

Размышляя по поводу присуждения В. С. Найполу Нобелевской премии по литературе, неизбежно упираешься в два вопроса: почему именно ему и почему именно сейчас?

Эти вопросы в его случае стоят неизмеримо острее, чем в отношении любого из предыдущих лауреатов, будь то Дарио Фо, Вислава Шимборская или Гюнтер Грасс, для каждого из которых есть свое маленькое и естественное объяснение. Дело в том, что имя Найпола неизбежно приходило в голову чуть ли не на протяжении всей последней четверти столетия при отборе достойных кандидатов, и оно приходило в голову одним из первых. Интерес вызывает не тот факт, что премия наконец нашла адресата, а тот, что четверть столетия она старательно его обходила. Строго говоря, мы уже позорно приучены к тому, что высшая литературная награда безошибочно вручается либо маргиналам, либо фаворитам вчерашнего дня, либо в порядке национальной очереди, независимо от очередности таланта. На

каждого Бродского, Маркеса или Йейтса можно привести десятки справедливо преданных забвению и вызывающих лишь недоуменное воздевание бровей. Имена Эйвинда Йонсона, Франса Силланпяя или Хенрика Понтоппидана сегодня никому ничего не говорят, а у них есть еще братья и сестры.

За объяснением надо обращаться конечно же к творчеству самого Найпола. Нельзя ошибиться сильнее, чем отнеся его к некоей графе карибских писателей, которым премия если и положена вообще, то лишь в свою узкую карибскую очередь, которую уже разменял Дерек Уолкотт. Тринидад послужил писателю местом рождения, он был его родиной, но лишь в том небольшом смысле, что для безоглядного побега нужно место, откуда убегаешь. С этим островом связаны его юношеские воспоминания и первый жизненный опыт, который закономерно послужил материалом для ранних романов, таких, как "Таинственный массажист" и в особенности "Дом для мистера Бисваса". В конечном счете разрыв стал фактом не только биографическим, но и литературным. На смену теплой и окрашенной юмором атмосфере ранних вещей приходит жестокий мир зрелости, в котором родиной и одновременно чужбиной становится вся цивилизация с ее неприглядными окраинами. Тринидад отныне — лишь одна из этих окраин. Самой бесповоротной декларацией разрыва можно, наверное, считать тот факт, что Найпол объявил свой неожиданный нобелевский трофей достоянием приемной Англии, а не отеческого Тринидада: центростремительный путь закончен.

Найпол родился в островной "глубинке", если позволить крохотному Тринидаду роскошь иметь периферию, в индийской семье высшей касты браминов, и этот аристократический налет странным образом мешается с фактическим рабством: предки писателя были сельскохозяйственные рабочие, привезенные сюда англичанами по кабальным контрактам, — такими индийскими коммунами сегодня пестрят многие архипелаги мира. Сплав великого честолюбия с комплексом неполноценности стал пружиной, которая не могла не выбросить в метрополию. Уже на школьной скамье в столичном Порт-оф-Спейне — у Тринидада есть и столица — он дал себе неколебимое обещание из двух пунктов: стать писателем и навсегда уехать. Второй был исполнен, когда островное правительство наградило способного школьника стипендией, дающей право на обучение в любом университете Великобритании — Найпол избрал Оксфорд. "Я оставил их всех, — пишет он о спутниках юности, — и энергично прошагал к самолету, не глядя назад, глядя только на собственные ботинки и на тень перед собой — пляшущего карлика на гудроне".

50-е годы — работа на радио "Би-би-си" в программе "Карибские голоса", регулярные рецензии в журнале "Нью стейтсмен". Настоящий литературный дебют — "Мигель-стрит" в 1959 году, а затем — уже упомянутые "тринидадские книги". "Дом для мистера Бисваса" многие до сих пор называют вершиной творчества Найпола; основания есть, но все-таки — странная вершина, взятая практически на старте сорокалетней карьеры. Вполне возможно, что мотивы такой оценки коренятся в характере зрелого творчества В. С. Найпола, а во многом и в его личности. "Дом для мистера Бисваса" — это художественно переосмысленная биография отца, профессионального неудачника, всю жизнь мечтавшего стать писателем, но не прыгнувшего выше репортера местной газеты. Реальный Найпол-старший не только не возражал против призвания сына, но, напротив, всячески его приветствовал и понукал к этому поприщу, ставя в пример классиков и рекомендуя имитировать их стиль и манеры.

В качестве переходной точки можно, достаточно произвольно, взять 1971 год, когда у Найпола вышла небольшая книга рассказов "В свободном состоянии", удостоенная высшей литературной награды Великобритании — Букеровской премии.

Сердцевину этой книги представляет собой то ли длинный рассказ, то ли короткий роман — по-русски повесть, которая и дала всей книге название. Буквально оно переводится как "В свободном государстве", но такой перевод теряет горькую иронию встроенной многозначности.

Сюжет повести — своеобразная одиссея, автомобильное путешествие героя и его попутчицы по неназванной африканской стране, прототипом которой может быть Конго или Уганда. Эта страна недавно обрела независимость, и теперь там идет обычный процесс освобождения от проклятых пережитков: физические расправы, конфискация имущества, экспроприация и депортация этнических меньшинств, коррупция, ненависть и всеобщая паника. В момент описываемого путешествия в стране — гражданская война: некто президент свергает и убивает некоего короля, но этот процесс мнимой модернизации — лишь видимость, под которой бурлят анархия, племенная рознь и прямой геноцид. Автор ни во что не вмешивается и никого не судит, и общая картина деградации человеческого общества преподносится метонимически, как разрушение комфортабельного жизненного пространства бывшей колонии. Вот, к примеру, описание курортного городка, где герои останавливаются переночевать.

Тротуары поросли травой вокруг мусора из домов, вещей, которые не приносили пользы и были выброшены: треснувшие квадраты цветного стекла, обломки стульев в обивке, матрацы с выпотрошенными пружинами, книги и журналы, страницы которых слиплись в твердые сморщенные таблички. В одном месте Бобби заметил расплющенную сигаретную пачку, черным по выцветшему красному — "Белга". Она напомнила о европейских отпусках, как будто Бельгия и Европа когда-то располагались по ту сторону воды, и озеро было чем-то вроде Ла-Манша. Курорт строился не для туристов из Африки — его создавали для людей, которые думали, что приехали в Африку жить, и рассматривали этот курорт как вариант своего отечественного быта: парк, причал, прогулочная набережная. Теперь, после беспорядков по ту сторону озера, после независимости и паники с недвижимостью, после армейского мятежа, после исхода белых на юг и азиатской депортации, после всех этих убийств курорт остался без назначения.

Сами герои — англичане, живущие в Африке уже не на правах хозяев, а в качестве иностранных специалистов: он — государственный служащий, она — жена сотрудника государственного радио, которое все время, как бы за кадром, разражается руладами ненависти. Это они, нейтральные наблюдатели, оторванные и от бывшей родины, и от здешней действительности, пребывают в "свободном состоянии", но это состояние столь же мнимо, как и свобода государства, и герою приходится понять это под сапогами африканских солдат, избивающих его просто от нечего делать. Когда в конце за ними закрываются ворота европейского квартала, этой почти игрушечной модели западной цивилизации, у нас уже нет сомнения, что стихия, бушующая вокруг, вскоре сомкнется.

На первый взгляд может показаться, что главной мишенью повести является колониализм, в отношении которого запас ярости Найпола неистощим. Но во вселенной, которую он беспощадно воздвигает, колониализму нет никакой альтернативы, ему на смену движется не кукольная национальная независимость, а варварство и людоедство, стая одичавших псов, захвативших власть в курортном городке.

Этот жестокий и беспросветный мир критики многократно уподобляли миру Джозефа Конрада, которого и сам В. С. Найпол охотно признает чем-то вроде предтечи. Центральное место в творчестве Конрада тоже занимает Африка, возведенная в символ конца цивилизации, и первобытное зверство в душе человека, прорывающее радужную пленку цивилизации, — достаточно вспомнить хрестоматийную повесть "Сердце тьмы". Еще поразительнее сходство писательских судеб: оба покинули страну своего рождения, оба забрасы-

вают своих безродных героев за кулисы цивилизации, где им предстает объективизация человеческого подсознания, кошмар Фрейда без цензуры "эго". Полезно вспомнить, что Конрада, одного из крупнейших писателей столетия, так и проводили в мир иной без нобелевских почестей.

В эту Африку ада Найпол возвращает нас еще раз в романе "Изгиб реки". Его течение эпичнее и в чем-то спокойнее, чем концентрированный ужас "свободного состояния", но этот ужас подступает еще беспросветней и неукоснительней. Герой романа, мусульманин индийского происхождения Салим, живет во все той же полу-Уганде-полу-Конго, в ту же эпоху сброшенных кандалов и опьянения свободой. В этой стране, которая рассыпается и оплывает у него под ногами, он становится чем-то вроде мысленного летописца конца света, а поскольку сам он не очень хорошо понимает смысл происходящего, многое мы видим лишь через его плечо, и наш испуг — вдвое сильнее.

Салим и его друзья-сверстники — люди, успевшие прилепиться к западной культуре, мелкие коммерсанты, пытающиеся сохранить свой приблизительный западный образ жизни вопреки невзгодам, и пока вокруг набирает силу бессмыслица анархии, они упрямо играют в сквош и в своих убежищах от подступившего хаоса слушают голос Джоан Баэз, гостьи с другой планеты, о которой они еще теплят воспоминание. Цивилизация рассыпается в археологию.

Дело не в колониализме (с ним у Найпола, в конце концов, есть свои семейные счеты), а в том, что писатель не дает сбить себя с пути расхожими истинами, готовыми формулами порицания и восхваления, которых мы привыкли сегодня ожидать как от политиков, так и от деятелей культуры и в которых колониализму, расизму и всему плохому всегда противостоит прогресс, гуманизм и еще много хорошего. Какая-нибудь Надин Гордимер, приглашенная в Стокгольм за десять лет до Найпола и, при всей скромности таланта, сорвавшая себе голос на проповеди прогресса, сегодня в ужасе наблюдает, как ее родная Южно-Африканская Республика неукоснительно превращается в полу-Уганду-полу-Конго из "Изгиба реки", а ее книги изымают из школьных и университетских программ.

С определенного момента в творчестве Найпола появляется новый жанр — проза путешествий. Но в отличие от многих других современных писателей, работающих в этом жанре, автор вовсе не пытается представить свои дорожные наблюдения в парадигме понимания, прощения и оправдания: вот, дескать, люди, от которых Запад отводит глаза, и которым надо что есть сил помогать — иначе они обидятся и обрушат где-нибудь небоскреб. В путевом творчестве Найпола поражает и даже шокирует его полная необремененность прогрессивными клише нашего времени, и, может быть, именно эта черта столько лет отпугивала от него нобелевский благородный институт. Найполу часто ставят в вину не просто отсутствие прогрессивного пафоса, но прямые атаки на этот пафос, в том числе такие несимпатичные черты, как расизм: "Сэр Видья не любит негров" — это слова уже упомянутого Дерека Уолкотта. Если такие обвинения не беспочвенны, исходя от недоброжелателей, то главный объект расизма — отражение в зеркале. Из юношеского письма Найпола старшей сестре по поводу фотографий, приложенных к заявлению о приеме в университет: "Я глядел на этого азиата на бумаге и думал, что никакой индиец из Индии не может выглядеть более по-индийски, чем я". Это нежелание быть азиатом, сохранившееся на всю жизнь, — вовсе не расовое, а культурное. Урожденному европейцу его не понять и не различить в своей "европейскости" степеней и качеств.

Путешествуя по Индии, Латинской Америке, американскому Югу и мусульманским странам, Найпол не обращает внимания на достопримечательности. Главная достопримечательность для него — люди, за которыми он с беспристрастной

пристальностью наблюдает и чьи многословные исповеди он терпеливо выслушивает. Мир этих путевых заметок подчас жесток и опасен — он не таков, каким предстает нам на страницах просвещенных западных землепроходцев, перечисляющих все эти жестокости и опасности лишь затем, чтобы шантажировать Запад, требовать бесконечных извинений и ассигнований. Найпол почти не судит своих собеседников, но тем самым и не щадит их — извинений для них у него нет.

И здесь мы подходим вплотную к нобелевской загадке В. С. Найпола. Существует некий международный фольклор, который невозможно подвергнуть проверке, но согласно которому Найпол давно занесен в черный список Нобелевского комитета, в чьем катехизисе литературные достоинства всегда второстепенны по отношению к идеологической выверенности. Сегодня — а вернее, 11 сентября — эта постройка слабого ума обрушилась вместе с башнями Международного торгового центра. Сегодня мы поняли, что цивилизация — не броня, а тонкая радужная пленка и что хаос, подступающий извне и проступающий изнутри, — не происки реакции, а нечто куда более страшное и первичное. Талант Найпола — это отказ от любого рода лжи, в том числе самой праведной, и его книги об исламе, бдительно осужденные вчерашним оптимизмом, сегодня болезненно актуальны для нашего отчаяния.

Нобелевская премия В. С. Найполу — это не столько акт справедливости, которая восторжествовала почти нечаянно, сколько результат испуга: правду, оказывается, поведала не Гордимер, а Найпол, и правда и талант оказались в неразрывном родстве. А коли так, часть этой премии, пусть ее и никогда не выдают посмертно, принадлежит тому, кто уже пробовал сказать эту правду раньше, — Джозефу Конраду, первому добровольному изгнаннику и провозвестнику.

Эти писатели, подающие друг другу руки через десятилетия, заставляют задуматься о курсе цивилизации и сравнить ее с другими, чье время на планетарной сцене уже закончилось. Главный образец и пропись — это всегда Рим, потому что мы там хотя бы наполовину дома, мы понимаем его социальную и культурную механику лучше, чем эволюцию Древнего Египта или Китая. С определенного времени императоры и их окружение начинают приходить преимущественно с периферии, но для нас важнее и поучительнее то, что из таких же пришельцев большей частью состоит и поздняя римская культура — начиная с Сенеки и его отца. Эти новообращенные — чаще всего куда большие энтузиасты цивилизации, чем потомки коренных жителей, и они преисполнены безоговорочного пафоса в отношении империи, связавшей мир прямыми, как стрела, дорогами и оросившей его тысячемильными акведуками. Как подметил британский историк Арнольд Тойнби, эти предзакатные литераторы пели распадающейся на глазах цивилизации неуместные дифирамбы, опоздавшие как минимум на столетие.

Наша империя — наша, по словам Найпола, "универсальная цивилизация" — богаче опытом, подверстав римский в свой собственный, и поэтому сегодняшние пришельцы с рубежа далеко не так наивны, как римские прототипы. Это — европейцы по выбору и расчету, чем-то сродни русским западникам — точнее, как это ни парадоксально звучит, западники самого Запада, профессионалы. Конрад, еще из сравнительного недалека, побывал в Польше в зрелые годы лишь единожды и жаловался, что она "наваливается"; Найпол, уже почти с конца света, засыпая в английской постели с обогревателем, видел кошмары о возвращении в тропический Тринидад, этот "проклятый курорт". Время, когда европейцами становятся по рождению, миновало — теперь это стало трудом и карьерой, и в год всеобщего испуга премию облегченно уступили единственным, кто не испугался и кому не все равно — вернее, тому из них, кто еще жив, потому что посмертно нельзя по уставу.

Многие, не впадая в сомнение, без оговорок называют В. С. Найпола лучшим англоязычным писателем нашего времени. На уровне стиля возможен спор, и я, пожалуй, затеял бы его первым, но в такой огромной литературе не менее стиля важен выбор роли, и Найпол выбрал для себя самую магистральную. Западная империя, как Рим накануне заката, хотя сейчас совершенно не обязательного, стала цивилизацией для иностранцев, с иностранными писателями. Только они еще не разучились говорить, не отводя глаз и не подслащивая голоса.

Европейцам, утратившим веру в свое европейство, сегодня прислан миссионер с передовой, где вера крепче. И когда им становится страшно, они на минуту перестают стесняться своей благодарности перед ним.

Мирча Элиаде

Три эссе

От переводчика

Данной подборкой мы открываем читателю Элиаде, какого не знают в России, — Элиаде, который отдавал свой пыл не научным штудиям и мистическим романам, а просветительской публицистике, самой актуальной злобе дня. Смолоду, еще в лицейские годы, он завел обыкновение набрасывать заметки обо всем, чем занимался и что читал, и оформлять их в газетные очерки. Это наследие внушительных размеров и непревзойденного разнообразия — очерки по ботанике, энтомологии, химии и алхимии, по истории религий и по философии, по всему кругу чтения: он знал толк в учебе и умел искать и находить духовных учителей.

Рано, уже лет в двадцать, он и сам ощутил себя духовным учителем — появились соратники, сложилась аудитория в столице и провинции. Все эти люди были молоды, честолюбивы, их ждали великие дела. Политическое объединение Румынии свершилось, страна открылась миру, теперь лучшие умы могли проявить себя на поприще культуры.

В 1928 году Элиаде выступил с циклом статей под общим заголовком "Духовный путевни́к". По замыслу, они должны были указать его сотоварищам этапы духовного совершенствования, расставить вехи на пути интеграции в Европу, предстоящем молодому поколению. Много лет спустя Элиаде сам признавался, что этот цикл "не грешил" логикой. В нем было больше экзальтации, намерения перевернуть мир и мальчишеского желания казаться взрослым, суровым, бывалым. Цикл касается в основном интеллектуальной деятельности. Тем больше было изумление чинных критиков, когда в финале автор разразился экстравагантным эссе "Апология мужества", где сочетались эрос и аскеза, явно чувствовался Ницше и прослеживалась библейская тенденция придавать символический, сокровенный смысл любовным мотивам.

С "Апологией мужества" контрастирует своей дидактикой текст одной из лекций Элиаде, посвященных духовным техникам (по возвращении из Индии в 1932 году он выступал по румынскому радио с двадцатиминутными передачами, делясь опытом стимуляции умственной и душевной работы; судите по названиям: "Чему учат путешествия", "Медитация", "Развлечение и умственный отдых", "Искусство и техника чтения"...). И, наконец, как образчик "утонченных радостей эрудиции" будоражит ум философское эссе, посвященное легенде о Парцифале.

© А. Старостина. Перевод, вступление, 2002

Апология мужества

Литания деве

Пою деву, пою тоску девы, обреченной перед рассветом на плач. Пою деву, утолившую голод мужчины — и мышцы его, и кости его — до отдохновения. Пою деву и всех дев за скорбное их рабство. Пою белую добычу в руках, растущих из солнца. Пою невольные муки, слезы по безвозвратной невинности, стон в страхе перед алчностью властелина.

Пою деву, пою застенчивого врага, пою теплое искушение в сумерках, пою глаза, научившиеся лить слезы и повергать в прах. Пою деву и

всех дев, телесность их, которая перехватывает стрелы взглядов. Плоть их, которая замутняет ясность — небес, глаз, духа. Телесность дев, которая расцветет в страсти и свернется — томительным сном и тенью — на всех путях, возвышающих до геройства.

Пою деву, пою печального товарища того печальника, которого я славлю, называя его мужем.

Пою опару, взошедшую и в нашей плоти. Пою смиренного ангела, кротко льющего слезы и в наших душах. Но песня моя есть ненависть, губы мои суть кровь, глаза — полыхание головни, и руки — вехи, воздетые к небу.

Пою чары, пою соблазны, пою неги, что освещали нашему брату жалкое его нисхождение сквозь дым усталых факелов с вершин, где лишь ветер оглаживает камни.

Послушайте хвалу деве:

Лилейная нагота, чьи извивы ласкают глаз, чей запах — росный ладан, курящийся на углях;

плечи, белые змеи, в чью мякоть уходят изнуренные губы и отрываются в новом жару;

чуткая шея кипенной Суламифи;

груди, набухшие от накала грез в час полуночи, когда под жаркий шип упоения колени расстаются, предрекая трагедию;

груди округлые и торчащие, пространством сведенные на одной чаше весов;

живот, подобравшийся в скованность линий; невинное чрево — дичащееся, как молчаливый лес, — напрягшееся в ожидании чуда;

незрелые, как зеленый плод, бедра, покров потаенной испарины, тени, от которых трепещут ноздри и закипает дыхание;

икры, ребус, тоже ждущий разгадки!..

Так я твержу монотонную мою литанию деве, обреченной перед рассветом на плач.

Славословие мужу

Слава тебе — пол, в котором были сотворены утесы и круги небосвода.

Слава вечно неутолимому, неутомимому, в чьей груди дыхание глубоко и жгуче, а в чреслах, обильных семенем, — ярость победы.

Слава лбу, набыченному перед штурмом, слава штурму вершин, расколотых безднами, в цвету раскаленных углей.

Слава глазам под прищуром век — сдержанной грозе, брызгам огня.

Слава рукам, остову для змеящихся мышц, подрагивающих на зов.

Слава телу и слава крови. Крови красной, тяжелой, просящейся на губы, как вино в ложбинке между грудями дьяволицы. Крови, которая наливает глаза и будоражит нутро, напрягает до дрожи мышцы, и душит, и ослепляет.

Слава — ненасытным устам, в решениях стиснутым, безумным в ярости, страшным в хотении.

Устам — варварски распахнутым для скоромного, для всех ветров, деревьев, родников и камней.

Устам, обожженным жаром белых тел, неласканых сокровищ, источников темных нег.

Слава зубам, неистовым, победительным — острому жалу для непорочных плеч, беспокойных икр, бедер, круглящихся от отравы укрощения.

Слава мужескому образу, слава святому уродству, слава скулам, ломающим линию щек, сильным челюстям, сжимающим зубы, высокому лбу, что бодается с небом.

Слава глазам, которые хотят все, все берут силой и все себе подчиняют.

Слава страсти, буре, в которой дух проходит обжиг и очищается.

Слава чистому мужу.

Вы — выжимки любовных ночей, вы — смиренники в тине посредственности, вы — отщепенцы удали, вы — чахлые сыновья заснеженных пещер, вы — ароматические свечи умилительных храмов, все вы — изможденные, пресыщенные, хиреющие — искупайтесь в холодном тяжелом дожде, раскрошите камни, напейтесь соленой морской воды! Новыми соками оделят вас земля и небо. Новую душу вольет в вас солнце. Жесткие мысли пробьют вам те-

мя — дерзайте! Родитесь во второй раз в мужской силе.

Тоска по утраченным высотам

От надрывных слов не пропадет голос. Истины спокойно пойдут своим чередом.

Я не считаю мужчиной каждого, кто носит мужское имя. Есть условия мужества, которые надо исполнить. Для мужества надо еще раз родиться, как и для христианства: через решительный перелом своей жизни, через преодоление, через преображение. Можно ли разбить эти условия на категории и свести их к эпитетам? Мужество — феноменология в динамике, подвижная вереница позиций по отношению к жизни, к духу, к Богу. От вихрастого ветреника, пребывающего в простодушном неведении насчет потенций своего пола, до просвещенного родителя, отца освоенного мира, внедренного в других его волей, — сколь долог путь? Только в становлении застигнешь мужественность — пусть это покажется парадоксом.

Неотъемлемый атрибут мужчины, очевидный на всех этапах эволюции, от первичного жеста владыки, который ублажает свое тело за счет чужой боли, до строгой отрешенности аскета — это естественное действие *воли*. Сила воли — вот к чему тянет женщин. Им хочется, чтобы их сокрушили — или же они сами подстрекают себя к капризу как к иллюзорному проявлению воли. Псевдомужчины любят поразмышлять о силе воли, поумствовать, а потом отвергнуть или принять ее в безобидных дозах, расточая риторический пыл. Но воля есть действие — чисто мужское. Это не головная фантазия, а осязаемый опыт, недоступный сознанию, скудному на духовный заряд, без изобилия и щедрости. Может быть, самой судьбой, в силу космического трагизма, было предопределено проявлять волю — с напором и постоянством, а не мимолетными вспышками — только одному полу. Судьба предопределила и неизменное, живое присутствие соблазнов. Слабость предков пронизала человека до мозга костей, накипью осела в мозгу и в сердце. Народилось множество бесполых особей. И все труднее ратовать за насущность мужской потенции. Общество защищается от нее и, не будучи в состоянии ее устранить, изолирует или извращает. У бомонда в почете светские львы. Потому-то для душ, которые томятся по утраченной чистоте, так ужасно чистилище.

Жизнь, не приносящая ни боли, ни блаженства, а лишь отправляемая корректно, как упражнение для мышц, была бессознательной. Сознание сообщило человеку, во-первых, порыв к преодолению себя — вместе с тягостным чувством его неосуществимости. Эту проблему обсуждали многие умные головы и многие люди действия. Но вот что понял я сам: сознание высветило немощность человека в Космосе. "Хочу это яблоко, хочу эту деву!" Мужчина, нагой средь бела дня, кусает яблоко, дева кровоточит. Стоило пробудиться сознанию, как человек *подумал*: "Захочется мне пойти по воде — утону, а захочется Солнца с неба — другие посчитают, что я спятил". Такого разлада не знала душа первого человека. Если бы он захотел, он пошел бы по морю как посуху и получил бы в руки Солнце. Не требуйте от меня доказательств. Разве не факт, что *доисторическая воля* нам теперь недоступна? И что наш мозг, мысливший слишком много веков, не может судить о ней? Слабость тысяч мужчин, перешедшая по наследству тысячам псевдомужчин наших дней, усугубилась, когда был назван дуализм "Человек—Космос". Но из этого же дуализма восходит преображение мужчины, становление его *личности*.

Вот толкование парадокса. Врожденная уверенность в своей немощи, унаследованная через плоть и через дух, сделала из мужчины чуть ли не законченную посредственность. Сознание приняло как *естественный* закон отгороженность воли от необъятности, от Космоса. Малость человека стала восприниматься как *данность*. Однако всегда находились мужчины, которым пошла впрок фатальная болезнь воли, подточенной недостат-

ком абсолютной веры в себя, все более изощренными головными причудами, изнеженностью чувств. Их дух замесил новое тесто, открыл неустанный труд мужества — превозможение, преодоление, обгон. В этой перевороторте сублимировались последние фазы мужского трагизма, выкристаллизовалась печаль аскета.

Из-за утраты воли, для которой не было ничего невозможного, так что ей не было нужды его *хотеть*, душу человека вечно мучают желания. Мучительный аппетит на все — такова пытка мужа. У того, кто приходит к осознанию себя, начинают умножаться желания. И он истекает кровью при каждом поражении.

Как мне прославить эту алчность мужской плоти и духа, как не через

Песнь о том, кто хочет все?

Я хочу не тело твое и не глаза твои — но все на свете тела.

Если же хоть одна тайна останется чужой тайной — я брошу тело.

Почему я бросаю тело, которое не отдало мне все?..

Все — обогрей меня!

Все — распусти меня до нитки, люби меня, ненавидь меня, неси меня по воздуху и по миру!

Хочу: руки мои — гирляндой вокруг земного шара. Хочу: глаза — морем на горизонте, в котором безропотно тонет солнце. Хочу: губы — присоской на груди земли и солончака. Хочу: плечами — до неба. И хочу, еще раз: руки — как трассы светил.

До скрежета зубовного хочу все — и корчусь, и рот набит золой дробных наслаждений. Почему нельзя пожить хоть час *во всем?* Вы видите, как я кровоточу, вы слышите мои стоны, когда вокруг ходит *чужое?* Ненавижу мозги и ненавижу тела, над которыми я не властен.

Хочу пахучее, плотское, хочу свежее веяние гор, хочу дух гнилья, смерти, засухи, моря...

Но к чему этот зов, к чему звать безымянные запахи?

Чресла рабынь, листья ильма, стужа утесов — все, к чему мне никогда не припасть, — но я не стану приструнивать желание.

Я хочу горечь скоромного и сладость смоквы.

Я хочу написать все; к чему расточать яд каплями или по горсточке — мед?

Сказать ли, что я хочу все объять мыслью, проникнуть в средостение всего, родиться еще раз в Боге? Сказать ли, что желания иссушают мою улыбку и недобро смеживают глаза, потому что они — отрава, просочившаяся в меня сквозь слабость моих дедов?

Полыхаю изнутри — и нет ничего моего! Сколь долго буду полыхать и сколь долго сверкать углям?..

Вам знакома ярость души, ощущающей свое бессилие? Я ненавижу человеческое в себе, ненавижу собственное тело, ненавижу поражения предков — ибо они мешают мне овладеть всем. Я не могу владеть всем, не могу пить, кусать, любить, месить и тесать — все. Я — только бедное тело, в котором бьется и бунтует душа, алчущая обрести все. Бьется и сетует на свою немощь.

Вы, те, что *по ту сторону*, — вы угадываете проблеск новой зари? Это рвутся вверх знающие, что всем не овладеть. Они споют, быть может, песню колкой и горькой победы...

Мужество — понятие не целиком чувственное, как и не целиком духовное. Отсюда, из одержимости *всем*, начинают произрастать кристаллы разнообразных синтезов, которые несут мужчину к высшему просветлению. Синтез и преодоление суть разрядка потенций, осуществление возможностей, которые бродят в душе со времен грехопадения. Мужской дух ощущает себя *внутри* ценностей, творимых сознанием и утверждаемых волей. Женщины заимствуют ценности. Псевдомужчины их толкуют, режут на порции и комбинируют. Свежий взгляд, неожиданный ракурс, самостийное творение, предназначенное, чтобы накормить другие духовные жизни, — дает только истинно мужское сознание.

Эволюция мужчины зиждется как раз на внутренних борениях, на

опыте, на упорстве духа. Потому она и ускользает от взгляда историка. Возмужалость, как и вера, нисходит святым — суровым — духом на жизнь человека. Нельзя наметить фазы. Нельзя прописать рецепты. Мужество существует, оно экспериментирует. Мы можем указать его черты разве что в общем. Не забудьте: они непрестанно меняются, преобразуются, вытекают одна из другой.

Человек берет вершину один, молча, втайне ото всех — без ступенек, без дороги, без веревок. Поражения и победы принадлежат только ему. Друг и невеста о них не знают. С каждый часом, прожитым сурово, по-мужски, он приближается к тому творению, для которого рожден, — к своей *зрелости.*

Уточнения для дам и господ

Для господ, которые принизили, обесчестили, скомпрометировали, извратили, разложили до гнили потенции сильного пола; для дам, которые превознесли и тем помогли укоренить вечную мужскую посредственность, я вношу эти уточнения — прямое хирургическое вмешательство во очищение первоначального смысла.

Дон Жуан не воплощает в себе суть мужской силы. Тот, кто тратит жизнь, коллекционируя женщин, явно ценит их более, чем они того заслуживают. Беспокойство и жадность донжуанов выдают посредственность. Им не приходит в голову собрать и вложить *все* в одно-единственное любимое тело и душу. Заблуждение неизлечимо. Разве поймут они, что никогда не овладеют *всеми* — а только *многими?* Червь беспокойства подрывает, подтачивает, сосет их душу. Неудачники, они гибнут раньше, чем успевают суровым трудом возвысить свою личность.

Никакое преодоление, никакое перевоплощение скрытых потенций, данных тебе твоей принадлежностью к мужскому полу, немыслимо без неустанной внутренней жизни. Из нее родится, если мы захотим, новый муж, властелин нового времени. Уловить внутреннюю пульсацию истинно мужского духа — значит уловить заложенную в нем силу. Отсюда, из духа открывается путь преодолений. Да будут прокляты предки! Но все равно: их мужественность, их чистая воля недоступны нам ни в физиологическом, ни в космическом плане. Некогда — за один миг или за тысячелетие — произошел тот болезненный переворот в сущностях — или критериях — или ценностях — как вам будет угодно. Откат от мужественности стал настоящей трагедией, если не *падением* для человека. Те, кто проник в суть первоначальной воли, воли человека-Бога, поразмыслив, многое поймут, задумавшись над этой простой фразой.

Однако, милые дамы, я не хочу ни утомлять ваш взор картинами давно забытого прошлого, ни докучать вам теологическим кокетством. Как бы то ни было, жизнь духа, жесткая внутренняя жизнь остается единственным спасением. Не усмехайтесь, господа, вам она незнакома, хотя вы думаете иначе. Ваша мнимая внутренняя жизнь заимствована из книг, сверена по знаменитостям и цветет в соседстве с изяществом Сикстинских мадонн. Вы зачитываетесь поэтами для снобов, утонченными, сладкоголосыми изысками. Ваша философия сложилась при первом же разочаровании чувств — разве не так? Ваша задумчивость выставлена напоказ в антрактах нордических спектаклей, на палубе парохода в сумерках, даже в одиноких прогулках. В ваших душах застрял сгусток отрочества, та бесполезная меланхолия, которую вы полагаете печалью гения, та снисходительность к себе, которая говорит о заурядной и самовлюбленной натуре. Вы чересчур женственны. Женская душа, конечно же, чарующа и беспредельна. Но оставьте ее дамам, любительницам чтения, или тем, что несут из салона в салон свой идеал — умника с голоском тенора.

Жизнь мужского духа сурова. Не судите ни по улыбке, ни по презрительной ясности глаз — за ними идет тяжкий труд, никому не ведомый, с поздними плодами. Труд всегда тяжек — поскольку предполагает схиму.

Чувствуете, откуда веет рассвет? Спасение исполнится через аскезу, через дисциплину — и труднее всего ей поддается труд.

Как мне воспеть труд? Как воспеть мастерок, известь и камень, при помощи которых я возвожу стену духа к свинцовым вершинам в разводах заревого багрянца? Я хотел бы передать странице дрожь жадного аппетита, утоляемого в работе, когда согнута спина, блестят глаза и стиснуты кулаки. Духовная жизнь без дисциплины — ничто. Расхлябанность можно допускать время от времени как опыт. Никогда — как норму. Дисциплина, разумеется, не означает ни методологию, ни строгие предписания, ни умственную гигиену. А лишь непрерывность, упорство, одержимость в превозможении и в проникновении вглубь.

Кто работает на постоянное духовное преодоление, тот дистиллирует мужественность до эссенций, пьянящих своей чистотой. Вы не узнаете, любезные дамы, в мрачном неофите, прошедшем пытку инициации, лощеного господина, блестящего дилетанта литературных салонов, сноба и любителя модной философии. Вот что вам следует усвоить: ваш наметанный глаз никогда не уловит истинные достоинства мужчины, беспокойный дух товарища, *запредельные* пути любовника. Благодарите, любезные дамы, псевдодуховность, ваше лакомство, которое стряпают скомпрометировавшие свой пол. Почитая ее за истинную, превознося ее как лучшую пищу для ума, вы *органически* отстраняетесь от чистого мужского духа. И уж не мы, конечно, тому виной.

Первый знак предпринятых духом шагов — это *молчание*. Разумеется, ему далеко до сурового немотствования аскета. По складу своему мужчина чужд откровенничаньям, этой напасти отроков и сентиментальных, женоподобных душ. К чему признания? К чему дробить себя, делясь болью или радостью? Зачем допускать чужую мысль и в это последнее прибежище истинного уединения — в переживания духа? В строгом молчании мужчина добывает свои внутренние сокровища, о которых никто не должен подозревать. Такое молчание не выставляет себя напоказ. В повседневной, обывательской жизни, какую мы вынуждены терпеть, его надо скрывать за легким поверхностным разговором.

Мужскую натуру душит возмущение и одолевает гадливость при виде суррогатов — подделок под личность, снобов — любителей порисоваться печатью скорби и тайны на челе. Милые дамы, вы охотно попадаетесь в сети этих надушенных юнцов, которые разглагольствуют о грезах, о славе, о меланхолических странствиях, о прекрасных принципах, об *оригинальности*. Вот глубокая рана, которой мужской пол обязан вам: оригинальность. Вам подавай *оригиналов*: чем субтильней, тем лучше, всех, кого надломила катастрофа, всех, у кого каша в голове, любую бездарь, которая повторяет как попугай парадоксы знаменитого педераста, нашпигованных чужими цитатами философов, дилетантов с трескучей погремушкой вместо души, поэтов и поэтишек, самих себя зачисливших в гении, наглых, глумливых эрудитов, старых греховодников из числа газетных писак, мистиков с грошовыми потугами на святость. Милые дамы, и это для вас — настоящие мужчины, идеальные женихи, герои вашей мечты. Берите же их. Если вы заберете их всех — то-то радости будет нашему брату!..

А вы, судари мои, если вы всерьез решили взрастить личность до вершин — не льститесь на ту чувственность, о которой все говорят, не имея о ней представления. Чувственность мощная, захлестывающая, дамам неведомая, волнует плоть только того, кто умеет ее укрощать. Трепет губ, ноздрей, глаз — пустяки в сравнении с ожогом желания, на которое способны глубины тела и духа...

Не сетуйте на то, что вас не понимают, не надевайте маску тех, кто клянчит сочувствия и интереса к себе. Жалкие подобия мужчин, они полощутся, как флаги женоподобия, не способного снести ледяной холод рассудка. А поскольку путь к немедленному успеху ведет через топи —

откажитесь от успеха. Вы пожнете успех *другого рода* – когда придет час.

Вот несколько надписей со скрижалей для дам и господ, которые хотели бы видеть мои *уточнения* в доходчивой форме:

Дон Жуан был неудачником. Слишком падкий до женщин, остывая, он все равно находил "забвение" среди юбок.

Новое мужество, созвучное новому человечеству, строится на духовной жизни. Чистый муж без устали правит ее на внутреннем точиле, испытывает, усугубляет.

Женский род прельщают суррогаты внутренней жизни: заурядный, бесплодный, "с чужого плеча" идеализм.

Кризис первого этапа в развитии мужчины: переход от подобия духовности к строгой и дисциплинированной работе духа.

Феминизация общества – сильный искус на пути эволюции. Первейшие враги мужчины: самолюбование и снисходительность к себе, откровенничанье, дешевая меланхолия, снобизм. Единственное спасение: духовная аскеза.

Трагизм мужчины

Жить в постоянной опасности – вот завет мужества.

Не говорите мне, что в нынешних условиях нет места ни для опасности, ни для геройства. Не говорите мне о комфорте цивилизации, которая нейтрализовала яд борьбы, введя его в рамки закона. И ныне мужчина подвергается такому же риску, что и пещерный человек. *Существуют угрозы для духа.* Выходи на бой, кто не страшится. Подвиги совершаются и в библиотеке, и в келье аскета. На этих сумеречных полях брани легко попасть под отравленную стрелу. Гибель подстерегает в окопах, в болотах, в лесах. Безумие... Вы думаете, неудачи и провалы – не те же раны для духа, а *потеря смысла* не означает смерть? Вы думаете, надо меньше отваги для того, чтобы читать дьявольские письмена, чем для того, чтобы скрещивать шпаги?

Развитие и очищение мужества в жизненном опыте, сублимация до высшего – столь редкостного – озарения исполняется через творчество и творчества ради. Не втуне идет эта жизнь. Все четче разграничиваются истинно мужская духовность и обезьяньи ужимки дилетантов и снобов. Либо прорацивать и обогревать *новое* сознание, не замкнутое на физиологии, – его-то я и называю *личностью*, – либо мусолить два-три сентиментальных переживания, надергивая им толкования из книг и цветя под чужими лучами.

Всякий муж призван творить. Плодовитость в прямом смысле была, вероятно, знаком с небес. В дитяти продолжается род плоти и род духа, если отец по крови – к тому же и духовный родитель. В мужском сознании дремлет жажда творить, превосходить самого себя – через взятие крепостей, через искусство, через всяческое освобождение духа. Не все могут быть великими полководцами, поэтами или мыслителями. Но с нашей точки зрения, не это важно. Вид творчества – дело второстепенное. Важнее творчество изначальное: *личность*. Вот что каждый из нас должен выкристаллизовать из опыта, из борьбы, из поражений, из страданий: *сознание*. Благодаря ему мы сохраним себя. В нем – оправдание того, ради чего мы появляемся на свет, ради чего нужен наш героизм. Разумеется, я не говорю сейчас о личности женщины, это другая духовная структура. Я беру личность как конечный синтез мужества. И показываю, как этот синтез проходит.

Обогатившись опытом, дух попадает в сумерки раскола, под две лавины – дионисийство и христосованье. Сенсуальность, языческие услады, меланхолия утомленных желаний, буйная жизненная сила, растрачиваемая впустую, свобода в Пане, мысль в Аполлоне. Или – дисциплина чувств, иерархия их удовлетворения, наклонность к неустанному очищению и духовному преодолению, порыв к полному слиянию с Богом, свобода во Христе, небесная свобода, происходящая из обуздания.

Только в мужском сознании, прошедшем ряд испытаний, этот конфликт обозначается трагически. Столкновение мучительно. Только мужа, идущего путем самоосуществления, может по-настоящему искушать жизнь, могут истощать дионисийские желания, томить вожделения. Там, где сопротивление ничтожно, соблазн не усугубляется, не сочится ядоносными сладкими каплями.

Конфликт, который переходит в *кризис* с того момента, когда наклонность к аскетизму возводится в принцип, — разрешается сам по себе через новое зрение и переоценку ценностей, развитые духом в постоянной работе над собой. Я называю личностью, по сути дела, не что иное, как высший синтез, необходимый для духовной динамики, синтез, которым Пана и Христа возводят на престолы в их владениях. Это переоценка ценностей жизни, наслаждения, космоса, Божества. Это широкое и упорядоченное ви́дение всего; поддержка внутреннего равновесия. Личность творится, личность питается в неустанной борьбе с собой и миром, она возводится — камень на камень — в соответствии с работой духа. Вот единственное творение, которое от нас требуется. Я уже показал выше, что только так можно уцелеть в мире, потому что личность — духовный организм, чья жизнь превосходит физиологию, как растение превосходит минерал.

Личность, в упорном труде сформированная, только в труде и познается. Тут тоже не обходится без подделок: иные "личности" подогнаны под образцы книжных героев, как мозаики, составленные наобум (множественность эго объясняется функциональной поливалентностью сознания или противоречивостью, неотъемлемой от сознания физиологического. Противоречивость может быть вызвана и просто переизбытком опыта).

В каждой душе по-своему разрешается конфликт "тело—дух", складывается свое видение, по своей оси выравниваются силы. И это потому, что в основу личности всегда ложится собственный опыт, который никогда в точности не повторялся ни в каком другом сознании.

Вы видите неустанное бдение мужской души и разъедающее ее беспокойство? Вы понимаете трагедию этой души, которую сублимация потенций пола приближает к Богу, а искушение приковывает цепями к телу полуденного беса, Диониса? Вам понятны муки воли, когда *зло* не гибнет от воплощения *добра*, но растет бок о бок с ним и подкарауливает, и изощряется в искусах и угрозах? Мужчина трагичен пронзительным дуализмом: душа его держит оборону не только против тела, но и против телом рожденной души. Мирра христианства против сенсуального язычества Диониса и против томного язычества Аполлона.

Отречение

Я буду скуп на слова. Передо мной сейчас печальные кручи, куда не ступала нога человека. Знаете ли вы про горы, среди которых завершает жизнь *в одиночестве* достойный муж — тот, что доискался у себя в душе своего предназначения? Знакомо ли вам одиночество желанное, одиночество исчерпывающее, одиночество непоправимое?

Некто вырывается из нашего мира. Годы и годы он казался нам таким же, как мы. И вдруг: он оставляет нас далеко позади, его воля попирает нашу. Кто же мог проникнуть в его молчание? Теперь он ушел, а может быть, он уже мертв и покоится где-то в ледяной пещере, где-то в пустыне. Он ушел от нас не потому, что боялся жизни. Он ушел не потому, что потерял к ней вкус, устал, истомился. Такие обычно поворачивают вспять. Там, наверху, между сумерками и зарей, человека ждет борьба, о которой мы не подозреваем, ее вдохновляет безумие, подстегивает голод, бессонница, воспоминания. Как вы можете думать, что в одиночестве, в пещерах человека ждет покой? Туда уходят самые сильные среди нас, те, кто — мысли они иначе — пришли бы к победе, к славе, к наслаждениям.

Все или ничего — из дольнего мира. Вот первый толчок к отречению. Наше владычество — насколько далеко простирается? Одна женщина, сотня женщин, тысяча? И на какой срок? И — в полной ли мере мы владеем ими? Их мысли нам никогда не взять в плен. А сколько стран можем мы покорить? А море, которое вечно простирается *впереди?* А цветы, которых нам не собрать? А небо, которое мы дробим ограниченным нашим взглядом?..

Наслаждение комом встает поперек горла, когда душу осеняет аскетическое мужество. Это достойно — с презрением отвернуться от крох, протянутых телу. И это доблестно — отказаться от утех и наград для духа.

Что слава — этот последний искус, перед которым склоняется столько мужских умов? Она осязаема — или это только *звук?* Насколько она помогает преодолению себя — чтобы душа не замутнялась ни от похвал, ни от ненависти? Сколько веков она длится? И наконец — как может соблазниться тот, кто хочет *все*, жалкой славой на одном, пусть и лучшем континенте? Обескураживающие вопросы...

Все синтезы должен перекрыть новый синтез. Духовность настоящего мужчины не ведает угомона. Его молчанию не должно быть равных. Пустынножитель воплотит такое молчание — абсурдное для заурядных наших светил — когда слышны земля, лес, птицы. В уединении он перестрадает любови, покинутые навсегда. Из памяти и из страданий возвысится его дух. Соблазны не исчезли. Личность не сложилась окончательно. В ретортах души кипят эссенции, которые для тех, кто в миру, были бы дурманом: неведомые, диковинные, божественные. О них — умолчу.

Он будет жить один, безымянный, забытый, в полной безвестности. Он умрет в морозную ночь, под бескрайним покровом стужи. На миг запотеет снег от его вздоха. Никто его не оплачет. Ни у кого не дрогнет сердце от этого подвига самопреодоления.

Но кто скажет — воистину ли он умер?

И кто скажет, не означает ли это высшее отречение господства надо всем? Может быть, такие карлики, как мы, снующие по улицам и страдающие в теплых комнатах, — всего-навсего марионетки, добыча неистовой его воли? И что, если *именно это – истина?* Что, если мы поступаем, желаем и думаем по воле великого схимника?..

Так кончается "Апология мужества" и начинается цикл "Песни во славу Пустынника".

6 января 1928 г.

Воспитание духовной культуры: методы

Просто диву даешься, как мало интересует людей самое насущное — то, что может либо обратить их жизнь в непрестанный рост, либо подвести к преждевременной духовной смерти. Замечено — и учеными, и художниками, — что духовное и умственное развитие кончается обыкновенно очень рано. В большинстве своем люди застревают на духовной ступеньке отрочества. То есть они судят и чувствуют, как судили и чувствовали в 16—17 лет: те же формы выражения, те же предрассудки. Не отдавая себе в том отчета, взрослые смотрят на жизнь, как малолетки. Биологический рост продолжается, а духовный и душевный стопорится. Причин тому может быть много, и не всегда они до конца понятны. Но главная из них — дурное духовное питание. Очень и очень часто духовный и умственный рост прекращается за недостатком пищи. Человек проживает жизнь с незрелым, увечным духом. Удивительно, что такой важнейшей из важных проблемой почти никто не занимается. Удивительно, что приемы и средства духовного питания известны мало и практически не используются. Мы располагаем множеством пособий и книг по развитию художественного вкуса, по овладению всеми

приемами познания. Но, насколько мне известно, нет ни единого учебника, который бы обучал искусству духовной взрослости. Это по меньшей мере странно. Впрочем, о равнодушии нашего современника к главным ценностям жизни можно рассуждать долго. Взять хотя бы тот факт, что в эпоху громадной роли печатного слова у нас нет введения в методологию чтения. Другими словами, у нас нет учебника, который бы превратил этот новейший порок — чтение — в прием, в снасть для возделывания духа. В самом деле, чтение сегодня — это либо наказание, либо порок. Мы читаем к экзамену, или по работе, или чтобы убить время. Между тем у чтения может быть и более благородная миссия — давать постоянную духовную подпитку, а не только лишь служить источником информации или руководством по развитию вкуса. Возьмем один пример. В мировой литературе довольно книг, укрепляющих дух, книг, которые заражают жаждой жизни, свершений, мужества. Такое чтение не просто увлекает интересным замыслом и хорошим слогом — у него есть явные оздоровительные свойства. Вспомним "Мартина Идена" Джека Лондона или "Конченого человека" Джованни Папини[1]. Эстетическая и нравственная ценность этих произведений спорна, но они захватывают. Это книги-тоники, проглотив которые всякий почувствует, что его душевные ресурсы обогатились, воля к труду и к борьбе всколыхнулась. В минуты душевной засухи, в те минуты усталости и упадка духа, которые каждому из нас знакомы, следует читать подобные книги. Но мало кто к ним прибегает — особенно тогда, когда они больше всего нужны. Нам предлагают десятки тысяч фармацевтических препаратов, тонизирующих лекарств, сиропов и бог знает чего еще — но никто не подумал о колоссальной целебной энергии, скрытой в печатном слове. Литература может быть мощным стимулирующим средством. Только набредаем мы на это средство случайно, все порознь и отнюдь не всегда в самую нужную минуту.

Я сослался лишь на один пример. Найдутся и другие, что засвидетельствуют, что человек пренебрегает существенным. Может быть, чтение — и не самое главное для духовного роста. Но существенное — по крайней мере для нас, и как таковое его следует упорядочить. О необходимости пособия по методике чтения можно было бы многое сказать. Люди читают по большей части что попало: что находят у родителей, у друзей, в близлежащих библиотеках. Мы узнаем Достоевского раньше, чем Виктора Гюго, и Андре Жида — раньше, чем Ренана. В возраст, когда страсть к чтению умеряется, мы входим, так и не узнав великих книг отрочества и ранней юности. Не только наша "культура" остается ущербной, с пробелами, но остается ущербной и жизнь души, что гораздо труднее поправить. "Пособие-введение" помогло бы избежать всех этих оплошностей, разбазаривания времени и серьезных лакун. Там были бы перечни книг по рубрикам: *возраст, темперамент, время года.* Книги, которые хороши, например, для подростка, или для влюбленного, или для охотника. Книги на осень, на ночь под св. Андрея, на Рождество и Святки, на Светлую Седмицу, на летний солнцеворот. Есть некая гармония между космическими феноменами и ступенями душевного роста, гармония, которую очень немногие из нас открывают вовремя. Уже составлена "Антология на осень", но нет точных подсказок, каким образом эту "осень" созерцать, усваивать и как от нее освобождаться, если она начинает нас подавлять.

Мы подходим теперь к тому, о чем редко говорится. Я имею в виду возможность, даваемую чтением, приближать нас к великим ритмам природы, из которых, кстати сказать, мы выпали по неразумию или

1. Джованни Папини (1881—1956) — итальянский писатель. Речь идет о его автобиографическом романе "Un uomo finito". А роман "Maschilita" ("Мужское начало") в большой степени вдохновил Элиаде на идеи, воплощенные в эссе "Апология мужества". (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

невежеству, к естественной жизни, от которой мы отделились и которую тщимся понять. Весну или летний солнцеворот — эти космические явления мы ощущаем на биологическом и на чувственном уровне, то есть вслепую, более или менее случайно. Таинство великого пробуждения растительности не минует, естественно, никого из нас. Но насколько многозначнее были бы наши ощущения, если бы мы могли расшифровывать его вселенские, абсолютные эмблемы, символы, смыслы.

Существуют, бесспорно, стихотворения на разных языках, которые осмысленно вели бы нас по временам года, когда бы мы имели тексты и знали, как их читать. Мы вступали бы в весну с одной книгой, на Светлой Седмице призадумывались бы над другой; ночь на Ивана Купалу, 24 июня, заставала бы нас, склонившимися над страницами солнцеподобной книги, укрепляющей и возвышающей дух. Наша малая библиотека главных книг была бы календарем для души. Чтение обрело бы свой первоначальный, мистический смысл: устанавливать связь между человеком и космосом; воскрешать для короткой человеческой памяти обширный коллективный опыт по освящению жизни ритуалами. Чтение могло бы исполнить все эти функции духовного питания — в том случае, если бы существовал учебник, который раскрывал бы нам ценность великих книг и сокровенный смысл других, не столь великих, но столь же важных.

Мы так подробно обсудили скрытые и неиспользуемые возможности чтения именно с тем, чтобы подчеркнуть безразличие современного человека к фундаментальным вещам. Раз у нас нет "Введения в чтение", как можем мы помышлять об учебнике по духовному росту, о руководстве по духовной пище? Мы начали с констатации общераспространенного феномена: из-за недостатка духовной пищи люди остаются на всю жизнь подростками с ограниченным набором логических предрассудков и умственных схем и упорно судят о мире исходя из них. Можно ли избежать этой чудовищной ущербности? Мы полагаем — можно. И не обязательно при помощи книг и вообще того, что именуется культурой, но благодаря непрерывной подпитке всех душевных сил, которые есть в каждом нормальном человеке. Не требуется особой философии, чтобы уяснить себе, какую роль играют в повседневной жизни такие простые вещи, как медитация, созерцание, радость, молчание, уединенность — не говоря уже о молитве и прочих связанных с ней духовных практиках. В душе каждого бывают периоды засухи, бесплодия, отчаяния. И каждый экспериментальным путем находит противоядие от этих минут усталости и смуты. Каждому известно, что значит даже час одиночества или созерцания великого космического явления: заката, бури, звездной ночи. Наступающие радость и просветление — это корни, которые душа пускает в конкретное, в жизнь, — питающие ее корни. Выправление нашей духовной ущербности как раз и начинается с заботы об этих корнях, с возделывания почвы. Речь идет, таким образом, не о претензии на философию, мистику и прочее. Речь идет о том всего-навсего, чтобы организовать наш положительный жизненный опыт. О том, чтобы преобразить в тоник, в укрепляющее средство медитацию, созерцание или молчание. Эти простые вещи неоценимы для поддержания нашего внутреннего равновесия, для внутреннего роста. Если на свете у стольких людей чахлая душевная жизнь, то это не оттого, что их книжное образование прекратилось, а оттого, что они пренебрегают простыми упражнениями по сосредоточению и медитации. Книжная культура — не предел для духовного роста. Питающие дух корневища куда как глубже, они уходят непосредственно в живую жизнь. Тем не менее книга тоже может стать питающей силой, средством приближения к жизни. Некоторые преувеличивают — в силу своего невежества или склонности к иронии — пагубное влияние книг. Как мы уже говорили, чтение, если браться за него с умом, укрепляет и тонизирует. Но мы не будем сейчас устанавливать нормы и определять техники, обеспечивающие духовный рост. Ог-

раничимся замечанием, что часто встречаются души не просто ущербные, остановившиеся на отметке шестнадцатилетия, но и больные: неуравновешенные, подавленные тоской, безнадежностью. Душевная подпитка, о которой мы рассуждаем, может быть в некоторых случаях отличной психотерапией. В наших силах увеличить меру собственного здоровья, оптимизма, энергии. Духовное здоровье, как и духовный рост, идут рука об руку. И для их поддержания не так уж много нужно.

Мир сегодня чаще, чем в прошлые времена, забывает об этих простых вещах, стоящих во главе угла. Так легко быть если не счастливым, то по крайней мере примиренным с самим собой! Нужно выкроить какой-нибудь час, чтобы помолчать, чтобы со вниманием посмотреть вокруг. На вид это так просто, что не берется в расчет. В последующих лекциях мы попытаемся показать значение для нашего роста и возмужания некоторых из этих простых вещей: медитации, созерцания, одиночества и прочая.

14 июня 1935 г.

Одна подробность из "Парцифаля"

В легенде о Парцифале есть очень знаменательный эпизод. Говорится, что король Рыболов захворал и никто не мог его излечить. Хворь была странная: он терял силы, дряхлел, все больше впадал в немощь. Напомним, что этот король Рыболов, вокруг которого выстроено столько гипотез, в некоторых средневековых текстах фигурирует как король Грааля или, по крайней мере, связан напрямую со святым потиром, привезенным в Европу, по легенде, Иосифом Аримафейским. Здесь не место – да в наши намерения это сейчас и не входит – разбирать символический смысл прозвища Рыболов. Довольно сказать, что *рыба* символизировала *обновление, возрождение, бессмертие.* Чаша святого Грааля иногда называется "богатый рыбарь" – например, в "Иосифе Аримафейском" Робера де Борона. С другой стороны, в легенду о Граале вторглись элементы нордической, кельтской традиции. А в кельтской традиции говорится о "рыбе премудрости" (salmon of wisdom), которая тоже может соприкасаться с Граалем и королем Рыболовом[1]. Загадочный недуг короля Рыболова повлек за собой угасание всякой жизни вокруг замка, где погибал суверен. Реки замерли в руслах, деревья не зеленели, земля не рожала, цветы не цвели. Говорится: такой силой обладало это непонятное проклятие, что даже птицы разучились любить и голубки чахли в одиночестве среди руин, доколе их не касалось крыло смерти. Сам замок тоже тронуло разрушение. Стены постепенно оседали, словно бы их подтачивала невидимая сила; гнили деревянные полы, камни выпадали из парапета и рассыпались в прах, как будто счет шел не на минуты, а на века. Чтобы подчеркнуть значение подробности, ради которой я пишу этот комментарий, я привел описание картины всеобщего упадка и королевской болезни по двум источникам: первый – о сэре Говене, второй – о Парцифале[2]. Со всех концов света в замок прибывали рыцари, наслышанные о славе короля Рыболова. Но их так изумляло зрелище распада и непонятная хворь короля, что они забывали, зачем приехали, – а приезжали они спросить о судьбе и местонахождении чаши святого Грааля, – и в замешательстве представали перед недужным, выражая ему сочувствие и пытаясь подбодрить. И с приходом каждого нового рыцаря король еще больше слабел и еще больше дичали окрестности. Тех же рыцарей, что оставались в замке переночевать, наутро находили мертвыми.

Но вот к королю Рыболову, не зная о его недуге, отправился Парци-

1. A. Nutt. Studies on the Legend of the Holy Grail. London, 1888, p. 158. (*Прим. авт.*)
2. Цит. по: Jessy L. Weston. From Ritual to Romance. Cambridge, 1920, p.12–13. (*Прим. авт.*)

фаль. Кстати сказать, Кретьен де Труа в своем "Персевале", романе, как известно, незаконченном, умышленно изображает героя простаком. Чтобы подчеркнуть божественность дара, преобразившего паладина, этот автор всеми силами старается сделать из него Perceval le simple[1] или, по выражению Натта, the Great Fool[2] — тип, распространенный в мировом фольклоре[3]. Курьезна сцена отъезда Парцифаля. Все рыцари смеются, наблюдая, как он карабкается на лошадь, как она упирается и как он вынужден прибегнуть к плетке, чтобы сдвинуть ее с места. Прибыв ко двору короля, Парцифаль продолжает смешить публику своей неотесанностью. И не только — он еще и придурковат. Встретив девушку, он набрасывается на нее с поцелуями, поскольку ему-де сказали, что к этому обязывает куртуазность. Вам не кажется, что этот Парцифаль — по крайней мере так, как его понимал Кретьен де Труа, — самый настоящий прототип Дон Кихота? Налицо совпадение психологических черт и даже сходство деталей и эпизодов. Взять хотя бы лядащую лошаденку Парцифаля и сцену отъезда (мать пытается его удержать, чтобы "не подняли на смех при дворе короля") или эпизод с девушкой, которую он бросился обнимать. Но самой знаменательной кажется мне *придурковатость* обоих рыцарей. За их бестолковым и юродивым поведением кроется Дар — у Парцифаля, Мечта — у Дон Кихота (как жаль, что Унамуно, который читал все на свете, пропустил смачные описания Кретьена де Труа!). Рыцарь Печального Образа обрел бы истинного друга в Perceval le simple, попирающем все правила рыцарского поведения и все же несущем в себе Дар, который превратит средневековое рыцарство в новую человеческую породу.

Но вернемся в замок короля Рыболова, куда приезжает и Парцифаль. В первый свой приезд он тоже никак не похож на "посланца". Он уходит, *так и не спросив короля Рыболова о Граале*. И только во второй раз, когда он приближается к королю Рыболову и *задает ему верный вопрос*, вопрос *необходимый*, король как по волшебству встает с одра — да еще помолодевшим.

В параллельной легенде, о сэре Говене, стоит герою спросить про *Копье*, пронзившее Спасителя на кресте (а копье есть субститут чаши Грааля или ее дополнение), как "воды снова начинают течь в своих руслах и все леса покрываются зеленью". В других версиях легенды упоминается о чудесном преображении замка — вследствие простого *вопроса*, заданного Парцифалем, — и об оживлении всех его окрестностей.

***

Довольно было одного-единственного вопроса, чтобы исполнилось это чудо. Однако вопроса *долгожданного*. Никто не осмеливался его задать до Парцифаля, ни один рыцарь не был так обуреваем поисками Грааля, чтобы преступить правила благовоспитанности, не позволяющие приставать к больному с расспросами, и *спросить* про тайну святой чаши — потому и усугублялась немощь короля, потому и сместился ход вселенской жизни. Значит, это был не простой вопрос, наподобие тех, что задавали до Парцифаля другие рыцари, а вопрос единственно верный, единственно плодотворный и долгожданный. Вопросы остальных рыцарей порождались удивлением или учтивостью, их не жгло желание добыть истину и спасение — а именно это символизирует для средневековья чаша святого Грааля: истину и спасение. И лишь явившийся за ней в замок Парцифаль ставит *один*, но *верный вопрос*. Причем, заметьте, произнесенный вслух, он просветляет не только самого Парцифаля. Прежде нежели получен ответ, где находится Грааль, произнесение верного вопроса влечет за собой вселенское, на всех уровнях жизни, обновление: воды текут, леса зеленеют,

1. Персеваль-простак (*франц.*).
2. Юродивый (*англ.*).
3. Ср.: Eugène Anitchkof. Joachim de Flore et les mileux courtois. Rome, 1931, p. 308–309. (*Прим. авт.*)

плодородие осеняет землю, к королю возвращается сила и молодость.

Этот эпизод из легенды о Парцифале представляется мне чрезвычайно знаменательным для статуса человека в мире. Нам словно бы жребием предопределено отворачиваться от *верного вопроса*, главного, насущного — единственного, который имеет значение, который плодотворит. Вместо того чтобы спросить себя по-христиански: где истина и путь, — мы блуждаем по лабиринту вопросов и дел, может быть не лишенных притягательности и даже не вовсе бессмысленных, но которые не плодотворят нашу духовную жизнь.

Эпизод замечательным образом выражает тот факт, что *верный вопрос* еще до того, как на него получен ответ, — уже обновляет и оплодотворяет не только человека, но и весь Космос. Ничто точнее не отражает упадок, в который приходит человек, не задумывающийся о смысле жизни, чем эта картина всего сущего, томящегося в ожидании вопроса. Нам кажется, что мы томимся поодиночке, если не хотим спросить, где истина и путь. Мы думаем, что наше спасение или наш крах никого не касаются. Нам кажется, что круг наших мыслей, хороших или дурных, четко отграничен от чьих бы то ни было, кроме наших собственных.

Но это неправда. Общность людей простирается и на их духовную судьбу, не на одни только низшие уровни — инстинктов или экономических интересов. Человеку, живущему среди себе подобных, трудно спастись в одиночку, если его соседи даже не ставят вопрос о спасении. Такой глубокий и оригинальный мыслитель, как Ориген, утверждал ничтоже сумняшеся, что люди спасутся только все вместе (apokathastasis), а не порознь. Трудно сказать, в какой мере прав тут Ориген, но несомненно, что соборность остается идеалом христианской жизни в любой ее форме (что касается моего толкования эпизода из "Парцифаля", то я сказал бы, что вся природа страдает от небрежения человека кардинальным вопросом). И эта соборность простирается не только на все человеческое сообщество, к которому мы принадлежим, но и на обступающую нас космическую жизнь, одушевленную или с виду неодушевленную. Paideuma[1] страдает и вырождается по мере того, как мы разменяваем жизнь по пустякам. Тратя время на вздор и поверхностные вопросы, мы губим не только сами себя, как сами себя губили бестолковые рыцари из легенды о короле Рыболове. Мы губим, подвергая медленной смерти, выхолащиванию, частичку Космоса. Когда человек забывает спросить, в какой стороне искать источник своего спасения, чахнут поля и хохлятся, бесплодные, птицы. Какой яркий символ слиянности человека с Космосом!..

И тогда, в свете этого эпизода из "Парцифаля", сразу становится видно величие роли тех, кто дерзает спрашивать — и спрашивать про истину и жизнь! Мучительные вопросы, лишающие сна и разъедающие душу этих людей, поддерживают и питают весь человеческий род. Через муки этих избранных плодоносящей и победоносной становится культура всякого народа и история прокладывает свой путь во времени. Не только люди могут пребывать *в добром здравии* благодаря вопросам, которые задают себе эти несколько избранных, принимающих, как Парцифаль, муки за нашу духовную лень, но и вся природа, которой грозит упадок и погибель из-за нехватки у нас ума, благородства и отваги. "Парцифаль" навевает на меня мысль, что за одну ночь нас поразили бы болезнь и бесплодие (как жизнь в замке короля Рыболова), не будь в каждой стране, в каждый исторический момент, горстки смелых и просветленных, тех, кто умеет *задать себе верный вопрос*...

1938

Перевод с румынского
Анастасии Старостиной

1. Здесь: вселенная (*лат.*).

Алексей Зверев
Как стать интеллектуалом

Книга Умберто Эко "Как написать дипломную работу" вышла в переводе Е. Костюкович под грифом "Учебное издание" (М., Книжный дом "Университет"). В этом качестве она сильно устарела за двадцать четыре года, что отделяют русскую публикацию от итальянской. Нынешние дипломники, которых еще не было на свете, когда профессор Эко составлял свое руководство, попросту многого не поймут из его рекомендаций.

Им, например, сложно будет уразуметь, для чего он с такой настойчивостью советует вычитывать текст после перепечатки и подчеркивать курсивы волнистой линией. О пишущей машинке у них понятие примерно такое же отчетливое, как о гаубице очаковских времен. Разъяснения Эко, что следует выписывать на отдельный листок библиографию из каждого просмотренного труда, а потом переносить на карточки все нужное, тоже покажутся, по меньшей мере, избыточными. К чему трудиться, если компьютер в минуту выдаст массу информации, рассортировав ее в желаемом порядке?

Сидение в библиотеках и две-три поездки в крупные научные центры, где отыщется какая-нибудь из необходимых, но труднодоступных работ, — это, на взгляд Эко, абсолютно необходимое предусловие любого исследования, которое делается на совесть. Но с тех пор появился Интернет, и, обладая некоторыми нехитрыми навыками, можно без больших затруднений получить доступ к очень обширным материалам по своей теме, не выходя из дома. Все необходимое под рукой, даже если предстоит заняться предметом довольно специфическим. Хотя бы одним из тех, которые называет Эко: влиянием философии дзен на стиль жизни американских битников в середине XX века или политикой итальянских коммунистов в области народного образования, когда в 60-е годы у власти стоял левоцентристский блок.

Однако, независимо от ее скромной практической цели — служить руководством выпускникам, работающим над дипломным сочинением, — сама книга, конечно, воспринимается сегодня вовсе не так, как, должно быть, воспринималась первыми читателями. В 1977-м автор еще не стал тем Умберто Эко, чье имя известно во всем литературном мире. Пройдет три года, прежде чем появится "Имя розы". Компендиум для дипломников составляет университетский преподаватель, видный семиотик, историк и культуролог с прекрасным реноме в академических кругах, но едва ли кому-то известный за их пределами. Книжку, вышедшую в Милане, покупали итальянские студенты-гуманитарии и, возможно, кое-кто из их научных руководителей. Московскую книжку прочтут очень многие из тех, кому уже давно не грозит перспектива писать и защищать диплом, да и диссертацию тоже.

Ожидания этой категории читателей не будут обмануты. Не уставая подчеркивать, что назначение его книги чисто прикладное, Эко тем не менее написал нечто далеко выходящее за пределы утилитарных задач. Он подробнейшим образом объясняет, как надлежит пользоваться каталогом и отчего следует указывать в библиографии не только год и место выхода упомянутой книги, но также издательство, которое ее выпустило. А по существу речь у него идет не только и не столько об элементар-

ных навыках научного исследования. Речь идет о том, как рядовой студент, выходец из не самой благополучной семьи с очень средними культурными потребностями, становится интеллектуалом. Если, конечно, он им становится.

Дипломная работа предоставляет для этого определенный шанс. Эко не хотелось бы, чтобы он был упущен. О том, как часто шанс бывает упущен, причем жизнь не предоставит другого, Эко с его богатым преподавательским опытом прекрасно известно. Он честно предупреждает, что на его книгу не стоит тратить времени тем, кто относится к большой категории дипломников, которым не надо ровным счетом ничего, кроме бумажки с печатями, облегчающей служебное продвижение в каком-нибудь офисе. Для этой публики самое разумное — временно пересмотреть свой бюджет и, отказавшись от посещения дискотек, оплатить услуги профессионала, который за умеренный гонорар изготовит что-нибудь гарантирующее твердую тройку — хоть о позиции клерикалов в городском управлении Модены перед Первой мировой войной, хоть о комментариях св. Фомы Аквинского к трактату Псевдо-Дионисия.

Скорей всего те, кому действительно адресована книга Эко, тоже отправятся искать службу в компании, занимающейся недвижимостью или рекламой, а исключения будут редкими. Причастность к кругу тех, кого называют интеллектуалами, не создает житейских выгод, скорее наоборот. И все-таки есть нечто притягательное в том, чтобы принадлежать именно к этому кругу. Есть некий материально не реализующийся, но существенный выигрыш, даруемый вхождением в ту сферу, где смыслом жизни может оказаться расшифровка непрочитанных древних рукописей или описание системы указательных местоимений в трактатах по ботанике, относящихся к XVIII веку. Своими читателями Эко видит тех, для кого этот выигрыш настолько реален, что тут нет повода для дискуссий. За четверть века после выхода его книги такие люди, к счастью, не перевелись, а революция в информатике ничуть их не переменила по существу. Она лишь облегчила им работу, бессмысленную для здравомыслящих.

Самые интересные страницы книги Эко те, где он пробует реконструировать процесс приобщения гипотетического среднего студента к интеллектуальным ценностям, которые вдруг оказываются для него чуть ли не главенствующими. Взят крайний случай — заочник, провинциал, который слишком мало зарабатывает в своей конторе, чтобы покупать дорогостоящие научные издания или заказывать микрофильмы книг, не найденных в городской библиотеке с ее стандартной системой комплектования. Пока не пришло время взяться за диплом, этот студент был озабочен тем, чтобы как-то сдать очередную сессию, тут же выбросив из головы все, что лихорадочно зубрил к экзамену. В университете, куда надо добираться несколько часов на поезде, он бывает редко, видел своего научного руководителя только один раз месяца три назад, и тот, торопясь на лекцию, бросил ему в коридоре несколько фраз, посоветовав заняться концепцией метафоры у теоретиков итальянского барокко. Сам руководитель над схожей темой не работал, но это не облегчит задачи: ее до тонкостей изучили будущие оппоненты, и уж они непременно укажут на вопиющие промахи, если диплом наспех состряпать из того, что под рукой.

Первый порыв такого студента легко предугадуем: надо сделать толковую компиляцию, порывшись в справочниках и популярных историях литературы. Контора милостиво разрешает своему сотруднику дважды в неделю не приходить на службу после обеда, и он отправляется в библиотеку с надеждой быстро отыскать подходящие тексты, которые потом будут пересказаны без употребления кавычек, но так, чтобы комиссия, по крайней мере, уверилась, что дипломник сравнительно начитан в избранной им области. Но вот беда:

тексты для переписывания сами собой не находятся, их надо искать. А для этого требуется кое-какая эрудиция вместе с привычкой просиживать долгие часы в систематических каталогах, где есть разделы "Поэтика", "Риторика" и "Литература XVII века (стиль)".

Поняв, что никуда не деться от изучения истории вопроса, дипломник принимается читать или хотя бы перелистывать основные работы своих предшественников и вскоре выясняет: этих работ великое множество, однако ни одна не содержит в себе готовых решений взятой им проблематики. Пока он шел к своему выводу, который легко могли бы предугадать люди более искушенные в подобных материях, в его голове понемногу укоренилась мысль, что посещение библиотеки не обязательно носит принудительный характер. Оказывается, что порой оно и в радость: попалось кое-что не оцененное другими, любопытно, до чего разные суждения высказывались по поводу одних и тех же фактов. Скучный текст, который триста лет назад сочинил кардинал Сфорца Паллавичино, провоцирует — кто бы подумал! — нешуточные страсти разных толкователей, и они чуть ли не готовы сойтись друг с другом в смертельной схватке.

Ниточка разматывается: чтобы взять в толк, что подразумевал этот Паллавичино, надо постичь природу барокко. Значит, неизбежно предстоит окунуться в духовную атмосферу XVII столетия да еще и освоить хотя бы основные правила искусства риторики. То есть достать с полки Аристотеля и какие-то пояснения к нему.

Где-то через месяц-другой Грасиан, Лили, Опиц и другие корифеи европейского барокко, о которых дипломник прежде, скорей всего, даже не слыхивал, становятся для него персонажами из самого близкого окружения. Общение с историками этой художественной эпохи — Курциусом, Хаузером, Баттисти, Джетто — делается куда занимательнее, чем разговоры с сослуживцами, которые обсуждают вероятность смены руководства компании, достоинства мыльной оперы, показанной популярным телеканалом, или перипетии вчерашнего футбольного матча. Изъяны общего гуманитарного образования, само собой, сказываются, и та часть диплома, где надо выстраивать теоретическую или историческую перспективу исследования, напоминает попытку перейти минное поле. Времени в обрез, что-то крайне необходимое так и не удалось заполучить в руки. Принявшись за собственный текст, дипломник вынужден кое-что цитировать по другим текстам, а кое-где откровенно списывать. Но уже непременно с отсылками, так как появились свидетельства обретенной академической культуры, которая запрещает прибегать и к плагиату, и к блефу, то есть к обобщениям по поводу непрочитанного.

Зато, перейдя непосредственно к разбору и комментированию трактата Паллавичино, дипломник, очень вероятно, испытает такое чувство, что уж перед самим собой он действительно безупречен. Текст проработан им с необходимой основательностью, контексты обозначены в меру того, насколько это было ему по силам и по реально доступным материалам. Он знает все самое важное, что за три века было сказано об этом трактате, и, соглашаясь с прежними интерпретаторами или их оспаривая, стремится заявить собственный взгляд на проблему, собственную позицию. Открытий он, скорее всего, не сделает, зато докажет, что, при необходимой заинтересованности своим предметом, каждый в силах "сварить неплохой супчик ну не совсем из топора, но все же и без лангустов и артишоков".

Этот супчик для Эко, пожалуй, вкуснее, чем изысканные блюда, изготовленные самыми опытными кулинарами. И не имеет большого значения то очевидное обстоятельство, что, защитив диплом, студент вернется в офис, где такие супчики не нужны абсолютно никому. Суть дела в том, что, пока супчик закипал и булькал, у повара переменился сам стиль мышления. А значит, хотя бы отчасти, другими стали жизненные ориентиры и приоритеты. Эко не ис-

ключает даже такого продолжения, когда бывший дипломник поймет, что ему скучно жить без постоянного контакта со старинными авторами, рассуждавшими о прекрасном, о стиле и о благе. Тогда он забросит свою контору, станет аспирантом, будет жить крайне скудно (например, выберет монастырский пансион, где приходится существовать в буквальном смысле на хлебах), но уже никто его не оторвет от "Подзорной трубы Аристотеля", сочиненнной в том же XVII веке Эмануэле Тезауро.

Впрочем, Эко не забывает предупредить читателей, чтобы они не ждали от него "советов ни что вам писать в дипломе, ни как вам строить вашу жизнь". Советы возможны, но неэффективны, потому что тут каждый раз — дело личного выбора. Разумеется, выбор далеко не всегда окажется таким, как у описанного Эко дипломника из маленького города Алессандрии, расположенного на порядочном удалении и от Турина, и от Генуи, куда этот дипломник, войдя во вкус, так мечтал съездить, чтобы прямо с вокзала ринуться в тамошние книгохранилища. Дипломник — лицо вымышленное, иллюстрация, убеждающая, что интеллектуалом можно стать, даже если происходишь из среды, далекой от интенсивной культурной жизни, и живешь вдали от крупных академических центров.

Люди с богатым опытом университетского преподавания подтвердят, что такой случай вовсе не экстраординарен. Вопрос, в конечном счете, решается не столько внешними условиями, сколько собственной нацеленностью на те или совсем другие задачи, собственным пониманием престижа и, если угодно, призвания. Книга Эко и написана как раз об этом: о понимании престижа и ценностей, которые признает для себя важнейшими человек, заканчивающий образование.

Пусть — случай самый вероятный — практически все это ему не понадобится: ни полученные им знания о барокко, ни теория Курциуса, ни Аристотель. По высшему счету, вознаграждение все-таки не в том, что свидетельство об окончании университета окажется кстати, когда дирекция фирмы будет пересматривать штатное расписание. Истинным вознаграждением станет культура, то есть интеллектуальные запросы такого порядка, когда человек уже не в состоянии обходиться суррогатами вместо неподдельных духовных обретений и не может удовольствоваться тем, что в статистических измерениях он более или менее благополучен, а там хоть трава не расти.

Обзавестись нужной бумагой с печатями дело нехитрое, но настоящий диплом — это пришедшее новое самосознание, которое существенно перестраивает и порядок жизни того, кто его достиг, и даже стиль бытового поведения. Оно, например, дарует умение вести диалог, в наши дни ставшее редкостью. По разным поводам Эко напоминает о том, что среди главных отличительных свойств действительно культурного человека должна быть названа способность выслушивать оппонента, даже не соглашаясь с ним решительно по всем пунктам. Специалисты знают: "У заклятого противника можно взять блестящие идеи", — но поиск идей, которые приходят из самых неожиданных источников, пожалуй, не самое существенное. Куда важнее раз навсегда усвоить, что одно из подтверждений интеллектуальной состоятельности в том, чтобы по мере возможности избегать оценочных суждений, "тем более когда чей-то стиль мышления отличается от нашего или отличается идеология". Правило, которое сформулировано Эко, приложимо, разумеется, не только к научной полемике. Нам ли, помнящим собственный опыт последнего десятилетия с его политическими и прочими конфронтациями, этого не знать.

Эко вспоминает курьезный казус, когда из представленного дипломного сочинения, где были соблюдены почти все неизбежные формальности, явствовало, что автор понятия не имеет, в каких отношениях находились Вольтер и Аруэ. Подобных проявлений невежества легко избежать: всего-то и требуется две минуты на статью в любом биографическом сло-

варе, который удостоверит, что господину Аруэ угодно было подписывать свои сочинения псевдонимом. Но осведомленность — не синоним интеллекта, который испытывается по другим критериям, в частности и по такому, который определен Эко формулой "научное смирение". Оно, помимо многого другого, исключает снобизм, заставляющий пуще всего на свете страшиться, что высказанная мысль окажется внятной для всех, включая непосвященных. Героиня чеховской "Свадьбы" жаловалась на одного из гостей: "Они хочут образованность свою показать и всегда говорят о непонятном". Манера телеграфиста по фамилии Ять сделалась неодолимым искушением для многих отечественных претендентов на статус интеллектуала современной формации: похоже, они решили, что нет греха непростительнее, чем словечко, сказанное "в простоте". А вот Эко уверенно пишет: "Возьмите великих ученых или крупных критиков, и вы увидите, что за редчайшими исключениями все они прозрачны и не гнушаются тщательно разжевывать любую мысль". И сам он не гнушается объяснять неопытным, как должна быть оформлена библиографическая сноска. А ведь рукопись, которая выйдет в свет под названием "Имя розы", у него уже в работе.

Стать интеллектуалом довольно просто, если будут сочтены достаточными чисто внешние показатели — допустим, ученая степень, которая получена от университета с именем. Или должность в научном учреждении с громким названием, или непременное присутствие на каких-нибудь дискуссиях, считающихся делом первостепенной важности. Или несколько публикаций в журналах, читаемых только теми, кто в них печатается, да умение при любом удобном случае ввернуть что-нибудь вычитанное в книжках деконструктивистов и щегольнуть словцом вроде "дискурса" или "хронотопа" (чаще всего смутно представляя себе, что эти термины означают).

Но на деле интеллектуалами становятся — верней, день за днем стремятся поддерживать в себе это особое духовное и моральное состояние — всю жизнь. Книгу Умберто Эко нужно прочесть хотя бы с той целью, чтобы напомнить самим себе об этой простой, но трудно усваиваемой истине.

О "*Элементарных частицах*" М. У*эльбека*

"Элементарные частицы" Мишеля Уэльбека – произведение особого рода; я бы назвал его романом-вызовом. Эстетическая составляющая его отходит на второй план, а вперед выдвигается жгучая проблематика "проклятых вопросов", непосредственно касающихся почти любого человека, исчезает та дистанция между личностью читателя и произведением, которая позволяет – несмотря на сильнейшее нравственное впечатление и переживание – все же различать понятия "зрелище" и "реальная жизнь".

В литературе встречаются такие блокбастеры, при появлении которых происходит массовое отождествление читателей с героями (и их проблемами) данного художественного произведения.

Классический пример подобного рода это, конечно, гётевский "Вертер". Мгновенный, оглушительный всеевропейский успех был обусловлен тем, что многие тысячи молодых людей (и людей, помнящих эти годы) в яркой и четкой форме прочитали и пережили вновь свои юношеские страдания, тот болезненный переход от детства к взрослой жизни, те взрывы мрачного и исступленного настроения, когда кажется, что самоубийство является простейшим и желанным разрешением всех проблем жизни. Подавляющее большинство людей проходили и проходят такой нелегкий период, но мало кто о нем решался говорить откровенно до Гёте – это настолько болезненно-личное переживание, что узнай о нем другие люди, не избежать, казалось, позора и унижения. И вот как гром среди ясного неба – роман Гёте, в котором все эти люди увидели свой личный мучительный опыт, который тщательно скрывался от окружающих. Потрясение и вместе с тем радостное избавление от мук стыда за "недостойное поведение в юности": оказывается, ты вовсе не был отщепенцем в людском сообществе, оказывается, и другие испытывали нечто подобное. Впрочем, не для всех чтение романа оканчивалось так благостно; очень многие черпали в нем силу и решительность для того, чтобы сделать последний шаг в жизни, – по всей Европе прокатилась волна "вертеровских" самоубийств.

Сам же Гёте подчеркивал, что написал не апологию самоубийства, а наоборот, роман-преодоление тех мощных и негативных сил, которые бродят в юном человеке. Во всяком случае, именно этот роман позволил самому Гёте преодолеть мысли о самоуничтожении: осуществив их в романе, он избавился от них в жизни.

Шумный успех романа Уэльбека был следствием попадания в болезненную и особо не афишируемую проблему "сорока лет" или "середины жизни". То есть о ней писали и пишут очень много, но обычно в контексте индивидуальной судьбы конкретных людей, которые "земную жизнь пройдя до половины, вдруг очутились в сумрачном лесу", резкого и болезненного осознания, что лучшая половина жизни уже прожита и наступает медленный, но неуклонный спуск вниз, с сопутствующим этому процессу старением, болезнями, потерей близких людей, потерей сексуальной привлекательности, угасанием физических потенций при сохранившемся и даже усиливающемся желании сексуальной близости (трагедия старения не в том, что старишься, а в том, что при старении тела у человека остается

молодая душа с ее мыслями, чувствами, желаниями).

Главное отличие при рассмотрении этой проблемы у Уэльбека в том, что он придал ей глобальный, всеобщий характер: кризис "сорока лет" испытывает не определенная прослойка людей (общества), а весь западный мир. Последний заметный всплеск надежд на обновление и коренное переустройство пришелся на бурные шестидесятые годы, одним из основных лозунгов которых было осуществление "сексуальной революции". Не лишним будет коснуться некоторых аспектов последней. Сам термин "сексуальная революция" не совсем точен. Когда поднялась волна молодежного движения, одним из основных объектов их атак был институт традиционной буржуазной семьи. Несмотря на внешнюю благопристойность и чинность, буржуазная семья была прежде всего инструментом подчинения и воспитания молодого поколения в духе буржуазных идеалов с их непременными атрибутами: эгоизмом, своекорыстием, раболепным подчинением старшим, топтанием обездоленных, лицемерным соблюдением приличий в супружеской жизни (брак – прежде всего торговая сделка, и все формальности ее должны быть строго соблюдены: при наличии видимых приличий можно сколько угодно развлекаться на стороне, главное, чтобы ничего не вышло наружу). Наиболее чуткая часть молодежи задыхалась в этом вымороченном и холодном мире, отсюда движение "детей-цветов" (а еще раньше, в пятидесятые, движение "битников" и венских акционистов).

Естественно, бросалась в глаза вызывающая свобода сексуальных отношений, но это не было самоцелью. Голубая мечта шестидесятых – преодоление отчуждения и одиночества современного человека в некоей коммуне, где все друг другу братья и сестры, где нет места индивидуальной собственности (в том числе и в сексе), где совместно воспитывают детей, где помогают друг другу достойно встретить старость и смерть (см. Край Чудес в романе).

Да и сама свобода и даже разнузданность секса рассматривалась в духе некоего гуманизированного садизма: человечество страдало от расовых, социальных, религиозных конфликтов не в последнюю очередь из-за того, что огромное число его не могло удовлетворить свои сексуальные желания и пристрастия в социально-приемлемых рамках людских сообществ. И неудовлетворенность эта выплескивалась в крайние формы агрессии, ненависти, потребности разрушения.

М. Уэльбек подводит беспощадную черту под этими прекраснодушными мечтами. Конец девяностых годов XX столетия. Поколение "сексуальной революции" достигло 40–50 лет. Счастливы ли они? Нет. Свальный грех не сделал их ближе друг другу, они остались такими же самовлюбленными и несчастными эгоистами, какими были и их родители. Да, они не преследуют своих детей, но и не испытывают к ним любви – это конкуренты, которые выталкивают их с отвоеванного места под солнцем. Родители и дети похожи на зверей, помещенных в одну клетку времени. Они могут бесконечно менять своих сексуальных партнеров, но в итоге после сорока им не избежать одиночества, пустоты, холода (слова, очень часто появляющиеся в романе). Даже если вдруг кому-то покажется, что он достиг какого-то счастья и гармонии, это лишь иллюзия, которая быстро тает.

Так Брюно (один из главных героев романа) после долгих трагикомических мытарств вроде бы повстречал идеал женщины, с которой он почувствовал себя впервые счастливым. Но стоило ей серьезно заболеть, как он почти сразу решает оставить ее (хотя отлично понимает: она последний шанс в его жизни, и после нее лишь пустота и смерть – по эстетике "сексуальной революции"). Рыцарем без страха и упрека является ей Брюно, но нет родства душ – прежде всего и превыше всего соотношение и сопряжение тел, и если тело дало сбой, то это необратимая трагедия и невосполнимая потеря для обоих.

При всем ужасе смерти они без колебания выбирают ее, если альтернативой является инвалидность. Поэтому в поведении и в словах подруги Брюно нет и тени упрека ему за то, что он оставляет ее. Она почти сразу уходит из жизни, когда узнает, что будет прикована до конца дней своих к инвалидной коляске. Здесь нет ничего от стоического идеала спокойного и величавого прекращения жизни, когда нет возможности достойно ее продолжать, ведь и полное удовлетворение всех желаний не выводит из тупика. (Путь Дэниэла, который, пресытившись плотскими удовольствиями, вернулся к классическому садизму, зверским пыткам и убийствам десятков людей.) И путь чистого знания — путь Мишеля Джерзински — ведет к тому же одиночеству, холоду, разрушению. К чему вся его истовость в науке на благо человечества, когда единственный разумный путь для человечества — исчезнуть, чтобы на его основе возникла новая генерация живых существ, полностью свободных от его недостатков (что является сюжетным стержнем романа, пусть формальным и пародийным).

По духу и темпераменту опус М. Уэльбека мне более всего напоминает "Крейцерову сонату" Л. Н. Толстого, тем более что и вопросы, поднятые в двух произведениях, и способы их разрешения необычайно близки — с учетом, конечно, временных и культурных различий.

В "Крейцеровой сонате" из факта личной семейной трагедии, постигшей главного героя (серьезные семейные проблемы были и у самого Л. Толстого), выводится радикальный и всеобъемлющий вывод: счастливая семейная жизнь вообще невозможна. Каждая семья — это более или менее замаскированный ад с постоянной войной на полное уничтожение "противников", прикованных друг к другу плотским желанием, заботами о чадах, заботами о хлебе насущном. Единственный выход из непрекращающегося кошмара — полное и тотальное воздержание всего человечества от сексуальных отношений, только тогда наступят мир и гармония. Правда, результатом этого великого мира будет гибель человечества. Но кто сказал, что оно будет существовать вечно? Все ведущие религии мира, все наиболее авторитетные научные теории предсказывают и показывают ограниченный характер существования человечества, его неизбежный конец по исполнении своей исторической миссии.

Роман Уэльбека обладает теми же сильными и слабыми сторонами, что и "Крейцерова соната". Сильные стороны — это необыкновенно яркое и беспощадное изображение проблем и болезней западного мира. Слабые — попытка решения проблем (или показ, что здесь нет решений) в общечеловеческом масштабе. Болеют все, но выбираются из болезни самостоятельно и по-разному. Скверное использование свободы еще не аргумент против самой свободы. (У Л. Толстого цивилизация вообще должна погибнуть.)

Человечество погрязло в пороках, но это не оправдывает пороки отдельного человека. Уэльбек весьма издевательски прохаживается по поводу метода "личного самосовершенствования", но если человек не достиг в нем положительных результатов, это еще не говорит о тупиковости самого стремления, а лишь о слабости воли и характера человека, пытающегося совершенствоваться. (Сужу на основе личного опыта — при всех моих частых провалах в этом направлении я возлагаю вину отнюдь не на коренную порочность всего человечества, а прежде всего на самого себя. "Делай, как должно!")

Сергей Потолицын,
г. Сыктывкар

Глазами художника и моралиста

Чарльз Диккенс. *История Англии для юных.* Перевод с английского Т. Бердиковой и М. Тюнькиной. М., Издательство Независимая Газета, 2001

Две книги Чарльза Диккенса оставались до недавнего времени неизвестными российскому читателю. В отличие от романов Диккенса, которые сейчас вошли в круг детского чтения, но в свое время предназначались взрослым (и читались ими), эти две книги были адресованы непосредственно детям. Одну из них Диккенс, правда, вовсе не собирался публиковать — речь идет о "Жизни Господа нашего", рассказанной им своим детям, когда те были маленькими. Записанная в небольшой тетрадке (1849), о которой, по-видимому, не знал даже его друг и биограф Джон Форстер, она впервые увидела свет в Англии лишь в 1934 году и, несмотря на переиздание 1969 года, остается и по сей день, пожалуй, наименее известным произведением великого романиста как на его родине, так и у нас (впрочем, недавно появился русский перевод). Отчего эта книжка не печаталась в советские времена, гадать не приходится.

Судьба второй детской книги Диккенса, в силу разных причин тесно связанной с первой, сложилась иначе: "История Англии для юных", также написанная им для собственных детей, печаталась с интервалами в журнале "Household Words" в 1851—1853 годах, параллельно выходя тремя отдельными выпусками (1852, 1853, 1854). Диккенс предпослал изданию посвящение, в котором четко обозначил свой взгляд на это сочинение: "Посвящаю эту книгу моим дорогим детям с надеждой, что в недалеком будущем она поможет им читать более толстые и более ценные книги на ту же тему".

Скажем сразу, что детской эту книгу можно назвать лишь с весьма серьезными оговорками. Хотя в английском титуле значится "The Child's History of England", переводчицы Т. Бердикова и М. Тюнькина с полным основанием назвали книгу по-русски "История Англии для юных" (отвлекаюсь сейчас от стилистической окраски этих "юных"). И дело здесь не только в том, что первоначально книга была обращена старшему сыну писателя Чарльзу (р. 1837), который к тому времени был уже далеко не ребенком. В середине XIX века слово child все еще использовали весьма широко, имея в виду и собственно "ребенка" ("младшего возраста", как сказали бы мы теперь), и "подростка", и "юного взрослого" (современный английский термин, соответствующий нашему "юношеству"). Читая "Историю Англии" Диккенса, убеждаешься в том, что она вряд ли предназначалась детям младшего возраста; это скорее "семейное чтение", в котором участвуют в основном старшие дети и родители, как это обычно происходило, в частности, в семье самого Диккенса (как известно, он был великолепным чтецом). Автор делает лишь очень небольшие скидки на возраст своих юных читателей, избегая, насколько возможно, самых ужасных подробностей в описании военных баталий, а также примеров нравственной разнузданности, царившей в разных слоях общества.

Разумеется, Диккенс — не историк в прямом смысле слова; впрочем, он и не претендует на эту роль. Можно бы даже сказать, что историю Англии он передает как бы из вторых рук, правда,

опираясь на солидные труды историков и документы. (Весьма многим он обязан, в частности, своему старшему современнику Т. Б. Маколею, две первые книги знаменитой "Истории" которого вышли в 1848 году.) И все же это *его* история Англии. Диккенс излагает события по-своему, не только выразительно и драматично, но и глубоко ангажированно, зачастую сдвигая акценты и давая свою интерпретацию фактам и людям. С некоторыми из его оценок современный читатель, возможно, не всегда безусловно согласится, к тому же историки располагают ныне фактами, неизвестными в XIX веке, Диккенс охотно использует также легенды и исторические анекдоты, позволяющие живо представить время и характеры.

"История" Диккенса весьма далека от традиционного повествования о "доброй старой Англии". Оно и понятно: сатира в палитре всемирно прославленного автора всегда занимала особое место, к тому же он внимательно наблюдал политические и социальные события своего времени — у себя на родине, на континенте и за океаном (движение за отмену хлебных законов и работорговли, борьба за парламентские реформы в Англии, первое широкое пролетарское движение за хартию 30-х и 40-х годов — чартизм, революции в Европе и прочее). Немалую роль играет здесь и то, что к прошлому Англии обращается писатель-демократ, человек, в юные годы испытавший нищету и всегда помнивший об этом (кто сейчас не знает историю о фабрике сапожной ваксы, где мальчиком пришлось работать Диккенсу, а ведь он скрывал это до конца своих дней!). И хотя о новом времени Диккенс не пишет, личный взгляд художника, осмыслявшего исторический опыт своей эпохи, не мог не найти выражения в этой книге.

Начав повествование с древних времен и Римского завоевания, Диккенс завершает его реставрацией Стюартов, поясняя в краткой заключительной главе: "О событиях, последовавших за "Славной революцией" 1688 года, очень трудно рассказать доступно в такой книге, как эта".

Построение книги достаточно традиционно: в центре каждой главы стоят фигуры правителей и монархов с их окружением — государственные, политические, церковные и прочие деятели, игравшие роль в судьбах страны. Каждой из глав соответствует четкое обозначение хронологических рамок, иногда несколько неожиданное. Так глава VII, в которой повествуется о правлении Гарольда Второго и завоевании Англии нормандцами (она следует за главой о Гарольде Заячьей Лапе, Гардакнуте и Эдуарде Исповеднике), помечена: "Все тот же 1066 год". Глава XXIV, посвященная Англии при Эдуарде Пятом, снабжена подзаголовком: "Несколько недель в году 1483", а в главе о Генрихе Шестом отдельно выделена "История Жанны Д'Арк". Под пером Диккенса многие из этих исторических персонажей превращаются в живые, полнокровные личности, а посвященные им эпизоды читаются как захватывающие новеллы.

Английские историки литературы, как правило, обходят "Историю" Диккенса молчанием либо отзываются о ней с раздражением, которое не дают себе труда даже скрывать, упрекая автора в том, что она написана, хотя и "весьма энергично, но крайне пристрастно". Эти слова принадлежат одному из известных биографов Диккенса Уне Поуп-Хенесси, которая считает книгу "поверхностной, оскорбительной" и в целом "весьма достойной сожаления". "Было бы гораздо лучше, — сетует она, — если бы Диккенс предоставил историю педагогам и не искажал событий..."[1].

1. U. Pope-Henessy. Charles Dickens. Chatto and Windus, 1945. Цит. по изд.: Pelican Books, 1970.

Хотя о злодействах Генриха VIII в английской литературе, в том числе исторической, написано немало, Поуп-Хенесси возмущается тем, что на страницах истории Диккенса король предстáет (далее слова Диккенса) "наглым здоровяком, толстомордым, с глазками-щелочками и двойным подбородком — вылитый боров", а несколько ниже "злодеем и кровопийцей, настоящим извергом рода человеческого, запятнавшим историю Англии кровью и грязью". Биографа шокирует, что Диккенс радуется смерти королевы Марии, прозванной Кровавой, которую, по его словам, будут "вспоминать с содроганием и ужасом". Едва ли не каждая глава в книге кончается подобными словами.

Можно предположить, что причины такой резкой реакции на книгу Диккенса кроются в выразительности рисуемых Диккенсом исторических картин и персонажей, которая уничтожает временную дистанцию, ставя читателя лицом к лицу с прошлым и заставляя давать ему моральную оценку. Однако и сама позиция Диккенса-историка вряд ли приемлема для большинства из его отечественных исследователей. Английские монархи в своем большинстве описываются им как люди властолюбивые, алчные, жестокие и бесчеловечные. Они коварны, способны на любую подлость для достижения своих целей, не жалеют ни родных, ни близких и готовы потопить страну в крови. Исключений из общего правила очень немного — Генрих Второй, который любил прекрасную Розамунду (он "достойно процарствовал тридцать пять лет"), Эдуард Долгоногий, "благодаря благоразумию и мудрости" которого были улучшены многие законы, приняты меры против грабителей и убийц, промышлявших на больших дорогах, положен предел расширению земельных владений церкви и тем самым росту ее могущества, впервые введен институт мировых судей, да кое-кто из безвременно погибших молодых принцев. Восхищения Диккенса заслуживает легендарный "добрый король-сакс Альфред", царствовавший в 871—901 годах, — не только потому, что сражался с датчанами, но и потому, что этот "великий король" был "благороден сердцем" и думал о своих "несчастных подданных, которых злодеи гонят с родной земли". В лице этого легендарного короля Диккенс создает образ благородного правителя. Заключение главы, посвященной королю Альфреду, читается как некий завет самому себе и читателям: "Говорят, дух Альфреда до сих пор живет в наших лучших английских законах, так давайте помолимся, чтобы он жил в сердце всех англичан. Если наш ближний погряз в невежестве, будем делать все, пока в нас теплится жизнь, чтобы заронить в него искру знания. И будем напоминать правителям, которые должны печься о просвещении и которые пренебрегают своим долгом, что их ничему не научило время, пробежавшее с 901 года от Рождества Христова, и что они далеко отстали от ярчайшего короля Альфреда Великого".

Не удивительно, что Диккенс обращается к седой древности и к апокрифической фигуре Альфреда для создания образа идеального правителя. В исторических персонажах более позднего времени он не находит никого, кто хоть сколько-нибудь приблизился бы к этим старым государям. Даже королева Елизавета, которой он не может отказать в уме и политической прозорливости, мало чем отличалась от прочих монархов и заслуживает памяти лишь оттого, что в ее царствование жили такие замечательные люди, как Бэкон, Спенсер и Шекспир, часть славы которых приписывается самой королеве. И хотя Диккенс завершает книгу здравицей в честь королевы Виктории, "этой замечательной и всеми любимой правительни-

цы", это никак не отменяет всего сказанного ранее.

Отношение Диккенса к церкви мало чем отличается от отношения к светской власти. Он не щадит церковных иерархов, которые предстают перед читателем столь же честолюбивыми, корыстными и вероломными правителями, как монархи. Даже такие фигуры, как Томас Бекет, изображаются отнюдь не идиллически. Диккенс подробно рассказывает о превращении блестящего фаворита и канцлера в мятежного архиепископа. Впрочем, Диккенс отдает должное мужеству Томаса Бекета, достойно встретившего смерть. Так возникают "объемные", "трехмерные" портреты, придающие повествованию особую достоверность (читателю взрослому они напоминают о том, что перед ним творение зрелого мастера). Среди них выделяется сэр Уолтер Рэли, "великий ум", проведший многие годы в Тауэре, путешественник и наставник безвременно скончавшегося принца Генриха, "человек, который совершил немало ошибок, но с редким достоинством встречал любые испытания и опасности" и мужественно принял смерть на эшафоте. "Утро выдалось студеное, и шериф предложил ему сойти ненадолго с эшафота и погреться у огня. Но сэр Уолтер поблагодарил и отказался, сказав, что предпочел бы умереть сразу, так как болен лихорадкой и малярией, и если через четверть часа его начнет бить озноб, а он еще будет жив, враги его решат, что он трясется от страха... Прежде чем положить голову на плаху, сэр Уолтер пощупал край топора и с улыбкой на лице заметил, что это лекарство острое на вкус, зато спасает от самой злой болезни. Нагнувшись, готовый умереть, он сказал палачу, увидев, что тот сомневается: 'Чего ты медлишь? Давай, руби!'"

По ходу изложения Диккенс рассказывает о страданиях народа и неоднократно апеллирует к нему, однако само понятие "народ" у него достаточно расплывчато и исторически не определено. Порой это все, кто противостоит монарху и знати, порой одни лишь землепашцы, порой горожане, порой "все сословия". Зато отдельных представителей народа, будь то простой солдат или вождь восставших Уот Тайлер, он описывает живо, с искренней симпатией, хотя в принципе не одобряет ни восстаний, ни революций.

Удивительное разнообразие материала, тем, персонажей, событий отличает "Историю Англии" Диккенса. Упомянем разделы, посвященные крестовым походам, Ирландии, жителей которой Диккенс изображает как "дикарей", борьбе Шотландии за независимость, к которой он относится с большей симпатией, а также страницы, описывающие судьбы евреев в Англии. Вот один из таких эпизодов. Описывая коронацию Ричарда Львиное Сердце, писатель рассказывает о чудовищном погроме, вспыхнувшем в это время: "...тут какой-то негодяй закричал, что новый король приказал истребить племя неверных. Толпа хлынула в узкие городские улочки и принялась убивать всех попадавшихся ей на пути евреев. Не находя их больше на улицах... озверелый сброд кинулся громить еврейские жилища: вышибать двери, грабить, колоть и резать хозяев, а иногда даже выбрасывать стариков и младенцев из окон в разведенные внизу костры. Это страшное зверство продолжалось двадцать четыре часа, а наказаны были только три человека. И то они поплатились жизнями не за избиение и ограбление евреев, а за сожжение домов некоторых христиан".

Перевод книги такого рода — огромный труд: достаточно вспомнить о многочисленных проблемах, возникающих при передаче на ином языке исторических реалий, имен, географических названий, обычаев, понятий, прочно укорененных в англий-

ском сознании и быте. Но это далеко не все. Надо передать особенность интонации писателя, ведь даже здесь Диккенс остается художником, поражая читателя мастерством рассказчика, разнообразием красок и интонации. Перевод Т. Бердиковой и М. Тюнькиной представляется весьма удачным; он выгодно отличается на фоне расплодившихся — увы! — переводческих поделок. Правда, меня, признаюсь, смущает широкое использование в книге "словечек", заимствованных из сегодняшего разговорного языка. Я понимаю стремление переводчиц к живости изложения, и все же невольно вздрагиваю, читая такие, к примеру, фразы: "А теперь обратимся к Шотландии, которая была *мучительной и упорной головной болью короля Эдуарда Первого*", или "но приготовленные для принцессы *подарки он зажал*", или: "его личный гонец, *просочившись через все береговые кордоны*" и прочее.

Прекрасно, что Издательство Независимая Газета выпустило эту книгу, которую так долго ждали наши читатели, жаль лишь, что в ней нет ни указателя имен, совершенно необходимого при издании исторического труда в 500 страниц, ни статьи и комментария современного историка, который бы дал нужные читателю разъяснения.

Нина Демурова

На пересечении поэзии и музыки

Международная антология саунд-поэзии. Составление и общая редакция Дмитрия Булатова. Государственный центр современного искусства. Калининградский филиал, 2001

Благодаря поэту Дмитрию Булатову (он называет себя еще "лингвоартистом и сетевым оператором") и Калининградскому филиалу Государственного центра современного искусства за три года вышло две международные антологии: "Точка зрения. Визуальная поэзия: 90-е годы" (Симплиций, Калининград-Кёнигсберг, 1998) и "Международная антология саунд-поэзии", представляющие последние достижения в этой области литературы. Если первая книга посвящена явлению, до какой-то степени знакомому российским читателям, то во второй антологии содержится материал для большинства любителей поэзии абсолютно новый. Тем более ценны теоретические статьи, которые занимают бóльшую часть книги (она разделена на две части, в первой из которых — теоретическое осмысление этого поэтического направления) и написаны ведущими теоретиками современного искусства. Осмысленно и компактно составлена и вторая часть, посвященная персоналиям с краткими биографиями и обширной библиографией на каждого поэта. Все тексты даны на английском и русском языках. Кроме того, антология снабжена аудиоприложением с четырьмя CD, что дает возможность познакомиться с произведениями всех участников данной антологии.

История саунд-поэзии на Западе насчитывает не одно десятилетие. Д. Булатов в предисловии пишет: "Возникновение прообраза саунд-поэзии (или звуковой, сонорной поэзии — равноправные названия) принято связывать с условным разделением, произошедшим на рубеже XIX—XX веков, так называемой "регулярной" литературы на визуальную и фонетическую составляющие. Если произведения визуальной поэзии <...> маркировали своим появлением граничные области литературы и изобразительного искусства, то творчество сонорных поэтов, целенаправленно использующих различные вербо-музыкальные элементы, наглядно обнаружило

точки соприкосновения литературы и музыки".

Вопрос о границе, разделяющей саунд-поэзию и музыку, в этом контексте приобретает особую значимость. По словам знаменитого американского поэта, художника и теоретика современного искусства Дика Хиггинса (1938–1998), музыка – это презентация и активизация пространства и времени посредством распространения звука, что одинаково верно как в отношении традиционных фортепианных произведений Моцарта, так и в отношении исключительно новационных музыкальных разработок Джона Кейджа. "А *любая* поэзия соотносит пространство, время и звук с жизненным опытом". Таким образом, по мнению Хиггинса, отличие музыки от поэзии заключается в нацеленности последней на коммуникацию или некое сообщение. Процесс коммуникации значим, даже когда речь идет об абсолютно внесмысловых поэмах, таких, например, как опыты с голосом и микрофоном французского поэта, перформансиста и теоретика современного искусства Анри Шопена. Во время одного из своих выступлений Шопен использовал микрофоны в качестве своеобразного акустического микроскопа, разместив их в полости рта и по всей длине пищевода. "В его произведениях, – пишет Хиггинс, – семантическая пустота приобретает значение своего рода негативной семантики – идет приобщение скорее к полному отсутствию слов, нежели, как в случае с вокальной музыкой, к присутствию голоса".

Исследователи связывают появление саунд-поэзии в современном значении этого слова с итальянским и русским футуризмом, возникшим в 10-е годы XX века, и с появившимся чуть позже в Цюрихе движением дада. Немало страниц антологии посвящено влиянию русского футуризма. Из современных российских поэтов в антологию вошли такие его последователи, как Сергей Бирюков, Дмитрий Булатов, Ры Никонова, Дмитрий Пригов, Сергей Сигей, Валерий Шерстяной. Эти авторы выступили как теоретики, написав специально для антологии статьи об истории сонорной поэзии в России. Кроме того, на CD представлены практики, в том числе российские авторы: Александр Горнон, Саинхо Намчылак и Сергей Проворов.

Вероятно, неслучайно сонорные поэты, как правило, являются одновременно и теоретиками этого жанра. Для них важно определить свое место на перекрестке множества составляющих, концептуализировать и артикулировать свой жест, ведь речь идет о пограничной деятельности, близко соприкасающейся с визуальным искусством: графикой, коллажем, фотографией; минималистской и фольклорной музыкой; хэппенингом и перформансом, новейшими достижениями в области философии; новыми технологиями и сетевой культурой. Например, американский композитор и теоретик литературы Лэрри Вендт пишет о связи этого рода поэзии с фотографией. Французский композитор и литературный критик Жан-Ив Боссер прослеживает метаморфозы от звуковой поэзии к музыке. Он воздает должное новаторству композитора Джона Кейджа, сумевшего охватить все возможные голосовые регистры, от песнопений до таких форм, которые близки сонорной поэзии. К 1942 году относятся его первые партитуры, связанные с творчеством Джеймса Джойса, в частности, "Чудесная вдова восемнадцати весен" для голоса и рояля, написанная под впечатлением "Поминок по Финнегану". Эта вещь и по сей день является источником бесконечного потока музыкальных и поэтических произведений.

В европейской культуре выступления сонорных поэтов изначально носили иконоборческий, революционный характер. Они

выступали против повествовательности, одномерности и линейного характера литературы. Как пишет австрийский поэт и перформансист Иде Хинтце, "это была радикальная оппозиция письму, эмансипация от его диктата и энтузиастическая пропаганда поэтических возможностей аудио, которое было для них "примитивом электронного века", как они однажды назвали аудиозапись".

В разных странах эта борьба имела свою специфику. Представители итальянского футуризма (Маринетти, Деперо, Балла и другие) стремились к отражению обыденной жизни урбанистического мира в своих фонетических поэмах, подражая звукам окружающей среды.

В дадаистских поэмах немцев (Балля, Хаусмана, Швиттерса и других) в основном делался акцент на исследование глоссолалии и предполагаемое воссоединение различных языков. Французы в своей фонетической практике шли от возможности одновременного произнесения текста (иногда на разных языках), имитируя вавилонское столпотворение разрастающихся систем коммуникаций. Достаточно упомянуть Антонена Арто, который использовал в выступлениях по радио "внутреннее бормотание" и противопоставлял его конвенциональному языку. В Америке же 60—70-х годов появились так называемые "последние поэты", чья специфическая манера произнесения текста была приправлена традиционными африканскими ритмами, ритм-н-блюзом и соулом. Американский критик Дин Сузуки считает их предшественниками рэперов и хип-хоперов 80—90-х годов, "а их творчество — самой успешной и популярной поэтической формой, которую когда-либо знала западная поп-культура". Неслучайно в Америке, в отличие от Европы, саунд-поэты воспринимались вполне органично. Например, для битников были характерны сленговые нерифмованные стихи с явными джазовыми интонациями, рождавшиеся прямо на улицах под сопровождение джазовых импровизаций.

Выявляется весьма парадоксальная ситуация, когда поэтические техники, основанные на высоких технологиях, смыкаются с уходящими в глубину веков архаическими фольклорными традициями. Эти практики вступают в противоречие с антиауратичными теориями, основание которым положил Вальтер Беньямин в своей знаменитой работе "Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости". Вслед за ним философы и теоретики современной культуры Жан Бодрийар, Поль Вирилио, Феликс Гваттари критически отнеслись к внедрению новых технологий во все области жизни и искусства. Так, Бодрийар в эссе "Метаморфозы, метафоры, метастазы" писал, что современный человек напоминает "разновидность автомата", живущего в "искусственном мире", лишенном малейших примет "реального... и всего, что с ним связано".

Между тем, утверждает английский критик Николас Цурбругг, состоятельность такого подхода "все более настойчиво оспаривается блистательной практикой модернистского и постмодернистского авангарда, разрабатывающего новые виды техно-телесной восприимчивости, которые обогащают традиционную текстуальную поэтику удивительно ауратичными... методами современных электропоэтик".

Анна Альчук

От редакции

По нашей вине допущена ошибка: в рецензии А. Гениса "Затерянный мир" (№ 3, 2002) вместо "Лао-цзы" следует читать "Лецзы".

Ирак

Кто же автор?

Уже не первый месяц в Ираке оглушительным успехом пользуется роман "Забиба и король", причем книга не только стала бестселлером, но и заслужила самые лестные оценки строгих литературных критиков. Впрочем, последние столкнулись с необычной проблемой: в чей адрес направлять похвалы и поздравления? Дело в том, что имя автора нигде не указано, и этот бестселлер остается анонимным. Тем не менее, книга у всех на устах, и ей уделяют немало внимания средства массовой информации. Недавно в газете "Нью-Йорк таймс" появилось сенсационное сообщение: некий высокопоставленный сотрудник ЦРУ заявил, что у Центрального разведывательного управления нет никаких сомнений относительно авторства книги и можно с полной уверенностью сказать — она вышла из-под пера... иракского президента Саддама Хусейна!

Тщательно проанализировав содержание книги, в ЦРУ пришли к выводу, что, судя по некоторым признакам, бестселлер был написан именно Саддамом. Например, в одном из эпизодов романа главная героиня, девственница, пережившая насилие, произносит фразу такого содержания: "Изнасилование — это очень серьезное преступление, будь то изнасилование женщины мужчиной или насилие иностранной армии, вторгшейся в нашу страну и поправшей наши права". Кроме того, Забиба умирает 17 января — в день начала войны в Заливе; как утверждают американцы, они прекрасно изучили личность иракского диктатора и подобные признаки представляются им убедительными. В книге есть и эротические сцены, но они, как полагают в ЦРУ, написаны сыном Хусейна, известным ловеласом, который в последнее время выходит на политическую авансцену страны и считается возможным преемником своего отца. На основе романа уже пишется сценарий по заказу национального общественного телевидения, которое намеревается экранизировать бестселлер, — в фильме будет двадцать серий.

Италия

Панорама XX века в трех томах

Почти через двадцать лет после появления первой антологии произведений итальянских авторов XX века ее редактор, широко известный и за пределами Италии литератор Энцо Сичильяно, выпустил в свет новую антологию. Это трехтомник "Итальянский рассказ XX века" (издательство "Мондадори"), собранный по тому же хронологическому принципу, что и первый труд. Однако изменились объем и подход к отбору материала: от одного тома к трем, от 70 авторов до почти 300, от 1500 страниц до 5800 (включая ценную библиографическую картотеку Луки Баранелли). От сильно "урезанного" издания 1983 года нынешняя антология отличается широтой и разнообразием представленных произведений.

Итальянский рассказ в современном понимании берет начало в классической новелле, и прежде всего в полных насмешек историях, в которых смекалка побеждает людскую глупость (как у Боккаччо или Банделло). Кроме того, рассказ сосредоточен на значимом моменте в жизни персонажа и его кульминацией нередко оказывается давно назревавший "взрыв". Отсюда замысел Энцо Сичильяно как составителя — представить прежде всего рассказы, являющиеся свидетельствами своего времени. Чтобы рассказать историю XX века, необходимы авторы, особенно ответственно относящиеся к своей миссии распространителей знания, необычайно чувствительные к изменениям в обществе и способные описать их с максимальной достоверностью и художественной правдой. Здесь будет уместно вспомнить идею немецкого поэта Ханса Магнуса Энценсбергера о том, что литература — это своеобразная историография, а также о предложенном Элио Витторини причудливом делении

"Два археолога" художника-писателя Джорджо Де Кирико (1927)

литературы на "артериальную", несущую кислород, и "венозную".

Новую антологию отличает прежде всего огромное разнообразие: автобиографические мемуары, путевые заметки, сюрреалистическая притча, художественное эссе. Особо следует сказать о географическом разнообразии. Для Энцо Сичильяно итальянская проза — это движение от периферии к центру, которым он считает Флоренцию и Рим. Поразительно, насколько равномерно подпитывают этот центр окраины: Триест (Свево, Саба), Сицилия (Пиранделло, Боргезе, Верга), Пьемонт (Павезе, Фенольо)...

Критики могут упрекнуть составителя в том, что некоторые авторы сегодня известны разве что узкому кругу специалистов, но и в этом есть свой плюс: чем не повод заинтересоваться этими именами, особенно издателям?

Есть у итальянских писателей и свои излюбленные темы: превратности судьбы, удушающая атмосфера мелкобуржуазного болота, трудный переход от деревенской жизни к городской, не менее трудный переход к новому этапу жизни, медленное зарождение гражданского сознания в эпоху мировых войн. Безусловным достоинством антологии являются прекрасные "семьи": блестящее братство открытых для эксперимента художников-писателей (Савинио, Де Пизис, Личини, Бартолини, Розаи, Карло Леви, Итало Кремона, Соффичи), а также группа поэтов-прозаиков (Сандро Пенна, Эрнесто Саба, Кардарелли, Капрони, Гатто, Гоццано).

Второй том антологии отдан "сборной команде" страны, в которую входят такие имена, как Флайано, Моранте, Ортезе, Кальвино, Шаша, Примо Леви, Реа, Вольпони, Сольдати, Буццати, Дельфини... Третий том — это сегодняшний день, смелая, но уже зрелая современность. А в целом представленная в трехтомнике панорама говорит читателю о том, что итальянская литература XX века гораздо мощнее, богаче и разнообразнее, чем привыкли думать сами итальянцы, столь охочие до самобичевания.

Польша

"Мерседес" на книжной полке

С давних времен люди делились на тех, кто своим трудом создает материальные ценности и, следовательно, может прокормиться сам, и тех, кто нуждается в "подкормке". К последним всегда относились творческие личности, в том числе и писатели. До определенного времени власть исправно подкармливала их. С переходом на рыночные отношения творцы в Польше, как и других странах бывшего соцлагеря, лишились государственных дотаций, и теперь каждый выкручивается, как может. Но ведь не каждому посчастливилось стать такой суперзвездой, как Богуслав Линда, и получить приглашение рекламировать модные штаны, булки с котлетами или страховые компании.

Прекрасный выход из сложившегося положения нашел польский писатель Павел Хюлле. Его новый роман называется "Мерседес-бенц". Наклейка на обложке книги доводит до сведения читателей, что известная автомобильная компания является спонсором издания, а заодно извещает о столетнем юбилее вышеупомянутой компании. История знает немало примеров, когда книги писались на заказ, к всевозможным празднествам и годовщинам. В зависимости от эпохи такая

литература называлась придворной или пропагандистской. Направлению, изобретенному Хюлле, вполне подходит название спонсоролюбивого, рекламно-неназойливого или мерседесно-гипнотического.

В книге масса интересных деталей, имеющих отношение не только к "мерседесам". Персонажи со знаком "минус" — "ситроены" и некий способный нейрохирург из Медицинской академии в Гданьске. Этот врач действительно существует и вполне достоин критики, ибо не гнушается вымогать деньги у родственников оперированных им больных. Но за что же досталось "ситроену"? Этого читатели никогда не узнают. Ясно одно: связь Хюлле с "мерседесом" прочна и глубока. Приобретая книгу, покупатели получают в подарок закладку с фотографией "мерседеса". Видимо, тем, кто покупает автомобиль, дарят книгу...

Изобретение Хюлле можно признать поистине гениальным, и следует надеяться, что находчивость автора автомобильного бестселлера послужит хорошим примером для других литераторов. Быть может, Вислава Шимборская назовет новые фельетоны "Необязательное чтиво за чашечкой кофе 'Чибо'", а Ежи Пильх выпустит очередную книгу жития и пития "Безвозвратно утраченный 'Тефаль'". Производители электрических пил поддержат Анджея Стасюка, который раскроется с неожиданной стороны, издав книгу настоящей мужской прозы "Прикасайся, как 'Бош'". Идея Хюлле привлечет не только польских авторов. Об успехе его книги узнал уже сам Умберто Эко, который вот-вот выпустит книгу "Записки на пачке 'Мальборо'".

США

В тылу у талибов

Нет нужды лишний раз повторять, что война приносит неисчислимые бедствия всем, кого она затрагивает, и прежде всего — детям. Но, как ни парадоксально, иногда даже война может дать сюжет и послужить фоном для неплохой детской книги. Доказательством тому служит "Добытчица" американской писательницы Деборы Эллис. Книга впервые вышла еще прошлой весной, но после сентябрьских событий издатели немедленно выпустили повторный тираж в мягкой обложке и не прогадали — книга разошлась тиражом в 45 000 экземпляров. Разумеется, этот успех не в последнюю очередь объясняется тем, что сюжет "Добытчицы" тесно связан с политическими событиями в мире. Действие книги происходит в современном Афганистане; главная героиня — 11-летняя девочка по имени Парвана. Когда талибы арестовывают ее отца, Парвана переодевается мальчиком и идет зарабатывать на хлеб для семьи. Трогательная история храброй и сильной девочки сочетается с яркими описаниями природы, жизни и политической ситуации в стране. Понимая, что история Парваны заинтересовала читателей, Дебора Эллис написала продолжение книги, в которой приключения маленькой героини разворачиваются уже на фоне американских бомбардировок Афганистана. Сюжет второй книги автор пока не раскрывает, но обещает "очень оптимистический финал", что так необходимо в наши дни читателям любого возраста.

Обложка книги Деборы Эллис "Добытчица"

По материалам газет "Паис" [Испания], "Стампа-Туттолибри" [Италия], еженедельника "Впрост" [Польша], журнала "Ньюсуик" [США].

Хавьер Мариас
Javier Marías
[р. 1951]. Испанский писатель, переводчик, литературовед и публицист. Лауреат многочисленных национальных и международных премий.

Автор романов *Повелитель времени* [*El monarca del tiempo*, 1978], *Чувствительный мужчина* [*El hombre sentimental*, 1986], *Черная изнанка времени* [*Negra espalda del tiempo*, 1998], *Дорога за горизонт* [*Travesia del horizonte*, 1999], *Век* [*El siglo*, 2000] и др., а также десяти сборников рассказов, четырех книг эссе. Переводил с английского на испанский Дж. Апдайка, Дж. Конрада, В. Набокова, Р. Л. Стивенсона, У. Фолкнера, Дж. Д. Сэлинджера и др.
Перевод романа выполнен по изданию *Mañana en la batalla piensa en mí* [Madrid, Santillana, S. A. (Alfaguara), 1996].

Михаил Давидович Яснов
[р. 1946]. Поэт, переводчик классической и современной французской поэзии.

Автор пяти книг лирики, сборников стихов для детей, а также статей о русской и французской поэзии. Составитель и комментатор сборников произведений Сирано де Бержерака, П. Верлена, Г. Аполлинера, П. Валери, Ж. Превера, Ж. Кокто, Э. Ионеско и др. В *ИЛ* в его переводах печатались стихи Ж. Шарпантро и Ж.-Л. Моро [1994, № 12], Г. Аполлинера [1998, № 4], Ж. Рубо [1999, № 8].

Гиш Чжэнь
Gish Jen
[р. 1956]. Американская писательница китайского происхождения.

Автор романов *Типичный американец* [*Typical American*, 1991], *Мона на земле обетованной* [*Mona in the Promised Land*, 1996]. В *ИЛ* был опубликован ее рассказ *В американском обществе* [1994, № 11].
Публикуемый рассказ взят из сборника рассказов *Это я ирландка?* [*Who's Irish?* New York, Alfred A. Knopf, 1999].

Ингомар фон Кизерицки
Ingomar von Kieseritzky
[р. 1944]. Немецкий писатель и драматург. Лауреат литературной премии г. Берлина, премии им. Дёблина.

Автор романов *Анатомия для художников* [*Anatomie für Künstler*, 1989], *Маленький путешественник в Ничто* [*Kleiner Reiseführer in Nichts*, 1999], *Тут ничего не поделаешь* [*Da kann man nichts machen*, 2001].
Перевод публикуемого рассказа выполнен по изданию *Beste deutsche Erzähler 2000* [Stuttgart München, Deutsche Verlags-Anstalt, 2000].

Андре Моруа
Andre Maurois
[1885—1967]. Французский писатель, член Французской академии, классик жанра биографического романа.

Многие произведения А. Моруа переведены на русский язык, в т. ч. *Превратности любви* [Climats, 1928], *Семейный круг* [*Le cercle de famille*, 1932], *Жизнь Александра Флеминга* [*La vie de sir Alexander Fleming*, 1959], *Жизнь Дизраели* [*La vie de Disraeli*, 1927], *Байрон* [*Byron*, 1930], *Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго* [*Olympio ou la vie de Victor Hugo*, 1954], *Три Дюма* [*Les trois Dumas*, 1957], *Прометей, или Жизнь Бальзака* [*Prométhée ou la vie de Balzac*, 1965] и др. В *ИЛ* были напечатаны эссе *Поль Верлен. Калибан, который был Ариэлем* [1996, № 7], фрагменты книги *Воспоминания* [1998, № 6].
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Ariel ou la Vie de Shelley, suivi de Robert et Elizabeth Browning* [Paris, Editions Bernard Grasset, 1955].

Видиа С. Найпол
Vidia Surajprasad Naipaul
[р. 1932]. Тринидадский писатель, пишущий на английском языке. Лауреат нескольких литературных премий и Нобелевской премии [2001].

Автор романов *Таинственный массажист* [*The Mystic Masseur*, 1957], *Дом для мистера Бисваса* [*House for Mr. Bisvas*, 1961], *Ненастоящие* [*The Mimic Men*, 1967], *Партизаны* [*Guerillas*, 1974] и др., сборника рассказов и очерков *Улица Мигель* [*Miguel Street*, 1959; рус. перев. *Библиотека ИЛ*, 1984], сборника повестей и рассказов *Флаг над островом* [*A Flag on the Island*, 1967]. В *ИЛ* были напечатаны повесть *Флаг над островом* [1981, № 4], главы из романа *Дорога в мир* [1996, № 9], интервью *Невроз обращенных* [2002, № 1].

Алексей Цветков
[р. 1947]. Поэт, прозаик. С 1974 г. живет в США. Сотрудник радиостанции *Свобода* в Праге.

В американском издательстве Ардис вышли три книги его стихов: *Сборник пьес для жизни соло* [1978], *Состояние сна* [1981], *Эдем* [1985]. Стихи и проза [главы из романа *Просто голос*] печатались в журналах Знамя и Октябрь. Публикации в *ИЛ* [1993, № 12; 1996, № 1].

Мирча Элиаде
Mircea Eliade
[1907–1986]. Румынский философ и писатель. С 1945 года жил во Франции, с 1957 – в США. Основатель Чикагской школы религиеведения.

Автор ряда исследований по мифологическим воззрениям древних народов и трехтомной *Истории веры и религиозных идей* на французском и английском языках, богатого беллетристического наследия на румынском языке. В русском переводе впервые опубликован в 1987 году [сборник *Космос и история*]. Полную хронологию и библиографию см. в *ИЛ* [1999, № 4].
Текст эссе *Апология мужества* [*Apologia virilităţii*] печатается по книге *Maddalena* [Bucureşti, 1996]; *Воспитание духовной культуры: методы* [*Tehnica si educaţia culturii spiritului*] – по изданию *Taina Indiei* [Bucureşti, 1991]; *Одна подробность из Парцифаля* [*Un amănunt din Parsifal*] – по книге *Insula lui Euthanasius* [Bucureşti, 1943].

Алексей Матвеевич Зверев
[р. 1939]. Доктор филологических наук, литературный критик.

Автор книг *Джек Лондон* [1975], *Модернизм в литературе США* [1979], *Американский роман 20–30-х годов* [1982], *Грустный, солнечный мир Сарояна* [1982], *Мир Марка Твена* [1985], *Дворец на острие иглы* [1989], *Набоков* [2001] и многочисленных статей, публиковавшихся в периодических изданиях, в т. ч. в *ИЛ*.

Переводчики

Надежда Федоровна Мечтаева
Кандидат филологических наук, переводчица с испанского.

В ее переводе вышел роман Х. Мариаса *Белое сердце* [изд-во Амфора, 2001].

Анастасия Николаевна Власова
Переводчица с английского.

В ее переводах публиковались рассказы Т. Капоте, Б. Мальцберга, Р. П. Уоррена. В *ИЛ* [2001, № 5] напечатан ее перевод рассказа Р. П. Уоррена *Ежевичная зима*.

Татьяна Александровна Баскакова
Египтолог, кандидат исторических наук, переводчица с немецкого.

В ее переводе опубликованы книги Я. Ассмана *Египет: теология и благочестие ранней цивилизации* [1999], К. Жака *Нефертити и Эхнатон: Солнечная чета* [1999], А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений* [2000], И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая* [2001] и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликован рассказ А. Шмидта *Гадир, или Познай самого себя* [1999, № 7].

Владимир Леонтьевич Меранов
[р. 1927]. Преподаватель и переводчик с французского.

В его переводе опубликован роман А. Моруа *Ариэль, или Жизнь Шелли* [1999].

Марк Артурович Дадян
[р. 1972]. Лингвист, переводчик с английского и французского.

Под его редакцией вышла книга Владимира Набокова *Лекции о "Дон Кихоте"* [М., Издательство Независимая Газета, 2002].

Анастасия Анатольевна Старостина
Переводчица с румынского, лауреат премии *ИЛ* [1985].

В ее переводах публиковались новеллы румынских классиков М. Эминеску, Т. Аргези и др.; *Стихотворения, рассказы, эссе* А. Бландианы [1987]; том беллетристики М. Элиаде *Под тенью лилии* [1996], ею составлен сборник научных трудов М. Элиаде *Азиатская алхимия* и переведено эссе с одноименным названием [1998]. Под ее редакцией вышел т. 1 *Истории веры и религиозных идей* [2001]. В *ИЛ* были напечатаны ее переводы рассказов Э. Урикару, Б. Хорасанджана, А. Бландианы, романа М. Элиаде *Девица Кристина* [1992, № 3], подготовленный ею Литературный гид *Мирча Элиаде: Одиссей в лабиринте* [1999, № 4].

ЧТО ЧИТАЮТ В МИРЕ?

Романы, занимающие первые 8 мест в списке бестселлеров американского журнала "USA Today" от 31 марта 2002 г.

1. Nora Roberts
The Villa

2. Tami Hoag
Dust to Dust

3. Stephen King
Everything's Eventual

4. John Grisham
The Summons

5. Emma McLaughlin, Nicola Kraus
The Nanny Diaries: A Novel

6. John Grisham
A Painted House

7. Phillip C. McGraw
Self Matters

8. Sylvia Nasar
A Beautiful Mind

живопись скульптура графика

ЛИНИЯ-АРТ

галерея современного искусства, москва, пятницкая, 41

Некоммерческая организация культуры Галерея "Линия-Арт"
существует с 1997 года

В художественной программе Галереи различные направления выставочной деятельности:

наследие ряда московских художников,
искусство династий,
современная живопись, скульптура, графика, эмали.

Галерея экспонирует работы известных московских художников поколений 60-х, 70-х и 80-х годов.

Михаил **Р**удаков, **О**льга **Р**удакова,
Валерий и **А**лександр **В**олковы,
Анатолий **З**верев, **И**горь **К**ислицын,
Сергей **А**лферов, **А**лександр **Б**абин,
Ирина **Р**усакова, **И**горь **Е**рмолаев,
Гиви **А**наньев, **О**лег **С**лепов,
Евгений **В**ерещагин –

далеко не полный перечень ведущих авторов Галереи

С октября 2002 г. в Галерее читается курс лекций по истории мирового искусства

Наш телефон/факс: (095) 953 36 24
E mail: liniya-art@yandex.ru
Адрес: Пятницкая ул., 41, стр. 1

Посетить Галерею можно с 14 до 19 часов по предварительной договоренности с Администрацией Галереи

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки
использован фрагмент картины
французского поэта и художника
Жана Арпа [1887–1966]
Слезы Инака [1917]

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции,
а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" —
ул. Гиляровского, д. 1.
В Санкт-Петербурге —
в магазине издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 16.4.2002
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 4110 .
Тираж 10 100 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов полиграфической
фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

ANGLIA
British Bookshop

Лучший выбор книг из Британии в России

www.anglophile.ru

Москва:

Хлебный пер., 2/3
Тел: (095) 203 5802,
202 4066

Санкт-Петербург:

наб. Фонтанки, 40
Тел: (812) 279 8284,
279 8007

Самара:

ул. Куйбышева, 131
Тел: (8462) 78 4223

Высылаем книги по почте
*
Информация по
размещению заказов

Тел: (095) 202 4066,
Факс: (095) 203 0673
www.anglophile.ru

Многокомпонентные и
многоуровневые учебники
английского для школ, вузов и
самостоятельного изучения

Словари, энциклопедии,
история, лингвистика

Искусство, дизайн, архитектура

Художественная литература
– от классики до новейших бестселлеров

Бизнес и экономика
Менеджмент и маркетинг

Путеводители, атласы

[6] 2002

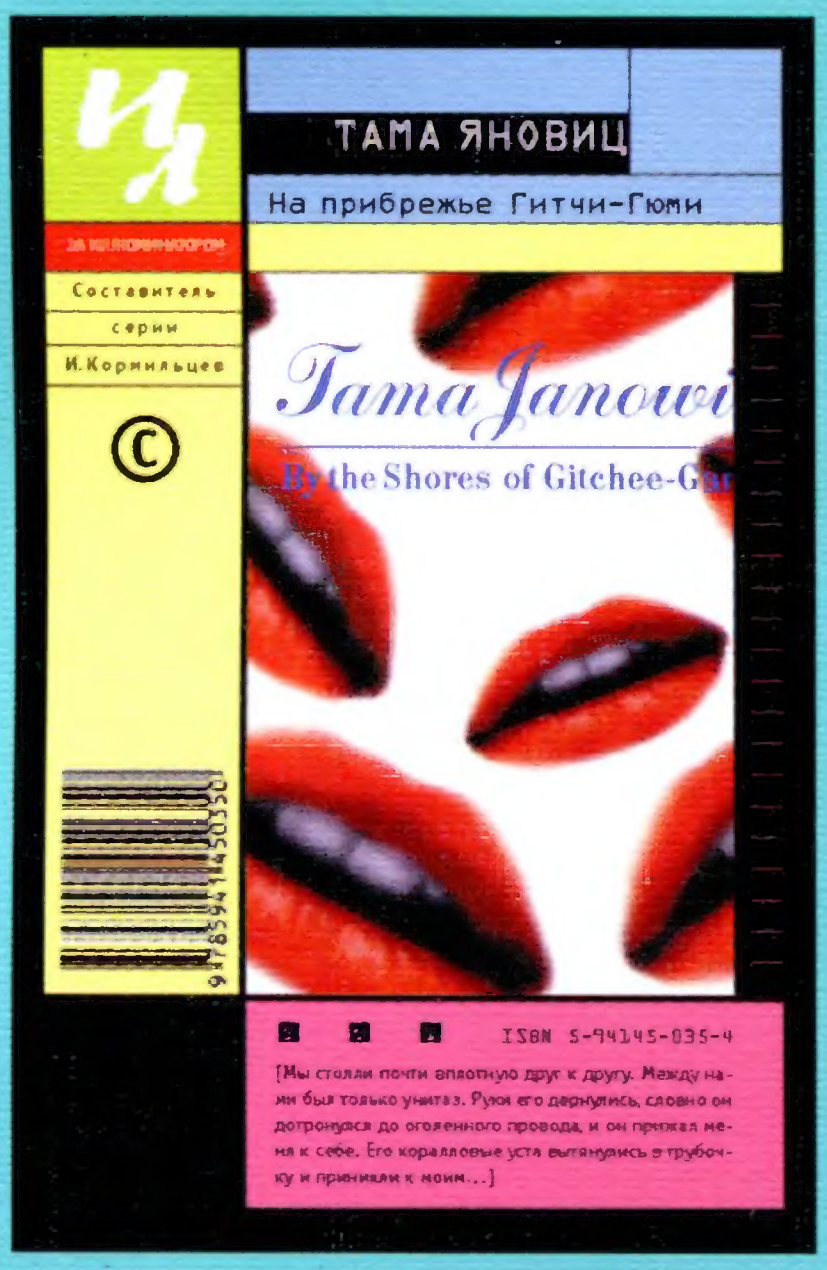
РОМАН ЖАН-ФИЛИППА АРРУ-ВИНЬО “УРОК НЕПОСЛУШАНИЯ” / РАССКАЗЫ ДИНО БУЦЦАТИ И ВИСЕНТЕ СОТО / СТИХИ И ЭССЕ МИШЕЛЯ ЛЕЙРИСА / РОМАН ЙОЗЕФА РОТА “СКЛЕП КАПУЦИНОВ” В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА”

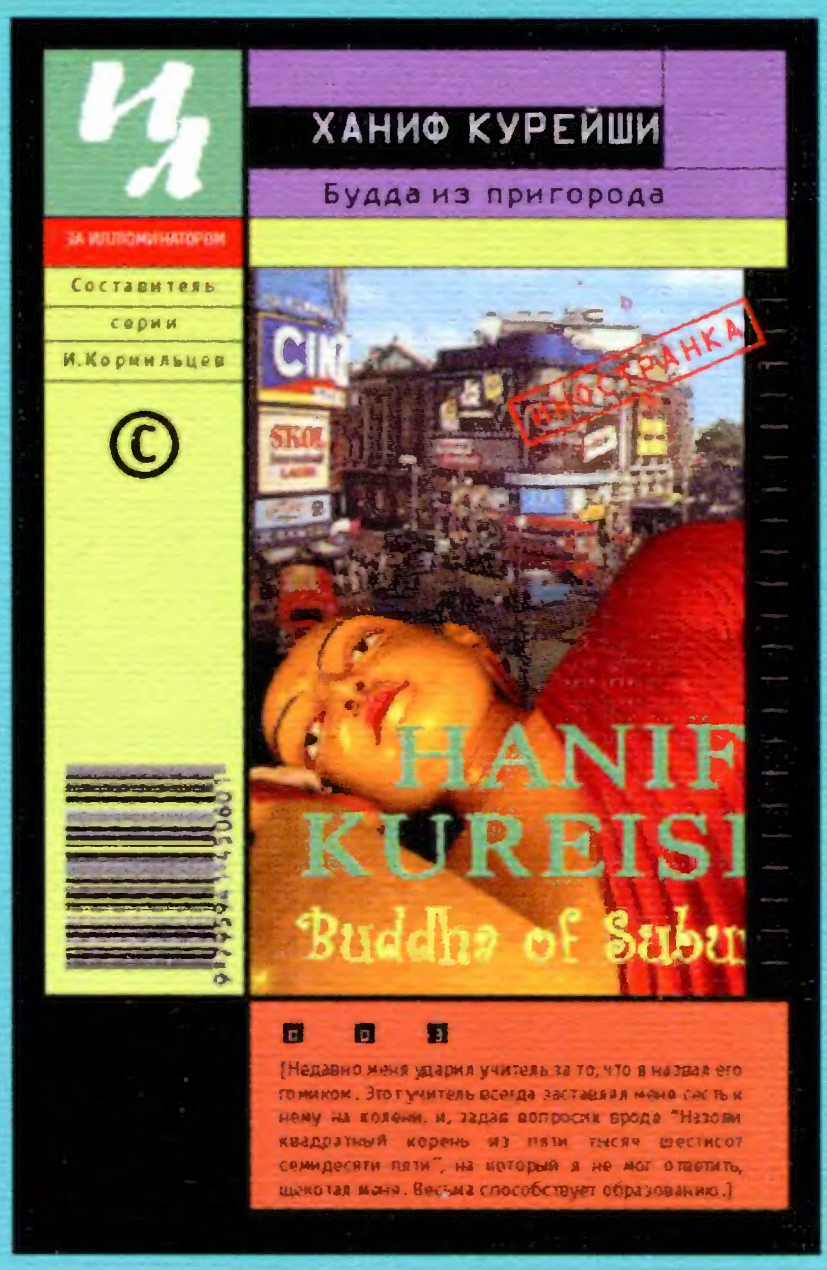
Новая серия издательства "Иностранка"

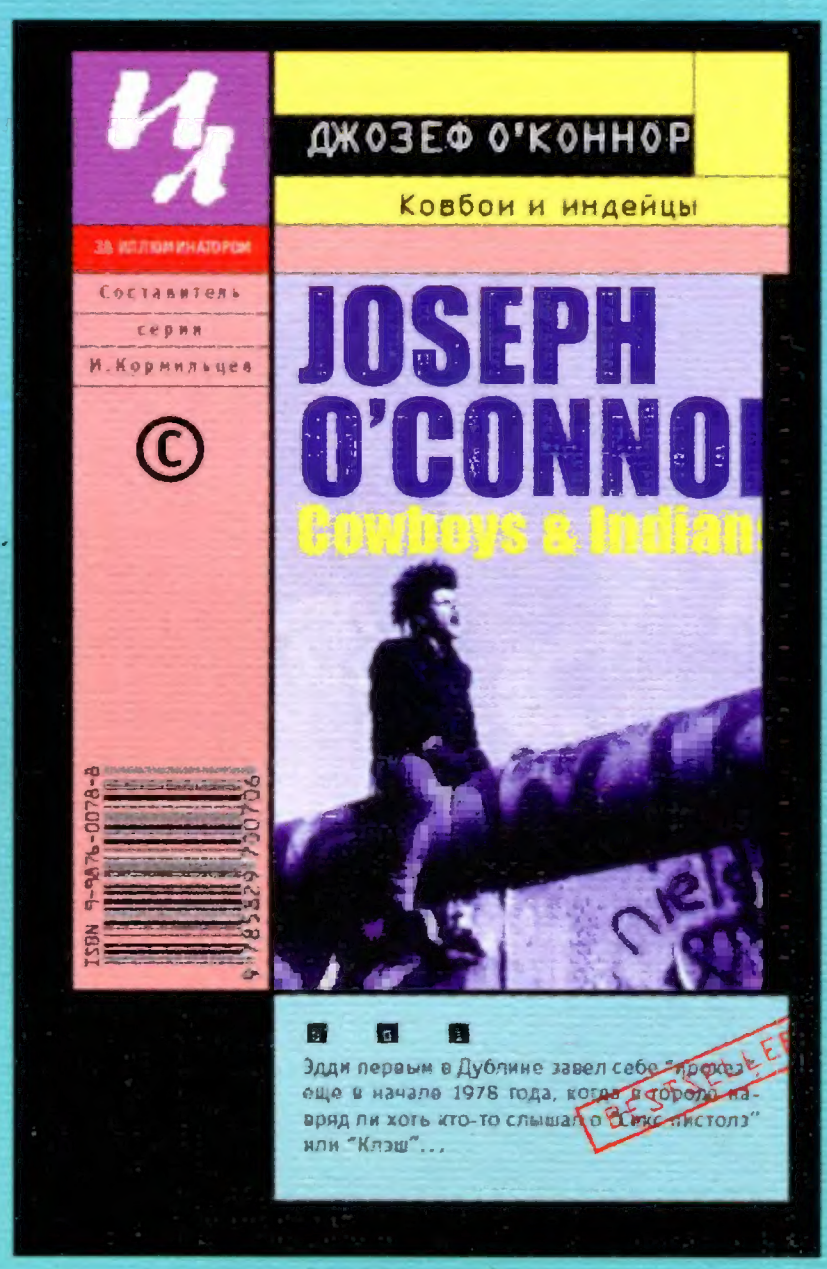
"За иллюминатором"

составитель Илья Кормильцев

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века







По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"

тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru

или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2002, №5, 1-288